

ISSN 0130-7673

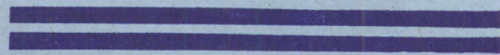
Н О В Ы Й М И Р

|| 2 ||

Н О В Ы Й
М И Р

|| 1981 ||

2



1981



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 2

Февраль, 1981 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ВРЕМЯ — Виктор Еоков, Юрий Мельников, Александр Коваль-Волков, Сергей Агальцов, Владимир Савельев, Мансур Сафин, Владимир Осинин, Н. Рудой, стихи	3
АНАТОЛИЙ АНАНЬЕВ — Годы без войны, роман. Окончание	11
ВЛАДИМИР ПАВЛИНОВ — Большевики, стихи	126
ГЕОРГЕ ЧОКОЙ — Возраст, отрывок из поэмы «Возраст монументов». Перевел с молдавского Кирилл Ковальджи	127
МИХАИЛ КОЛОСОВ — Три круга войны, повесть	131
ИЗ ПОЭЗИИ АРМЕНИИ — Вааги Давтян (перевела Нина Габриэлян), Анаит Парсамян (перевел Лев Озеров)	202
ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ	
ВЛАДИМИР УСПЕНСКИЙ — В промышленной зоне БАМа	205
ПУБЛИЦИСТИКА	
ЕГОР ЯКОВЛЕВ — Гражданин и время	219
ЕВГЕНИЙ ПРОХОРОВ — Пафос гражданственности. Заметки о современной публицистике	224
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
ЛЕОНИД НОВИЧЕНКО — Ствол и крона. Традиции и преемственность в современной многонациональной советской литературе	236
Н. ЖЕГАЛОВ — Искания. Современное литературоведение о роли литературы в духовной жизни общества	244
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
Ольга Кожухова. Странник из прошлого в сегодня. — А. Белорусец. Рабочий человек. — Михаил Найдич. Характер поэта. — Хайнц Плаввус. Уроки зрелости.	252
<i>Политика и наука</i>	
Б. Чубар. Дело человеком ставится — и славится. — В. Степаненко. ...и вечный хлеб!	261

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
КОРОТКО О КНИГАХ: Ксения Бродер.— Для человека. Рассказы и очерки. ✦ И. Козлов.— Владимир Даненбург. Голос солдата. Роман. ✦ З. Соколова.— Поэзия Кубы. Сборник. Перевод с испанского. ✦ Владимир Огнев.— Татьяна Очирова. Николай Дамдинов. Литературный портрет. ✦ Е. Луцкая.— Центральный академический театр Советской Армии. 50 лет. ✦ Григорий Резниченко.— Михаил Ребров. Над планетой людей. ✦ Ю. Игрицкий.— Критика современных буржуазных и реформистских фальсификаторов марксизма-ленинизма. ✦ Г. Степанидин.— Лидия Графова. Зачем человеку звезды? ✦ В. Френкель.— Альфред Реньи. Трилогия о математике	265
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	272

ВРЕМЯ



ВИКТОР БОКОВ

В день съезда

По Спасской башне сверьте время!
По съезду партии — себя!
У нас у всех одна арена,
У нас у всех одна судьба.
Творец народ наш не впервые
Урок истории дает —
В едином творческом порыве
Вершить дела, идти вперед!
От Мурманска и до Камчатки,
От Кишинева до Курил,
Путь к счастью находя кратчайший,
Народный гений воспарил.

Мы у мартенов, где гуденье,
В цехах и шахтах — тоже мы.
Мы коммунисты. Мы идейны,
Принципиальны и прямы.
Единой общностью Советов
Возвышен и сплочен народ.
Страна труда, страна поэтов,
Незыблем твой девиз: вперед!
Еще один рывок к коммуне,
Еще невиданный полет!
Уверенно, с улыбкой юной
Заря грядущего встает.

* * *

Мне поле дорого зимою,
Когда на нем лежат снега,
Мне поле дорого весною,
Когда на нем взошли хлеба.
Оно мой труд, мое старанье,
Моя любовь из года в год.
Иду я в поле на свиданье,
А там меня работа ждет.

Погода будь иль непогода,
Холодный ветер или дождь —
Земля, в любое время года
Со мною ты свиданья ждешь.
Я обручен навек с тобою,
Я о тебе всегда пою,
Я твой солдат. Ты поле боя
За хлеб, за родину мою!

* * *

— С добрым утром! — земле говорю.
А она мне тотчас отвечает:
— Я тебе белый гриб подарю,
Он давно по корзине скучает.
— С добрым утром! — реке говорю.
Мне река отвечает с волнением:
— Я стерлядку тебе подарю,
А не хочешь стерлядку — тайменя! —
Так и быть. Я бросаю блесну
За валун, где бурунные брызги.
Хватка. Сильный рывок. Я тяну,
И на жилке пружинят две жизни.
— Ай-яй-яй! — Неподдельный восторг
Обозначен на солнечном лице. —
Вот какое богатство растет,
Вот какой ты добытчик великий.
— С добрым утром! — петух прокричал.

— С добрым утром,— Москва поддержала.
А волна покачнула причал
И веселая вдаль побежала.

ЮРИЙ МЕЛЬНИКОВ

Салют миру

За Кенигсбергом это было:	И мы всю ночь тогда не спали,
Весенний вечер, тишина...	Стреляли в небо столько раз
Нас вдруг мгновенно охватила	И миру так салютовали,
Весть, что окончилась война.	Что звезды сыпались на нас!

Памяти И. Д. Черняховского

С крутых высот над горизонтом	То не был рядом с ним, но волю
Он слышал взрывы, видел дым...	Его я ощущал в бою.
Он был командующим фронтом,	Ему бы жить в такое время
К тому же самым молодым.	Под светом солнца и луны,
Когда пластунски полз по полю	Но генерал остался с теми,
Я под огнем в чужом краю,	Кто не вернулся с той войны.

Шаги в историю

Мимо деревень спасенных, мимо
Поредевших рощиц, издали
Москвичи, уральцы... Побратимы,
Молодыми мы на запад шли.
Продвигались в глубь метели жуткой,
Снова к фронту по степи седой
В валенках, в дубленых полушубках
И в ушанках с красною звездой.
Перед боем на привалах стыли
И врывались с ходу в города...
И совсем не знали, что входили
Мы уже в историю тогда.

Полковое знамя

Под ним, пробитым, помню, на войне
Я принимал крещение боевое.
Теперь давно в музейной тишине
Развернуто то знамя полковое.
Хранит надежно, бережно музей
Его, что всюду было рядом с нами.
И отблески боев тех жарких дней
Не меркнут на полотнище с годами.

АЛЕКСАНДР КОВАЛЬ-ВОЛКОВ

В армии

1

Ты, жизнь моя, вся в стартах и причалах.
В казармах, переполненных мечтой,
Своею правотой и высотой
Ты вся во мне. Не так уж это мало.

Там дружба дух и сердце врачевала
 Солдатской прямоотой и чистотой.
 И согревала памятью святой:
 Она — моей поэзии начало.
 Восходят годы к новым перевалам,
 Но честь знамен, испытанных войной,
 Над юностью армейской, над страной
 Озарена победой, как бывало.
 Хоть далеко до мирного привала —
 Летит планета в май очередной.

2

Летит планета в май очередной
 Во всей голубизне и постоянстве,
 И солнечное время и пространство
 Бескомпромиссно служат ей одной.
 Сменяются всесветной чередой
 Рабочие рассветы и закаты,
 И мир взрослеет, вглядываясь в атом,
 Глобальной озадаченный судьбой.
 И мы под пятикрылою звездой,
 Его первопроходцы и солдаты,
 Чтоб горькие не грянули набаты
 И небо не обрушилось бедой, —
 Мы служим миру, помня об утратах.
 Мы согреваем космос добротой...

СЕРГЕЙ АГАЛЬЦОВ

Солдат

В моих глазах сейчас волнение, В них радость и испуг сейчас — Все потому, что в увольнение Иду, салага, в первый раз. Иду, конечно, чуть беспечно. В такой торжественный момент.. Любовью полн, плывет навстречу С подругой ветреной студент.	Но ведь и я чего-то стою. Пусть моден он и бородат, Я мог быть тоже с бородою, Мне не положено — солдат. Вот сад. А в нем кружатся люди. Оркестр гремит на все лады. И верится: меня полюбят Без модных брюк и бороды!
--	---

Уеду

Сижу. Молчу. Сейчас уеду. Конечно, не ударит гром. Вот встал и поклонился деду, Отцу и матери — потом. В компании веселой, пестрой, Когда уже возник вокзал, Не поклонился братьям, сестрам, Но «до свидания» сказал. А легкомысленной подруге	Шепнул: «Желаю счастья вам!» И крепко-крепко жал я руки Пришедшим проводить друзьям. Рванул вагон — рыдать не будем! — И помахал в окно рукой Полям, деревням, добрым людям, Ну а на злых махнул рукой.
--	--

* * *

Сел в самолет я на аэродроме,
 Потом на поезд — и катил домой.
 Когда сижу опять в родимом доме,
 Как на ладони жизнь передо мной.
 Я помню, как сестру тянуло к куклам,

Но я такое вижу хорошо —
 За зеркалом большим и полукруглым
 Я так искал себя, да не нашел.
 Я рос, а журавли над нашим домом
 Куда-то звали, в облаках трубя.
 И я в краю чужом и незнакомом,
 Забыв свой край, хотел найти себя.
 А после много мыкался по свету.
 Мне это все не стоило труда.
 Я, может быть, объеду всю планету,
 Но все равно опять вернусь сюда!

* * *

Как будто пронеслись над миром грозы,
 Какая тишь царит на всей земле!
 И огонек далекой папиросы
 Мерцает так приветливо во мгле,
 А я иду вечернею дорогой
 Через скрипучий деревенский мост...
 Для одного меня зачем так много
 Сегодня в небе высыпало звезд?
 Зачем перед горящей звездной сферой,
 От суеты житейской в стороне
 Я полон самой светлой в мире веры,
 Которой долго-долго жить во мне?
 Нахлынет грусть, ударит жизни проза,
 Спасут любовь и дружба на земле —
 И огонек далекой папиросы
 Опять мигнет приветливо во мгле!

* * *

Они звучат во мне неслышным гимном.

М. Луконин.

Они служили как могли отчизне,
 Их по земле вела своя стезя!
 Мне не узнать, куда они исчезли,
 Куда они ушли, мои друзья.
 Они во мне насмешливы, серьезные,
 Перед ушедшими земля права.
 Уже над ними шелестят березы,
 Уже над ними выросла трава.
 Когда-нибудь и я в земле истлею,
 Все в мире станет на свои места.
 Но я в себе навек запечатлею
 Все, что люблю, — родимые места,
 Веселые и ласковые лица,
 И, уходя, я пересилю грусть.
 Мир, словно двери, тихо растворится,
 И я в нем до кровинки растворюсь.
 Ну а пока иду, глаза таращу.
 Что ж, для начала пусть в себя вберет
 Пейзаж из двух березок немудрящий
 Душа моя на сотни лет вперед!

* * *

Тут донские холодные воды
 И сухая трава чернобыл.
 Тут когда-то, в военные годы,

Мой отец пулеметчиком был.
Он сражался с немецкой пехотой,
Где с одним лишь желаньем стою —
Чтоб, как пуля его пулемета,
Бил мой стих. Прямо в цель. Как в бою!

ВЛАДИМИР САВЕЛЬЕВ

Куба

Укрытый тенью в солнечных накрапах,
мне близок островок далекий тот,
где пенный вал, как лев на задних лапах,
с глухим рычаньем к берегу идет.
Идет, идет, идет — и мокрой глыбой
вдруг рушится, расплющиваясь вмиг.
Там и сейчас за чудо-юдо рыбой
плывет хемингуэвский старик.
Министры там рискуют головою,
звучат на бурных митингах стихи.
И не платки — оружие боевое
своим невестам дарят женихи.
Друзья мои! Теряйте чувство меры,
когда слепой сгущается туман
над островком, похожим на сомбреро,
упавшее в открытый океан.
Волнуйтесь, спорьте, всматривайтесь в дали,
не забывайте, мирные, того,
что и в краю российском заседали
враги вдесятером на одного.
И все же дед мой не потупил взора,
когда его, хозяина земли,
с цепями для прямого разговора
в лесочке кулаки подстерегли.
Отец мой так и не покинул склона,
где, раненным ведя неравный бой,
всю ночь до предпоследнего патрона
удерживал высотку за собой.
Я не поклонник броского плаката,
но верю, что фиделевских ребят
с тремя вождями пролетариата
в борьбе не только бороды роднят.
И пусть ярятся год за годом кряду
те, кто опять, в который раз опять,
земного шара тяжкую громаду
мечтает хлебным шариком катать.
Встревавший лишь в мальчишеские драки,
я, если кликнут отвести беду,
стреляя на ходу, сквозь все атаки
в одной цепи с кубинцами пройду.

* * *

Вид отсюда красив и заманчив.
Но в полоне у страсти иной
безоглядно растет одуванчик
на могучей стене крепостной.
Среди трав бы ему неприметно
притулиться поближе к кусту,

а не здесь — под напористым ветром,
над верхушками лип, на свету.
А не здесь, где гремели пищали
и в радушии схватки былой
наши предки врага угощали
и клинком и кипящей смолой.
А не здесь, где ходило кругами
сквозь столетья от прапраминут:
«Берегись! Не крутись под ногами!
Размолотят! Затопчут! Сотрут!»
Но вершится истории чудо —
и несет крепостная стена
одуванчик: привольно отсюда
разлетятся его семена.

МАНСУР САФИН

Камазовское

Кто сказал: «Отремели бои»?
Атоммаш на повестке и БАМ...
Но равняются все же они
По камазовцам, значит — по нам!
Мы не просто ударная, мы —
Воплотившие планы в сталь,
Песней сердца и силой рук
Оживившие эту даль.
Мы — зажегшие звезды дней
Ярым сполохом слова «КамАЗ»!
Кто сказал: «Отремели бои»,
Тот не знал и не знает нас.

ВЛАДИМИР ОСИНИН

Народ

В своих архивах рыться не привык.
Холмы тех лет припорошил зазимок...
Среди поблекших писем фронтовых
Попался мне давно забытый снимок.
Наш экипаж — танкистская семья.
Сидят ребята на броне. О боже! —
Как все они немислимо похожи!
Один из них — как будто это я...
Да, время все черты наши сотрет,
Но в самом том поистине великом,
О чем обычно говорят «народ», —
Предстанем мы одним
Бессмертным ликом.

Под Ельней

Четыре немецких вагона
Под Ельней по рельсам гремят
Как будто над морем зеленым,
Пуржит по холмам листопад.
И чудится: вечер багряный,
Траншеи и танки взразброс...
Седые стоят ветераны,
Пасут за околицей коз.

И кажется — минула вечность,
 Когда из последних сил
 Крикун паровозик «овечка»
 Пехоту здесь к фронту тащил.
 Четыре стеклянных вагона —
 Как праздник! Светлы и быстры.
 Старухи, корзины, бидоны,
 Гармошка военной поры...
 Спокойный и лет своих старше,
 Живу, ничему не дивясь,
 И с эхом далеких тех маршей
 В душе не потеряна связь.
 Вагоны летят все быстрее,
 А воздух прозрачен и свеж.
 И кажется, будто на Шпрее
 Был занят лишь первый рубеж.

О матери

Она, не мысля встретиться со мною,
 Свой сон читала как по букварю:
 Как я в подбитом танке за броней,
 Под люками закрытыми горю...
 А мне свои бы сны поведать ей!
 Хотел бы знать я, доли не вина:
 На этом свете сколько дней
 Не дождала она из-за меня?

Н. РУДОЙ

Из цикла «Ветеран»

Сержант

Снаряды тут рвались врагу вдогонку.
 Но чудом уцелели две сосны,
 И корни их, переплетясь в воронке,
 Обнажены до самой глубины.
 Их долго иссушали зной, и ветер,
 И дым артиллерийского огня.
 Поникли обессиленные ветви
 И осыпалась желтая хвоя.
 Но как-то утром, возвращаясь в часть,
 Деревья вдруг увидели солдаты.
 Сержант воскликнул: «Экая напасть! —
 И дал команду: — Доставай лопаты!»
 Где ты, сержант, откликнись, отзовись!
 Неужто ты не дождал до победы
 И не увидел, как и вширь и ввысь
 Пустили сосны юные побеги?

Юность

Ночь накануне выступления
 Я до сих пор не позабыл.
 Не позабыл я то селенье,
 Где тыл и все-таки не тыл,
 Где старики одни и дети
 И только несколько девчат.

И я в ту ночь при лучном свете
Читал средь обгоревших хат,
Читал то шепетом, то громко
Стихи, пропахшие войной.
И слушали меня потемки
И чудо с русою косою.
Спокойно слушала сначала,
Потом с волнением, почитай,
И вдруг смущенно прошептала:
«Ты о любви мне почитай».
С досадой думал я, не скрою:
Земля в руинах и в крови
И стала ненависть святою,
А ты читай ей о любви.
Подумал, что кощунством было
Желанье девичьей души
Здесь, на непрочной кромке тыла,
Где фронт меняет рубежи.
Но с возрастом пришла терпимость:
С улыбкой вспомнил я позднеей
Наивную непримиримость
Суровой юности моей.

* *
* *

Я вернулся к родным пепелищам,
Где еще не рассеялся дым,
Где ни света, никрова, ни пищи.
Но ведь я к ним вернулся живым.
И познавшие сталь автомата
Огрубевшие руки мои
Затаили в себе киловатты
Генераторам мощным сродни.
Пуля насмерть меня не сразила,
И когда отгремели бои,
Я принес вам уверенность силы,
Пепелища родные мои.
Так я думал тогда, в сорок пятом.
А теперь, на десятке шестом,
Мог ли тем я остаться солдатом,
Что вернулся в разрушенный дом?
Не разъели же мирные годы,
Что порою военных страшней,
И фундамент, и стены, и своды
Сокровенной надежды моей!
И могу ли спокойно и смело
Я признаться себе и другим,
Что бывшее во мне уцелело
И достанется внукам моим?



АНАТОЛИЙ АНАНЬЕВ

★

ГОДЫ БЕЗ ВОЙНЫ*

Роман

XLIV

Тыбы вполне знать традиции и уклад жизни того или иного народа, недостаточно только пожить жизнью этого народа (месяц ли, год ли, дольше ли — не имеет значения), а надо родиться на этой земле. Все люди нерусского происхождения, особенно те, что смотрят на нас из-за рубежа, всегда говорят о некоей загадочности русской души, тогда как для всякого русского человека нет никакой загадочности ни в самом себе, ни в своем народе. Все, что было в истории, и все, что происходит с нашим народом теперь, есть только естественное выражение характера, склада ума и суровости природных условий, в которых устраивалась, протекала и протекает наша жизнь. Точно так же и у других народов проявление их характеров есть следствие многовековых и естественных условий их жизни, и потому для венгра нет загадочности его венгерской души, какую душа эта должна представляться нам. Дорогомилин не то чтобы думал над этими вопросами загадочности души, но чувствовал, живя среди чужих ему людей (как ни были они открыты и дружелюбно настроены к нему и ко всем советским людям), что постичь их жизнь, вернее постичь многое из того, что он видел (и что было, в сущности, привычным, естественным для венгров и не замечалось ими), он не мог; и оттого невольнo это многое становилось загадочным для него. Он видел, что система руководства хозяйством, как и руководства страной — и в партийном и в государственном отношении, — была как будто такой же, как у нас: те же обкомы, горкомы, райкомы и та же выборная от верха до низа власть на местах; по тому же будто принципу подчинения и скоординированности работали сельскохозяйственные и промышленные предприятия, и даже многие ведущие специалисты были с дипломами наших высших учебных заведений, то есть со знаниями, полученными у нас; он видел, что многое и многое было схоже с тем, как было у нас, но в то же время по какому-то будто особенному прилежанию к делу и, главное, по результатам всего было различие, которое как раз и казалось Дорогомилину странною и непостижимою загадкой. «Может быть, и в самом деле от народа зависит? — приходило на ум ему это болезненное, против чего сейчас же восставала в нем вся историческая гордость его. — Нет, не от народа, — отвечал он. — Но от чего же тогда?» И он только с еще большей внимательностью начинал присматриваться к тому, что было вокруг.

Он жил в доме Яноша Сабо в отведенной ему отдельной комнате и вполне мог наблюдать за жизнью простой, состоявшей лишь из трех человек венгерской семьи. Яношу только что исполнилось тридцать

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 1 с. г.

пять, он был красив и строен, как может быть строен мужчина в его возрасте, и был (как инженер-эксплуатационник) на хорошем счету у руководства птицекомплекса Агард. Учился он в Москве и охотно и довольно еще хорошо говорил по-русски. Дорогомилина он называл не иначе как по отчеству, не выговаривая всего слова «Игнатъевич», а произнося просто «Гнатич», что было удобно и, видимо, по понятиям его, уважительно для русского человека, и Дорогомилин ответно называл его «Янош, дорогой», непременно добавляя это «дорогой», расспрашивал ли когда о чем или, разговорившись, когда семья Яноша собиралась за столом, рассказывал о себе. В гостеприимстве Яноша, в том, как он умел улыбаться и слушать, было, казалось Дорогомилину, что-то такое, что, видимо, роднит всех простых людей на земле. «В любой семье и у нас с таким же радушием приняли бы его», — думал он, не находя в общем укладе жизни Яноша чего-либо особенного, что поразило или удивило бы его, кроме разве тех явных признаков различия, которые заключались иногда в одежде, иногда в приготовлении блюд, в привычке спать не на перинах, как в деревнях и городах было принято раньше у нас, а под перинами, укрываясь ими как одеялом. Дорогомилину казалось, что в Яноше было что-то такое — крепкое, основательное, — что было в брате Николае, как он всегда видел и понимал брата (и понимал себя), а в жене Яноша Маргит — что-то от жены Николая Лоры с ее спокойствием, домовитостью и любовью (как Дорогомилин думал о ней, особенно в этот последний свой приезд к брату); и он ловил себя иногда на том же чувстве к Маргит, на каком ловил себя по отношению к Лоре. Чаще всего это случалось с ним в минуты, когда он видел Маргит в ее национальном наряде. Суть ее национального наряда состояла как будто лишь в том, чтобы как можно больше надеть на себя гофрированных, в крупную складку юбок, как это со стороны представлялось Дорогомилину. Но в то время как он смотрел на юбки, полнившие ее, он видел не эти ее юбки и не полноту, которой так страшатся нынешние женщины, боясь стать немодными и моря себя голодом для того, но, глядя на Маргит, он еще острее будто начинал понимать то главное предназначение женщины (как он понимал это предназначение в Лоре), суть которого есть материнство, и он вспоминал о своей Ольге с ее вишневой, под старину гостиной и завсегдаятами в ней и постоянной тягой ее к Западу, вернее к тому ложному, как это очевидно было Семену теперь, что мы воображаем себе европейской жизнью, в то время как настоящая, не ложная европейская жизнь — вот она, такая же простая, основательная и ясная, как она не в ложном, а в настоящем виде есть всюду и в русских семьях. «То, что настоящее, везде настоящее», — говорил себе Дорогомилин, чем дольше жил у Яноша и чем больше сравнивал его семейную жизнь со своей (и с семейной жизнью брата). Он с завистью смотрел на Маргит, как та по утрам, как и во всякой нашей русской семье, собирала и отправляла в школу свою девятилетнюю, похожую на отца и, очевидно, счастливую этим Илонку. Илонка была любознательна, как все дети, и Дорогомилин с охотой учил ее произносить русские слова. «Все как у нас: и воскресные застолья, и вечерние сидения у телевизоров, и семейные выходы в кинотеатр, — перечислял Дорогомилин, добавляя к ним и поездки в Секешфехервар (областной центр), на озеро Балатон и на местное озеро Вэлэнци, где устраивались гулянья и пикники. — Все как у нас, и нет ничего особенного ни в воспитании и общении подростков, ни в общении взрослых, — думал он. — Но отчего же тогда это особое будто прилежание к труду? Что заключено в этом?» Но как он ни всматривался, не мог ответить себе на этот вопрос.

Его поражали не просто дисциплина и культура труда (что могло быть одновременно и традицией и поддерживаться экономическим стимулом), но поразительно было, что культура эта, как общая культура жизни, чувствовалась во всем, с чем бы он ни соприкасался.

Работавших на каждом участке птицекомплекса было ровно столько, что им некогда было по полдня проводить за перекурами, тогда как и не было перегруженности, чтобы люди изможденными приходили домой. Корпуса (и служебный и производственные) были поставлены так, что невозможно было более удобно расставить их. Точно так же было и с кормами для птиц, и с механизмами, и с отбором молодняка для воспроизводства, и еще и еще в разных мелочах, каких достаточно в хозяйстве. Поразителен был этот продуманный, ненавязчивый и необременительный, но точный рационализм, с которым Дорогомилин, казалось ему, сталкивался не только на работе, но везде: в столовой ли, где если подавалось блюдо, то всего в нем было столько, что съедалось все и не выбрасывались затем груды отходов, если подавался хлеб, то булочка (всякий раз мягкая) была того определенного размера, что как будто с точностью было вымерено, сколько на завтрак, обед и ужин требовалось человеку хлеба — и ни грамма больше, ни грамма меньше, а если подавались сливки к чаю или кофе, то в той разовой (маленькой) упаковке, что просто невозможно было не удивляться этому выверенному рационализму. «Что это? Хорошо? Плохо? И может ли привиться у нас?» — думал Дорогомилин, видя в этом рационализме то огромное дисциплинирующее начало, какого нам при нашей так называемой широте души, происходящей будто бы от широты наших просторов, а в сущности, от безалаберщины, и при безграничности будто бы природных богатств (которые мы всегда умели и умеем пускать сквозь пальцы) не хватало. «Да, есть чему поучиться, есть, есть», — приходил к этой мысли Дорогомилин.

Для венгров жизнь их изобиловала своими проблемами, и не все было в ней так соотнесено одно с другим, как представлялось Дорогомилину. Но он видел ее такой (как наездами видел жизнь брата, восхищаясь ею) и до полудня засиживался, делая записи своих наблюдений и представляя, как все преобразилось бы, если бы это дисциплинирующее начало труда было перенесено к нам.

XIV

Вернулся Дорогомилин из Венгрии в конце сентября полный вдохновляющих впечатлений, идей и планов переустройства по тому открывшемуся образцу рационализма, который не то чтобы не был известен у нас прежде (в понятие европейской жизни всегда входило понятие рационализма), но, привозимый разными умными людьми в Россию, рационализм этот либо не принимался вовсе, либо, насаждаемый насильственно, образовывал те формы уродства, от которых только еще сильнее возникало у всякого русского человека желание противостоять этому чужому, что навязывалось ему. Дорогомилин и сам не раз испытывал это чувство неприятия, когда видел, что в привычный уклад народной жизни (хорош ли, плох ли этот уклад — вопрос другой) вдруг начинало вклиниваться то размывающее, что приходило от Запада и не совмещалось с нашими представлениями труда и нравственности. «Мы что же, немцы какие? У нас свой рационализм и свой подход ко всему, дай только развернуться и не бей по рукам, не держи, не связывай, как это веками делали с нами, а мы уж найдем, как обходить все на своей земле». Так думали и продолжают думать русские люди — от чувства национальной гордости (как и всякий народ может думать о себе), и Дорогомилин не только знал, но и разделял это мнение; он вполне представлял, как трудно перешагнуть этот барьер в себе, не говоря уж о народе (да и нужно ли перешагивать, а если перешагивать, то через что и до какой черты?), но впечатление его от поездки в Венгрию было так сильно в нем, а желание переустройства, то есть добра всем, так искренно, что и гордость в себе и все иные барьеры (в народе) были забыты, словно их и не существовало вовсе, и он был озабочен только одним — по-

скорее передать всем и привнести в общую жизнь это, чем он был переполнен теперь.

«Да, нам надо больше, больше ездить, смотреть, видеть и перенимать»,— выходя на перрон Киевского вокзала Москвы, думал Дорогомилин, в то время как на лице его, еще более загоревшем, чем месяц назад, когда он выезжал из Пензы, ясно было видно то выражение душевной обновленности, как бывает на поле после дождя, когда каждый стебелек полон радости жизни. Сутуловатый, долговязый, худой, как он выглядел всегда перед теми, кто знал его, с перекинутым через руку плащом и с чемоданом с подарками — и для Кошелевых, и для Ольги, о которой он не думал теперь так мрачно, как в день отъезда, и даже для Мити с Анною, которых надеялся повидать в Москве, как обещал, чтобы помочь Мите,— он неторопливо двинулся вслед за членами делегации, с которыми приехал, к выходу, весело и счастливо поглядывая по сторонам. Толпа людей, та самая толпа, по которой (как это принято считать многими), как она одета, сейчас же узнается уровень жизни народа и государства,—толпа эта, двигавшаяся по перрону и на привокзальной площади, была точно такой же, какой она по внешнему виду была в Будапеште. Так же суетно и непонятно зачем одни спешили направо, другие налево, устремляясь как два потока навстречу друг другу, бурля и растекаясь по троллейбусным и автобусным остановкам, к метро и стоянкам такси. Утро было ясное, солнечное, и день ожидался сухим, теплым, одним из тех редких для этой поры (по московской погоде) дней, когда кажется, что лето только еще достигло середины и ничто не напоминает об осени. Солнечно и тепло было так же, как солнечно и тепло было в Будапеште, женщины шли в платьях, мужчины в рубашках и костюмах, от асфальта и серых вокзальных стен отдавало теплом, как это и бывает в летние дни, и Дорогомилин невольно чувствовал тот какой-то связующий мостик, который в душе его давно уже был перекинут между Москвой и Будапештом, между тем огромным народом, который представлял он, Дорогомилин, и тем, представителем которого был Янош со своей семьей, и эта очевидная погодная будто схожесть и схожесть толпы, одинаково одетой и одинаково суетной, как видел ее Дорогомилин,— все было для него лишь подтверждением того, что люди, обычные простые люди везде одинаковы и что то, что возможно в Венгрии (то есть рационализм как дисциплинирующее начало и как источник определенного достатка и уровня жизни), возможно и здесь, и что надо только понять, в чем суть этого европейского рационализма, как понял и ощутил все сам Дорогомилин; и он тем счастливее смотрел вокруг себя, чем сильнее сознавал себя готовым служить людям.

Но вместе со всем этим единством жизни, как он радостно воспринимал все, в то время как он, ожидая такси, продолжал смотреть на толпу и стаи машин, устремлявшихся то с моста к площади, то от площади к мосту, он невольно начинал замечать и то неуловимое прежде различие, какое так ли, иначе ли, но он должен был ощутить. Людей и машин было здесь больше, чем в Будапеште, и площадь, на которой он стоял, была размашистее, шире, и гул, казалось, был беспрерывнее и мощнее. Он не видел всей Москвы, как она, раскинувшись микрорайонами на пространстве поля и леса, лежала, скованная столетиямикилометровым обручем кольцевой дороги, не видел ни центра с Кремлем, Красной площадью и прилегавшими к ним кварталами разных административных зданий, гостиниц, торговых рядов и церквушек Зарядья, сверкавших обновленным золотом куполов, ни Бульварного кольца со всей его московской стариной, ни Садового с потоком «МАЗов», «ЗИЛов», легковых, с виадуками и готическими (сталинского периода) высотными домами, вызывавшими когда-то толки и недовольство и неотделимыми теперь от общего силуэта Москвы; но весь этот огромный столичный город с его заводами, строительными площадками, театрами, музеями, научными и министерскими кабинетами...

тами, с его традициями непокорства и братства, то есть со всей той умственной и физической жизнью, какая была сосредоточена здесь,— горд этот производил на Дорогомилина то впечатление, что будто от игрушечных европейских столиц, от тех малых квадратов ухоженной земли, где и руки не разведешь, чтобы не наткнуться на что-либо, он попал совсем в иные масштабы жизни; и вместе с тем как он чувствовал эти иные масштабы жизни, в сознании его не то чтобы возникло сомнение, нужен или не нужен здесь европейский рационализм, но он просто приходил к мысли, что будто привез детские штанишки для взрослого человека и надо было, вынужден, подавать их и стыдно и неловко было сделать это. «Здесь своя жизнь, свой ритм и свое то главное, что составляет стержень всего»,— думал он, в то время как все еще стоял в очереди, ожидая такси. В душе его происходила перемена и перемена эта отражалась на лице, на котором исчезало веселое и счастливое выражение и заменялось озабоченностью; он молча сел в машину (с тем усталым видом, который был как будто от дороги, но на самом деле от придавленности масштабами жизни) и молча и нахмуренно смотрел перед собой на Смоленскую площадь, к которой подвозил его таксист. Перед самым въездом на площадь была пробка (было зауженное место из-за какого-то ремонта дороги), через каждые два-три метра машина останавливалась, окруженная десятками других, двигавшихся с той же скоростью, и от асфальта, от выхлопных газов и работающих моторов было угарно и жарко. Это ощущение жары усиливалось еще тем, что горловина дороги была с двух сторон стеснена высотными корпусами какой-то строившейся современной гостиницы (с подземными переходами, о чем к слову будто сообщил таксист), а впереди над площадью, над капотами и крышами столпившихся машин, как трезубец, подпирающий небо, нависало высотное (одно из тех, сталинского периода) здание министерства, пряча за своей каменной спиной старые и мелкие арбатские переулки Москвы.

XLVI

Дорогомилина, как и других, прибывших с ним, поместили в гостинице «Россия». Им надо было еще пожить в Москве, чтобы побывать в соответствующих управлениях и главках, но этот день, день приезда, был объявлен свободным и можно было использовать его для себя.

У Дорогомилина было три возможности использовать этот день — поехать к Кошелевым или к Мите или же попробовать поискать Ольгу, которая, как он чувствовал, могла быть еще в Москве. «Да что же к брату, когда она может быть еще здесь»,— подумал он, в то время как выкладывал и перебирал подарки, вспоминая, какой и для кого был куплен им. У него было несколько адресов, где обычно останавливалась Ольга, приезжая в Москву, и как только он в почищенном и подутюженном (горничною на этаже) костюме вышел из гостиницы на улицу и оказался в такси, он сейчас же назвал тот первый адрес, где он полагал найти теперь Ольгу.

— На Аэропортовскую,— сказал он таксисту, удобнее усаживаясь на переднем сиденье, как он всегда любил ездить, и поправляя на себе костюм, чтобы не помять его.

Он застал Ольгу в тот момент, когда она, только что выпроводив Тимонина, с которым провела ночь, была еще в халате, неприбранная, непричесанная и допивала за кухонным столом остывавшую чашечку кофе. Вся еще под впечатлением объятий с Тимониным (и с чувством тепла и слов, какие тот говорил ей), она была так удивлена появлением мужа, что в первую минуту только смотрела на него и не могла ничего сказать ему.

— Ты?— затем спросила она.— Ну и что же ты этим хочешь сказать?

— Я рад тебя видеть, Ольга. Я был в Венгрии и так соскучился, сейчас же проговорил он, как будто не было никакой размолвки между ними.— Ты не представляешь, как я рад, что застал тебя,— снова сказал он, подойдя, обняв и целуя ее. Он взял ее на руки и, пройдя с ней в глубь комнаты, опустил на диван перед собой, всматриваясь в ее смущенное и покрасневшее от неловкости лицо. Он находил в этом подсушенном будто и заостренном лице ее то, что он красивого всегда находил в нем, и не хотел отрывать от него взгляда.— Ты не представляешь... Я знал, я чувствовал, что ты здесь,— видя, что эти слова действуют на нее, повторил он. То, что она не оттолкнула, когда он переносил ее, было для него признаком примирения, и он, торопясь закрепить это примирение, прижал ее холодные влажные ладони к своим щекам.

— Нет, Ольга, это счастье, что мы опять вместе,— выждав минуту, повторил он, возбуждаясь от близости и доступности ее.— Я столько думал о тебе.

— Но думала ли я? Ты меня спросил?— высвобождаясь от него, решительно сказала она.— Или я уже не в счет?— И она, встав и отойдя к окну, принялась расчесывать свои длинные и редкие черные волосы, стоя спиной к мужу — вся такая же для него, какой он помнил ее (по пензенской своей квартире), когда перед сном, прежде чем лечь, она подходила к зеркалу и, подняв оголенные руки, начинала прибирать и заплетать в косу прежде рассыпанные по плечам и спине волосы. Он хорошо помнил эти ее движения, на которые смотрел теперь, и в душе его не только не было огорчения или обиды на нее, но, напротив, он готов был как будто не то чтобы простить все ей, но готов был сам повиниться перед ней, хотя и не знал, в чем состояла его вина.

Ольга продолжала стоять к нему спиной и обдумывать свое положение.

С тех пор как она видела в последний раз мужа, ей казалось, что она пережила столько, что была теперь другой, чем прежде, тогда как на самом деле не только не была другой, но все дурные привычки ее и желания, исходившие от сознания того, что она литератор и, значит, человек особенный, имеющий право претендовать на особое место в обществе, лишь сильнее здесь, в Москве, укрепились в ней. Она, в сущности, не жила эти месяцы (в том понимании полезности труда и духовного обогащения, что мы обычно подразумеваем под словом «жизнь»), но оставалась в кругу тех же своих пензенских интересов и страстей, целью которых было лишь всегда быть на виду и признанной всеми. Для чего надо было быть на виду и признанной всеми, она не говорила себе, но она постоянно думала о средствах, какими можно было достичь цели, и надеялась на Тимонина, который, однако, только обещал все и не делал ничего, как он обычно обещал всем и не делал, и Ольгу оскорбляло и мучило это. После ссоры с ним на карнауховской даче она не хотела слышать о нем, но вскоре убедилась, что без него было трудно обойтись ей, и вновь нашла способ повидаться с ним и допустила его к себе. Ей тяжело было сделать это, как будто что-то тошнотворное предлагали проглотить ей, и как она затем ни подавляла в себе ощущение тошноты, уверяя, что: «Куда он денется? Он мой, и я заставлю его сделать то, что он обещал (что в ее понимании было жениться на ней, как если бы она была уже свободна)», — теперь, когда за спиной был муж и смотрел на нее, ей особенно неприятно было чувствовать себя обманутой Тимониным. Она даже на минуту как бы застыла с расческой в руке — так мучительна была ей ее беспомощность. Ее оскорбленному чувству нужен был выход, и она с той логикой, как это делает большинство женщин, по которой всегда и во всем бывают правы только они, сейчас же сказала себе, что во всех ее мучениях (и в этом унижении и стыде, что допустила к себе Тимонина) был виноват муж. «Кто же еще? Разве

не из-за него я здесь и разве не из-за него переношу все это?» И этого ей было вполне достаточно, чтобы не только почувствовать, но поверить в то, что она и в самом деле чиста; и оттого, что она была чиста, что во всех страданиях, каких натерпелась она, повинен был муж, который допустил все, она только с большим пренебрежением думала теперь о нем и с холодностью и спокойствием ожидала его объяснений.

— Ты был в Венгрии? — затем повернувшись к мужу, спросила она, хотя секунду назад не собиралась говорить с ним об этом. — Я не ослышалась? — добавила она, ловя глазами взгляд мужа и сосредоточиваясь вся на этой как будто вдруг открывшейся ей перспективе, что в служебной карьере мужа произошло что-то важное, чего она не знала, но чем надо было, пока не поздно, воспользоваться ей (все для тех же своих целей, о которых она, впрочем, никогда открыто не говорила мужу, боясь, что он не поймет ее). Она сейчас же уловила то для себя главное в изменившемся положении мужа, что ей всегда представлялось престижным в людях, то есть возможность (по должности) заграничных поездок, и в том своем всегдашнем выборе между Тимониным и мужем, в котором прежде всегда отдавала предпочтение Тимонину, она почувствовала теперь, что предпочтение могло быть отдано мужу; и в соответствии с этим новым ходом мыслей (чтобы не упустить, что могло принадлежать ей) на лице ее вместо холодности и отчуждения появилось то теплое выражение, с каким она обычно, когда хотела успокоить и привлечь к себе мужа, смотрела на него.

— Что же ты молчишь? — спросила она, голосом еще более давая понять, как она чиста перед ним.

— Смотрю на тебя, — ответил Дорогомилин, видя лишь это потепление на ее лице, по-своему понимая значение его и подаваясь вперед, чтобы обнять ее. — Я больше месяца был в Венгрии и столько повидал, столько интересного привез, что... вылезти нам надо из лодки, в которой сидим, вылезти, чтобы сдвинуть ее!

Для Дорогомилина с того дня, как он расстался с Ольгой, произошло столько событий, обогативших и изменивших его, что он, глядя теперь на жену (и на прошлую свою жизнь с ней), смотрел на все иным, новым и восторженным взглядом. То, как он в прошлом жил с ней, казалось ему, было нелепым и глупым заблуждением; то, как мог бы построить с ней жизнь теперь, представлялось так, будто поле, прежде обозримое только у ног, виделось с высоты со всеми своими возможностями и выгодами расположения. Пережитое им, когда он смотрел на Лору с ее детьми и на всю обстановку в доме брата, и повторенное затем это же чувство, когда наблюдал за Маргит, завидуя Яношу (завидуя, в сущности, тому, что есть обычные, нормальные семейные отношения), он переносил теперь на Ольгу, примеривая невольно взглядом, как бы ей подошло быть на месте Лоры или Маргит, и находя (с тем чувством удовлетворения, что он не ошибся в свое время, женившись на ней), что она была не хуже, но лучше как женщина и привлекательнее их. «Как же я не видел и не понимал этого раньше и не сделал того, что сделали у себя брат Николай и Янош (то есть не создал той самой семейной атмосферы в доме, в которой, как он ясно видел теперь, как раз и заключено было счастье жизни). Я обвинял ее, но как же я мог обвинять ее?» — думал он, этим своим оценивающим взглядом продолжая смотреть на нее. Он как будто не связывал то, что было его личным делом (свою жизнь с Ольгой), с тем, что обновленного было в сознании его по отношению к общественному устройству (поразивший его европейский рационализм, о котором он снова думал, что можно было с пользой применить его здесь), но все это само собою было объединено в нем и представляло цель, к которой он был устремлен теперь.

— Мы думаем, что мы живем и нет нигде и ничего лучше нас,— не разграничивая общественного и личного, а видя в единстве этот целостный идеал жизни, продолжал Дорогомилин, в то время как для Ольги не только непонятны были эти его слова, но она сейчас же почувствовала за этими словами ту знакомую ей и осуждающуюся ею в муже беспредметную демагогию, за которой как за стеной всегда бывало скрыто конкретное дело. Ей хотелось услышать от мужа не это, а другое, что подтвердило бы ей ее обнадеживающие предположения; но Дорогомилину казалось, что то, что он говорил, не могло не представляться интересным ей, и продолжал восторженно: — Ты понимаешь, я как будто заново родился после этой поездки. Круг жизни, он не ограничен нашим двором, нашей областью или нашим государством, если хочешь.

— Ты не ответил на мой вопрос,— остановила его Ольга.— Хочешь поесть? Я приготовлю кофе.

XLV.

Пока Ольга готовила кофе и переодевалась затем, чтобы выйти к столу, Дорогомилин был предоставлен себе и прохаживался по комнате с тем углубленным в себя выражением, будто мир вещей в этой незнакомой ему квартире, где он застал Ольгу (и который о многом мог бы рассказать ему),— мир этот настолько мало места занимал в общем пространстве нарисованного им идеала жизни, что не было нужды присматриваться к вещам; и по ходу развития этого идеала, как по ходу шагов, он будто слышал поступь того надвигавшегося времени (тех грядущих в наступающем десятилетии перемен), в котором он знал, что и как делать ему; и он точно так же прислушивался к шорохам за дверью, где переодевалась Ольга, чтобы обновленную появиться перед ним, и был весь в ожидании, какую увидит ее.

«Они говорят о нас, что у нас монолит и что все мы едины во мнении по любому вопросу,— вместе с тем про себя говорил он, думая уже не о Венгрии, но о Европе вообще и дискутируя с ней.— Но они только упрекают нас в том, в чем мы сильны, и не видят при этом своего смешного положения». В то время как он смотрел на дверь, из которой должна была выйти Ольга, он продолжал этот спор, где всякий ответ противоположной стороны был только предположительным ответом, в котором все могло быть легко опровержимым.

— Ну вот, можно и к столу,— сказала Ольга, с голубыми тенями под глазами и со всеми своими привычными красками на лице выходя из своей комнаты.

Она была в том желтом кримпленовом платье, в каком она знала, что нравилась Тимонину, и в каком, она чувствовала, была хороша и должна была понравиться мужу. Платье это здесь, в Москве, было еще более укорочено ею, чем оно было укорочено в Пензе (провинция всегда отстает в моде), и ноги ее были так оголены, что в первую минуту неприлично было смотреть на них. Но ноги эти были красивы, как было красиво все улыбавшееся теперь ее маленькое смуглое лицо в обрамлении черных, рассыпанных по плечам и спине волос, и Дорогомилин, успевший отвыкнуть от стиля своей жены и видевший по-иному идеал женщины,— Дорогомилин на мгновение замер, глядя на нее. На него как бы повело прошлым, от которого он отказался как от ненужного, отягчавшего в пути груза. «Да нет, что я, все это не так»,— вместе с тем сказал он себе, в то время как смотрел на Ольгу; и в том колеблющемся состоянии — принять или не принять ее такой,— в каком в это мгновение он находился, он не мог не склониться к тому, что должен принять ее; от-

вечая на ее улыбку своею мягкою и доброжелательною улыбкой, он подошел к ней и взял ее руку.

— Может быть, мы отметим как-нибудь получше эту нашу встречу? — сказал он. — Пойдем куда-нибудь в ресторан.

— Сейчас? Так?

— А что нам еще нужно?

— Ну хорошо, если ты хочешь, — согласилась Ольга. — Я только взгляну на кухню, все ли выключено.

Спустя полчаса они сидели в ресторане гостиницы «Россия» (так предложил Дорогомилин, потому что так было удобно ему), и официант в белом и черном и с черною атласною бабочкой у подбородка, подав в коричневых картонах меню, почтительно ожидал, обращенный более к даме, когда будет сделан выбор. Ольга же не столько читывалась в названия блюд, сколько поглядывала по сторонам. Она была впервые здесь и, видя (по элегантности одежды), что здесь были иностранцы, испытывала то чувство приобщения к чему-то будто особенному, к чему всегда хотелось быть приобщенной ей. Ей нужен был муж-дипломат и нужно было общество, в котором она могла бы, не утруждаясь заботами о делах (как и в Пензе, но только на другом уровне), вести тот же светский образ жизни, в котором если и ценилось что, то изысканность и утонченность манер, к чему она вполне чувствовала приспособленной себя.

— Ты выбрала? — худощавой, впалой грудью подавшись к жене, спросил Дорогомилин, так же бегло и невнимательно читавший меню. Он тоже был как будто иным и подлаживался под тот ложноязысканный тон, какой предложила ему Ольга (и что диктовалось будто бы обстановкой).

— Я доверяю тебе, — сказала она. «Ты же из Венгрии» — было в ее глазах.

Выбрав в основном то, что было предложено официантом, и заказав шампанское, как этого он пожелал сам, Дорогомилин начал расспрашивать затем Ольгу, как были ее дела (разумеется, с изданием книги, ради которой, как он думал, она и была как раз в Москве), что было нового дома и как чувствовала себя Вера Николаевна.

Что было нового дома, Ольга не знала, потому что третий месяц жила в Москве. Не знала она, и как чувствовала себя мать, так как не писала ей и не получала от нее писем. Но по той инерции жизни, что сколько мать ни болела, никогда ничего не случалось с ней, как не случалось ничего и с самой Ольгой (как считала она), она была убеждена, что ни с кем не могло ничего произойти за это время, и сказала (с той иронической усмешкой, что ей приходится говорить это), что все там по-старому и что вообще может ли что-либо измениться в устоявшейся пензенской жизни?

— А я, ты же знаешь, я с утра до вечера занята, — сказала она о себе. — Идет редаKTура, и я должна быть здесь. — И она назвала имя того модного английского писателя, над книгой которого она работала (произнеся все с тем чувством упрека, что муж должен был знать это).

На самом же деле переведенная ею книга была уже сдана в набор, и ей не было необходимости быть в Москве. Она устраивала здесь совсем иные дела, о которых не могла сказать мужу.

Она видела, что она была хозяйкой положения, как если бы и в самом деле была чиста перед мужем; и она невольно входила в то состояние игры с ним, привычное ей, когда она чувствовала, что ни в чем не будет отказано ей. Но она колебалась предпринимать что-либо, так как ей все еще было неясно, переведен ли муж на другую должность, при которой престижно было бы быть ей, или оставлен на прежней, о которой она не хотела ничего слышать; ей неясно было это главное, что одно только интересовало ее в муже, и в то время как официант, принесший блюда, расставлял их на сто-

ле, она продумывала, как было лучше спросить у мужа о его служебных делах.

— Ты все еще в Песчаногорье? — не найдя лучшего, чем спросить вот так, прямо, сказала она.

— Кто и куда переведет меня и нужно ли? — с улыбкою ответил Дорогомилин, сказав искренне, что он думал об этом. — Я, знаешь, даже рад, что у меня конкретное дело, да и поехал ли бы я в Венгрию, не будь этого конкретного дела? — И он начал с Ольгой тот свой разговор, к которому он готовился все эти дни, пока был в Венгрии и возвращался в Москву. Он собирался высказать это обдуманное им не Ольге, а в управлении, или в обкоме, или своим помощникам, с которыми работал в Песчаногорье; но он говорил это теперь Ольге — так хотелось ему рассказать о европейском рационализме как дисциплинирующем начале труда и жизни, чего всегда не хватало и не хватает нам. — Если бы я был человеком государственным, — говорил он, в то время как Ольга внимательно как будто слушала его, — я бы разработал специальные меры по внедрению у нас этого именно европейского рационализма.

— Как я раньше не замечала, что ты такой же прожектор, как и Никитин, — прервала его Ольга, у которой было свое и всегда отличное от взглядов мужа представление о смысле жизни. — Он прогнозирует катастрофы, а ты — созидание, ну а жить, когда жить, а? — сказала она, как она никогда прежде не говорила мужу. «Разница только в том, — подумала она, сравнивая все слышанные ею в гостиных разговорах, которые (и она знала, что все знала это) были только игрой в значительность, с теми прежде непонятными и казавшимися действительно значительными, но открывшимися теперь совсем иной для нее стороной деловыми разговорами мужа, — разница только в том, что там у них (то есть в тех кругах, в которых общался муж) свои ценности и мерки всему, свои признающиеся формулировки и свое понимание значительности». — Ты собираешься из Песчаногорья догнать Европу. Но это смешно и этого никогда не будет.

— Почему? — удивленно спросил Дорогомилин.

— Европа тоже не стоит на месте, а движется, и у нас разные машины и разные скорости.

— Вот именно, — подхватил Дорогомилин, — разные. И если сравнивать, то наша прочнее. Наша, как... как танк, она протаранит все, и ей нет износа. Нам нужно только чуть-чуть филигранности, чуть-чуть европейского рационализма. — И он снова и с тем же увлечением, но убедительнее подбирая слова, как это казалось ему, начал пересказывать Ольге, в чем, по его мнению, заключалось преимущество европейского рационализма перед нашей так называемой широтой русской души.

Когда они вышли из ресторана, была еще только четверть второго, и Дорогомилин, у которого было свободное время, предложил Ольге поехать в Одинцово к Кошелевым.

— Ты увидишь, как у них мило все, сходим на поляны к стожкам, это такое удовольствие, — сказал он (по впечатлению от своей недавней прогулки с братом).

— Я бы поехала, но мне надо к редактору, я и так уже опаздываю, — возразила она. У нее была договоренность о встрече с Тимоныным, и она не хотела нарушать этой договоренности. — Нет, я не могу, ты извини, — повторила она с той решительностью, что нельзя было отказать ей.

Дорогомилин взялся подвезти ее до издательства и, условившись с нею, что вечером зайдет за ней, уехал к брату, чтобы уже ему пересказать все свои венгерские впечатления. То, что Ольга не поехала с ним, было ему неприятно, но он понимал ее. «Раз надо, значит, надо», — думал он, не позволяя даже предположить, чтобы что-то

иное, чем работа над книгой, могло задержать ее в Москве. Но вернувшись от брата, он ни в десять вечера, ни в одиннадцать, ни в двенадцать не застал Ольги; в квартире никого не было, никто на звонок не вышел открыть дверь, и Дорогомилин, не хотевший думать о жене плохо, невольно чувствовал, что он был как будто обманут ею. «Что же с ней, у кого она может быть?» — задавал он себе вопрос, запоздало вспоминая, как это и бывает всегда, что еще днем, когда сидел с ней в ресторане, заметил, что она была чем-то встревожена и неискренна с ним. «Видимо, торопилась в издательство, — старался он успокоить себя. — Но все-таки где она может быть?» Искать ее по ночной Москве, он понимал, было бессмысленно, и он вернулся в гостиницу мрачный и озабоченный этим новым обстоятельством. Он снова испытывал то знакомое уже ему чувство незастигнутой ширинки, когда надо было отвернуться от людей, чтобы привести себя в порядок; и в то время как он мысленно старался накинуть петлю на пуговицу, он с ужасом чувствовал, что он то не находил петлю, то не мог нащупать пальцами пуговицу и вот-вот все должны были увидеть весь ужас его положения. «Уйти, порвать, бросить, не видеть ее», — думал он. Но он был связан тем общественным мнением (что он хороший семьянин), какое он сам в течение многих лет создавал о себе, и еще страшнее, чем порвать с Ольгой, было Дорогомилину упасть в общественном мнении. Объявить, что он обманут женой, было унижительно, взять вину на себя было равносильно уйти с должности, и он долго не в силах был заснуть, мучимый этими простыми и неразрешимыми для него сомнениями.

На другой день в судьбе Дорогомилина произошло событие, которое изменило все его жизненные планы. Ему предложили остаться в Москве и возглавить одно из вновь создававшихся управлений при союзном министерстве, и с этой неожиданной и ошеломившей его самой новостью он сразу же, как только вышел из министерства, поехал к Ольге, чтобы сообщить ей об этом. «Ну вот, — восторженно говорил он себе, — вот тебе и жить! Пожалуйста, живи, я обещаю и я расстилаю у твоих ног Москву».

Часть вторая

I

Как ни тяжелы были те осенние полевые работы, на которых от темна и до темна был занят в колхозе Павел, и как ни казалось ему, что работам тем не будет конца, пришел день, когда утром, проснувшись, он вдруг обнаружил, что ни ему, ни Екатерине уже не нужно было спешить на бригадный двор: уборка хлебов, вспашка зяби, сев озимых — все было завершено, а то, что еще оставалось сделать до холодов, было, как сейчас же решил про себя Павел, не больше чем подгрести сено вокруг сметанного стога. Оттого он позволил себе в это утро полежать дольше обычного и затем ходил по двору, оглядывая свое собственное хозяйство, о котором за колхозными делами некогда было подумать ему. От общественных интересов жизни он постепенно возвращался к домашним, которые теперь, в преддверии зимы, должны были занять его. Он видел, что надо было сменить стойки ворот у коровника и перекрыть крышу сарая, где стояла машина (шифер и стойки еще с весны были припасены им и лежали под навесом), и видел еще разные в домашнем хозяйстве мелочи, ожидавшие его рук; но вместе с тем, что он видел, еще сильнее занимало его то, чего он не видел, но что неприятно оживало сейчас в его памяти. «Как же так получилось? — думал он о Юлии, перебивая все иные мысли в себе. — Приехала, — и умерла».

И чувство какой-то будто вины, что сестра умерла в его доме и что за суетою дел он будто не смог даже как следует похоронить ее, а все было сделано наспех, словно он избавлялся от чего-то лишнего, мешавшего ему работать и жить,— то мучительное чувство, сразу же после похорон охватившее его, вновь теперь болезненно поднималось в нем. «Не по-людски как-то, нет,— снова подумал он.— Да и Роман! Ну женился, но институт-то зачем бросать? Своего ума нет, так хоть с отцом, с матерью посоветовался бы». И Павел нехорошо и несвойственно ему усмехнулся, вспомнив о недавнем письме сына, из которого ясно было, что Роман решил остаться работать в том самом целинном совхозе в кустанайской степи, где он со студенческим отрядом помогал строить совхозный поселок. «Поговорим... да что теперь говорить, о чем?» — продолжал Павел, возражая сыну на его письмо и все так же нехорошо усмехаясь широким обветренным лицом.

Он снова посмотрел вокруг себя, как будто отыскивая, на чем бы еще остановить взгляд; но вокруг было только то раннее октябрьское утро с холодным и серым над головою небом, был двор с пожелтой травой, улицы, избы и огороды на противоположной стороне ее и черные вспаханные поля дальше, по взгорью, то есть все то, что ежедневно и в разных красках видел Павел и что не могло заинтересовать его; все это было для него лишь той привычной жизнью, в которой ко всякому делу, он знал, надо было только приложить руки; но случай с Романом требовал от него умственных усилий, и Павлу неприятнее всего было именно это, что вместо дела, какое он знал и умел выполнить, его вынуждали взяться за другое, какого, как ему казалось, он не умел делать и не знал, как подступиться к нему.

«Ни крестьянского умения, ни учености»,— продолжал думать Павел о сыне, стараясь представить, как Роман будет начинать свою жизнь. Но все воображение Павла не выходило дальше того, как сам он когда-то начинал в Мокше, женившись на Катерине и перейдя к ней в дом. Прежде, когда он вспоминал об этом, прикладывая все только к себе, он испытывал удовлетворение, что все так хорошо сложилось у него; ему казалось, что из всех возможных вариантов жизни, какие тогда открывались ему, он выбрал самый надежный и лучший; но теперь, когда свою жизнь он должен был приложить к сыну, он не только не испытывал удовлетворения, но чувствовал, что Роману не под силу будет потянуть то, что вытянул в жизни сам Павел. «Да и нужно ли тянуть? Для чего же мы жили?» — проговорил он с тем ощущением опустошенности, как это бывает после больших утрат. Несмотря на то, что сам он вступал в жизнь с хилым здоровьем (после войны, после тяжелых ранений), он был сейчас вполне убежден, что и физически и духовно превосходил сына; но он, в сущности, этой своей мыслью только повторял известную ошибку, когда родители полагают, что на то, на что в свое время были способны они, не могут быть способны их дети; он всегда хотел, чтобы жизнь сыновей начиналась не с той точки, от которой он сам начинал когда-то, а с той, до которой стараниями, умом и бережливостью дошел он; он видел в этом смысл и движение всего, и потому так огорчительно было ему сознавать, что Роман не понимал этого.

Чтобы освободиться от неприятных мыслей о сыне, Павел прошел под навес к розвальням, давно и ненужно стоявшим здесь, но едва только сел на них, как у ворот послышался женский голос, окликавший его:

— Дядя Паша, дядь Паш!..

Кричала почтальонша Нюра, принесшая телеграмму, и Павел, неохотно взяв телеграмму из ее рук, с удивлением увидел, что она была от сына Романа. Роман сообщал, что он уже в Пензе (разумеет-

ся, с молодой женой), что на днях выезжает домой и чтобы отец приехал в Каменку встретить его.

— Ну вот, объявился,— проговорил Павел, не вполне представляя еще себе, как отнестись к приезду сына.

Все большое семейство Павла усаживалось за стол, в то время как он вошел в комнату. От порога, не обращая (по привычке) внимания на детей, с утра уже озорно шумевших в доме, он так посмотрел на Екатерину, что невольно заставил остановиться ее, и из выдвинутой ею на шесток кастрюли, с которой она сняла крышку, шел пар, густо наполнявший комнату запахом отваренного картофеля.

— От Романа. Едет,— проходя затем на середину комнаты и подавая жене телеграмму, сказал Павел.— Хоть и не с дипломом, но зато с женой.— И он опять усмехнулся той нехорошей, как и во дворе, усмешкой, какую никогда прежде ни дети, ни Екатерина не видели на его лице.

Привыкший воспринимать все, что происходило с ним и вокруг него, как естественное течение жизни и обычно говоривший себе, что все, что ни идет, все к лучшему, Павел впервые за всю свою жизнь в Мокше почувствовал в это утро, что было что-то будто нарушено в этом общем (и всегда восходящем для него) течении жизни и что, несмотря на доводы, какие он обычно проводил в оправдание Романа, он не мог теперь ни понять сына, ни простить ему этого поступка. «На всем готовом, учись, выходи в люди, так... с нашим ли умишком, с нашими ли мозгами?» — желчно поднималось в сознании Павла. В нем не только не было сейчас той облегченности, с какою еще месяц назад, когда было получено первое письмо от Романа, он ответил Екатерине на ее беспокойство, что «свадьба так свадьба, чего тут, справим» и что все, что потребуется для нее, «найдем, доставим», но видел себя в том положении обмана, как если бы в красиво сметанном по осени стогу сена вдруг в середине зимы, когда пришла пора вскрыть его, обнаружилось, что оно было подмоченным, попрело и не годилось для корма. Он видел, что как будто вскрыт был не стог, а жизнь с ее обнажившейся непрочной сердцевиной, и хотя Павел понимал, что из одного только поступка Романа нельзя делать общих выводов (в конце концов, недоучился один, так их у него еще вон сколько!), но в этом поступке сына точно так же, как Павел обычно угадывал главное направление жизни, он уловил то модно поощрявшееся теперь всюду стремление молодежи к ранней самостоятельности — лишь бы из дома, от родителей, от их быта! — на какое прежде, он только слышал, многие жаловались в деревне, но какое, как болезнь, он видел, проникло теперь и в его дом. Что можно было противопоставить этому, он не знал, и он смотрел на жену, читавшую телеграмму, с тем напряженным вниманием, как будто могло что-то измениться от того, как воспримет все и что скажет Екатерина.

— Так что будем делать? — спросил он, когда Екатерина, перечитав несколько раз телеграмму, как будто трудно было понять, о чем говорилось в ней, опустила перед собой руки.— Ну женился, ладно, черт с ним, но для чего институт бросать? И разве у нас своей земли мало, чтобы где-то там, в Кустанае, работу искать? Слава богу, вон ее сколько, и какая! — только имей охоту и руки.

— Не знаю, Паша, я ничего не знаю,— торопливо ответила Екатерина, опять принимаясь за то свое дело, какое она делала каждый день, чтобы накормить и отправить детей в школу. Но в душе ее шла та же работа, что и в душе Павла; она точно так же, сколько ни думала об этом, не могла принять женитьбу Романа, и лишь в отличие от Павла, который во всем осуждал сына, винила невестку, что не хватило у той ума («Коли уж выбрала», — говорила Екатерина) не ломать ни себе, ни ему (то есть Роману) будущее.— Одно скажу,— добавила она,— мы ведь сами хотели, чтобы дети наши...

— Дурака учиться послали, а не жениться. Учиться! — прервал ее Павел, не в силах сдержать раздражение, какое поднималось в нем против Романа и должно было вылиться на кого-то. — А вы чего уши порастопырили? Не вашего еще ума, а ну в чашки, в чашки и... марш! — прикрикнул он на Александра и Валентину (и на меньших: Петю и Таню), которые, забыв, что им надо в школу, смотрели на отца и мать и прислушивались к разговору.

— Да на них-то зачем? — заступилась Екатерина.

— А затем! Рано еще... знать все. — И Павел, присев рядом с детьми к столу, принялся молча и безвкусно есть то, что подала ему Екатерина; лишь в конце завтрака, не отводя взгляда от того, что он ел (и обращаясь более к себе, чем к Екатерине), он негромко проговорил: — Надо вечером съездить в Сосняки к Дорофею. Будем колоть. — Он сказал о том деле, которое не могло как будто особенно волновать его, потому что так ли, иначе ли пора было колоть кабана; но заколоть его лучше к зиме было выгоднее, и Павел, всегда с охотою бравшийся только за то, что по крестьянским соображениям его должно было принести лишь пользу и выгоду хозяйству, вынужден был теперь делать другое, что вытекало не из потребностей его деревенской жизни, а неоправданно и ненужно как будто навязывалось ему.

II

В то время как дети собирались в школу, Павел сидел за столом и смотрел на них. «Что им дом! Им улица, — думал он, невольно становясь в ряд тех рассудительных отцов, которые любят (в промежутках между своими делами) потолковать о воспитании, полагая при этом, что у нынешней молодежи нет и не может быть иных, кроме клуба и улицы, интересов жизни. — Что в поле, что в голове — ветер. И в двадцать и в тридцать — все ветер, а как хватишься, глядь, уже и за сорок, уже и начинать некогда». Павел думал как будто о жизни вообще, но вся горечь признания его заключалась в том, что он был бессилён передать свой опыт жизни детям. По душевной простоте своей ожидавший (как и большинство семейных людей), что с годами вместе с тем, как будут подрастать дети, будет наступать облегчение, он теперь с огорчением чувствовал, что облегчения не только не наступило, но, напротив, год от года прибавлялось в доме забот. Он ежемесячно высылал деньги Борису, который поступил в Институт международных отношений и жил в Москве, и точно так же каждый месяц платил учителям в Сосняках, которые прежде учили иностранным языкам Бориса, а теперь Александра, решившего пойти в тот же институт, что и брат; кроме того, приходилось больше тратить на дочерей, которые подросли и должны были, как настаивала Екатерина, выглядеть соответствующим образом, и вот в довершение ко всему эта неожиданная женитьба Романа. По тому чувству вины, какое Павел давно уже испытывал к старшему сыну, он был готов простить ему все; но готовность простить все никак не соединялась в душе Павла с тем обстоятельством, что надо было отдавать Романа и что он не видел, как при теперешних своих затруднениях он мог сделать это.

Он остался в этот день дома, чтобы сменить стойки ворот у коровника. Екатерина ушла на уборку картофеля, и Павел работал один. Пока солнце было низко и от коровника до половины двора лежала тень, он работал в рубашке, выбившейся из брюк и прилипавшей к лопаткам; но к обеду, когда тень отошла и солнце начало припекавать точно так же, как оно припекало в открытом поле, он снял рубашку, оголив свои еще крепкие, загорелые и мускулистые грудь, плечи и спину, и так как никто не мешал ему и не отрывал его, дело подвигалось быстро, и он видел, что он успевал закончить все к тому часу, как появиться стаду. В то время как на него

никто не смотрел, он удар за ударом проходил топором по сосновому брусу, выбирая в нем нужный паз, и белая сухая щепка, которую Павел сгребал затем по-хозяйски, разлеталась и падала у его ног; он с той же размеренностью движений рыл ямы для стоек, и работа, чем больше он делал ее, не то чтобы затягивала Павла, но она не давала ему возможности думать о чем-нибудь ином, кроме дела, какое он делал, и постепенно утреннее раздражение начало отпускать его. В минуты, когда он теперь присаживался отдохнуть, он все больше приходил к выводу, к какому так ли, иначе ли должен был прийти в деле сына. «Не ломать же ему жизнь,— соглашался Павел с тем положением, какое кем-то близким и давно уже как будто было высказано ему.— В конце концов, кто знает, где ему будет лучше: в науке ли намается, раз она не пошла ему, или в деревне проживет как человек». И Павлу казалось (по его привычному житейскому восприятию), что надо не осуждать сына, а приложить новые усилия и помочь ему.

В середине дня (и в середине как раз этих трудных поисков душевного примирения с сыном) подъехал бригадир Илья, и Павел не сразу смог сообразить, чего хотел от него бригадир, оставивший у ворот рессорку и подошедший к нему.

— Какая делегация, при чем я? — несколько раз переспросил Павел, пока наконец понял, что речь шла о его поездке в Москву.— Мне-то там, в Москве, что делать?

— На торжества.

— На какие торжества?

— Сказано — на торжества, значит, на торжества,— ответил Илья, не любивший многословья и не умевший говорить о том, что не вполне понятно было ему самому или не принималось им. Он только что ездил на центральную усадьбу колхоза затем, чтобы выделили ему больше машин на вывозку картофеля; но вместо того чтобы выделить ему машины, у него для чего-то забирали (он только и понял это) лучшего механизатора, и он был теперь раздражен и недоволен этим. «После покровы — вот тогда и фанфары, а то еще не успели прыгнуть, а уже и гоп!» И по этому своему отношению к московским торжествам, которые организовывались в честь сельских тружеников страны, собравших в этом году рекордный урожай хлеба, точно так же, как только что не хотел слушать парторга колхоза Калентьева, говорившего об этом, не хотел пересказывать этого Павлу.

— Отправляться когда? — спросил Павел.

— Днями, наверное.

— Не могу.

— Почему?

— Сын едет. С женой.

— Старший, что ли?

— Да.

— Ну, в общем, как хочешь, по мне так оно и лучше, если откажешься,— сказал Илья, так как то, что лежало за кругом бригадирских дел, сейчас особенно не могло занимать его.— Смотри сам.

— Нет, не могу, Илья.

— Только ты это не мне, а туда, там скажи. Мое дело передать.— И он, простившись кивком, пошел через двор к рессорке той своей валкой походкой, по которой сейчас же было видно, что он более привык ходить по пахотному полю, чем по твердой земле.

«Да, надо было пригласить его»,— подумал Павел, глядя уже на удалявшуюся рессорку. Затем опять взялся за работу, и о поездке в Москву было забыто им; ему хотелось найти душевное примирение с сыном, которого в полной мере он так и не ощутил в себе, и вечером он отправился в Сосняки к Дорофею, чтобы уговорить того прийти на воскресенье и заколоть кабана.

III

Кабан был заколот, и с понедельника в доме началась та шумная и сразу захватившая всех суета, какая возникает в семьях обычно лишь перед большим праздником или перед свадьбой. Заняты были все, и всем находилось дело. Готовилась комната для молодых, и доставалось и готовилось все, что только могло украсить приезд сына.

Екатерина (уже в самый канун приезда) варила холодец и пекла сдобы; Александр как старший из остававшихся в доме детей был послан в Сосняки за цветами и медом, а Павел, выкатив из сарая во двор «Запорожца», основательно, как он любил делать то, к чему лежала душа, принялся готовить его к дороге. Он не был особенно рад приезду сына, но и не испытывал теперь, как в день получения телеграммы, раздражения к нему; не сумевший как будто за делами как следует рассудить обо всем, Павел приехал на вокзал лишь с тем чувством, что ему беспокойно было отчего-то увидеть сына. Но от беспокойства этого, как только увидел (в форме бойца студенческого строительного отряда, которая тогда еще лишь вводилась и была новинкой для всех) сына, спрыгнувшего со ступенек вагона на утренний, серый, холодный перрон, и увидел (в той же непривычной студенческой форме) невестку, которую Роман не то чтобы подать ей руку, но подхватил у вагонных дверей и поставил на землю, — от беспокойства этого осталось у Павла лишь удивление, как он мог плохо подумать о сыне. Он сейчас же (по общему здоровому виду Романа) почувствовал, что те условия жизни, в которых все эти месяцы находился сын, были не то чтобы плохи или хороши с точки зрения удобств быта, но были теми, в которых полезно и нужно было пожить Роману. И точно то же впечатление было от невестки, которую Павел, лишь введя ее в избу и сказав Екатерине: «Ну, мать, принимай», сумел разглядеть во всех тех подробностях, как не мог в спешке и суете сделать на вокзале.

«Да какие они муж и жена, они еще дети», — думал затем Павел, когда после объятий и слез (тех слез счастья, которые Екатерина, не стыдясь их, вытирала со щек белым кружевным платочком, заранее заткнутым ею под манжет праздничного платья), после всех радостных восклицаний и слов о себе (тех первых слов, которыми обычно бывает сказано все) вся молодая часть лукьяновского семейства, объединившись, перешла в комнату, где не было взрослых и где все только и было наполнено их юношескими интересами жизни.

Павел не заходил к ним и лишь прислушивался к их голосам. Но не из желания узнать, о чем говорили они. Так же как приятно иногда сказать, что ты живешь у реки, хотя и сомнительно часто бывает это удобство жизни, Павлу просто приятно было сознавать, что дети его рядом, что они веселы и что он не зря жил для них; и в то время как Екатерина, надев поверх праздничного платья фартук, собирала на стол, он с тем растроганным чувством, которое не мог унять в себе, поглядывал на нее. «Ну что? — было в его глазах. — Что я говорил?» Как будто он только и утверждал всегда, что нет в жизни ничего такого, что бы не уладилось само собой. С обветренной, загорелой и сильной грудью и в той же белой рубашке, в какой встречал летом Сергея Ивановича и сестру, он производил впечатление спокойствия и достатка, тогда как в порозовевшем от волнения лице Екатерины было больше настороженности, и она, то и дело останавливаясь перед дверью комнаты, где были молодые, смотрела не на Романа (и не на тех своих детей, которые всегда были у нее на глазах), а на невестку, к которой не находила пока ничего в своей душе, но должна была полюбить и принять ее.

«Нашел же что-то?» — думала она, стараясь из общего вида невестки выделить то, что сказало бы о глубине ее ума и той основательности, какую Екатерина, как и Павел, всегда привыкла чувство-

вать в себе; и оттого, что не могла уловить этого, а видела лишь, что невестка была так молода, так молода, что невозможно было даже приблизительно сказать, какой та будет женой и хозяйкой, лишь сильнее волновалась и украдкой уже вытирала невольно наполнявшиеся слезами глаза. Что Ася была деревенской (была не из Каменки, как о том писал Роман, а из Покровки, что под Каменкой, как было уточнено теперь), вызывало у Екатерины то двойственное чувство, по которому, с одной стороны, было совсем неплохо, что невестка человек своего круга, а с другой — именно это, что своего круга, было нехорошо, было как будто ущербно в чем-то. «Очень уж простенькая, такая простенькая», — судила Екатерина, каждую минуту борясь с этим двойственным чувством к невестке, и продолговатое, по-детски улыбчивое и постоянно выражавшее только счастье лицо Аси представлялось ей не то чтобы непривлекательным, но настолько обычным, что больно было поверить, как из сотен других и более красивых (как она думала) девушек в городе Роман удосужился выбрать для себя эту, на которой и глаз-то остановить не на чем. И чувство это всякий раз особенно поднималось в Екатерине, как только она перекидывала взгляд на сына, таким молодцом (в сравнении с невесткой) казавшегося ей.

— Как вырос! Красавец! — те, кто заходил в этот день к Лукьяновым, говорили о Романе (как будто им только и хотелось, чтобы угодить Екатерине). — И невестка ничего, живая, — говорили о молодой жене его (как будто всем было известно и это, как Екатерина отнеслась к ней).

— Да уж молоденькая больно, — отвечала Екатерина, краснея оттого, что не находила, как можно было еще сказать о невестке.

— Что с них — дети, — уверял Павел, повторяя лишь эту удачно найденную им формулировку, по которой во всем можно было оправдать сына.

Но вечером, когда Роман, окруженный мужиками и засыпаемый их вопросами, начал говорить о себе, мнение Павла изменилось и он увидел сына совсем с другой стороны, с какой прежде никогда не видел его.

Павлу естественно было предположить, что та обычная колхозная работа, какую Роман с детства знал по деревенской жизни, не должна была как будто особенно отличаться от той, какую пришлось выполнять сыну в кустанайской степи; но из рассказа сына выходило, что разница была, и Павел, слушая его, с удивлением думал, как на одно и то же дело можно было по-разному смотреть и воспринимать его. Из рассказа сына выходило, что одна и та же деревенская жизнь, в которой Павел сознавал себя лишь необходимой частицей в общем круговороте вещей, Роману (по совхозным впечатлениям его) представлялась узлом, соединявшим тысячи различных общественных связей, и оттого он чувствовал себя не частицей, а силой, вызывающей движение. «Может быть, оно так и есть», — думал Павел, переводя слова сына на свой язык понятий, и то, что всегда казалось Павлу лишь простым течением жизни — споры с бригадиром, обязательства, планы, получение вымпелов и переходящих знамен, — наполнялось каким-то новым, возвышенным смыслом и создавало (к изумлению Павла) то впечатление у него, что вся эта его обыденная жизнь, как ни казалась она прежде масштабной ему, на самом деле была лишь водоемом в сравнении с тем океаном, как видел и воспринимал ее сын.

— А мы говорим о воспитании... Вот оно, общественное воспитание, вот, — не раз вслух и про себя говорил затем Павел, сидя за праздничным столом и не замечая (за общим весельем и суетой) возражений Ильи, что все это, то есть восторженное восприятие Романа, пройдет с ним и что не с этого, то есть восторженного восприятия, надо бы начинать молодому человеку в жизни.

«А с чего?» — уже ночью, когда все разошлись, вдруг спросил себя Павел. По своему радостному впечатлению о сыне он не мог согласиться с Ильей; но по обычной житейской мудрости, говорившей ему, что за всякое дело, если успешно хочешь решить его, надо приниматься не с восторженной поспешностью, а с холодным и здравым рассудком (и по которому получалось, что бригадир Илья прав), Павел чувствовал, что не все, наверное, было так благополучно с сыном, как думал он. «Серьезности нет? Придет», — все же решил он, засыпая, но продолжая еще возражать Илье.

IV

На другой день утром (дети ушли в школу) Екатерина с невесткою рассматривали подарки, преподнесенные на вчерашнем застолье молодым, а Павел сидел за столом напротив сына и вел с ним тот первый (после всех радостных волнений встречи) серьезный разговор, который должен был приоткрыть ему жизненные намерения сына.

— Ну хорошо, а с институтом что? — после того как они уже с минуту сидели молча, спросил Павел, задав наконец этот болезненный для себя вопрос, на который, он заранее знал, сын не сможет ничего вразумительного ответить ему. «Так что на это можешь сказать?» — повторил он уже тем, как посмотрел на сына. И вместе с этим вопросом и взглядом к Павлу сейчас же как бы вернулось все то, что накануне приезда Романа так мучительно занимало его. Он вдруг увидел (из тех соображений своих, кем он хотел, чтобы стал его сын, и кем тот, недоучившись, мог стать теперь), что радоваться было нечему и что Илья вчера был прав, говоря, что не с восторженного восприятия надо начинать молодому человеку в жизни. Павел невольно старался теперь свести все именно к этому, что у Романа не было серьезности, и поглядывал на невестку, в которой тоже видел одну из причин такого поведения сына.

В комнате же, освещенной утренними лучами солнца, все напоминало еще о прошедшем застолье, и в то время как Павел переводил взгляд от сына, в зеленоватой студенческой робе сидевшего перед ним, на невестку (и на Екатерину), на глаза ему попадались то свернутые к порогу половики, то стулья и табуретки, непривычно выставленные вдоль стен, и он непроизвольно останавливался взглядом на затоптанном ногами пространстве в центре комнаты, на котором с шумом вчера толклись и плясали гости. На этом же пространстве плясала вчера и невестка, вышедшая по настоянию всех показать себя, и Павел хорошо помнил, как между нею, едва только она появилась в центре круга, и теми, кто смотрел на нее, сразу же установилось то никем не высказанное условие, по которому она как будто должна была сдать экзамен на возможность породниться со всеми, а все — оценить и составить о ней мнение. По общему городскому виду ее, по коротенькой юбке, оголявшей ее молодые ноги, было сомнительно, чтобы она выдержала экзамен; но после первых же движений, как начала она, и Павел и все почувствовали, что то, что им хотелось увидеть, в полной мере было в этой худенькой, одетой в студенческую форму девочке. «Наша», — тут же было сказано про нее, и Павел, вполне разделивший это общее мнение, старался найти теперь, поглядывая на невестку, подтверждение своему вчерашнему чувству.

Но он находил пока только то, что это вчерашнее чувство его к невестке и сыну не совмещалось с тем, что он думал о них сейчас; и, глядя на невестку и видя лишь ее худую, с выпиравшими лопатками спину, недовольно говорил себе: «Плясать-то плясать, да как бы жизнь не проплясать».

— Так как же с институтом? — повторил он, от невестки уже переводя взгляд на сына.

— В каком смысле? — спросил Роман. — Если боишься, что мы

с Асей бросим институт,— хотя вопрос относился только к нему, ответил он,— то напрасно. Есть заочное отделение, которое не хуже, чем очное.— И Роман сделал то удивленное выражение, словно и в самом деле странно было ему услышать от отца то, что он услышал.— Да я и писал тебе.— И, привстав и шурша своею грубоватою студенческою робой, он потянулся к закускам, со вчерашнего вечера стоявшим на столе, и между ним и отцом опять установилось то нехорошее молчание, которое для Павла было неприятным, а для Романа — не замечалось им. Все это утро (как, впрочем, и в день приезда, вчера) он держался так, будто его не только не огорчало это, что озадачивало теперь отца, но будто он видел во всем случившемся с ним лишь то счастливое, что одно только могло быть и было в его жизни; и он, неторопливо пережевывая молодыми и сильными челюстями подсохшие кусочки мяса, попадавшие в салат ему, то и дело вскидывал на отца тот невинный как будто взгляд, которым ясно говорил ему: «Ты же видишь, все хорошо, и разве можно не радоваться этому?»

— Ну что вы, мама,— в это время ясно послышалось из той половины комнаты, где Ася с Екатериною разбирали подарки.— Чем же это плохо? — держа перед собой керамическое блюдо с чашечкой (и так же естественно, как только что назвала свекровь матерью), сказала Ася, желая убедить Екатерину, что этот недорогой кофейный сервиз, приготовленный более для украшения, чем для дела, имеет свою привлекательность и ценность.— Ром, посмотри,— позвала она, поднявшись и повернув все свое молодое, с мелкими чертами лицо к свету.

Она как будто не понимала той натянутости обстановки, какая с утра создалась в доме и чувствовалась теперь между отцом и сыном (ее мужем), и веселым видом своим и непосредственностью вносила в общие семейные отношения ту нужную теплоту, которая обезоруживала всех. Екатерина казалась растроганной ею. Обернувшийся на ее голос Павел тоже невольно улыбнулся ей. И лишь Роман, которому хотелось показать, что все в жене давно привычно ему, неторопливо и с важностью, положенной при родителях, как думал он, встал и подошел к ней.

— Ничего.— Он повертел в руках чашечку.— Гладкая.— И с безразличием вернул ее.

— Ах, ничего вы не знаете,— весело проговорила Ася.— А тебе бы только хрусталь,— заметила она мужу.

— Почему бы и не хрусталь?

— Надо еще заработать его,— возразила Ася.

— И заработаем. Все в наших руках, все будет,— уверенно сказал Роман. Но в ту самую минуту, как он произносил эти слова, он почувствовал, что отвечает не жене, а отцу на тот его вопрос, который еще не был задан им, но ясно как будто вытекал из всего общего разговора.— Не сразу, конечно. И Москва не сразу строилась,— затем добавил он, повернувшись к отцу.

Он давно уже заметил, что отец в разговоре с ним что-то недосказывает и сердится оттого, что не так понимают его. «Но теперь-то ты доволен?» — было в глазах Романа, когда он снова усаживался перед отцом на прежнее место. Но Павел, не любивший и не умевший, как ему казалось, вести разговор, в котором были бы только намеки и не было бы сути дела (и полагавший, что Роман не желает с прямою тою говорить с ним), не был удовлетворен ответом сына.

— Я не знаю,— опять начал Павел,— как можно не учась (он хотел сказать: не слушая лекций) выучиться тому, чему учат в институтских стенах.

— Почему «не учась»?

— Одно дело — как все, по-людски, по-настоящему, и совсем другое — как ты, сам собой.

— Но ты не понял меня, отец,— сказал Роман, отодвинув от себя тарелку, из которой только что ел салат, и взглянув на отца с тем недоверием, что отец будто не то чтобы не мог, но не хотел понять сына. Роман видел, что разговор возвращался к тому кругу, на котором все было переговорено вчера. Но то, о чем так легко (на радостях) было говорить вчера и что отцу и всем (в силу той же слепой радости) представлялось убедительным и не нуждалось в подтверждении, теперь требовало определенных доводов от Романа, которых, он с беспокойством чувствовал, не было у него. Все рассуждения об одинаковости заочного и очного обучения, вытекавшие для него лишь из тех жизненных обстоятельств — женитьбы,— в каких оказался он, теперь, когда отец предлагал взглянуть на все шире, согласуясь с общими интересами жизни, представлялись не то чтобы ложными, но было очевидно, что отец прав и что Роман всегда знал, что между очным и заочным обучением есть разделительная черта, которую только для успокоения он не хотел замечать прежде. «Нет, тут все сложнее.— Он пробовал еще возразить себе.— Все зависит от самого человека». Но не говорил этого отцу, понимая, что это не убедит его.

Точно так же не мог Роман убедительно ответить и на другие вопросы отца. То, что вчера было выражено чувством — степь, красота, простор! — и служило аргументом Роману, что он решил остаться в кустанайской степи (и объясняло бригадирство его, что он как будто взял под начало все это необозримое пространство), выглядело теперь лишь как восторженные слова, на которые, зная, что земля везде требует одинакового труда, Павел только мог развести руками. Было, казалось Роману, что-то ложное и в той радости, с какою он в первые минуты встречи говорил о комнате, обещанной совхозным руководством ему и Асе. В совхозе все это представлялось счастьем и было более чем обоснованным, чтобы остаться там; но здесь, в доме отца, где все было обжитым и все готовы были потесниться для молодых, неловко было вспоминать об этом; неловко потому, что отец, и Роман знал это, сейчас же ответил бы, что и в Мокше и Сосняках можно получить участок и поставить дом. Роман чувствовал, что и на успехи его в общественной деятельности (что он избран секретарем совхозного комитета комсомола и введен в состав райкома) вполне найдутся возражения у отца.

— Он есть везде, твой комсомол,— сказал Павел (как раз именно то, что и предполагал услышать от него Роман).— Чтобы пахать, сеять, делать это наше крестьянское дело, вовсе не надо было никуда выезжать из деревни.

— Как ты все упрощаешь, отец,— с тем мучительным выражением, что он не может найти убедительных слов для отца, возразил Роман.— Все, что я говорю, можно перечеркнуть, но это совсем не означает, что я по глупости или прихоти какой-то своей перешел на заочное и остаюсь в совхозе. Сложнее все, отец, гораздо сложнее.

— Лично для меня пока ясно одно — что ты сам не знаешь, чего ищешь, а хочешь, чтобы я понял тебя.

— Напрасно ты думаешь, что я не знаю. Я знаю,— возразил Роман. Он готов был уже сказать отцу о том чувстве, каким руководствовался, принимая решение остаться в совхозе; но чувство это, чистое и благородное в душе Романа, в пересказе неминуемо должно было обернуться против него, и оттого он опять вместо главного начал о второстепенном, лишь сильнее озадачивая и огорчая отца.

V

Он рассказал о директоре совхоза, каким тот был удивительным человеком и как легко было работать с ним, и это было правдой, было тем впечатлением, какое осталось у Романа от общения с ним. Потом он рассказал о партийном секретаре, о комсомольских работниках и членах своей бригады, что и они были людьми замечательными и доб-

рыми, и это тоже было правдой, было тем, из чего складывалась для Романа общая атмосфера жизни в совхозе. Но это не было той главной правдой, по которой он строил свою судьбу. С Романом происходило то, что происходило в те годы почти со всеми молодыми людьми, которым приходилось решать вопрос «кем быть?». По общему установившемуся мнению, как писалось и говорилось тогда, вопрос для каждого состоял только в том, чтобы выбрать профессию (или что еще распространеннее было: только в том, чтобы получить высшее образование, по какой бы отрасли знания ни шло оно); но как вопрос этот на самом деле вставал перед молодыми людьми и решался ими, мало что общего имело с этим упрощенным мнением.

Прежде в крестьянских семьях всегда было: сын — по отцу, дочь — по матери и никто не спрашивал себя, кем быть. Считалось, что жить можно только так, как жили деды, кормясь на земле. Но затем, когда этот прежний уклад жизни был нарушен (что в нем плохого и что хорошего — вопрос другой) и державшаяся взаперти дверь в мир, распахнувшись перед деревней, открыла всем, что есть иные возможности кормиться и утверждать себя, в дверь эту потоком хлынули люди, не всегда осознававшие, для чего и зачем делают это. Одни попадали в лучшие условия, другие в худшие и возвращались, хлопывая за собою дверь, и сейчас раздаются голоса, что с точки зрения общественной жизни (то есть выгод для общества) нельзя было так широко открывать дверь: «Мы оторвали человека от земли!» Но если взглянуть на все не только из общественных выгод, а по отношению к каждой отдельной судьбе (и с точки зрения обновления государственных институтов), то вряд ли можно согласиться с подобными утверждениями. Не всякий, разумеется, шагнувший за порог, находит удовлетворение; но происходит это оттого, что в большинстве семей (при всем огромном выборе профессий) разговоры ведутся только о двух-трех наиболее знакомых им: учитель, врач, агроном, инженер. Так рассуждали и Лукьяновы, когда Роман поступал в Пензенский педагогический институт, и продолжали, несмотря на то, что Борис уже учился на дипломата, точно так же рассуждать и теперь.

Но рассуждения Романа на этот счет были иными, были как раз теми рассуждениями, о которых он теперь особенно не мог ничего сказать отцу. Они основывались на том, что проще и точнее было бы назвать жизненной карьерой (не в том дурном понимании этого слова, когда имеется в виду определенная корысть, а в изначальном и правильном, когда подразумевается, что человек ищет возможность полностью проявить себя, чтобы быть полезным обществу). Романа привлекала не исполнительская сторона, а возможность руководить и направлять дело. От простой ли начитанности или под влиянием лозунгов, что человек в Советской стране хозяин всему и что деятельность его не ограничивается только рамками профессии, но может лежать в любой точке на пространстве от механизатора или рабочего до руководства государством, — под влиянием именно этих лозунгов, к которым постоянно слыша их, люди уже не прислушиваются, но к которым прислушивался и в смысле которых вникал Роман, он невольно начал думать не малыми категориями интересов отдельных лиц, а масштабными, принимая, или отрицая, или внося свои мысленные поправки в общий ход жизни. Он сам открывал для себя эти возможности управления, стесняясь пока еще своих чувств, но уже с сожалением видя, что институт, в котором учился (педагогический), не мог дать ему того, что хотелось получить Роману от жизни. Он подумывал, чтобы перейти в другой, но, во-первых, неясно было еще, в какой именно, и, во-вторых, он опасался, что дома не поймут его. Отцу и матери хотелось только, чтобы сын их выучился чему-то; Роману же надо было выучиться не чему-то, а тому определенному, к чему он чувствовал способным себя, и в этом отношении поездка со студенческим строительным отрядом на целину многое открыла и прояснила ему.

Все прежде умозрительное (как горы издалека, когда видно только общее очертание их), что составляло для него жизнь, он как бы вдруг увидел с того приближенного расстояния, когда он мог разглядеть выступы, по которым можно было подняться на вершину. Выступами этими были выборные комсомольские и партийные должности от низа до верха, то есть то, что было как будто очевидным и доступным всем; но одно дело знать, что доступно тебе, и совсем другое — ощутить под ногой тот первый выступ, с которого можно начать восхождение. Он, приглядевшись, увидел, что восхождение зависело не от количества тех или иных знаний, какие преподавались в институтах, не от дипломов и даже не от ровной и старательной затем работы на предприятии, что было, разумеется, важно и нужно; оно зависело от другого — от визитной карточки (в биографии), как это определил для себя Роман. Нужно было совершить в молодости что-то такое сильное и смелое, что получило бы общественную значимость и освещало бы затем весь жизненный путь. Людям, совершавшим революцию, было, как он думал, легко сделать это, так как им предоставлена была такая возможность; точно так же, казалось Роману, легко было сделать это, то есть отличиться, и в гражданскую войну и в Великую Отечественную; но как было отличиться теперь, когда возможности для этого сузились настолько, что нельзя было разглядеть их? «Куда ни повернись, всюду занято и всюду спокойно и ровно», — говорил Роман, упрекая это свое время, ценность которого как раз и заключалась в том, что люди могли спокойно работать и жить. Но ту самую визитную карточку, которая нужна была ему в биографии, как только он приехал на целину, он почувствовал (по атмосфере всеобщего подъема, царившей здесь), что можно было заслужить ее здесь; он увидел, что целинный совхоз — это было как раз то место, где можно было развернуться и проявить себя, и он с охотою, словно и в самом деле давался ему шанс в жизни, который нельзя было не использовать, принял то предложение, какое сделано было ему руководством совхоза и в райкоме комсомола.

Ему не было обещано то продвижение по выступлениям к вершине, какое он так живо вообразил себе. Директор совхоза, которому требовалась молодая рабочая сила, когда разговаривал с Романом, невольно, лишь из тех своих соображений, что хотелось ему заинтересовать молодого человека, нарисовал ему картину возможного в перспективе роста и продвижения, как, впрочем, из тех же соображений — заинтересовать и привлечь — развернули затем перед ним эту же картину в райкоме; но Роман настолько чувствовал в себе силы двинуться по открывавшейся ему дороге, что все воспринято было им не как заманчивое обещание, а как реальность, в которую нельзя было не поверить.

— Хорошо, — сказал он, — я согласен. — И он только выговорил себе право съездить домой и в Пензу, чтобы оформить свои и Асины институтские дела.

— Да о чем толковать, когда все решено, — сказал он теперь отцу, чтобы закончить разговор.

Он сказал так, что через минуту он уже как будто не помнил об этом разговоре; мать с Асею еще перебирали и рассматривали подарки, и он подошел к ним. Но в середине дня, когда он направился к реке и к лугу, по которому босиком бегал в детстве (чтобы показать его жене), когда ступил на этот луг и увидел реку и пашни по взгорью за нею и лес за пашнями, где он, давя коленками ягоды, собирал их, и увидел (уже от леса, от тех земляничных полей) свою деревню со всеми ее знакомыми силуэтами изб, огородами, бригадным двором и клубом, сейчас же вызвавшими целый ряд забытых уже как будто воспоминаний, в сознании его как бы сам собою повторился весь разговор с отцом. Роман почувствовал то, что не было сказано ему отцом,

а только стояло за его словами: что нет и не может быть ничего дороже родной земли. Кустанайская степь была хороша для Романа тем, что она необозримо и ровно, как скатерть, стелилась к горизонту и вызывала чувство перспективы, чувство беспредельной возможности приложения человеческих усилий; степь эта дикостью и необжитостью своею как бы предлагала всякому смотревшему на нее попробовать заново пройти тот путь (от дикости к цивилизации), к которому в молодости каждый, как только садился за парту, начинал чувствовать приобщенным себя; но то, что лежало перед глазами Романа теперь, то есть те самые раскатистые взгорья российского Нечерноземья (как их называли теперь), на которые всегда привычно смотреть русскому человеку, — взгорья эти, луговая Мокша, деревня за нею с родительским домом в центре, хотя и не вызывали чувство перспективы и возможностей приложения усилий (все давно уже было как будто обжитым и неподвижно застылым здесь), но поднимали в душе иное, и более острое, чувство. От лесной опушки, на которой Роман стоял, в то время как Ася собирала на ней опадавшие уже осенние цветы, он смотрел на то, с чем должен был проститься, и испытывал чувство, как если бы ради каких-то своих сомнительных интересов славы или почестей он решил уйти из дому в тот момент, когда более чем когда-либо был нужен постаревшим и уставшим от жизни родителям. Он испытывал, в сущности, то, что сотни людей уже испытали до него, уходя от родных мест и не представляя себе вполне всех тех последствий, на что они обрекали срединные российские земли. Как и всем до него, Роману казалось, что он делал лишь то естественное, нужное государству дело, к которому совесть и время призывали его.

VI

Как ни прятался Павел Лукьянов от общественной жизни, избегая ее, она постоянно настигала его. Решение направить его как лучшего механизатора района на московские торжества (в газетах было уже официально сообщено, что сельскими тружениками Российской Федерации продано в этом году государству два с половиной миллиарда пудов зерна и что Казахстан тоже дал миллиард с лишним пудов), — решение это было уже утверждено и Павлу оставалось лишь к 7 октября прибыть в Пензу, чтобы оттуда в ночь на 8-е вместе с делегацией выехать в Москву.

Поездка эта представлялась Павлу бессмысленной. Она ничего не прибавляла ему ни в его домашнем, ни в бригадном деле. Ему надо было решить вопрос с невесткой и сыном (он все еще надеялся уговорить их остаться здесь), но время, когда он мог обдумать и предпринять что-то, как раз и отнималось у него этой поездкой. «Как все некстати, — недовольно говорил он себе. — Да что же мы, Кремля не видали, что ли!» — про себя же восклицал он, замечая, что все в доме рады были тому, что он едет в Москву. Роман с Асею отдали ему свой чемодан, чтобы прилично выглядеть на людях, Екатерина постирала заново и перегладила рубашки и белье на дорогу и привела в порядок костюм, к которому прикреплены были давно не надевавшиеся фронтовые еще награды. Кроме того, решено было собрать гостинец Борису и Сергею Ивановичу, и рядом с чемоданом появился узел с теми домашними продуктами, **каких**, как считали Лукьяновы (по старой и доброй памяти), не могло быть в Москве.

— Вот уж сотворил господь: на работу — как на праздник, а на праздник — как на работу. Да что же ты как на похороны едешь! — наконец, уже в день отъезда, возмутилась Екатерина.

— Ну ладно, ладно, — сказал Павел, останавливая ее и оглядываясь на детей, выстроившихся в ожидании, когда отец начнет прощаться с ними.

По традиции все присели перед дорогой, и затем Павел поочередно начал обнимать и целовать всех. Екатерина, когда он обнял ее, прослезилась (от радости, как думала она); Роман с Асею были сдержанны, но все меньшие — Александр, Петр, Валентина и Таня — одновременно и шумно бросились к отцу и, подхваченные им, повисли на нем.

— Да что вы, костюм, боже мой, костюм! — беспокойно воскликнула Екатерина, как только увидела, что дети могли помнить костюм на Павле. Глаза ее, только что влажные, сейчас же стали сухими. — Ничего, отойдет, отойдет, — говорила она затем, поправляя и одергивая костюм на мужа.

У ворот на рессорке поджидал Павла бригадир Илья. Чемодан и узел тоже были уже на рессорке, и Павлу пора было выходить и ехать.

— Ты уж тут смотри, чтобы все, — в последний раз сказал он Екатерине и направился к выходу. Но в дверях остановился и обернулся, сверкнув медалями, висевшими на пиджаке; он хотел что-то сказать сыну и невестке, которые в этот день тоже уезжали (в Покровку к Асиным родителям), но лишь обреченно махнул рукой, дескать: «Да ладно уж, что теперь» — и зашагал через двор к рессорке.

Только когда ленивый и справный мерин, подстегиваемый вожжою, вытянул рессорку на середину дороги и некрупной пока еще рысцою затрусил по ней, Павел поднял голову и посмотрел на дом и ворота, возле которых стояла вся его многочисленная семья. Он помахал им рукой в ответ на те взмахи, которые делали они, и увидел, что и возле других ворот тоже стояли люди, вышедшие проводить его. Его провожала вся деревня, и что-то неловкое, смущавшее Павла, но в то же время доставлявшее удовлетворение и возвышавшее его, испытывал он, трясаясь на рессорке под этими веселыми взглядами сельчан.

— Ты, что ли, устроил? — уже далеко за деревней спросил он Илью.

— Почет, Паша, его устроить нельзя. Почет, он сам по себе приходит, — ответил Илья.

— Да мне-то от этого почета... — начал было Павел.

— Не-е, шельмец, не-е, пошел! — Вместо того чтобы поддержать разговор, Илья только привычно щелкнул ременной вожжой по сытому крупу мерина.

До Сосняков они ехали молча. Ни у Павла, ни у Илья не было желания говорить. Павла продолжали беспокоить его домашние дела, Илью — бригадные, так как большой клин картофельного поля оставался еще необработанным, а механизатора, на которого были расчеты, забирали на торжества. «Как это все у нас, — думал Илья. — Глядим на горизонт, а под ногами не видим». Лишь под Сосняками уже, заметив точно такое же, как и у себя в бригаде, необработанное картофельное поле, мрачно сказал (не то себе, не то Павлу):

— Тоже недалеко ушли...

— Ты о чем? — спросил его Павел.

— Не-е, шельмец, не-е, пошел! — И он опять вместо ответа только звучно прищелкнул плоской ременной вожжой по крупу мерина.

В Сосняках Илья пошел выбивать те самые дополнительные грузовики для вывозки картофеля, которые он уже просил, но которые не были выделены ему. Из кабинета главного агронома, куда он вошел, сейчас же послышался его мрачный, сухой, требовательный голос. Обычно малословный, как все мокшинские мужики (как Павел и как Степан Шеин), он не давал теперь ничего возразить агроному, и было видно (по тому, как он устроился в кресле перед столом), что на этот раз не выйдет из кабинета, пока не добьется своего. Павел же, которого должно было принять колхозное руководство, пошел к секретарю парткома Калентьеву, так как председателя не было на месте.

Председатель был в райцентре — по тому щепетильному вопросу, по которому он считал, что ему в этот день непременно надо было быть на виду у начальства. Взамен ушедшего на пенсию председателя райисполкома подбиралась на этот пост новая кандидатура, и сосняковскому председателю естественно было предположить (потому, что хозяйство его считалось одним из лучших в районе, и еще потому, что когда встал вопрос, кого послать в Москву на торжества, все на бюро райкома единогласно предложили направить механизатора из его колхоза), — естественно было предположить ему, что выбор мог пасть на него, и он решил подействовать этому. Но в Сосняках, разумеется, никто ничего не знал об этом, и Калентьев, уведя Павла к себе, начал подробно говорить с ним о положении дел в хозяйстве, чтобы, если в Москве кто вздумает спросить Павла о колхозных делах, было бы что ответить ему.

— Здесь и цифры и положения, — сказал он, передавая Павлу приготовленные бумаги. — Я думаю, выступающие там уже намечены, так что тебе нечего волноваться. Ну а если вдруг, а ты и при оружии. А мы тебя, когда вернешься, как следует встретим. Да, да, — подтвердил он с той улыбкой, как будто знал что-то еще (и хорошее), чего не знал Павел. Этим хорошим было то, что Павла представили к правительственной награде; но говорить об этом, Калентьев знал, было нельзя и не принято, и он только в шутку как бы заметил (усаживая уже Павла в машину, на которой тот должен был ехать в Пензу): — К боевым-то и трудовые пора, а? Пора, пора. — И он похлопал Павла по плечу, как будто подбадривал в чем-то.

VII

8 октября 1966 года Москва была украшена флагами и выглядела такой же нарядной, как она всегда выглядит в праздничные дни. В этот день чествовали работников сельского хозяйства за высокие показатели в труде, и к девяти часам утра к Кремлевскому Дворцу съездов уже начали стекаться участники торжества — москвичи и гости из республик и областей. Одни (от гостиницы «Россия») шли через Спасские ворота Кремля, другие через Троицкие. Перед подъездом Дворца оба эти потока соединялись, образуя грудившуюся у входных дверей толпу. Утро было ясное, теплое, все было освещено солнцем, и красный цвет поднятых на флагштоках полотнищ, падая на брусчатую мостовую и на лица и одежду людей, придавал всему какое-то будто особенно праздничное настроение.

Депутаты Верховного Совета, министры, члены правительства, те, кому положено было, въезжали в Кремль на машинах; другие, кому этого было не положено (но имевшие закрепленный транспорт), огибая с тыловой стороны здание Манежа, выходили из машин возле Кутафьей башни и, сопровождаемые взглядами зевак, коих всегда и во всяком деле бывает достаточно, сливались с общей массой шагавших по брусчатому въезду гостей. Справа и слева за двужалой зубчаткой перил, окаймлявших въезд, виден был Александровский сад (тогда еще без могилы неизвестного солдата). Сад был в тени, из-за высокой кремлевской стены утреннее солнце не проникало в него, и на дорожках было малолюдно. Прохаживались только несколько старичков, ежедневно, как видно, гулявших здесь и ничему уже не удивлявшихся, несколько молодых женщин с колясками, и спортсмены в тренировочных костюмах бегали по аллее. Все они были заняты каждый своим и, казалось, были безразличны к тому, что происходило вокруг.

Безразличие же их было оттого, что нынешние кремлевские торжества и в самом деле были торжествами отраслевыми. Для людей, связанных с сельским хозяйством, особенно для тех, кто знал, как много было еще нерешенных проблем в развитии деревни, внимание, оказывавшееся им теперь, было не то чтобы праздником, но было тем

хорошим знаком (что дошли наконец руки и до деревни!), по которому они чувствовали, что в общественном мнении происходил поворот; и этот-то поворот (к нуждам деревни!), вернее надежда на то, что теперь все пойдет по-другому и лучше, как раз и создавал праздничное настроение. Те, кто побойчее, торопились поскорее занять лучшие места в зале, но большинство, заполнившее огромное, светлое, сверкавшее стеклом и металлом фойе, театрально ходило по кругу. От говора, казалось, все гудело каким-то веселым, разбуженным гулом, привычным для одних и непривычным для других, как было для Павла Лукьянова, чувствовавшего себя затерянным среди всего этого блеска орденов, костюмов и лиц. Жизнь, всегда состоявшая для него лишь из луга, поля и деревенской его избы со всеми ее заботами, та самая жизнь, в которой признавалось Павлом только то, что было целесообразно и нужно для дела (то есть для поддержания той самой жизни, какую он жил), как бы открылась ему теперь иной, парадной стороной, о которой он знал, что такая сторона существует, но не представляла, насколько богато, красочно и впечатлительно все в ней. Он видел, что вокруг были знатные, заслуженные люди, имена и фамилии которых он никогда не слышал, но по виду их и по манере держаться понимал, как высоко они стояли на общественной лестнице, и то конституционное, что он, механизатор из Мокши, никогда не мечтавший быть здесь, стоял рядом с ними, — это конституционное, что все равны и что всякий труд одинаково уважаем и чтим, что давно уже как будто должно восприниматься как естественное состояние жизни, волновало, удивляло и возвышало Павла в своих глазах. «Да, вот она, Ока и Волга народной жизни», — думал он, стараясь держаться своей делегации и боясь отстать от нее. Костюм на нем, казавшийся дома нарядным, совсем по-иному выглядел здесь. По этому костюму (по покрою и, главное, по тому, как он сидел на нем) сейчас же можно было сказать, не знакомясь с Павлом, что он из деревни (как, впрочем, и о многих других, впервые, как и он, бывших здесь). Об этом же, что он из деревни, говорили и загорелое лицо его, и руки с характерной (мозолистой) припухлостью ладоней, и глаза, выражавшие интерес и удивление, с каким он присматривался ко всему. Фронтные медали его, которых было всего три, точно так же как и костюм, внушительно смотревшиеся дома, выглядели здесь незначительным, сиротливым островком среди океанного блеска орденов и медалей, которых у иных было столько, что, казалось, уже негде было больше цеплять их. Павел терялся, оглядывая этих людей, внимание его рассеивалось, но одно он ясно сознавал для себя — силу, которую он чувствовал во всех этих людях. «Да, да, вот она, Ока и Волга народной жизни», — повторял он мысленно с той гордостью (что он тоже принадлежит к этой силе), какую по скромности и совестливости старался приуменьшить и приглушить в себе.

Но среди всех этих знатных людей, Павел чувствовал, были особенно заслуженные и знаменитые. Когда они появлялись, по фойе сейчас же словно прокатывался ветерок, как по хлебному полю, клоня и нагибая колосья, и внимание всех то приковывалось к председателю колхоза из Костромской области Прасковье Андреевне Малининой, вся грудь которой была в орденах, перед ней расступались, отводя улыбки на ее улыбки и говоря о ней, в то время как она проходила и не могла уже слышать, что вот героическая женщина и что, в сущности, на таких, как она (что можно было понимать: на энтузиазме таких), и держится все наше сельское хозяйство; то внимание всех, не успевал Павел как следует присмотреться к Малининой, переключалось на академика, известного своей новейшей теорией улучшения плодородия почв путем химизации, то на не менее знаменитого курганского ученого-практика Терентия Мальцева, впервые начавшего применять безотвальную пахоту и ежегодно получавшего (в результате этого своего крестьянского открытия) высокие и устойчивые уро-

жаи, то на героя-целинника Михаила Довжика, который, как легенду, нес в себе всю необозримость распаханых казахстанских степей. Для Павла, не знавшего о тех салонных спорах, отголоски которых хотя и намеками, но все же проникали в печать, где спорившие, полагая, что они выясняют истину, столетиями уже пытаются выработать те приемлемые (приемлемые для себя) формулировки народности, души народа, характера народа и т. д. и т. п., словно в том, как будут истолкованы эти понятия, и заключено все дело,— для Павла, которому никогда не пришло и не могло прийти в голову спросить себя, что такое народ и народность, так как он жил эту народную жизнью и такой вопрос только бы удивил и рассмешил его своею бессмысленностью, общество, которое он видел теперь (и которое было столь же неоднородным, как и всякое иное общество — просто ли деревенских людей, или строителей, или ученых), представлялось как монолит, движущийся к одной цели. Но он, в сущности, лишь переносил на них то свое чувство, что все в жизни идет по восходящей линии, с каким сам он, обзаводясь детьми и подновляя и расширяя дом, жил все эти послевоенные годы в Мокше; потому-то и казалось ему все целостным и единым.

Павел старался запомнить как можно больше, оглядываясь по сторонам, и в то время как он смотрел на одну группу людей (тех, кто теснился возле академика и был приверженцем его теории химизации почв), и переводил взгляд на другую (на тех, что были возле Терентия Мальцева и верили в его открытие), и переводил затем на третью (тех, что были сослуживцами по министерству и держались вместе уже по этому своему служебному признаку) и затем на четвертую, пятую (и еще, еще — на все то бесчисленное множество групп, возникавших и таявших, как это и бывает всегда, когда собирается вместе большое количество людей), полагая, что это единое и целостное,— целостное это не только не было таковым, но представляло собою лишь соединение разных взглядов на развитие деревни, различных научных течений, а иногда и просто личных интересов престижа и продвижения. Но главная цель противоборства была все же одна — поднятие сельского хозяйства страны. Здесь обсуждались не ложные формулировки так называемой народности и т. д., а выдвигались и отстаивались положения, от которых зависело загубить земли или не загубить их, довольствоваться ли временными успехами или ставить дело хотя и медленно, кропотливо, но обстоятельно. Здесь поднимались вопросы, от решения которых зависело будущее народа — будет он с хлебом и мясом или нет,— и жизнь, та самая жизнь, о которой Павел, находя ее в первые послевоенные годы тяжелой и несовершенной, начал бы сочинять записку в правительство, чтобы восстановить для мужика привычный круг его крестьянских работ, и о которой думал теперь, что все в ней наладилось само собой и пришло в норму,— жизнь эта складывалась и налаживалась не сама собой, а в противоборстве именно взглядов и направлений; и противоборство это не только не было еще завершено, но, как чувствовали участники его, получало теперь новый импульс, и отголоски его Павлу еще предстояло услышать сегодня с трибуны совещания.

VIII

Вся торжественная часть открытия запомнилась Павлу тем, что он вместе со всеми долго стоя хлопал появившемуся в президиуме правительству. Издали он не мог хорошо разглядеть, кто есть кто, но то общее чувство, какое неведомо как возникает и охватывает всех при виде правительства (чувство, называемое патриотизмом), охватило и Павла, и в то время как он не говорил себе теперь что вот она, Ока и Волга народной жизни, но все в нем было проникнуто именно сознанием этого, что то, что было в нем (то есть отношение его

к труду и жизни), было во всех и объединяло всех. Он хлопал не тому, что он видел знакомые по портретам лица секретарей ЦК и членов правительства, но от той простой радости, когда он не мог остановиться и подумать над тем, что он делал. Он хлопал, когда был объявлен докладчик (им был министр сельского хозяйства) и когда затем доклад был окончен и зал опять, поднявшись, аплодировал уже докладчику, возвращавшемуся к столу президиума. «Как он сказал о хлебо-робах! Наконец-то, наконец», — слышалось вокруг, и Павел, хотя он и не понял тех отдельных положений доклада, где говорилось о научно разработанных методах ведения сельского хозяйства (ему по-мужички казалось, что земле нужны только назем и руки), но общий смысл того, что все в деревне теперь хорошо (что совпадало с мнением Павла), но что, несмотря на то, что хорошо, надо добиваться того, чтобы было еще лучше (имелись в виду капиталовложения, выделенные для сельского хозяйства правительством), был понятен и близок Павлу. Так же просто, доверчиво, как он смотрел на все дома, видя гель своих крестьянских усилий в том, что без них невозможно было бы поддержание жизни — поле было бы не вспахано, пшеница не взошла бы и не выросла, травы на лугах не превратились бы в сено, и скотина начала бы тощать идохнуть, — просто, доверчиво и весело смотрел на все и здесь и воспринимал все.

— Нет, нельзя было не поехать, — говорил он одному из членов своей делегации, тоже механизатору, с которым он был помещен в одном номере гостиницы «Россия» и с которым, подружившись, сидел рядом в зале, пока читался доклад, и прохаживался теперь в перерыве по фойе. — Какие слова, какие люди!.. Живешь у себя в деревне, и мир кажется тебе велик, а мир-то этот — ему и охвата нет. Нет, нет, нельзя было не поехать, — говорил он, не умея по-другому и лучше выразить то, что он испытывал.

Вокруг него говорили о докладе. Одним он понравился больше, другим меньше. Одни хвалили доклад за то, что в нем возвышенно (и достойно, как добавляли они) говорилось о людях деревни, другие, напротив, ставили в упрек докладчику эту именно чрезмерную будто бы, как подчеркивали они, похвалу. Одни находили, что было хорошо, что в докладе было больше о достижениях, чем о недостатках (по тому принципу, что похвала — лучший стимул в работе), но другие, напротив, считали, что надо было больше анализировать недостатки, которых немало в каждом (даже передовом, добавляли они) хозяйстве, и что не только постановка задач, но что прежде всего выявление проблем поможет укрепить и двинуть дальше дело. Прислушиваясь к этим спорившим голосам, Павел с недоумением думал: «Чего не хватает этим людям, когда все совершенно, определенно и ясно?» Он не то чтобы отвергал, но он просто не в силах был понять того, что должно было разрушить в нем впечатление единства; впечатление единства было состоянием его жизни, и разрушить его равнозначно было для него потерять в пожаре дом или семью.

— Много ли деревенскому человеку надо? — продолжал он, как будто он снимал только верхушки со своих глубинных мыслей. — А ведь и надо, вот в чем все, надо! — И Павел после перерыва с тем же вниманием, как он слушал докладчика, слушал теперь выступающих.

Заседание было торжественным, и в выступлениях не должно было как будто быть полемики. На трибуну поднимались ученые, руководители хозяйств, бригадиры, механизаторы, партийные деятели, и каждый почти начинал с того, что было сделано его бригадой, колхозом, районом или областью в целом или в развитии того или иного направления в науке земледелия. Почти в каждом выступлении хвалялось то, что, по существу, должно было быть естественным и разуметься само собой, шла ли речь об увеличении тракторного или комбайнового парка, или об удобрениях, или о строительстве на селе; так

ли, иначе ли, но жизнь никогда не может стоять на месте, и потребность увеличения зерна рождает потребность увеличения техники; и все же когда один из ораторов напомнил залу, что «мы забыли главного нашего союзника — погоду», и что «нынешний высокий урожай — это еще и результат влажного и солнечного лета», и что «вспахать и посеять — это еще не значит взять все от природы», зал загремел теми аплодисментами, которые трудно было понять, к чему они относились: к погоде ли, что помогла вырастить и собрать такой урожай, к тому ли, что, несмотря на привычные утверждения, что человек властен над всем и что из этого надо исходить, планируя и требуя выполнения планов, на поверку выходило, что дело-то обстояло не совсем так. Павел тоже, как и все, аплодировал этой удачно и кстатн сказанной правде-шутке, как он воспринял ее. Он знал, что от погоды зависело многое, и на сенокосе ли, на уборке ли — всегда посматривал на небо; но здесь, при виде всех этих отмеченных высокими правительственными наградами людей, он испытывал лишь только то одно общее со всеми чувство, что люди эти, заполнившие зал и президиум, были силой, которой противостоять нельзя.

«Народ, держава, одно слово — держава», — думал он, невольно как бы оглядываясь на прошлое, на всю ту трудную (и свою и народа) жизнь, которая, как всякая пройденная дорога, долга и необозрима, только пока идешь по ней, и сжата и коротка в воспоминаниях.

— А ведь он прав, — между тем шепнул ему тот самый механизатор, член пензенской делегации, с которым Павел (в перерыве) ходил по фойе. — Не выпадет дождичка — не будет и хлеба.

— Выпадет, чего ж не выпасть ему, — с уверенностью (и не вникая в суть дела) ответил Павел.

Но многое из того, чего Павел не мог уловить (со своим восприятием целостности жизни), замечали другие и переглядывались между собой. Известный академик (будто между строк, будто он не хотел этого) невольно как бы жаловался президиуму, что его теория химизации почв, то есть улучшения их путем химизации, а значит, и повышения урожайности, все еще не получала должного признания и что находились даже люди, осмеливавшиеся критиковать ее. Теория его, как считал он, была всеобъемлющей и верной, так как она противопоставляла закону убывания плодородия почв (объективному будто бы) закон восстановления и обогащения. Он говорил красиво и убедительно для тех (как для Павла), для кого авторитет ученого всегда есть авторитет непререкаемый; но даже Павел, вслушиваясь, был странно смущен и думал, обращая мысленно к оратору, что как это он (оратор) не понимает (со своей химизацией) того, что нельзя, оставив на поле только пшеницу, все остальное живое уничтожить на нем; это противоестественно, земля станет мертвой, а на мертвой земле ничто не родит. Но все же целостность восприятий Павла еще не была поколеблена этим выступлением. Он только удивленно посмотрел вокруг себя, когда выступление было закончено, как будто хотел сверить свое недоумение; но две последующие речи, прозвучавшие одна за другой, заставили всерьез задуматься его.

Одной была речь секретаря райкома Лукина. Когда назвали его фамилию, Павел не расслышал; он лишь точно так же, как за всеми другими, поднимавшимися на трибуну, следил за Лукиным, как тот уверенным, твердым шагом прошел через зал к трибуне. Щеголеватый, с иголки, как говорили о нем в районе, он молодо вскинул голову, ладонью прибрал спадавшие на лоб волосы, и с первых же слов, как заговорил, завладел вниманием зала. Смысл его выступления сводился к тому, что, кроме научной основы земледелия, есть еще нравственная и что земля должна иметь не условного, а настоящего хозяина, должна быть в чьих-то одних руках, и рассказал об эксперименте, проводившемся Парфеном Калинкиным в своем хозяйстве, с которым,

заехав к нему на обратном пути из Орла, Лукин познакомился в тот трудный для себя день. Эксперимент этот, доведенный Калининским до конца (уже с согласия и одобрения райкома), выявил возможности, о каких прежде ни в колхозе, ни в районе никто не думал, что они могут быть, и Лукин теперь приводил цифры, которые (в пересчете на все пахотные земли колхоза и на земли района) представлялись внушительными. Павел видел, как председательствующий, поглядывая на Лукина, то и дело что-то записывал себе, а когда Лукин закончил, кто-то из крайних, сидевших за столом президиума, торопливо подошел к нему и пожал руку. Не ожидавший, как видно, что выступление его произведет такое впечатление, Лукин был взволнован, когда покидал трибуну. Он был в центре внимания, был героем дня, и ему аплодировали. Павел даже обернулся, провожая его взглядом. Он уловил в его словах то важное — что у земли должен быть хозяин, — что всегда болезненно жило в сознании Павла. Он относился к земле по-хозяйский, но он видел, что другие относились иначе, и потому понимал Лукина.

Второй речью, взволновавшей Павла, была речь курганского ученого-практика Терентия Мальцева. На трибуне стоял семидесятилетний, моложавый, бодрый еще старик с простым и добрым русским лицом. Он как будто ничего не отрицал, ни с кем не спорил и ничего не доказывал, а говорил только о сроках сева (поздних, каких придерживался он), подчеркивая при этом, что планировать эти сроки из кабинетов, да еще и для всех районов одни, нельзя и противоестественно делу; говорил будто только о пахоте (безотвальной, какую практиковал у себя), что он предпочитает не переворачивать, а рыхлить пласт (что было в соответствии будто с неким общим законом природы); говорил лишь, что не следует сжигать солому, а лучше оставлять ее на полях как необходимую земле органику (и что в связи с этим следует подумать о прицепах к комбайнам соломодробилках); он говорил будто только о том, что давно и с пользой применял в своем хозяйстве, но Павлу казалось, что он говорил о том, что не все вычеркнутое из прошлой крестьянской практики жизни было вычеркнуто правильно и что ко многому надо бы вернуться, безбоязненно признав свою неправоту. Павлу как бы открылось, что на то самое дело, за которое он ежедневно принимался в Мокше, не спрашивая себя, как его делать, а веря, что все, что он делал, было продуманно и правильно, — на дело это были разные (и каждый по-своему убедительный) взгляды. Всегда считавший, что он плыл по одному, и ровному, течению, он как бы ощутил глубину его; и ощутил неоднородность сил, возбуждавших это течение; он никогда не представлял себе, что вокруг его работы и жизни было столько разных мнений и споров, и когда вечером на приеме, устроенном в банкетном зале Кремлевского Дворца съездов в честь участников совещания он оказался за одним столом с Лукиным и Мальцевым, он особенно внимательно начал прислушиваться к их разговору.

IX

Прием проходил по тому новейшему образцу, когда все не сидели, а свободно прохаживались между столами. Те, кто посмелее (и кому положено и удобно было сделать это), подходили к столу, за которым находились секретари ЦК, члены правительства, и здоровались и разговаривали с ними; те, кто не осмеливался и кому не тактично, неловко было сделать это, смотрели издали на смельчаков с той скрытой завистью (что не они, а те подходили туда), которая, сколько ни осуждай ее, всегда останется обычным и естественным человеческим чувством. Лукин, выпивший на радостях больше, чем позволял себе выпить всегда, и разгоряченный и красный, смотрел от своего стола в ту сторону, где было правительство. В такой близости к высшей вла-

сти страны он еще никогда не был, и по неловким движениям, как он вдруг принимался подкладывать в свою тарелку то, что уже лежало в ней, и восторженному выражению лица было видно, что он взволнован. Ему надо было заговорить с кем-то, чтобы унять волнение, и он поглядывал на Мальцева, стоявшего рядом и тоже считавшегося, как и сам Лукин, героем дня.

Приветствие было уже оглашено, на сцену поочередно выходили певцы, певицы, танцоры, и усиленная динамиками музыка, с одинаковой громкостью звучащая отовсюду, сливалась с голосами людей и заглушала их. По потолку от одного конца зала к другому, словно по галечному перекату, плескаясь, лились радужные потоки света, и столы с яствами, рюмки, люди — все то окрашивалось багряным цветом восхода, даже набегал холодок, будто где-то рядом, за стенами, были лут, речка и лес со всеми запахами утра; то все начинало бледнеть, выцветать (с той же естественностью, как в жизни), и над головами устанавливалась высокая голубизна неба; то опять все переменялось и принималось опереточно мелькать в желтых, оранжевых, кумачовых пятнах, как будто кто-то торопился снять с гостей это минутное настроение грусти. Женщины из приезжих были в тех платьях, в которых они там, в деревнях, выглядели нарядными и модными; москвички, жены тех, кому положено было прийти с ними, понимая всю торжественность приема, были в длинных платьях, открывавших их белые, в жемчугах и золоте шеи. Дамы эти при своих почтенных мужьях держались так, как будто все, что происходило в банкетном зале, было в честь их и для них. Одна из таких дам с голыми круглыми плечами, голый, усыпанной веснушками спиной и голый шейей была за тем столом, за которым были Павел, Лукин и Мальцев, и суетою и бесцеремонностью, позволенной будто бы ей положением ее мужа, особенно обращала на себя внимание. Павел отстранялся от нее, чтобы не мешать ей размахивать руками; Лукин морщился на нее оттого, что он (только-только примирившийся со своей женой) видел в ней то вульгарное, что он видел теперь в каждой посторонней женщине; отходили, образуя вокруг нее пустоту, и другие, кому хотелось поговорить между собой без тех поверхностных, но должных казаться всем умными высказываний, без которых для определенного круга москвичей неинтересной и немыслимой показалась бы им московская жизнь.

— Теперь все и всюду заменяется машинами, — говорила эта дама. — Я слышала, уже выведен вечный сорт пшеницы.

— Верунчик, ты говоришь глупости.

— Ну как же, ну как же!

— Глупости, я уверяю тебя.

Муж ее Станислав Евгеньевич, как он отрекомендовал себя, был одним из тех занимавших высокое положение москвичей, которые, поднявшись до определенной ступени, десятилетиями затем сидят на одном и том же своем должностном стуле не потому, что умны и незаменимы, а потому, что всегда с выгодой для себя умеют использовать чужие мысли. Курганский ученый-практик ни с какой стороны не был как будто нужен Станиславу Евгеньевичу. Но по тому чувству, что он видел, что в сельском хозяйстве намечались перемены, по усилению внимания высшими органами власти к деревне и, главное, тому своему чутью, что если и произойдут перемены, то они будут подсказаны нижним звеном, такими, как Терентий Мальцев, то есть людьми деревни, он крутился теперь возле Мальцева, прислушиваясь, расприщивая и стараясь понять, что хочет предложить этот сибирский медведь (как Станислав Евгеньевич про себя охарактеризовал его), чтобы затем, опередив его, предложить это же самому и, получив необходимые моральные (и материальные, разумеется) дивиденды, возглавить дело. Невысокий, с круглым, трогательно выпирающим из-за полов пиджака животиком, на котором изящно покоилась коричневый

галстук, с наплывами жира над воротником рубашки и пухлыми розовыми пальцами, которые нельзя было представить иначе как над письменным столом, Станислав Евгеньевич не то чтобы заискивал перед Мальцевым или, что было бы еще хуже, выказывал перед ним свое чиновное превосходство (в его квартире висели хомут и лапти для возбуждения национального крестьянского духа); он просто отдавал должное Мальцеву (как, впрочем, и Лукину и Павлу), и в глазах его поминутно мягко светилось: «Да, я понимаю, вы там, на передовой, но, в конце концов, все мы делаем одно общее дело».

— Терентий Семеныч, Терентий Семеныч,— то и дело слышался его голос, в то время как Мальцеву трудно было после волнений дня отвечать ему.— Верунчик, ты не права, ты сегодня мешаешь мне,— тут же говорил он, успевая не только обращаться к Мальцеву, но и следить за женой.— Ты видела Матвиевских? Они здесь. Хочешь к ним?— предложил он ей, чтобы иметь возможность делать свое дело.— Пойдем, сходим повидать и поздравить.— И как раз в то время, пока он ходил к Матвиевским, чтобы оставить жену возле них, между Лукиным и Мальцевым произошел тот главный разговор, услышать который более всего хотелось Станиславу Евгеньевичу.

— Вы упомянули о законе природы,— сказал Лукин, обращаясь к Мальцеву. Говорить ни о чем, то есть для того только, чтобы говорить, он не умел и потому задал тот вопрос, который после выступления курганского ученого-практика беспокоил Лукина.— Вы приложили его к земле, к плодородию?

— Он приложим ко всему,— ответил Мальцев.— Закон накопления и увеличения плодородия, а не убывания его, как нам десятки лет твердили с ученых кафедр.— И он неторопливо, как он говорил всегда, будто с трудом подбирая слова и мысли, изложил Лукину ту свою научную теорию (подкрепленную опытом своим и историческим опытом крестьянского труда на исконных русских землях), по которой выходило, что закона убывания плодородия почв нет и не могло быть в естественных условиях жизни природы, что закон этот придуман для оправдания бесхозяйственного, если не сказать больше — бездумного обращения с землей и что вместо этого так называемого закона убывания плодородия всегда действовал и действует закон природы, по которому жизнь не затухает, а развивается на Земле.— Нынешнее вмешательство человека есть нарушение этого закона. Мы приучили себя к мысли, что только глубокая пахота дает урожай, тогда как на самом деле все обстоит иначе. Там, где пахотный слой позволяет, паша на здоровье, но ведь земли центральной России никогда не имели глубокого пахотного слоя. Мужик со своею сохой брал ее только на семь — десять сантиметров, а мы, получив могучие машины, забираем на все двадцать пять — тридцать и, если хотите, столько перепортили земли, что представить трудно.

— От головопятия, от неумения или еще от чего? — спросил Лукин.

— Не могу судить. Я только констатирую и хочу сказать, что так же, как мы диалектически подходим ко всякому делу, должны подходить и к науке земледелия. Если мы признаем, что вместо так называемого закона убывания плодородия почв, говоря иначе — бездумного, безграмотного нашего отношения к земле живет и действует закон природы, который надо изучать и применять, то мы вдвое, втрое сможем больше получать зерна, чем собираем с тех же площадей сейчас.

— По-моему, это открытие,— сказал Лукин, увлеченный теорией Мальцева.— У нас другие земли, но все равно, если вы не будете возражать, я бы охотно приехал к вам или прислал своих специалистов.

— Пожалуйста, что есть, покажем,— сказал Мальцев.

Для Лукина, убежденно искавшего пути решения деревенских

проблем, теория Мальцева, то есть умение правильно подойти к земле, невольно соединялась с понятием хозяина, как Лукин трактовал это понятие теперь, после зеленолужского эксперимента, и в соединении этом видел путь, по которому должно пойти сельское хозяйство. Он не говорил себе определенно, что путь этот вполне теперь был ясен ему; он только чувствовал (как человек, вставляющий в темноте ключ в скважину и наконец нащупавший пальцами то, что было нужно нащупать), что путь есть и что надо теперь только идти к цели. Он смотрел на Терентия Мальцева и думал о Парфене Калинин и разговоре с ним. Тот разговор в колхозе и этот, здесь, в банкетном зале Кремлевского Дворца съездов, в иной и не располагавшей будто к деловому общению обстановке, Лукину не казались разъединенными и разными; и Мальцевым и Калининным утверждалась, в сущности, одна и та же мысль, что нельзя, как это было сделано раньше, отмахиваться от векового крестьянского опыта, и мысль эта, захватив Лукина, отвлекала и занимала его. Сосредоточенный весь на этой мысли, он, казалось, не слышал, как за всеми другими столами (и за тем, где были секретари ЦК и члены правительства) продолжалось веселье. Между гостями ходили официанты с подносами и разносили жареные колбаски, шашлык, расстегаи и еще и еще что было вкусным и съедалось сейчас же, как только оказывалось в тарелках.

— Что меня беспокоит еще,— снова начал Мальцев после минутного задумчивого молчания,— так это излишняя наша увлеченность химией. Мы омертвляем химикатами землю, и перед наукой, по моему, сейчас надо выдвигать вопрос, как нам избавиться от ядохимикатов.

— Вы о химии? О выступлении академика? — сказал Станислав Евгеньевич, только что подошедший (без жены), не слышавший всего разговора, но решивший (по этим последним услышанным словам), что речь шла о выступлении известного академика, вернее о его теории химизации почв, и что теория эта не одобрялась ни Мальцевым, ни Лукиным.— Да, я с вами согласен, с химией мы явно переборщили,— подтвердил он, как будто он продолжал разговор.

Несмотря на то, что накануне совещания, то есть вчера, когда Станислав Евгеньевич был в гостях у этого известного академика (они не просто были знакомы, но дружили семьями и представляли собою ту с о ю Москву, в круг которой входили и профессор Лусо, и Тимонин, и Дружниковы), хвалил эту его теорию химизации и давал понять, что всячески будет поддерживать ее,— теперь, почувствовав общее настроенное отношение к ней, спешил присоединиться к этому общему мнению, выдавая его как свое давнее и глубокое убеждение; но фальшь, которая звучала в его словах и которую он не в силах был скрыть в себе, фальшь эта выдавала его, и Мальцеву и Лукину неприятно было слушать Станислава Евгеньевича. Но из деликатности они не возражали ему, а только переглядывались, недоуменно (и незаметно для Станислава Евгеньевича) пожимали плечами.

— Ну вот вы, вы механизатор, я вижу по вашим рукам, вы, я думаю, согласитесь со мной,— продолжал между тем Станислав Евгеньевич, обращаясь к Павлу, которого он почему-то считал своим сообщником (видимо, потому, что тот стоял молча и только прислушивался ко всему).

— Я не знаю, я только баранку кручу,— ответил Павел, теряясь и не представляя, что было сказать этому щеголеватому и круглому начальству, обращавшемуся с вопросом к нему. «Одни живут, другие изучают жизнь и силой своего воображения пытаются направлять ее, ну а те, кто живет, мы, что ж, выходит, мы так-таки ничего и не знаем, как нам жить?» — было в сознании Павла. Но он не говорил это, о чем думал, и только с большим как будто смущением, чем Мальцев и Лукин, пожимал плечами.

X

Лукин, как и Терентий Мальцев, теорией которого заинтересовались в соответствующих инстанциях, был после совещания оставлен в Москве и приглашен (теми самыми инстанциями) для разговора о зеленолужском эксперименте.

— Было бы хорошо,— выслушав, сказали ему,— если бы вы письменно изложили подробности вашего эксперимента.

Ему дали понять (несмотря на убедительность и восторженность его доводов), что дело это — зеленолужский эксперимент — простое, что оно требует изучения и что, кроме положительных факторов, оно несет в себе еще и то сомнительное начало, которое противоречит определившимся уже нынешним взглядам на развитие деревни. Ему дали понять, что то, что можно сказать с трибуны, еще не означает, что должно быть немедленно и под аплодисменты принято жизнью, и надо еще положить все (то есть спуд и результаты эксперимента) на те весы общего генерального направления, по которым будет ясно, чего больше — положительного или отрицательного — в эксперименте. Ему дали понять, что есть единая, разработанная и утвержденная система хозяйствования и что как ни ценна инициатива, но она должна быть в тех пределах (как маятник по заданному устройству часов), в которых не нарушалась бы эта общая система. «Но что тут нарушается и что изучать?» — думал Лукин, выйдя на Старую площадь. Он не был поколеблен в своих убеждениях, хотя и не испытывал уже той самоуверенности, с какою, покидая вчера трибуну, смотрел на аплодировавший ему зал (и того чувства открытия, когда затем на приеме разговаривал с Мальцевым); ему казалось, что его не поняли; не поняли потому, что он, говоря об эксперименте, не соединил его с мальцевским законом природы (как он целостно думал об этом вчера); и он был раздражен и недоволен собой за эту оплошность.

«Да, именно, надо было соединить все», — думал он уже в номере гостиницы, готовясь приступить к той самой записке, какую просили сочинить его. Но он только смотрел на чистые листы бумаги и не приступал, прислушиваясь к этому новому для себя чувству неуверенности, происходившему оттого, что он видел, что противостоящей ему в споре стороной выступал теперь не старик Сухогрудов, а то направление жизни, которое определено и установлено было общими усилиями людей и в котором без этих общих усилий и согласия невозможно ничего изменить и поправить. «Но от кого-то и от чего-то зависят эти общие усилия», — говорил он себе и, как это часто бывает с людьми (по защитному свойству человеческого ума переключаться с одного предмета внимания на другой), от сложностей служебного порядка незаметно как бы для себя перешел к тем своим семейным вопросам, которые, несмотря на то, что Зина с дочерьми была уже перевезена им из Орла в Мценск, оставались еще нерешенными для него. Зина была холодна с ним, и он болезненно переживал это. Галина просила (в письмах и телеграммах, которые она присылала ему на райком) приехать за ней в Тюмень и забрать ее, и он точно так же не мог не думать о ней. Его мучила совесть и по отношению к жене и по отношению к Галине, и он не мог оценить, что было вернее сделать ему. Галину он бросал теперь в тот момент, когда у нее было горе, к которому хотя и косвенно, но он все же чувствовал причастным себя. «Я отступил перед ее капризами, а нельзя было отступать и надо было настоять на своем», — думал он о том давнем дне, когда он, не поехав за нею в Москву, разошелся с ней. Он был виноват перед ней, но еще основательнее, казался ему, был виноват перед Зиной и чувствовал, что нельзя было ему допустить, чтобы она оказалась несчастной из-за него. «Она не выдержит и пропадет», — думал он (как он всегда думал о ней), и это, что он вернется к ней из жалости (и еще

оттого, что опасался общественного мнения о себе, что было главным), заставляло его как бы постоянно и мучительно оглядываться вокруг себя.

«Мог ли я еще полгода назад предположить, что окажусь в таком глупейшем положении, как теперь?» — думал он, относя это одновременно и к семейным делам и к зеленолужскому эксперименту, в котором (как он ни был все еще убежден в правоте его) видел, что была непродуманность, происходившая не от него, Лукина, а от Парфена Калинкина, инициатора эксперимента. «Может быть, у меня нет характера, нет твердости?» — задавал он себе вопрос. Но еще прежде чем подумать, что ответить на него, чувствовал (из прежнего опыта жизни), что когда надо, он бывал и несговорчивым, и твердым, и умел проявить характер. «Разве я уступил Сухогрудову? Нет», — мысленно говорил он, продолжая вспоминать, когда он еще так же решительно и с резкостью отстаивал свое мнение. Но тогда он был чист и ничто не стесняло его; его никто ни в чем не мог упрекнуть, даже если он ошибался, потому что он ошибался искренне. Теперь же все осложнялось тем, что в деле с экспериментом он доверился зеленолужскому председателю с его беременной невесткой, поразившей Лукина и вспоминавшейся теперь, а в деле семейном не было даже этого малого, что послужило бы оправданием. С Зиной он жил как будто хорошо и был доволен ею. Но, встретившись с Галиной, не устоял перед ней и объяснял это теперь своей слабостью, которой не мог простить себе. «Ведь она глупа, — думал он, — и я знал это. Она только создает видимость жизни, тогда как на все смотрит потребительски. И на меня», — добавлял он, приходя (по партийной привычке своей обобщать и соединять все с общим движением жизни) к выводу, что люди обычно страдают и расплачиваются не за то, что умышленно совершают зло, а за то, что не умеют вовремя сдержаться, и общество со своими устоявшимися понятиями морали — общество вынуждено быть безжалостным к ним. Он, когда это теперь требовалось ему, перечеркивал свои прошлые (и правильные) понятия о жизни и заменял их новыми (и ложными), по которым он мог считать правым себя.

Из гостиничного окна, к которому он подходил, чтобы отвлечься, открывался ему вид на Кремль с мостом, площадью, выложенной брусчаткой, и выступавшим на эту площадь собором Василия Блаженного, витые луковицы которого, не просохшие еще как будто от сырости утра, играли весело в лучах высоко уже поднявшегося над Москвою солнца. Внизу, под стеной, лежала тень, но зубчатый гребень ее и башня со шпилем, уходившим в небо, были освещены, и видны были за этой зубчаткой верхушки деревьев кремлевского сада, белокаменная стена колокольни, купола церквей, соборов и возвышавшееся над ними полукружье Большого Кремлевского дворца. Все это было красиво, было тем, что успокаивало как будто Лукина; но как только он вновь принимался вышагивать по номеру, трудные мысли его, отвлекавшиеся видом Кремля, сейчас же опять выдвигались из углов памяти и начинали беспокоить. Он не мог заставить себя сесть за работу и вместо этого решил, что ему надо съездить на кладбище к сыну, к той стене, в которой, как писала ему об этом в письме Галина, была замурована урна с прахом Юрия; и он, уже не думая больше ни о чем, оделся и вышел на улицу.

XI

Как бы ни менялся с годами облик Москвы, для всякого русского человека она всегда остается неизменной в том собирательном значении этого слова, что она есть голова всему и красный угол державы (в смысле красного угла избы, лучшего, почетного места). Москва в памяти Павла Лукьянова, только раз и не в лучшую пору, во время войны, побывавшего в ней (ночью по затемненному Садово-

му кольцу он прошагал с маршевой ротой от Казанского вокзала до Курского, отправляясь на фронт), в отличие от всех иных городов (и больших и малых, и советских и европейских, через которые затем прошел с боями) жила какою-то будто особой, неприкосновенной, святой жизнью. Все, что было с ним и вокруг него, связывалось в сознании его с Москвой как с правдой, без которой невозможны были бы ни Пенза, ни Мокша, ни те приречные луга, где он косил, начинавшие за деревней, ни поля, на которых пахал, сеял и убирал овсы и пшеницу; не бывая в Москве, он вместе с тем имел о ней свое определенное мнение как о средоточии ума и справедливости, и попав теперь в столицу и увидев ее (в этот первый день приезда) только с той парадной стороны, как видят ее наезжающие туристы (весь путь его был от гостиницы «Россия» до Кремлевского Дворца съездов и обратно), он не то чтобы удивился величию и красоте Кремля, величию и красоте Красной площади с Мавзолеем и голубыми елями вдоль стены, но удивился тому, что представление его о столице совпало с тем, какой она на самом деле открылась ему. И хотя совпадение было не внешним, а только по чувству, что Москва — голова всему, но Павлу казалось, что во всем, на что он смотрел, он узнавал (как он в любое время года и с любого расстояния узнал бы свою деревню) дорогие ему очертания строений и куполов, которые словно бы всегда, сколько он помнил себя, жили в нем. Он только не говорил об этом своем чувстве и по-деревенски несуетливо приглядывался к размерам кремлевской стены, поражавшей его. «Да, работали, не сидели», — думал он, меряя эту могущественную красоту затратою труда на нее. Он запомнил Москву именно с этой, парадной ее стороны, и ни студенческое общежитие затем, куда он ездил навестить Бориса, ни посольские улочки в районе площади Восстания, где жил Сергей Иванович, не могли уже разрушить в душе Павла этого первого впечатления его о Москве.

— У вас тут не учась ученым будешь, — уже после встречи с сыном и коллективного (всей пензенской делегацией) посещения ВДНХ говорил он Сергею Ивановичу, сидя с ним вечером за столом на кухне. Не любивший выпить, но возбужденный впечатлениями от Москвы, разговором с сыном и тем, каким он нашел Бориса — спокойным, целеустремленным и не испортившимся без родительского глаза, — возбужденный, главное, возможностью по-родственному поделиться с Сергеем Ивановичем этими своими восторженными впечатлениями, он пил, краснел и не чувствовал себя пьяным. — Ведь как живет, как живет, — поминутно переводя разговор на сына, внушал он Сергею Ивановичу. — Как и дома не жил! Все тебе удобства, учись и не забывай дурью голову. (Что для Павла было — как Роман, не нашедший ничего лучшего как жениться, а для Сергея Ивановича — непонятным и странным это шуринаское присловье «забить дурью голову».)

— Ну ты уж скажешь: дурью... С чего бы она, дурь эта? — возразил Сергей Иванович.

— Э-э, не говори, не говори. Ну, будем! — И он, подержав над столом рюмку, вышивал ее, вытирал рукавом губы и закусывал тем, что было поставлено на столе.

Павел не замечал, что, хваля Москву и московскую жизнь, он ставил себя перед Сергеем Ивановичем в то невыгодное положение, в каком Сергей Иванович выступал перед ним в Мокше, хваля ему его деревенскую жизнь. Они как бы поменялись теперь ролями, и уже Сергею Ивановичу приходилось морщиться, отворачиваться и возражать шурина. «Что Кремль, что соборы, что эти твои торжества? Этим ли живут люди?» — было в сознании его. Что Павлу представлялось главным, то есть красота и величие дворцов, зданий и площадей и то чувство государственной жизни, какое ему внушали они, для Сергея Ивановича было лишь фоном (как для Павла зацветшие овсы или скошенные луга в Мокше), на котором протекала его в заботах и хлопотах московская жизнь. Он слышал (по телепрограмме «Новости»), что в

Кремлевском Дворце съездов будто бы открылось совещание работников сельского хозяйства, собравших небывалый в этом году урожай зерновых, но и совещание и успехи эти не добавляли, не изменяли и не могли изменить ничего в его личных делах, в которых он был заинтересован, то есть в его отношениях с дочерью, в ходе следствия над ее мужем и еще в десятке других, требовавших решения. Кирилл Старцев, взявшийся пристроить Сергея Ивановича на работу, то ли оттого, что не очень старался, то ли от другого, что говорил не с теми людьми, с кем нужно бы, все еще ничего подходящего не мог подобрать ему; Никитична, с охотой согласившаяся было (по поручению все того же Кирилла) присмотреть за Сергеем Ивановичем, почувствовав затем, что дело это было не столь прибыльным для нее, чем то, каким она занималась, обмывая покойников и прихорашивая их в гробу, все реже и неохотнее приходила теперь; Наташа, получив по доверенности тот самый ордер на кооперативную квартиру, которого так ждал и не дождался Арсений, была поглощена теперь переездом и устройством в новом доме, где она, оснащенная Кошелевым, что Арсений будет оправдан, готовилась встретить мужа. От отца она уже получила то, что хотела. Он больше не нужен был ей. Она только навещала его, но жила той привычной уже для себя самостоятельной жизнью, от которой не то что трудно, но невозможно было отказаться ей, и Сергей Иванович с тоскою видел, как дочь все больше и больше отдалялась от него. Эти-то заботы и составляли для него теперь ту его (невидимую Павлу) Москву, в которой он жил и о которой (как и Павел в Мокше о своих деревенских делах) не хотел говорить Павлу. Но причины, побуждавшие к молчанию их, были разными. Если Павел не говорил из тех простых соображений, что не хотел стеснять своими заботами гостя, то у Сергея Ивановича было иное, и более глубокое, основание. Из того постоянного соперничества, по которому он знал, что шурин обогнал его в своей бесперспективной будто деревенской жизни (что сыновья у него, что дочери, да и дом, и в доме, и Екатерина со своим цветущим лицом и царственным взглядом, да и сам Павел со своим спокойствием и здоровьем), — из этого именно чувства соперничества, по которому, проигрывая шурина почти во всем, но не желая все же признать побежденным себя, он как раз и не хотел говорить о своих трудностях. На вопрос, что это была за срочная телеграмма, присланная Наташею в Мокшу, он ответил только: «Молодость, чуть запнулся, а уж кажется — в пропасть летишь». Он больше слушал, чем говорил, и чувствовал, что приход Павла был в тягость ему, как в Мокше в тягость шурина был сам Сергей Иванович со своей суетой, поездкой в Пензу, больницей и похоронами Юлии (как лишний навильник сена на возу, за которым надо было следить, чтобы не расстрясти в дороге).

— Старший-то мой, Роман, сукин сын, женился, вот тебе и дурь, — продолжал между тем Павел.

— Жениться — это еще не дурь. На ком, да и что после?

— Так об чем и речь. — И Павел с минуту, опустив седую уже голову, молча смотрел перед собой на стол и тарелку с кусками недоеденной колбасы, размятыми томатами и остатками консервированной рыбы.

Вчера, когда он был на приеме, он чувствовал себя стесненно от разнообразия еды и закусок на столах; он почти ни к чему не притрагивался и только то смотрел на правительство (на тот стол, за которым было оно), то прислушивался к разговору Мальцева и Лукина, из которого понимал лишь, что существует будто бы некий общий закон природы, нарушавшийся теперь людьми, и что будто бы от этого нарушения как раз и происходят все зримые и незримые загвоздки и накладки; он был огушен обилием начальственных лиц (главное, обилием орденов и медалей на их пиджаках), и в том привычном для него понимании его крестьянской жизни, что нет ничего выше и по-

рядочнее ее, образовалась (после этого вчерашнего обилия еды и медалей) брешь, провал, окно, за которым дразняще виднелась ему та, иная, с иными возможностями и запросами московская жизнь.

— Нет, что ни толкуй, а Москва есть Москва, — встряхнув головой, как будто желая что-то лишнее сбросить с нее, снова начал Павел. — Я бы не смог, недоступно, а манит, червяком таким сверлит.

— Ты о чем? — тоже захмелевший, тоже думавший о своем и теперь как будто очнувшись, спросил Сергей Иванович. — Для кого она Москва, а для кого... Э-э, о чем ты говоришь, какой червь?

— Есть, есть этот червь. Мы там от темна до темна, а тут?

— Что тут? Ну что тут? Да тебе ли, Павел, слезы лить? Здоров, как бык, такая семья, дети, машина — да тебе ли? Не завидуй, не-не, не завидуй. Давай-ка еще за тебя. За тебя, за тебя, не возражай.

ХП

Они выпили еще и были уже пьяны. И в этом пьяном состоянии Сергей Иванович старался перевести разговор на деревенскую тему, на то, что в Мокше поразило его и представлялось сутью и смыслом жизни (как он мог по поверхностным впечатлениям судить обо всем); Павел же, напротив, переводил на свое, то есть старался говорить о Москве, что поразило его в ней (и о чем он точно так же из поверхностных впечатлений делал глубокие для себя выводы); разгорячившиеся, они перебивали друг друга, в то время как главное, о чем надо бы поговорить им (что для Сергея Ивановича было его отношения с дочерью и устройство своей судьбы, а для Павла — все увеличивавшиеся заботы о подрастающих детях, которых надо было выводить в люди), — главное это оставалось в стороне, как будто не было главным и не могло занимать их.

— Закон природы, а ведь он есть, этот чертов закон, — говорил Павел, пьяно тряся над столом вилкой.

— Есть или нет, не знаю, — отвечал Сергей Иванович. — Вот ты живешь в деревне и ты здоров духом и телом, у тебя семья, достаток, я видел и я говорю тебе: вот он и есть, этот твой закон природы.

— Согласен, но...

— Если о Москве, то не гни, не гни коромысло в ту сторону, в которую оно не гнется.

— Но ты бы посмотрел вчера!

— Видел, и не раз и не такое еще, э-э, в Потсдаме...

— Я не о том.

— А я о том, именно о том.

Сергей Иванович поднялся, распахнул окно и включил свет. Ему приятно было вспомнить не столько о Потсдаме, где стояла его часть в свое время, сколько о том деятельном для себя периоде жизни, когда он весь был в работе и знал, ради чего переносил лишения. Он почувствовал, что (хотя и в прошлом) он был выше и значительнее Павла, и сознание этого превосходства, как будто оно, кроме утешения самолюбия, еще что-то давало ему, — сознание этого бывшего превосходства словно что-то решительное и резкое пробудило в нем.

— Ты знаешь, какой парадокс, — от окна повернувшись к Павлу, сказал он. — Мы клянем войну, да, верно, но ведь в войну я был нужен, я делал дело и был человеком!

— Ты был командиром и командовал... мной.

— Не гобой, а полком, это вещи разные.

— Людьями, людьями, а теперь этих людей у тебя нет.

— Не то, Павел, не то. Нет дела. Настоящего дела.

— А ведь и выйдет в дипломаты, а? Чует душа: выйдет, выйдет, сужин сын, — через минуту уже, качая головой, опять говорил о своем Павел. Перед сыном его Борисом открывалась перспектива высшей

московской жизни, так поразившей теперь Павла, и он был взволнован и не мог не думать об этом.

Они то трезвели, остужаясь под потоком сырого осеннего воздуха, вливавшегося в окно, то опять, как только выпивали по очередной рюмке, кровь прибывала к голове и они хмелели и, горячася, что-то и для чего-то доказывали друг другу, о чем на следующий день неприятно и трудно было вспомнить им. Они, не подозревая о том, оказались (с этой своею выпивкой и разговором) на том бессмысленном островке в общем океане осмысленной и целенаправленной человеческой жизни, на который не то чтобы случайно занесла их судьба, но на котором неизбежно оказывается всякий, как только отрывается от привычной для себя сферы деятельности — по собственной ли, по чужой ли воле. Павел, привыкший у себя в деревне к конкретным делам, а потому и к конкретным разговорам, относившимся только к делу, был теперь вне сферы этой своей привычной обстановки; он был возбужден, был как будто совсем другим человеком и, сознавая, хотя и смутно, это свое неестественное состояние (и, главное, не умея привести в порядок все свои московские впечатления), не мог ничего поделать с собой и говорил, говорил о том общем, о чем он не умел и не знал, что надо было сказать, и был, если бы Екатерина и дети со стороны теперь посмотрели на него, смешон и глуп в этих своих суждениях. Он чувствовал лишь, что надо было противостоять в чем-то своему московскому родственнику, и противостоял, во всем и решительно не соглашаясь с Сергеем Ивановичем.

— Ты мне брось наваливать деревню, как этот самый тот корреспондент, который пришел, увидел, победил. И мы книжки читаем, грамотны, — говорил он.

— Что ж, над Москвой одно солнце, одна роса, а над Мокшей другие? Ты брось это, брось, — через минуту снова говорил он.

Точно то же почти, что с Павлом, происходило и с Сергеем Ивановичем. Привыкший всегда мыслить категориями общими, то есть распоряжаться судьбами других людей (как было на фронте и было после войны, пока командовал полком), он в силу новых для него обстоятельств жизни должен был перенести всю свою энергию деятельности теперь на себя; он, как и Павел, но не на день, а на годы был как бы пересажен из привычной для себя почвы в непривычную, где, кроме писания мемуаров, не было куда приложить ум и руки, и он никак не мог освоиться с этим изменившимся для него положением. Он, как глубоководная рыба, вынесенная течением на мель, сутился и барахтался на этом мелководе, давно уже ища выхода из него, и в старании своем высказать теперь то конкретное, что так ли, по-другому ли, но вернуло бы его в привычную для него стихию жизни (то есть к полезной для общества деятельности), он был так же, как и Павел, неестествен, смешон и глуп.

— Перед тобой луг, ты скосил его и ты чувствуешь, что сделал дело, — говорил он, возражая Павлу.

— Разные, разные и роса и солнце! — решительно повторял он, не соглашаясь с этим мнением шурина.

Уже в одиннадцатом часу, к удивлению Сергея Ивановича (и Павла, не знавшего ее), пришла Никитична и прервала разговор.

Как только она вошла — в старушечьей своей юбке и со спокойствием на лице и в движениях (дверь открыл ей Сергей Иванович), — во всей коростелевской квартире будто прибавилось свету. Она как бы внесла с собою в дом частицу той народной жизни, в которой люди, подобные ей, умеют, несмотря ни на какие перемены, устойчиво судить обо всем. Вместе с тем как она ежедневно смотрела телевизор и слушала радио, вместе с тем как она общалась (в силу своего профессионального дела, давшего заработок ей) с самыми разными людьми и знала из разговоров с ними, что все теперь делается по-научному и что без научного подхода не было бы того, что было вокруг

(что было для Никитичны сборные панельные дома, быстро, как грибы, выраставшие вокруг Москвы), она видела во всей этой менявшейся жизни лишь то, что менялась как будто только одежда, снималось одно платье и надевалось другое, но что душа человеческая, вернее те нравственные понятия, о которых так часто говорят и пишут теперь, — душа оставалась неизменной и, как и во все времена, нуждалась в добре и утешении. «Что млад, что стар — всяк ласку любит», — говорила она, не умея лучше выразить то, что она понимала; а понимала она, что, какие бы посты люди ни занимали, всем одинаково тяжело бывает в горе и одинаково всем нужно бывает доброе слово, за которое — трудно ли произнести его! — люди бывают готовы отдать все. С этой своей меркою она прилаживалась и к Сергею Ивановичу, приходя к нему.

— Из деревни? — сейчас же спросила она, взглянув на Павла (главное, взглянув на его костюм). — Свояк?

— Да вот повидаться приехал, — как-то оправдывающе сказал Сергей Иванович. — Решили по чарочке.

— Где по одной, там и по второй и по третьей, да поди уж хватит, нагрузились. — Она налила в чайник воды, поставила на плиту и пошла постелить им постели; затем, вернувшись, с властной бесцеремонностью, с какой, она знала, только и следует обращаться с подвыпившими людьми, убрала со стола бутылки и рюмки и, сказав: «Как ровно сердцу чуяло, дай, думаю, зайду, а ведь она, — она чуть придержала поднятую над столом бутылку, — что образованного, что необразованного одинаково дурит», — сказав это, принялась накрывать к чаю стол.

Она знала, что всякий пьяный разговор есть разговор бессмысленный и что из того, что говорится во время застолий, ничего затем невозможно бывает приложить к жизни; и потому она не прислушивалась, что (уже за чаем) продолжали еще доказывать друг другу Сергей Иванович и Павел. Они решали проблемы (будто и в самом деле что-то может зависеть от того, как сказать о том или ином деле), тогда как Никитичне, которая от рождения, как ей казалось, и до этого своего преклонного возраста была в одной и той же своей среде жизни, не меняя понятий о ней и не забывая себе голову ни тем, как выращивать хлеб (выращивали же его всегда и вырастят, и пока есть вокруг люди, всегда будет и хлеб!), ни тем, как добывать руду и строить машины (всегда это кем-то делалось и будет делаться!), ни разными политическими, нравственными и иными исканиями (там пишут, а здесь как жил всяк по-своему, так и живет!), — Никитичне не надо было думать об общих вопросах жизни; она чувствовала себя пристроенной в ней и, перенося это свое восприятие пристроенности на Сергея Ивановича и на Павла, видела сейчас перед собой лишь одну цель, чтобы уложить их спать. «Утро вечера мудренее», — думала она; и она бесхитростно, просто, как всякий убежденный в своей правоте человек, незаметно как будто для них делала все, чтобы утомить их.

XIII

Павел и Сергей Иванович, как это часто бывает с подвыпившими людьми, всю ночь (словно они соревновались) надрывно храпели и, сами не слыша этого своего храпа, не давали заснуть Никитичне. Она ходила переворачивать их со спины на бок, возвращалась и снова ходила, и утром, невыспавшаяся, была молчалива, когда на кухне кормила их. Неразговорчивыми были и Сергей Иванович и Павел. Когда они теперь со стороны и совсем иными глазами смотрели на то, что было с ними вчера, спор их уже не представлялся им значительным; общее состояние жизни, что накануне занимало их, заслонено было теперь тем конкретным, что предстояло им сделать сегодня, и

Павел то и дело доставал из кармана пиджака тетрадный листок, в котором рукою Екатерины по-школьному крупно было написано, что надо было для дома купить в Москве.

— Разрешите-ка мне, что ли,— попросил Сергей Иванович.— Может, помогу чем.— Но прочитывая вслух, что было в памятке (названия и размеры вещей), показывал только, что он не знал Москвы и не представлял, где и что можно купить в ней.

— Да вы поезжайте в ГУМ,— наконец посоветовала им Никитична, слушавшая их.— Там есть все, а чего нет, так и ноги обобьешь, а не същешь.

Сама же она не хотела браться за то дело, которое не предвещало ей выгод. Проводив Сергея Ивановича и Павла, она позвонила по телефону, набрав номер, который надо было набрать ей, и поехала затем по тому адресу, куда еще накануне (и где был покойник) через свои установленные связи была приглашена, и была довольна, что день не пропал для нее даром и что, как было передано ей, шла она не в бедный, а в благополучный, обеспеченный дом. «Постараться... да что же не постараться, ежели надо»,— думала она и посматривала на небо, которое с ночи еще свинцово набухало обложным осенним дождем. Никитичну беспокоило не то, что неприятно будет по дождю выносить гроб и хоронить покойного (день и час похорон, она знала, изменить нельзя), но беспокоило другое — что она не прихватила, выходя из дому, ни плаща, ни зонтика для себя, и прикидывала теперь в уме, что можно было предпринять ей.

Но дождя в этот день не было, а был только тот резкий переход от тепла к холоду (от лета к зиме), тот каприз погоды, о котором синоптики говорят, что образовался такой-то и такой-то новый циклон или антициклон и изменилось давление; но для Сергея Ивановича и Павла, которым объяснение это не давало ничего и которые, как и большинство людей, находили в такой перемене лишь то, что им лучше или хуже дышится и работается в этот день,— для Сергея Ивановича и особенно для Павла, только что (накануне) видевшего солнечной и праздничной Москву, было теперь как-то неуютно и зябко в ней. Флаги и транспаранты, развешанные в честь недавних торжеств, были уже сняты, и всюду — и на Красной площади и на прилегающих к ней улицах и площадях — проступало то будничное однообразие, которое в пасмурный день бывает всегда особенно заметно. Заметно оно было и Сергею Ивановичу и Павлу. Попад (от проспекта Маркса) в тот постоянный поток людей, который тянулся к ГУМу, и вместе с этим потоком вступив в само здание ГУМа, разделенное на линии, этажи, переходы и мостики; попав, главное, в сутолоку всех этих выбравших, что купить им, сотен тысяч (в большинстве приезжих) людей, Павел, как, впрочем, и Сергей Иванович, столкнувшись с этим естественным будто, но неприглядным в своем внешнем проявлении миром потребительства, до такой степени растерялся, что готов был отказаться от покупок, лишь бы только выбраться из этого вавилонского, как он назвал ГУМ, столпотворения. Несмотря на то, что на улице было свежо, сыро, в ГУМе было душно от скопления покупателей, с сумками и заплечными мешками атаковавших прилавки. Павел тоже был с мешком, в который он складывал покупки, и когда все уже наконец было сделано и он вместе с Сергеем Ивановичем направился к выходу, он чувствовал себя более усталым и вспотевшим, чем на лугу или на пшеничном поле, где он с утра и до вечера водил комбайн.

«А говорят, что у нас безработных нет. Но кто же эти? Что они делают и что производят?»— думал Павел, с наивностью многих полагаая, что в то время как сам он был в ГУМе по делу, остальные не могли и не должны были иметь того же нужного им дела здесь; и он с удивлением смотрел (уже выходя из ГУМа), как залатывались выскобленные подошвами проеды в мраморных ступеньках входных лестниц. «Сколько же народу должно было пройти, чтобы прошаркать

так», — затем не раз и вслух и про себя говорил он, вспоминая эти подошвенные проеды на мраморе, так поразившие в этот день его.

Пообедали они в гостинице на этаже и затем укладывали покупки и разговаривали о тех простых житейских делах, о которых ни во время вчерашней встречи, ни сегодня, пока ходили по ГУМу, не удалось поговорить им. Уезжал Павел вечером один (вся пензенская делегация уехала еще накануне), и проводить его, кроме Сергея Ивановича, пришел Борис с другом Матвеем. В Мокше Сергей Иванович так редко видел Бориса, что не успел сложить о нем какого-либо определенного мнения. Он думал о Борисе так же, как думал о всех других детях Павла, что они умны, уважительны и послушны и что можно только радоваться, глядя на них. Но когда теперь на перроне Казанского вокзала (откуда уезжал Павел) увидел Бориса (и увидел Матвея, с отчужденным выражением вставшего в стороне), мнение Сергея Ивановича сейчас же изменилось, и он почувствовал, что будто столкнулся в Борисе с тем же странным и чуждым миром, с каким сталкивался в Наташе, не понимая его. Он не сказал о своем впечатлении Павлу и затем переживал, что поступил так; но, переживая, вместе с тем испытывал то сладостное удовлетворение (что шурина захватили эти же жернова!), которого не мог унять в себе и которое как раз и заставляло молча наблюдать, как Борис держался перед отцом и разговаривал с ним.

— Ну так я пойду, пап, — то и дело говорил Борис, оглядываясь на Матвея, на которого Павел, только раз посмотрев, не обращал внимания, но за которым незаметно будто, будто искоса (понимая его миссию, для чего он был взят Борисом) наблюдал Сергей Иванович. — У нас вечер, мы договорились, — продолжал настаивать Борис.

Он не то чтобы стеснялся отца или не хотел побыть с ним (обо всем домашнем было уже переговорено вчера), но мир интересов Бориса, ставшего студентом и жившего теперь в Москве, — мир этот, отдаленный от прежнего, деревенского, был иным и состоял не только из соблазнов свободы и возможности развлечений; мир этот для целеустремленного и цепкого к жизни Бориса состоял прежде всего из соблазна той перспективы дипломатической деятельности, к которой он готовил себя. Он расширял круг знакомств и был в том возбужденном состоянии (как это часто бывает с молодыми людьми, принимающими поверхностное и ложное за настоящее), когда ему казалось, что он уже вошел в атмосферу той своей будущей жизни, где ценились в человеке совсем иные качества, чем в деревне; и он торопился отделить себя от деревенского прошлого, мешавшего ему вполне ощутить себя своим в этом новом для него обществе.

Павел любовался сыном и не замечал перемены в нем; единственное, что хотелось ему — подольше побыть с сыном, и он отыскивал новый и новый предлог, чтобы задержать его. Сергей Иванович же, находившийся под впечатлением своих осложненных (и невысказанных) отношений с дочерью, думал, поглядывая не столько даже на Бориса, сколько на Матвея: «Отца проводить — и уже в тягость. Что же святого у них?» С точки зрения Сергея Ивановича, суждение это должно представляться верным. Но с точки зрения Бориса и Матвея, то есть молодых людей, начинавших жизнь, оно не могло быть верным. Им непонятны и чужды были проблемы, занимавшие их отцов (предков, как московская молодежь пренебрежительно отзывалась теперь о своих родителях); они не хотели видеть и признавать то, что как эстафету старшее поколение, не сумев или не успев решить, намерено было передать им; они, как всякая молодость, жили иллюзиями распахнутых во все стороны перед ними дверей, иллюзиями доступности и возможности всего, отдаленно даже не представляя себе, что настанет время, когда с подобной же эстафетой нерешенных проблем они сами окажутся перед новым поколением, которое так же не захочет их нерешенное принять от них.

— Так мы пойдем, пап. — снова проговорил Борис, оглядываясь уже не только на Матвея, но и на Сергея Ивановича, как бы прося поддержки его.

— Ладно уж, ступайте, ступайте, — наконец согласился Павел. — Вот уже и своя жизнь у них, — затем проговорил он, обращаясь как будто к Сергею Ивановичу, но в то же время, заметив обернувшееся лицо сына, ответно улыбаясь и махая рукою ему. — Круговорот природы, жизнь, — заключил он, когда Бориса и Матвея совсем уже не стало видно в толпе. Желание вывести детей в люди, то есть то, что Павлу как деревенскому человеку всегда представлялось главной целью жизни и теплом в трудные минуты согревало его — все не так будут жить, как я, а лучше! — оборачивалось теперь грустью и тревогой за сына.

По перрону между тем было объявлено об отправлении поезда, и проводница в форменном берете и со свернутым зеленым флажком в руке (из того вагона, в котором должен был ехать Павел) предупредительно сказала Павлу, что пора прощаться и заходить.

— Ну, — произнес он, обнимая Сергея Ивановича, — рад был поглядеться с тобой.

Сергей Иванович в ответ обнял шурина, и Павел почувствовал на спине вместо ладони укороченный обрубок его руки.

— Так ты подумай, — сейчас же сказал он Сергею Ивановичу. — Что ты будешь один пропадать здесь, приезжай, места хватит. Как надумаешь, так и приезжай, Катя только довольна будет, — добавил он, о чем уже говорил ему, когда предлагал оставить Москву и переехать в Мокшу.

XIV

Ожидание перемен в экономической и общественной жизни и споры о них (и ложные и настоящие), продолжавшие осенью 1966 года поглощать внимание людей разных профессий, не только не занимали Дементия Сухогрудова (как, впрочем, и многих других подобных ему так называемых технократов, которые в силу новизны своего дела не были связаны с корнями и традициями народной жизни), но представлялись смешными и нелепыми, когда он слышал о них. «Хозяин? Да это и есть хозяин!» — говорил он, сознавая себя хозяином той огромной стройки, которой он руководил. Он не спрашивал себя, для чего ему надо было прокладывать газопровод, для чего надо было бурить и добывать газ и к чему все это в конце концов приведет впоследствии; он просто знал, что все это было нужно, что у строительства был жесткий график, нарушить который он не имел права, и вся деятельность его сводилась к тому, чтобы положенное число труб, механизмов и людей было доставлено в срок и в положенное место и чтобы люди там, на местах, не испытывали определенных трудностей и не срывали дело. Деятельность его была деятельностью распорядителя (организатора, как принято говорить теперь), которому надо было обо всем помнить и всюду поспеть, чтобы где советом, где добавлением техники и людей подогнать дело. И дело это поглощало его. Ему некогда было оглянуться и подумать, что он делал, и если он сталкивался с проблемами, то проблемы эти не только не вступали в противоречие с какими-то общими и устоявшимися уже условиями хозяйствования (как это, к примеру, происходило в сельском хозяйстве), но требовали лишь инженерных поисков и решений.

Управление строительством было размещено в Тобольске, и естественно было бы, если бы Дементий, забрав жену и детей, перебрался с ними туда, где он теперь работал. Но этого не произошло; и не только потому, что не захотела Виталина. Дементий, в сущности, как требовали того обстоятельства, но, главное, в силу своего характера почти все время был в разъездах: вылетал то в Тюмень, то в Москву, где нужно было согласовать или пробить что-то, и будь Виталина

с ним в Тобольске, видела бы его не чаще, чем видела теперь у себя в доме. Он, как и прежде, приезжал неожиданно, окруженный кольцом служебных забот (кольцом успехов, которые вызывали в нем только желание приумножить их); и сейчас же невольно старался приобщить к этим своим успехам жену и тещу, сам становясь как бы в центр, а женщинам предоставляя право любоваться им.

— Мы делаем то, о чем еще пять лет назад подумать было нельзя,— произносил он, позволяя себе в разговорах с ней переходить на этот возвышенный слог, чтобы произвести впечатление, тогда как с Кравчуком и Луганским, с которыми он работал, он говорил по-другому. Их не надо было удивлять и примирять с жизнью, они были единомышленниками его, были теми же, только чуть меньшего масштаба, технократами, в сознании которых точно так же уживались, не мешая друг другу, мир служебный, который был беспределен, и мир домашний, в который они, как и Дементий, входили лишь время от времени, как входят иногда в старый сарай, в котором (по памяти) могут еще находиться какие-то нужные вещи.

— Что нас губит, так это погода,— в следующий (очередной) свой приезд говорил он жене.— Так затянулось тепло, так безобразно затянулось, что просто не знаю, что делать.— И он то возбужденно ходил по комнате, то останавливался возле окна и смотрел сквозь него, то, повернувшись к Виталине, повторял то, о чем только что говорил ей.

— Людям в радость, а тебе лишь бы навыворот,— вставляла свое Анна Юрьевна. Она была недовольна зятем, что он неделями не бывал в семье, и чаще, чем прежде (и по поводу и без повода), старалась хоть чем-то уколоть его.— Людям хлеб убрать, картошку с полей свезти.— Хотя она, всю жизнь проработавшая машинисткой в исполкоме, говорила теперь лишь то, что, она слышала, говорили в очередях другие, но она вкладывала в эти слова свой смысл, который следовало понимать так: «Во всех семьях отцы как отцы, а в нашей все в бегах, все куда-то за ворота». И она торжествующе смотрела на Дементия.

— Вот и пусть у того голова болит, кто занимается хлебом, а у меня свое дело. И какое, какое! — добавлял он, как будто уже по интонации, как он произносил «какое!», должно было быть ясно, как значительно то, чем он руководил; он словно сам, взявшись за один конец газопровода, как баржу на канате, тянул его.

«А они еще чего-то хотят от меня. Да влезли бы в мою шкуру», — возмущенно говорил он, мысленно (и одновременно) отвечая и Виталине и Анне Юрьевне. Он теперь еще сильнее был убежден, что напряженная, деятельная жизнь, какою он живет, есть крест, выпавший на долю нести ему, и что все окружающие (что для него было — все домашние) должны понимать и ценить это; он работал для того, как он думал, чтобы другие (те же домашние имелось в виду) жили в достатке, и недоумевал, как можно было, живя за счет его, быть в то же время недовольным им. «Давай поменяемся местами, — предлагал он Виталине. — На всем готовом, ха, да я бы не знаю что отдал, чтобы не думать ни о чем». Ему казалось, что он предлагал искренне, потому что ни о какой действительной замене, он знал, не могло быть и речи; отнять у него его деятельность было нельзя, и он хорошо сознавал это; но постигнуть, что такая же своя деятельность могла быть у кого-то еще (то есть у домашних), было выше его сил, и он лишь с удивлением повторял: «На всем готовом — что же им еще? Ну что?» Но этого еще, что было их духовной жизнью, как раз и не хватало им. У Анны Юрьевны круг ее забот по-прежнему ограничивался детьми и кухней (и еще этим беспокойством за дочь, что та несчастна в замужестве). У Виталины же после тех памятных переживаний, когда она осталась ночевать у крестной и муж возмущенный и злой пришел за ней, было так пусто на душе, что ей казалось, будто она не ходит, не ест, не пьет, а лежит, обложенная ватой. (как обкладывают ватой

недоношенных детей), и то, что с ней будет, зависит не от нее, а от умения, воли и благородства тех, кто взялся ухаживать за ней. Она понимала, что она не могла изменить свою жизнь, но пугало ее не то, что она останется одна, а что надо будет объяснить свой поступок. Но как объяснить его, когда все знают, что муж ее занят государственными делами, то есть заботами об общем благе, а она требует этого блага для себя. Как же она будет выглядеть перед всеми? И она думала, что, может быть, он и в самом деле не виноват, а виновато что-то другое, что заставляет его быть таким.

— Вот именно, — успокаивала ее тетка Евгения, когда Виталина приходила с этим своим сомнением к ней. — Мужчина есть мужчина, вошел в силу, во вкус, за работой и себя забудет, а переберется, отойдет — и ты тут как тут, рядом. Ты проще смотри на все, проще, — говорила она, прикладывая к заботам племянницы свою примирительную философию жизни. — У него свое, а ты свое найди, господи, да мало ли дел в доме! Когда я потеряла мужа... — И десятки раз повторенный ею рассказ, как она была оглушена, когда узнала, что муж ее («А он был офицером», — не без гордости добавляла она, как будто он был командиром Красной Армии, а не колчаковским поручиком) был расстрелян под Красноярском, — рассказ этот с обновленными подробностями обрушивался на Виталину.

— Но у меня другое, — говорила Виталина.

— Вот именно, и я говорю, — соглашалась тетка Евгения, подавая розетку с вареньем или чашечку с блюдцем и позванивая позолоченным браслетом об эту чашечку. — Ты займись своим, и он будет доволен и ты.

И Виталина, прислушиваясь к советам крестной, незаметно для себя сначала обновила на окнах занавески, и ей понравилось это занятие, потом принялась обшивать сыновей и переустраивать все в доме и постепенно так увлеклась, что целыми днями иногда не вспоминала и не думала о Дементии.

Кроме тех часов, которые она проводила в поликлинике, принимая своих маленьких пациентов, и тех, когда ходила по вызовам, все остальное время отдавала дому, переставляя, перебирая, перекладывая и обновляя все в нем. Ей казалось, что надо было приобрести ковры, — и она записалась в очередь на них; ей хотелось непременно такого-то и такого-то оттенка гардины — и она обходила все магазины, пока не отыскивала то, что было нужно ей; она кроила и шила, подхватив для удобства (и непривычно для себя) косынкою волосы, и была так естественна и уютна в этом своем домашнем наряде, что не только Дементий, по воскресеньям или вдруг среди недели приезжавший к ней, но и дети чувствовали происходившую в ней перемену, ласкались и льнули к ней. И как раз в это время, когда все как будто начало успокаиваться и налаживаться в доме, Дементий неожиданно (и необдуманно, как он не раз говорил себе потом) привез из Москвы Галину.

XV

Он привез ее вечером и на следующее утро улетел в Тобольск, где ожидали его дела. Прибывала техника, прибывали люди, прибывали на баржах вагончики для трассовых поселков, и Дементий, не задерживаясь в Тобольске, выехал на трассу, на время забыв о домашних делах. «Уж как-нибудь сами разберутся там», — решил он, подумав о жене, Галине и теще. Ему казалось, что то доброе дело, какое он сделал, привезя сестру в Тюмень, нужно было только продолжить им (жене и теще), и не предполагал, чтобы могли возникнуть какие-то сложности.

Но сложности возникли, и Дементию вскоре надо было возвращаться и разбирать их. Начались же они с того, что сосед Сухогрудовых Белянинов, живший в те дни холостяком (жена его, получив-

шая травму, оперировалась в Москве и лечилась там), идя вечером с работы и увидев Галину, то есть незнакомую, прежде никогда не бывавшую здесь красивую и в трауре женщину, остановился и заговорил с ней; и по тому принципу, что горе обычно сближает людей, спросив, кто она, откуда и почему здесь, и сказав, хотя и коротко, о своем несчастье, пригласил зайти к себе и погоревать, как он представил это, вместе. Он пригласил ее как родственницу своих давних и хороших знакомых соседей, и Анна Юрьевна видела с крыльца, как он, придерживая за талию Галину, ввел ее в дом. Она сказала об этом Виталине, но та не поверила матери. Когда же на следующий и еще на следующий день повторилось то же и когда уже не только Анна Юрьевна, но и Виталина увидела, как сначала погас в окнах соседского дома свет, в то время как Галина была там, а потом через какое-то время снова загорелся и Галина вернулась уже в первом часу ночи, — сомнений в том, что происходило там, ни у Виталины, ни у Анны Юрьевны уже не было; они были потрясены и не знали, что делать. Утром Галина выглядела грустной и озабоченной, словно все еще была угнетена горем; она не снимала траура (что, она знала, шло ей с ее белыми волосами) и в трауре же вечером уходила к соседу; когда же возвращалась от него, на круглых щеках ее и в глазах, как ни старалась она оставаться печальной, играли краски жизни.

Она не говорила, для чего ходила к соседу, а Виталина и Анна Юрьевна не смели об этом спросить ее. Но между собою, когда Галины не было, вели тот разговор, из которого более чем ясно было, как они относились к ней.

— Вот тебе и Москва и двоюродная сестрица... в горе. Шлюха! — возмущенно говорила Анна Юрьевна, не без намека напоминая Виталине о родственной связи ее мужа с Галиной. — Не успела сына похоронить, а уже бежит юбку задрать, ни стыда, ни совести, тыфу! А к столу так куда там — королевой пльвет.

Всю жизнь державшая себя в строгости и передавшая эту строгость дочери, Анна Юрьевна не могла спокойно смотреть на распущенность Галины. Для нее непостижимо было, как можно пойти в дом к чужому мужчине (да еще будучи в трауре!), у которого есть жена и обязанности перед ней. «Вернется — тогда что?» — спрашивая будто себя, но, в сущности, обращая этот вопрос к Галине, рассуждала Анна Юрьевна. Она знала соседку как хорошую и порядочную женщину и с ужасом думала, как та теперь вернется домой. «Да и нам с какими глазами встречаться с ней? Если бы откуда-то, кто-то, мы не знаем, пусть, их дело, а то от нас, из нашего дома!» И она, давно уже искавшая повода выразить свое недовольство жизнью (что все домашнее, то есть черновое и неблагоприятное, как надо было понимать, сваленное на нее, не ценилось и не замечалось в доме), — она почувствовала теперь, что повод был, и все свое наболевшее, соединенное с оскорбительным распутством Галины, готова была обрушить на Дементия. «Ты служи, делай, что тебе там положено, но и дом не забывай» — было главным аргументом ее. Но Дементия, кому она собиралась решительно высказать все и, побросав ему под ноги фартуки и кухонные полотенца, с поднятой головой затем уйти от него (куда и что потом будет делать, она не думала об этом; ей важен был момент, когда она будет швырять фартуки и полотенца, важно было именно это минутное удовлетворение, так красиво рисовавшееся в воображении ей), — Дементия в доме не было, а перед глазами все время были только Галина, позволявшая себе то, что невозможно было пережить Анне Юрьевне, и дочь, которая, как хозяйка должна будто пресечь это, боялась при ней вымолвить слово.

— Кто она тебе, что ты как пришибленная в доме? — говорила ей Анна Юрьевна, когда Галины не было в комнате и когда дети, играющие во дворе, не могли ничего слышать. — Правильно говорят: что сестра, что брат — одного поля ягода.

С Галиной Анна Юрьевна была сдержанна, но с дочерью чувствовала, что можно было говорить ей все, и получалось, что недовольство жизнью, какое собиралась высказать зятю, высказывала пока что дочери, доводя ее до слез и взвинчивая ее.

— Мама, но ты не права, — пробовала возразить Виталина. — Ты как будто хочешь развести нас.

— Что вас разводить, когда вы и так словно разведенные. Да что-бы я в твои годы.. Чтобы мой муж со мной так!.. — выпрямляясь вся, говорила она. Она не считала себя той женщиной, которые всегда и во всем бывают правы, но всякий раз в разговоре, когда конкретное (о чем шла речь) было не в ее пользу, она переводила все на язык общих фраз, выгодных ей; но как только этот язык общих фраз становился против нее, опять возвращалась к конкретному, чтобы доказать свое. — Ему ни дети, ни ты — никто ему не нужен. Ты же сама только что бегала от него, не так разве?

— Прекрати, мама.

— А что изменится? Одна порода, святого-то все равно ничего нет.

— Мама, прекрати, прекрати!

— О господи, на что я потратила с вами жизнь! — И она замолкала и уходила, чтобы через час, вернувшись, снова начать разговор о зяте и его сестре Галине, обвиняя как будто только их, но на самом деле заставляя страдать Виталину с детьми.

Но внешне все в доме оставалось как будто спокойно, даже спокойнее, чем бывало всегда. Галина часами меланхолично лежала на диване в отведенной ей комнате — домашнем кабинете Дементия; у Анны Юрьевны находились дела на кухне, где она теперь пропадала целыми днями, а Виталина, не решавшаяся ничего предпринять до приезда мужа (ни звонком, ни телеграммой она пока не хотела беспокоить его), старалась как можно дольше задерживаться на работе, где легче было забыться ей; даже Сережа и Ростислав, любившие, как все дети, пошуметь и побегать по комнатам, будто переменились и притихли в ожидании чего-то, что, они чувствовали, должно было произойти в доме. Бабушка ласкала их теперь не так, как прежде, а с какой-то будто тревогой, что они уже сироты, брошенные отцом; что-то подобное, они чувствовали, было и в ласках матери, и от этого передававшегося им предчувствия их будущего сиротства они начинали капризничать, плакать и только сильнее отягощали всем жизнь в доме. Виталина по вечерам уходила к ним в детскую и до полуночи сидела у их кроваток, оберегая их сон. Глаза ее то наполнялись слезами, то высыхали и бессмысленно останавливались на каком-либо предмете, какой она, глядя на него, не видела и не воспринимала. Ее опять волновали те же вопросы (положение нелюбимой жены), какие однажды уже занимали ее; она как бы шла теперь по второму кругу и чувствовала, что круг был шире, чем прежний, и что еще более неизвестно было, чем должно было закончиться все теперь. Ее мучили сомнения, что Дементий был неверен ей. Ей (с ее понятиями семейной жизни) страшно было признать это, страшно было представить, что Дементий, как и Беянинов, мог так же легко приводить к себе чужих женщин. «Он там один, и все может быть», — думала она. Она не хотела верить этому, но в то же время у нее теперь было больше оснований думать так. «Брат и сестра — одна кровь, одного поля ягоды», — невольно поддадала она под ход мыслей матери. Затухшие было угольки прежнего недоверия к мужу она раздувала теперь в своей душе этой новой волной сомнений и мучилась и изводила себя; и в этом своем мучительном состоянии, не найдя ничего лучшего (освободиться от этих мучений), отправилась к крестной, чтобы посоветоваться с ней.

— Да как она смеет?! — выслушав все о Галине, возмутилась тетка Евгения. — Как она смеет в чужом доме?! И вы все там не можете урезонить ее? — Несмотря на возражения Виталины, она решила сей-

час же, не откладывая пойти сама в дом к ним и уладить все.— Я удивляюсь Анне, я удивляюсь ей: столько самомнения, а как до дела, так нет ее. Идем, идем, и никаких разговоров,— продолжала она, беря сумочку и надевая то свое кримпленовое пальто, о котором, как его шить, еще весной советовалась с Виталиной.

XVI

То соперничество, какое всегда было между Евгенией и Анной как между сестрами, в разное время их жизни то более обострялось, то приглушалось. За Евгенией было ее (когда-то, в прошлом) богатое замужество, дававшее ей право считать себя интеллигентной, а за Анной Юрьевной — ее ответственная, как она любила подчеркивать, работа в исполкоме, дававшая ей не меньшее право на ту же интеллигентность, но только иного, не барского, а пролетарского, демократического толка; и в соответствии с этим различным пониманием интеллигентности Евгения строила обычно разговор так, что то, о чем она хотела сказать, нужно было додумывать, то есть производить определенную работу мысли, тогда как Анна Юрьевна, не заботясь, будет или не будет затронуто чье-либо самолюбие, говорила прямо, что она думала. Они были как будто либо от разных отцов, либо от разных матерей, как это можно было заключить, глядя на них. Но несмотря на это, казалось бы, явное различие и на их выдуманную ими же самими интеллигентность, рознившую будто бы их, в минуты, когда затрагивались их жизненные интересы (как было теперь), все налетное как бы спадало с них, соперничество отходило на третий план и выдвигались вперед только те родственные чувства, которые всегда и надежно связывали их. Евгения готова была помочь Анне (как и другим своим сестрам), и Анна Юрьевна ответно была готова сделать то же. С детства заложенное в них большой и дружной, в двенадцать душ, отцовской крестьянской семьей вдруг как бы пробуждалось и начинало действовать в пожилых уже теперь сестрах.

Анна Юрьевна сейчас же поняла, для чего пришла Евгения. Сестры обнялись и, сказав друг другу те незначительные слова, какими они обычно обменивались при встречах, вошли затем в большую комнату и молча присели, оглядываясь на дверь, за которой была Галина. За дверью не было ничего слышно (Галина, видимо, еще не поднималась), хотя наступал как раз тот час вечера, когда она должна была, собравшись, идти к соседу. Виталина тоже вместе с матерью и крестной была в большой комнате и с тем же выражением ожидания и напряженности, как и они, смотрела на дверь, словно все зло жизни, мешавшее ей быть счастливой, было заключено там, куда смотрела она. «Вот видишь, вот в чем все дело» — сейчас же появлялось в глазах Анны Юрьевны, едва она переводила взгляд на Евгению. «Да, разумеется, я согласна, в своем мы и сами разберемся, но только еще чужого не хватало нам!» — взглядом же отвечала сестре Евгения. В глазах же Виталины хотя как будто и нельзя было прочесть ничего определенного, но в них чувствовалась та же решимость довести все до конца, какую молчаливым видом своим выказывали мать и тетка. Все три женщины (по отношению к той, четвертой, что находилась за дверью) выступали теперь как судьи, разобравшиеся уже во всем и готовые вынести приговор; и приговор этот должен был быть беспощаден в силу тех обстоятельств, что судьи, то есть Анна Юрьевна, Виталина и ее крестная, считали себя каждая по-своему правой и безгрешной перед собой. Для Евгении то, что делала теперь Галина, было так далеко в прошлом (да и было оправдано гибелью мужа), что она даже не давала себе труда вспомнить, было ли вообще с нею это. Если же и было, то, во всяком случае, как она сейчас же сказала бы, не так, не вызывающе-оскорбительно, а благородно, как всякая женщина наедине с собой думает о своем поступке. Для Анны Юрьевны, тоже

жившей без мужа и тоже имевшей, как и Галина теперь, возможность сделать это же, но не разрешившей себе этого, было особенно невыносимо сознавать, чтобы в ее доме позволялось что-либо подобное; то, что для нее было переступить черту и представлялось безнравственным и потому невозможным, она видела, было, в сущности, просто, и эта-то простота, то есть упущенная ею самую возможность, сильнее всего задевала ее. «Пошла, вернулась и... ни в одном глазу!» — мысленно повторяла она. Почти то же, что и мать, испытывала Виталина. Всегда признававшая только одну возможную близость с мужчиной — супружескую (что было и законно и естественно) и считавшая немислимой всякую иную, она, как и мать, была поражена тем, как это легко и просто делалось другими; и оттого, что она знала теперь, как это было легко и просто делать, но что она все равно не могла позволить себе этого, она не могла позволить этого и Галине. Ей казалось, что весь узел ее домашних проблем был сосредоточен на Галине; она видела перед собой только один этот чужеродный и раздражавший ее предмет (как булыжный камень в наборе драгоценных и полудрагоценных камней, прежде красиво и в порядке лежавших перед нею), и ей не терпелось убрать этот предмет (то есть булыжный камень) и восстановить положение.

Но в то время как Анна Юрьевна, Евгения и Виталина — все трое сидели перед дверью, ожидая свою жертву, на которую должны были наброситься, смутно, однако, представляя, как будут делать это, Галина даже отдаленно не могла предположить, что готовилось ей; заметив, что на дворе начало темнеть, она поднялась с дивана, на котором лежала, и, приятно чувствуя все свое отдохнувшее молодое тело, взяла со стола зеркальце и принялась смотреться в него. Для нее того вопроса, которым так мучились Анна Юрьевна и Виталина с крестной, — вопроса этого не существовало вообще; после похорон сына (главное же, после того, как Лукин не приехал за ней) она чувствовала себя не нужной никому. Признать за собой вины она не могла, но в том, что она страдала, она находила удовлетворение, позволявшее ей хотя и бессмысленно, но спокойно смотреть на мир вокруг себя. Ей казалось, что она была мученицей, и роль эта не то чтобы нравилась ей, но утешала ее. Как мученица, она послушно за братом прилетела в Тюмень; как мученица, она с безразличием принимала холодное к себе отношение в доме брата; как мученица, она покорно согласилась на все, когда сосед пригласил ее, и допустила к себе с одной только той мыслью, что ей все равно, что в эту минуту было с ней. Ей не хотелось сопротивляться. Она, казалось, даже не слышала, что говорил ей этот объявившийся на ее пути мужчина, когда, подняв на руки, нес в спальню; она помнила только его дыхание и его губы на своих губах, щеках, шее и оголенных плечах. Она чувствовала, что была в каких-то властных руках, в каких она еще никогда не бывала прежде; и чувствовала, что это было совсем не то, что было у нее с Лукиным. Лукин теперь казался ей маленьким и бестелесным в сравнении с тем, как она чувствовала Беянинова. И чувство это, как она ни говорила себе, что ей все равно, что с ней, — чувство это снова и снова тянуло ее пойти к нему. «Жена... ну и что же, что жена, — думала она теперь, разглядывая свое округлившееся за эти последние дни и опять похорошевшее лицо, на котором, несмотря на годы, ни в чем еще не проявлялись признаки старости. — Не я пошла, он позвал». И она, закрыв глаза, невольно представила всю свою первую близость с ним. Она, не замечая того, уже загоралась этой новой для себя возможностью устроиться в жизни; она как бы увидела дверь, в которую можно было войти, оставив за спиной тот замкнутый коридор, по которому она столько лет металась в поисках счастья; и она готовилась ринуться в эту дверь, прикидывая лишь, сколько и каких шагов нужно ей сделать до нее.

«У него дом и все в доме, что же мне еще будет надо? — поймала она себя на этой мысли и покраснела оттого, что подумала так. — А

какая разница, что у него есть и чего нет»,— затем сказала она и, пристроив на письменном столе Дементия, на котором раздвинуты были все его книги и чертежи, свое зеркальце, принялась расчесывать волосы теми неторопливыми и размеренными движениями, какими женщины всегда любят прихорашивать себя; и, прихорашивая, любовалась будто особенной, золотистой теперь, при зажженном электрическом свете, красотой их. Да, она все еще была красива, и она знала это; и знала, что могла еще на многое надеяться в жизни. Главным было для нее теперь выбор оружия для достижения цели, и оружием этим, она бессознательно понимала, было ее теперешнее положение, когда она была в трауре. Оружием ее было нежелание ничего, и она видела, что именно этим она и нравилась Белянину; и она надевала на себя теперь все траурное не с тем чувством, что помнила о сыне и печалилась по нему, но с иным — что это привлекало его. «Викентий, да, ничего, звучно»,— думала она, расправляя на плечах черный кружевной шарф, чувствуя сочетание этого шарфа со спадавшими к нему белыми волосами и представляя взгляд, каким он от середины комнаты, когда она войдет, будет смотреть на нее.

Надев свои недорогие серебряные перстни, она еще и еще раз неторопливо оглядела себя; она как будто не спешила, и лицо ее было меланхолично; но вместе с тем ее охватывало желание поторопить события, и она вся жила этим чувством близости и основательности того (и именно теперь, когда она была свободна), что она называла счастьем.

XVII

Гордая этой душевной работой, которая происходила в ней и заключалась именно в том, чтобы продолжать (при всем желании поторопить события) оставаться равнодушной ко всему, той же походкой, как она в день похорон вся в черном шла за гробом сына, она вошла в большую комнату. В комнате было светло, люстра уже горела, и Галина сейчас же увидела всех трех женщин, рядом сидевших у противоположной стены: Анна Юрьевна и Евгения — на диване, а Виталина — на стуле, приставленном к нему. Женщины ожидали ее, и Галина сразу же поняла это. Она настороженно посмотрела на них и улыбнулась той своей защитной улыбкой (когда ей нечего было сказать), какую обычно обезоруживала настроенных против себя.

— Что-нибудь случилось? — спросила она, чувствуя, что надо было все же сказать что-то.

Женщины, еще минуту назад готовые обрушиться на нее, теперь, когда она была перед ними, только молча и неловко смотрели на нее: То недовольство, какое они, не видя ее, высказывали о ней (как об отвлеченном предмете), — недовольство их было как бы приглушено в них чистым, невинным взглядом Галины. По выражению ее лица и по всему виду ее невозможно было даже предположить, чтобы что-то дурное, порочное было в ней. Волосы ее, спадавшие на плечи, были так опрятно причесаны и так естественно все другое было на ней, что при самом придирчивом отношении к ней нельзя было бы сказать о ней, что она принарядилась для кого-то. В ней все казалось простым: и кофточка с напыльными продольными складками, и в меру укороченная и с боковыми разрезами юбка, приоткрывавшая (чуть выше колен) ее красивые в темном капроне ноги, и шарф, лежавший на плечах так, что вот-вот должен был упасть и не падал, зажатый оголенными и светлыми (под этим шарфом) руками, а недорогие серебряные перстни на пальцах только усиливали это общее впечатление простоты и естественности. И все это траурное не то чтобы не выглядело траурным на ней, но просто не могло восприниматься таковым; лицо ее как будто изнутри было озарено каким-то особенным светом жизни, и Евгения первой заметила и поняла причину этого света. Но вместо того чтобы еще более оскорбиться (что было бы естественно для этой ми-

нугу), она только со странным чувством тайной и запоздалой зависти оглядывала ее. «Господи, она еще так молода, так красива и так умеет подать себя», — невольно и не столько подумала, сколько почувствовала это в Галине Евгения. Она со своим врожденным (в чем она была убеждена) пониманием красоты и интеллигентности (или, как она еще толковала это, пониманием хорошего тона, вкуса и хороших манер) уловила ту незримую черту, которая всегда есть между женщиной столичной и женщиной провинциальной. Евгения уловила эту черту не только в умении одеться (просто и со вкусом, так, что самые дорогие провинциальные наряды сейчас же выдают себя), но, главное, уловила ту нравственную свободу, когда все осудительное не только не кажется осудительным, но, напротив, представляется обычным, естественным, житейским. «Я могу пойти к нему и могу позволить себе это, и что тут плохого, что вы посмеете возразить мне?» — читала она в глазах Галины; и она не то чтобы была вполне согласна с ней, но чувствовала себя обезоруженной перед этой убежденной правотой Галины.

Виталина тоже молчала, и ход мыслей ее был почти тот же, что и у крестной. Как ни была она ослеплена ненавистью к Галине, но что-то иное, что возвышалось над этой ненавистью, руководило теперь ею; и этим возвышавшимся было признание того, что Галина умела подать себя. «Вот что нужно мужчинам, им нужен этот эффект», — думала она, невольно сравнивая себя с Галиной и перенося все на Дементия. Она точно так же, как и крестная, уловила эту разделяющую черту, по одну сторону которой была она, Виталина, со своей провинциальной строгостью к себе и порядочностью (и своими еще более провинциальными советчицами — теткой Евгенией и матерью), а по другую — Галина и весь тот заманчивый (как она преподносится иногда в так называемых психологических фильмах, в которых под видом разного рода романтических страстей облагораживается самая беспардонная пошлость или негодяйство) мир кипучей столичной жизни. Она уловила в Галине то, что в обычном толковании должно было означать умение понравиться мужчинам; и хотя это в глазах Виталины было осудительно и она никогда бы не разрешила себе пользоваться таким умением, но вместе с тем она ничего не могла теперь сказать Галине. Простая и убежденная правота ее, по каким-то незримым будто связям передававшаяся Виталине, подавляла и заставляла сидеть молча. Она даже не оглядывалась ни на крестную, ни на мать, а смотрела лишь на Галину как на явление, открывшееся ей.

Анна Юрьевна же молчала потому, что молчали Евгения и Виталина. Почувствовав, что что-то будто переменялось в настроении их (как если бы только что нависавшая грозная туча, не пролившись дождем, свалилась за горизонт), но не понимая причины этой перемены в настроении сестры и дочери, она недоуменно и торопливо переводила взгляд от них на Галину и от Галины на них. Простота в одежде Галины не могла обмануть ее. Умение держаться и умение подать себя, что принималось Евгенией как интеллигентность, вызывало у Анны Юрьевны лишь недоверие, по которому она судила о людях. В ее понимании это было притворством, и она (как она думала теперь) навзвездом видела это притворство в Галине. «Только что похоронить сына! — не выходило из ее головы. — Вот пример, вот подарок семье», — переводила она на Дементия. Считавшаяся между сестрами (и особенно Евгенией) безвольной, не умеющей постоять за себя, она между тем не только не признавала в эти минуты никакой правоты за Галиной, но еще резче (в душе) осуждала ее.

— Вы не хотите сказать мне? — между тем снова проговорила Галина, нарушая тишину и чувствуя (по этому именно молчанию женщин), что случилось что-то, что касалось ее. «Но что может еще произойти кроме того, что уже произошло? — подумала она, имея в виду смерть сына и разрыв с Лукиным. — Ах, мне все равно; что еще может

дурного быть для меня». И она, пожав плечами, направилась к выходу, распрямляясь вся под взглядами Анны Юрьевны, Евгении и Виталины.

Ей не только не пришло в голову, что дурным было то, что она собиралась теперь сделать, то есть ее свидание с Беляниновым и близость с ним (почему это, что приносит ей радость, должно быть дурным?), но она искренне удивилась бы, узнав, что это, что было ее личным делом, могло стать предметом для какого-то разговора или объяснения.

Женщины проводили ее взглядом и еще минуту сидели молча, не зная, что сказать друг другу. Затем Анна Юрьевна подошла к окну и, отогнув занавеску, принялась наблюдать за крыльцом соседского дома.

— Ну вот, пожалуйста, вот полюбуйте́сь,— сказала она, обернувшись к Евгении и дочери и приглашая их взглянуть на то, на что смотрела она. Из окна было хорошо видно, как высокий крупный мужчина в белой рубашке с расслабленным галстуком и подтяжками поверх этой рубашки, обняв Галину за талию (точно так же, как накануне и еще накануне), вводил ее в дом.

Когда все трое отошли от окна, всем было неловко оттого, что они подглядывали за чужой жизнью. Евгения не смотрела ни на Анну Юрьевну, ни на Виталину и опускала глаза. Анна Юрьевна тоже что-то суетливо принялась поправлять на себе. У Виталины же было такое чувство, словно она сильнее, чем Галину, ненавидела сейчас мать и крестную за это затеянное ими подглядывание. «Вечно лезет, куда не нужно, и... в мою жизнь»,— подумала она о матери. Она вышла из комнаты и весь вечер занималась с детьми, стараясь отвлечься от мыслей, которые угнетали ее. Главное для нее было не в Галине, а в том, как легко людьми делалось это. Она переносила все на общую жизнь (и на мужа, которого и без того подозревала в неверности), и у нее опускались руки от бессилия противостоять этому, что в воображении рисовалось ей. «А я мучилась, я-то дура»,— говорила она себе, в разбросанности чувств и мыслей не находя прежней и ясной целостности, ради которой она жила; и она, как ей казалось, не хотела теперь никого ни видеть, ни знать— ни мать, ни крестную, ни мужа, который представлялся ей теперь в роли Белянинова, в рубашке и подтяжках вводившего к себе женщин. «А я дура, я-то дура»,— продолжала она, невольно (и каждую минуту) как бы прислушиваясь к тому, что должно было делаться в соседском доме, где была Галина.

— Приди хоть чаю выпей,— звала ее мать, сидевшая с Евгенией на кухне.

Забывшие о всегашнем своем соперничестве, сестры говорили в этот вечер о том, что им было предпринять в связи с поведением Галины; и обе они, как и Виталина, поминутно мысленным взглядом были обращены к соседскому дому. Им не надо было напрягать воображение, чтобы представить, что происходило там; и когда теперь перед глазами их не было предмета их осуждения, то есть Галины, они опять были откровенно возмущены ею.

— И он-то, он тоже хорош,— говорила Евгения, которой все же по впечатлению ее от Галины не хотелось всю вину перекладывать на нее.

— Да что он, что о нем? Разве мы с тобой могли позволить себе такое в наше время? — разомлевшая и подобревшая за чаем, отвечала ей Анна Юрьевна.

Они как будто снова ждали Галину, чтобы высказать ей все свое возмущение ею, но когда она вернулась, только проводили ее взглядом и молча и понимающе затем переглянулись.

Но так ли, иначе ли, а надо было что-то предпринимать, и Евгения на другой день, переговорив только с Анной Юрьевной (и не посоветовавшись с Виталиной), направила в Тобольск телефонограмму, чтобы Дементий срочно выехал домой.

XVIII

Дементий прилетел сразу же, утренним рейсом, и направился не домой, а в поликлинику (телефонограмма была за подписью Виталины), где намеревался застать ее. Еще более как будто обросший и похудевший за эти дни, пока с Кравчуком и Луганским объезжал трассовые поселки, и во всем том своем таежном виде, то есть в сапогах, свитере и брезентовом плаще с утепленную подстежкой, как было удобно и привычно ему среди строителей, он гулко прошел по коридору к двери, за которой была Виталина, и, не спрашивая, можно или нельзя войти в нее, решительным толчком, как человек, имеющий позволение на все, открыл ее. «Разместились тут по кабинетам и дергают занятых людей» — было на его лице это давно уже усвоенное им выражение, с каким обычно начальство производственное входит к начальству чиновному, занятому непроизводительным трудом. Он забыл, что входил к жене, а не к чиновному начальству, и только когда увидел Виталину, всю в белом сидевшую за столом и осматривавшую мальчика, которого мать держала на коленях, выражение лица его изменилось, потеплело, он, улыбнувшись, подошел к столу и поднял с пола ложечку, выпавшую из рук Виталины, которой та прижимала язык мальчику.

— Ну здравствуй, — затем сказал он, всем своим заросшим, бородастым лицом наклоняясь к ней, целуя ее в щеку и смущая ее.

— Ты что, ты что, у меня прием, — с ужасом будто, но с той интонацией радости, что он приехал и пришел к ней, какую она не могла скрыть, проговорила Виталина. — У меня же прием! Вы извините, это мой муж, — сказала она женщине, продолжавшей держать на коленях ребенка и с удивлением и возмущением (вместе с мальчиком) смотревшей теперь на Дементия.

— Да, извините, — поддержал жену Дементий, повернувшись к женщине с мальчиком и улыбаясь им так, что на него нельзя было обидеться. — Когда освободишься? — тут же спросил он Виталину.

— До двух, как всегда, а потом на вызовы.

— На вызовы попроси, пусть подменят, а к двум я приду, жди. — И он так же неожиданно, как появился, вышел от Виталины, оставив ее в растерянном-счастливом состоянии, в каком она давно уже не чувствовала себя.

«Что с него, как мальчик, ничего не понимает», — подумала она, не помня в эту минуту, что она думала о нем вчера; он вроде бы ничего особенного не сказал сейчас ей, ничего особенного не сделал; он и раньше, хотя и редко, так же неожиданно приходил на работу к ней; но вместе с тем в душе Виталины произошло то какое-то неуловимое движение (в то время как Дементий, наклонясь, целовал в щеку ее), по которому она не то чтобы поняла, но точно знала, что он любит ее. «Он неисправим, нет, он всегда был и останется таким», — как будто осуждая, но, в сущности, радуясь тому, что он такой, и оправдывая и прощая его, мысленно проговорила она и с улыбкой, уже не сходящей с ее лица, принялась снова осматривать мальчика.

— Вы уж извините, натопчется по тайге и, как дикарь, ничего не понимает, — прижимая ложечкой язык мальчику и заглядывая ему в рот, опять сказала она о муже (совсем не то, что она сейчас думала о нем).

Дементий же, прилетевший в Тюмень не только затем, чтобы узнать, что случилось с Виталиной, прямо от нее направился в областной комитет партии. У него была масса своих дел, которые надо было решить ему, воспользовавшись этим приездом, и он даже забыл спросить у Виталины, для чего она вызывала его. Она была на работе, была, как ему показалось, веселой, и этого было достаточно, чтобы уже не думать о ней. «Какие-нибудь домашние пустяки, которые сами собой и давно, наверное, решились». И пустяки эти уже не интересовали его. У него была армия людей, которыми надо было руководить было

огромное, от горизонта до горизонта пространство с опорными пунктами и передвижными поселками, то есть вся та прокладывавшаяся им по тундре и болотистому мелколесью трасса газопровода, которую он постоянно как бы держал в воображении, мысленно обозревая и чувствуя ее, как он чувствовал теперь плащ на себе с утепленной и жесткой подстежкой. В плаще было жарко. Оставив его в гардеробной, он в сапогах и свитере двинулся по устланному ковровой дорожкой обкомовскому коридору, отвечая на приветствия и приветствуя сам тех, кого считал нужным поприветствовать первым, и в то время как именно теперь на лице его должно было быть выражение: «Разместились тут по уютным кабинетам»,— выражения этого не было на его лице; под впечатлением ли встречи с Виталиной, на которую, как видно, и был израсходован запас этого обычного недовольства, или просто оттого, что шел не по вызову, а по своему желанию и потребности решить дело, Дементий живо и весело смотрел перед собой и на двери кабинетов с табличками, мимо которых проходил. Он снова был, как он сказал бы о себе, в том рабочем состоянии, в каком привычно и естественно было быть ему, и весь готовился к разговору, с каким намеревался войти к первому секретарю обкома.

Но у первого шло совещание и надо было ждать, когда оно закончится.

— А вы можете войти,— сказала секретарша, ходившая доложить о нем.— Там о Нижне-Обской ГЭС и скоро закончится. Войдите, если хотите.

— Как о Нижне-Обской? Разве вопрос этот все еще не решен? — Но секретарша не ответила ему, и он, приоткрыв дверь, тихо, крадучись, но все же обратив на себя внимание многих, вошел и сел на ближний попавшийся ему на глаза свободный стул.

Дементий хотя и не в подробностях, но был знаком с проблемой предполагавшегося строительства так называемой Нижне-Обской ГЭС и был на стороне тех (из двух борющихся групп, двух взаимоисключающих мнений), кто решительно выступал против строительства этой гидроэлектростанции. Идея перекрыть Обь между Игримом и Салехардом сама по себе представлялась заманчивой и грандиозной. Нижне-Обская ГЭС могла бы дать такое количество дешевой электроэнергии (так нужной для освещения Сибири, как говорили проектировщики), что представлялась сказочной и непостижимой цифра, когда ее называли. Но при этом огромная часть Западно-Сибирской низменности с ее болотистым мелколесьем и разведанными по этому мелколесью запасами нефти и газа должна была оказаться под водой. Под водой должен был оказаться Самотлор с его уникальными возможностями, и нефтяники и газовики решительно высказывались против перекрытия Оби. Дело было передано в правительственные инстанции и, казалось, было уже решено в пользу нефтяников и газовиков. Дальнейшая разработка проекта была прекращена. Но у авторов его (и у Министерства энергетики, выступавшего за осуществление этого проекта) вдруг обнаружились новые доказательства, говорившие о пользе перекрытия Оби, и затихшие было споры о том, нужно или не нужно строить Нижне-Обскую ГЭС,— споры эти вновь, возбуждаемые, с одной стороны, интересами государственного значения и с другой — интересами личного престижа, всплыв на поверхность, захватили общественность. Дементий знал об этих спорах, но не знал о новых доказательствах, выдвигавшихся проектировщиками, и, прислушиваясь теперь к выступавшим (и к репликам этих проектировщиков, защищавших уже не столько проект, сколько честь мундира), сообразительным умом своим сейчас же понял, в чем было дело. Проектировщики предлагали здесь, в Сибири, применить опыт каспийских нефтяников и добывать нефть на затопленном Самотлоре. При этом отпала бы необходимость, как они утверждали, строить на трясинах дорогостоящие автомобильные дороги, а все грузы (и люди)

доставлялись бы к местам работ на баржах и лодках. В доводах этих был свой смысл, на который и упирали авторы проекта, тогда как для нефтяников и газовиков, непосредственно занятых освоением Самолора, то есть тех самых непроходимых болот, где увязали даже самые мощные тягачи и вездеходы, предложение это было не только сомнительным, но представлялось неприемлемым вообще в силу именно тех причин, что искусственно усложнялись и без того сложные условия разведки и добычи нефти. К спору были подключены ученые Сибирского отделения Академии наук. Прилетевшие в Тюмень из Новосибирска и ознакомившиеся с проектом, они присутствовали теперь на совещании, и Дементий, знавший многих из них, всматривался в их лица. «Что они скажут? — думал он. — На лодках края не освоишь». И он, уцепившись за это неудачное выражение «на лодках», которое, впрочем, более всего показывало нелепость выдвигавшихся аргументов, сам готов был включиться в спор. Ни о Виталине, ни о каких прочих домашних делах, разумеется, он не мог думать в эти минуты; его захватили государственные категории, категории будущего, — и что могли значить в этом масштабном видении мира мелочные капризы жены, которой, впрочем, всегда чего-то (и почему-то) недоставало в жизни.

XIX

То, что происходило в этот день в обкоме, имело исторический интерес. То, что в те же часы и минуты происходило в доме Дементия, хотя и не имело исторического интереса, но было так же важно для Анны Юрьевны и занимало ее. Несмотря на разлад в семье, привнесенный Галиною, несмотря на недовольство дочерью, зятем и постоянное желание, бросив все, уйти из этого дома, она не только не делала этого, но, напротив, прилагала усилия к тому, чтобы сохранить благополучие. Однажды взяв на себя черновую работу в доме, она не могла не продолжать ее. На ее обязанности было припасать на зиму картофель, и она, не спрашивая ни у кого, то есть у дочери и зятя, когда и как лучше было сделать это, отправлялась на рынок и, выбрав то, что ей представлялось подходящим, привозила домой и засыпала в подпол. В ее обязанности входило насолить грибов и капусты с яблоками (по тому крестьянскому обычаю, о каком она помнила с детства), и когда наступал срок, бралась и за это, без чего, как ей казалось, была бы в чем-то обедненной, неполной семейная жизнь. Анна Юрьевна обычно приглашала в помощницы одну из своих старых знакомых — Тимофеевну, как она называла ее, у которой был как будто какой-то свой секрет, как солить капусту с яблоками. В чем состоял этот секрет, сколько Анна Юрьевна ни смотрела, не могла понять; все делалось будто так же, как делалось всеми, — капуста крошилась и затем, как тесто, с хрустом перемешивалась на широком столе, чтобы пустить сок, — делалось будто даже небрежнее и грубее, чем нужно бы, но зимой, когда эта капуста с красными морковными жилками и запахом моченых яблок доставалась из бочки, не только вкус, но даже самый вид ее вызывал аппетит.

Как раз в это утро, как приехать Дементию (о чем Анна Юрьевна не знала), она пригласила Тимофеевну. В сенцах уже какой день стояли мешки с капустой, корзины с яблоками, морковью; вымыты и проветрены кадушка, и крышка, и грузы к ней; были наточены ножи и приготовлено все остальное, без чего нельзя начинать дело, и пожилые женщины, обменявшись на кухне за чаем теми обычными новостями о состоянии текущей жизни, как эта жизнь виделась и воспринималась ими, надели фартуки и принялись за дело. В то время как Дементий, увлеченный ходом спора, вслушивался в слова председателя Сибирского отделения Академии наук Лаврентьева, выступившего против перекрытия Оби (мнение его оказалось решающим); в то время как Виталина, счастливая приездом мужа и появлением у

нее, жила той минутой, когда снова (в два часа дня) увидит его, а Евгения, мучимая сомнениями, что без согласия племянницы вызвала из Тобольска ее мужа, спешила теперь, приодевшись, к Виталине, чтобы объяснить с ней, — Анна Юрьевна и Тимофеевна, заняв самую большую комнату в доме и разложившись в ней, делали свое простое, важное для них и не замечавшееся и не ценившееся другими (надо было понимать: Дементием и Виталиной) дело. Половики были скручены и рулончиками лежали у порога, стулья отнесены в спальню, а стол накрыт широкими, сколоченными вместе дубовыми досками. С одной стороны этого стола стояла Анна Юрьевна и резала капусту, ловко ножом откидывая все нарезанное к центру, а с другой — Тимофеевна делала точно то же и теми же движениями, время от времени запуская свои розовые морщинистые пальцы в общую кучу, чтобы, поворошив, убедиться, так ли все шло, как нужно. Тут же были корзины с яблоками, кадушка, и по всем комнатам растекался тот особенный запах осеннего огорода и сада, от которого все были возбуждены: и дети, крутившиеся возле стола и хрустевшие кочерыжками, очищавшимися для них бабушкой и Тимофеевной, и Галина, которой хотя и не предложили ничего делать, но которая от окна, где она сидела, всматривалась в Анну Юрьевну и Тимофеевну, как если бы это были Степанида и Ксения, суетою своею только и наполнявшие жизнью дом отчима в Поляновке.

Галине по-прежнему важно было то ее меланхолическое настроение, каким она, как это казалось ей, привязывала к себе Беянинова. И хотя перед работавшими пожилыми женщинами не было необходимости выдерживать это меланхолическое настроение, но вместе с тем что-то будто подсказывало ей, что она должна быть такой, что такой, меланхоличной, она была от рождения и только не знала этого, не могла найти себя, как сказали бы по-современному, но что вот теперь наконец поняла, в чем было ее призвание, и уже не хотела изменять этому призванию. Она была захвачена новой и не осознававшейся ею игрой, подсказываемой ей обстоятельствами жизни, и, как это всегда прежде бывало с ней, все прошлое перечеркивалось ею, объявлялось обманом, и она уже ничего не видела перед собой, кроме этого нового, воображенного ею для себя счастья. Она знала, что имела право на счастье, как все живущие на земле, и только не умела, как она думала, воспользоваться этим правом; раньше не умела, но теперь — теперь она знала, что не упустит своего; и оттого, что знала, что не упустит, выводя это более не из чувств Беянинова к себе, а из своих к нему, испытывала то глубокое спокойствие, словно что-то основательное и вечное вернулось к ней. Ее меланхолическое настроение было для нее и оружием и щитом, позволявшим не растрачивать, а экономить те жизненные силы, которые нужны были ей для встречи с Беяниновым; она оберегала себя не только от физических, но даже от излишних душевных движений, и только одна мысль неволью приходила ей теперь в голову, в то время как она от своего места у окна смотрела на Анну Юрьевну и Тимофеевну: как жалки и как стары эти женщины, не видевшие, кроме кухни и стен своего дома, ничего в жизни. Мысль эта ужасала ее; ей надо было чего-то иного, возвышенного, что, она верила, есть в жизни, и готова была лететь за этим возвышенным не помня себя (и не помня ничего из того, что мучительно и не раз уже бывало с ней прежде). В глазах ее что-то будто светилось нежное и трогательное по отношению к себе. Она, как и накануне, была во всем том траурном, что не смотрелось на ней как траур, а только подчеркивало то молодое и красивое, что еще было в ней. С рассыпанными по плечам светлыми волосами и с оголенными до локтей белыми руками, которые она держала на коленях перед собой, она, как в театре, когда бессмысленно даже подумать, чтобы включиться в действие, происходящее на сцене, смотрела на женщин. Она не слушала их; разговор их не был интересен

ей; ее лишь развлекал этот маленький кусочек забытой ею тихой домашней жизни, какой она не хотела для себя, но в которой, она чувствовала, было все же что-то из того возвышенного и вечного, к чему устремлены были ее помыслы.

Она как будто не мешала женщинам, но Анна Юрьевна и Тимофеевна чувствовали себя стесненно и говорили не о том важном, о чем им хотелось поговорить сейчас (именно о Галине и ее близости с Беляниновым), но о пустяках, о которых можно было говорить, можно и не говорить, так как пустяки эти не имели того главного (перемывания косточек) смысла, чем привлекательны бывают подобного рода разговоры между женщинами или мужчинами, сошедшимися по случаю вместе.

— Раньше ведь и капуста была другой,— задерживая на весу нож и обращая все свое с крупными наплывшими морщинами лицо на подругу, говорила Тимофеевна. Она не могла скрыть удовольствия, что за работу, которую она делала, будет неплохо заплачено ей, и хотела уже теперь чем-то большим, чем только эта работа, отблагодарить Анну Юрьевну. — Принесет, бывало, мать с грядки, да что мать — я уж сама была, на моей уже памяти,— заискивающе продолжала она, зная хорошо, что тема эта о прошлом всегда была приятна Анне Юрьевне. И к тому же старушечьи руки ее отдыхали во время этого разговора. — Разрежешь вилок, а он как сахар, бел-белым, да тверд, да и хруст другой.

— Все раньше было другим, то ли уж народ обмельчал, то ли уж, как по писанию, все на убыль,— тем же мягким, доброжелательным тоном отвечала Анна Юрьевна. — У отца двенадцать душ нас было. — И она покосилась на Галину, словно это должно было относиться к ней. — А ведь мы и знать не знали, что такое скандал в доме. Ну, шлепнул того, тому подзатыльник, а в главном всегда и все в ладу и согласии жили. Умел и приласкать и в люди, слава богу, всех вывел.

— Тебе ли, Юрьевна, на семью жаловаться,— заметила Тимофеевна. — Ишь внучата-то какие, ишь, посмотри на них, как только ты их различаешь. Ну-ка, кто из вас Сережа, кто Ростислав? — нагнувшись к ним и глядя мальчиков по головкам, начала Тимофеевна (о чем всегда и все в доме говорили им). Маленькими, бесцветными и близорукими уже глазами она по-старушечьи ласково вглядывалась в их одинаково улыбающиеся розовощекие лица, отыскивая и в самом деле не находя того, что отличило бы близнецов друг от друга.

Ребята были только что и одинаково пострижены, и в то время как Ростислав, которому хотелось освободиться от ласк Тимофеевны, повернул головку к свету, над ухом его за редкими светлыми волосенками у самых корешков их открылась коричневая родинка, точно такая же, какая была у матери, Виталины. Родинка эта, вызывавшая у Дементия чувство особой привязанности и любви к мальчику (по привязанности и любви к Виталине), для Тимофеевны была недостатком, своего рода уродством; но высказать этого ни Ростиславу, ни Анне Юрьевне она не могла и, делая вид, что не замечает ничего, тем же своим слащаво-певучим голосом продолжала, удивленно подняв вылезшие уже свои старушечьи брови:

— Да как же вас мать-то различает, господи!

XX

Мальчики с шумом бросились от стола (от Тимофеевны) по тому только чувству, что им было весело и хотелось побегать на виду у взрослых, и, как это часто бывает с расшалившимися детьми, Ростислав, бежавший впереди, оступился и упал, больно ударившись головой о ножку дивана. Сначала он испугался и только обернулся на бабушку, но потом заплакал, и Тимофеевна и Галина кинулись успокаивать его. Тимофеевну он хватал, но на Галину смотрел теми

внимательными, полными детских слез глазами, в которых было не то чтобы удивление, но они светились той детской доверчивостью, какой всегда так не хватало Галине во взгляде ее сына. Она бессознательно гладила и целовала ушибленное Ростиславом место, на котором расплывался синяк, и незаметно для себя мысленно возвращалась к тем дня, когда Юрий ее был маленьким и когда она, вся дрожа над ним, отпускала его от себя побегать по травке. Все ее материнское чувство, какое она хотела (и не смогла) передать сыну, она отдавала теперь Ростиславу, кончиком своего траурного шарфа вытирая с его щек слезы и чувствуя тот прилив нежности и любви к мальчику, словно это был не Ростислав, не чужой, а ее родной сын Юрий.

— Не плачь, миленький, не плачь, не надо, все заживет, все будет хорошо,— торопливо приговаривала она, продолжая целовать синяк и не замечая, как у нее самой глаза наполнялись слезами. Она впервые за все время пребывания в Тюмени вдруг ясно вспомнила, как она хоронила Юрия. Она увидела гроб и худенькую причесанную головку сына в нем, и в ней не то чтобы сердце сжалось от боли (как это принято говорить в народе), но на мгновение все будто остановилось для нее на той картине, когда гроб с телом Юрия, качнувшись, начал опускаться в провал крематория. Она не вскрикнула в ту минуту, а была только вся бледна и неподвижна от ужаса, что у нее насильственно отнимали сына; она, так всегда хотевшая добра Юрию и не сумевшая дать ему этого добра, тогда впервые поняла, как она была виновата перед ним, и Ростислав, доверчиво отозвавшийся на ее ласку, как раз и пробудил в ней теперь это чувство вины перед сыном. Слезы ее были не сочувствием Ростиславу, как это воспринималось им (и воспринималось Сережей и Тимофеевной, все еще стоявшей рядом), а происходили от своей растревоженной боли. Она не помнила сейчас ни о Белянинове, ни о ком-либо еще, а вся была захвачена воспоминаниями о сыне. Как и в молодости, так и теперь она никогда не умела соединять события, происходившие с ней, в одно целостное восприятие жизни. Жизнь ее состояла как бы из кубиков, сложенных вместе и не скрепленных ничем, и потому так просто, как из комнаты в комнату, было ей переходить из одного замкнутого мира переживаний в другой и осваиваться и приживаться в нем. Мир ее жизни с Лукиным, тот первый, когда она вышла за него, оставался в сознании ее своим замкнутым кругом, с которым ничто последующее никогда и ни в чем не соприкасалось; мир ее жизни с Арсением был замкнут и целостен по-своему; затем шел мир, когда она была разведена, свободна, был мир ее отношений с сыном, с которым она мучилась и не знала, что делать, были дни ее повторной связи с Лукиным и теперь вот это — связь с Беляниновым; в ней все жило отдельно и потому было оправдано, чисто и благородно для нее; она всякий раз, входя в новый мир, чувствовала себя не просто обновленной, но так, словно она начинала жить и никогда и никаких грехов не было за ней. Она вся была поглощена теперь этим вспыхнувшим в ней материнством и судорожно прижимала к себе мягкое и теплое тельце Ростислава. Она целовала уже не ушиб, а коричневую родинку чуть выше, казавшуюся ей чем-то особенным, как и Дементию, которому родинка эта всегда напоминала о его чувствах к Виталине.

Казалось, что в искренности Галины нельзя было усомниться, и Тимофеевна, смотревшая на нее, как ни была еще накануне подготовлена Анной Юрьевной, что и такая-то уж Галина и такая-то, не могла поверить в эти наговоры. «По злобе, видно,— решила она, по-своему понимая Галину и любясь ею. — Коль уж не примет что душа, так все не примет». Но совсем другое, глядя на Галину, испытывала Анна Юрьевна. Она не то чтобы с ревностью, но с тем чувством, будто что-то нехорошее может пристать к внуку оттого, что Галина обнимает его, подошла к ней и, отбирая у нее Ростислава, торопливо сказала:

— Что ж чужого ласкать, за своим смотреть надо было. С чужими-то все мы хороши.— И она приложилась губами к ушибленной головке внука.

Галина не сразу поняла, что произошло. Некоторое время она еще продолжала с нежностью смотреть на мальчика, но когда Анна Юрьевна, подслеповато искавшая синяк на головке внука, во второй и в третий раз повторила, что «с чужими-то все мы хороши», и смысл этих слов, для чего они были произнесены, стал доходить до Галины, она сначала удивилась самой возможности сказать ей это, но затем, как при недозволенном ударе, замерла от той ужасной догадки, какая открылась ей. «Словно от прокаженной отстраняет от меня своего внука! Но что я сделала? За что?» Она не находила, как можно было ответить на эти ее вопросы, и почувствовала себя оскорбленной. Надо было что-то сказать Анне Юрьевне, но слов, которые прозвучали бы достойно, у Галины не было, и только что светившееся жизнью лицо ее сделалось бледным, жестким и злым. Примириться с тем, что она была виновата в чем-то перед Анной Юрьевной, Галина не могла, она искала оправдание, и оправдание это виделось ей в том, что все здесь, в доме, не любили ее брата. «Как он слеп, боже мой, да все здесь просто ненавидят его,— подумала она, выводя это не столько из теперешнего поступка Анны Юрьевны, сколько из всего недоброжелательного отношения к ней в доме. — Ненавидят и пользуются им»,— продолжала она с той бессознательной радостью, что нашла оправдание. Ей важно было именно это, что она поняла Анну Юрьевну, и, гордая этим своим пониманием, дававшим ей право не отвечать на оскорбление, все еще с бледным лицом, но с поднятой головой вышла из комнаты.

— За что ты ее так?— спросила Тимофеевна, успевшая проникнуться к Галине определенным чувством и пожалевшая ее.

— А как я? Я никак. С чужими-то все мы хороши. Да стой ты, не вертись!— прикрикнула она на внука, фартуком размазывая по его щекам слезы и заставляя в фартук же сморкаться его. — Не столько ушибу, сколько слез, батюшки. — Она, как видно, была тоже недовольна, что так несдержанно обошлась с Галиной, и готова была невольно выместить теперь свое раздражение на внуке. — Чего хныкать, ну чего?— говорила она, за рукав и за плечо дергая его. — Сам виноват.

Отпустив Ростислава, она взяла нож и принялась молча резать капусту. Она уже не обращала внимания на плачущего внука и не поднимала глаз на Тимофеевну, не знавшую, как теперь держаться ей; недовольная собой, Анна Юрьевна была еще более недовольна всем белым светом, и мысль о том, что ей надо уходить из этого дома, пока не поздно,— мысль эта, часто теперь приходившая ей, вновь мучительно начала занимать ее. «Да гори здесь все огнем»,— думала она, в то время как руки ее (несмотря на эти высказывания) еще проворнее как будто продолжали делать то, что было нужно для благополучия и укрепления семьи. После вилок капусты на стол была высыпана корзина чистой, мытой моркови, и горка тонких красивых долек начала быстро расти в центре стола. Анна Юрьевна только посматривала теперь на дверь, за которой скрылась Галина, но ничего не говорила о ней; что-то удерживало ее от осуждения, во что она не хотела вникать, и мрачное настроение ее, передававшееся Тимофеевне, заставляло молчать и ее. Подруги перебрасывались теперь только теми словами, которые относились к делу, и вместо праздника, каким всегда бывал для них день засолки, и у Анны Юрьевны, и у Тимофеевны, да и у малышей, притихших от этого нехорошего настроения взрослых, было такое ощущение, что что-то притаилось и должно было случиться в доме.

— Надо бы с настроением, а то делаем ровно не для себя,— заметила все же Тимофеевна.

— Так и есть — для себя разве? Для себя и кастрюли хватило бы, а то ртов нынче. — И Анна Юрьевна опять и многозначительно посмотрела на дверь, за которой была Галина.

Что Галина делала в своей комнате, было неясно. За дверью было тихо, и тишина эта еще более настораживала и раздражала Анну Юрьевну.

— Сам-то хоть часто приезжает? — спросила Тимофеевна, давно уже уловившая, что все дело было в Дементии, редко появлявшемся в доме.

— Да ему что есть семья, что нет ее.

— Что же он так-то?

— Это уж у него надо спросить. Его послушать, так все вокруг только и заняты тем, что делают блага для людей, да где благо-то это?

— Вот и я говорю, — подтвердила Тимофеевна, старавшаяся подладиться под Анну Юрьевну, в то время как на дворе уже вечерело и вот-вот должна была возвратиться с работы Виталина.

XXI

Но Виталина, к удивлению Анны Юрьевны, пришла не одна, а с Дементием.

В доме было еще не убрано, и запах капусты, моркови и яблок заполнял все уголки его.

— Так вот в чем дело, почему так долго лето стоит. Мы к зиме еще не готовились, — весело начал Дементий, подойдя к теще, поздоровавшись с ней и поцеловав в щеку ее. — И вас я сто лет не видел, — сказал он, обращаясь к Тимофеевне, которая, прежде чем подать руку, долго и стеснительно вытирала ее о фартук. — А где мои мужики? — увидев уже бегущих к нему Сережу и Ростислава, добавил он. Подняв их на руки, он зашагал с ними по комнате, сильный, здоровый, в сапогах и свитере, полнившим его, и с бородой, которой он тут же принялся щекотать носы и щеки сыновей. От двери, от порога, смотрела на него счастливая Виталина.

Виталина была счастлива тем, что муж не только на этот раз не обманул ее, пообещав прийти к двум за ней, но пришел раньше и пригласил на обед, который устраивали по какому-то торжественному случаю (то ли сын у кого-то родился и была получена телеграмма, то ли еще что-то) его друзья, ученые из Новосибирска. Виталина вся еще была под впечатлением этого обеда, на котором в центре стола, как бы возвышаясь над всеми, сидел академик Лаврентьев, шестидесятишестилетний (почти двухметрового роста) мужчина с умным и тонким выражением лица. Это был ученый, известный не только тем, что являлся одним из авторов создания Сибирского отделения Академии наук СССР и возглавлял теперь это отделение, но считался энтузиастом освоения богатств Сибири, многое сделал для открытия и освоения этих богатств и был теперь человеком влиятельным, возле которого, как возле всякого влиятельного человека, группировались не только молодые энергичные силы, но и разного рода так называемые попутчики, всегда готовые пригреться возле чужой славы. Имя Лаврентьева было хорошо известно в Сибири, и Виталина, не раз слышавшая о нем от мужа, с любопытством, как если бы ей самой надо было приобщиться к миру этих сильных, умных и влиятельных людей, присматривалась к молоджавому еще на вид крупнейшему ученому Сибири. Рядом с Лаврентьевым сидел молодой Некрасов, только что получивший звание академика, и по обе стороны от него и от Лаврентьева располагались разных возрастов доктора и кандидаты наук. Виталина была единственной женщиной во всей этой мужской ученой компании и потому была на виду, в центре, за ней ухаживали, ей старались угодить, вводя в смущение, какое происходит не от недостатка, а от избытка внимания. Она чувствовала себя красивой и

помолодевшей в эти минуты, и душевные силы, давно уже ожидавшие, чтобы распуститься в ней (и угнетавшиеся только ревнивыми думами о муже), — силы эти, как бы вдруг получив простор, наполняли ее. Она ловила на себе удивленные взгляды мужа, словно он заново открывал ее для себя и влюблялся в нее, и ей еще веселее становилось от этого. Она не осознавала всего, что происходило с ней, но время от времени с беспокойством начинала оглядываться, боясь, чтобы не стать смешной в этом своем счастье. Ей приятно было видеть, что муж ее был равным среди всех этих сошедшихся вместе ученых мужей, что его уважали, с почтением обращаясь к нему, и что даже Лаврентьев несколько раз удостоил его разговором и со вниманием выслушивал его. «Они все упоены, все-все, как будто у них нет ни жен, ни детей, а есть только одно общее дело, называемое народным, которому они служат», — думала Виталина, когда, простившись уже со всеми после застолья, возвращалась с Дементием домой. Ей важно было это впечатление, что Дементий ее не был исключением, а был точно таким же, как все другие, которых так близко (и в количестве) увидела Виталина. И то, что муж ее был не исключением, отдаваясь общему, государственному делу и забывая о семье, примиряло ее с этим. С нее как бы снят был груз ревности, и оттого она была счастлива и оттого такими счастливыми (что было необъяснимо для Анны Юрьевны) глазами смотрела сейчас от порога на мужа, ходившего с сыновьями на руках по комнате. «Оторвался от дел — и рад, и счастлив», — думала она, полагая, что она понимала теперь мужа, тогда как за выражением этой нежности к детям (и к ней, какую он проявлял за обедом) лежали совсем иные причины, чем те, о каких догадывалась она.

Дементий хотя и рад был этой короткой встрече с семьей и выражал эту радость, но главным в горизонте видимости его по-прежнему оставалось то, что было его работой, его детищем, называвшимся в официальных документах северной ниткой газопровода. Проблемы, с которыми он сталкивался при строительстве, были совсем не теми проблемами, какие вставали перед ним во время проектирования. Сварка труб при пятидесятиградусном морозе была невозможна, и надо было искать новую технологию, чтобы обеспечить надежность и быстроту работ. Антикоррозийное битумное покрытие труб было малопродуктивным и громоздким, и, точно так же как со сваркой, надо было искать и здесь новые инженерные и технологические решения. Был и еще ряд проблем (в том числе доставка труб и оборудования к местам работ), которыми надо было постоянно заниматься, и в этом плане встреча с учеными из Новосибирска была для Дементия как нельзя кстати. В то время как Виталина за обедом была вся поглощена вниманием, оказывавшимся ей, Дементий завел разговор с Лаврентьевым о своих проблемах. И хотя ничего нового как будто академик не открыл ему, сказав, что по части сварочных дел следовало бы обратиться в Институт Патона в Киев и пригласить оттуда специалистов, а по изоляции труб прибегнуть к услугам ученых-химиков («Полимерная лента — вот что вам нужно», — сказал он), но этот простой совет — обратиться в научно-исследовательские институты — в устах председателя Сибирского отделения Академии наук прозвучал для Дементия как залог успеха; в сознании его сейчас же начали прокручиваться все возможные варианты этой затеи (даже поездка в Киев к Патону, которую он тут же мысленно проработал), и это предчувствие дел и успеха поднимало в нем настроение и делало нежным, снисходительным и веселым его. Он все еще был в этом хорошем расположении духа и готов был еще и еще обнимать и подбрасывать на руках сыновей; и готов был взять на руки и Виталину, которая, как он думал, всегда приносила ему счастье (по крайней мере в этот раз, вызвав его), и ему тоже казалось, что все это было в нем от любви к ним.

— Что-то я Гали не вижу, где она? — опуская наконец сыновей на пол и оглядываясь на тещу и на Тимофеевну, которая все еще со скомканным в руках фартуком стояла тут же, спросил Дементий.

Он обращался как будто ко всем сразу, хотя и смотрел на Анну Юрьевну и ожидал ответа от нее. В голосе его не было ни упрека, ни беспокойства. Виталина не то чтобы не успела рассказать ему о его сестре, но ей так жаль было разрушать минуты своего счастья, что она не решилась сделать это.

— Так где же Галя? Почему такое заговорщицкое молчание? — снова спросил он, улавливая, как он всегда умел это делать, по настроению окружающих, что было что-то неладное с его сестрой, чего стеснялись или не хотели сказать ему.

Анна Юрьевна со скрещенными на груди руками и окаменелым лицом стояла перед ним. Она решила, что настал ее час воздать зятю, и намеревалась уже высказать ему все, что думала о нем, но вместе с тем (и несмотря именно на все свое желание наговорить грубостей) лишь мрачно сказала:

— Где ей быть? Здесь. А не выходит, так хвост замаран.

— Какой хвост, Лина, в чем дело? — Дементий повернулся к жене и удивленно и вопросительно посмотрел на нее. — Что у вас тут произошло? — Он вспомнил о телефонограмме и только теперь почувствовал, для чего был вызван домой.

Тимофеевна, понимавшая, что ей лучше уйти и не быть свидетельницей чужой семейной ссоры, торопливо начала прощаться со всеми. Анна Юрьевна пошла проводить ее, а Дементий все еще смотрел на Виталину, ожидая, что она скажет.

Но она словно не слышала вопроса и, нагнувшись, принялась поправлять рубашки на сыновьях.

— Ты уж лучше сам зайди к ней и расспроси, — наконец, не глядя на Дементия, проговорила она, продолжая, хотя это было уже не нужно, заниматься детьми.

XXII

С неудовольствием, что ему приходится вникать в какие-то домашние дела, в то время как своих служебных невпроворот у него, Дементий открыл дверь и вошел к Галине. Он торопливо (от двери) обежал глазами обстановку кабинета, в котором он, занимаясь проектом, провел не одну бессонную ночь, и, наткнувшись взглядом на сестру, сидевшую у окна на стуле, решительно (хотя он не знал, что скажет ей) направился к ней. Как ни трудно было ему из мира государственных забот, мира дел и успехов перейти к каким-то мелочным семейным неурядицам, которые, как он всегда полагал, должны решаться сами собой, но вид сестры в трауре сейчас же напомнил ему, что она только что похоронила сына. «Дернуло же меня взять на свою шею», — еще с отголоском неудовольствия подумал он, подходя к ней. Но воспоминания похорон и разговора после похорон с отцом относительно Галины, воспоминания обязательств, какие Дементий взял на себя, привезя Галину сюда, и воспоминания всех тех отрывочных сведений, по которым он судил о ее жизни, вернее о неустроенности ее жизни, — воспоминания эти, разом ожившие в нем, не то чтобы смягчили то жесткое, с чем он подходил к ней, но пробудили в его душе жалость к сестре, с какою он давно уже относился к ней.

— Галя, — сказал он, остановившись перед ней и видя, что она не поднимает лица и не смотрит на него. — Галя! — Он тронул ее за плечо, чтобы пробудить ее, но она опять не ответила и не посмотрела на него. — Да что тут у вас произошло? Какие-нибудь пустяки, но я этого не понимаю. Не понимаю и не могу понять! — И он принялся вышагивать по комнате перед сидевшей у окна Галиной.

Время от времени он поворачивался к ней и старался рассмотреть ее лицо. Он всегда находил ее красивой, и красота эта ее с но-

вой как будто силой проступала в ней. Против того, какой он помнил ее в день похорон в Москве и оставил затем здесь, дома, когда привез в Тюмень, он видел, что произошли перемены. Перемены были не в том, что Галина поправилась, или похудела, или опять начала употреблять кремы, не молодившие, а лишь старившие ее лицо; перемены были в каком-то том просветлении, уловить которое, от чего оно, Дементий не мог и чувствовал, что ему было неловко отчего-то. Он видел, что она была не опечалена, а, напротив, возбуждена, и в то время как он, обращаясь к ней, снова и снова пытался узнать, что же произошло и чем она недовольна, она только по-отцовски плотнее сжимала губы и отворачивалась от него.

— Зачем ты меня привез сюда? — наконец сказала она, неприятно взглянув на брата. — Ты думаешь, что ты счастлив, но ты осел, ты работаешь, а они ненавидят тебя. Все, все здесь тебя ненавидят.

— Галя, что ты говоришь?

— Я думала, хоть ты у нас счастлив, и радовалась за тебя и завидовала тебе. Но я теперь не завидую, нет-нет, избавь меня от такой жизни.

— Да что произошло? — перебил ее Дементий, которому не то чтобы не нравилось это неожиданное излияние сестры, но просто не хотелось слышать об этих подробностях своей домашней жизни, о которых он давно уже догадывался сам и от которых отгораживался, не желая признавать их, чтобы не вникать и не растрачивать на них время и силы. — Кто тебя обидел здесь, в моем доме?

— В моем? Да твой ли он, господи?

— Галя, если ты повздорила с моей тещей, то все это выеденного яйца не стоит. Она ворчлива, да, но она добрейший и милейший человек, поверь мне, я говорю искренне, — нажимая на этом слове «искренне», сказал он. Он знал, что то, что он говорил, была неправда, что Анна Юрьевна была женщиной своевольной и любившей, чтобы подлаживались под нее; но ему так хотелось побыстрее уладить этот никому не нужный конфликт в доме (как он упрощенно думал о нем), что готов был сказать что угодно теперь сестре, чтобы успокоить ее. — А знаешь, — сказал он, останавливаясь перед ней и весело глядя на нее, — увезу-ка я тебя на стройку. — Мысль эта пришла ему неожиданно, и он, не вникая в подробности того, будет ли хорошо ей на трассе, в тайге, и чем все это может обернуться, а видя в этом лишь выход из положения (легкий, когда не надо вникать ни во что), ухватился за эту спасительную идею и, не давая уже ничего возразить Галине, начал объяснять ей, как это будет кстати и полезно ей. — Тайга — и столько дел, столько дел, — говорил он, как будто только это — огромного количества дел — и не хватало ей.

— Я не поеду, — сказала она.

— Ну вот еще, поедем, завтра же поедем, и все, все, договорись. — Он спешил закончить разговор и не стал больше слушать сестру. — Хорошо, хорошо, не понравится — верну обратно, но я уверен, тебя клещами потом оттуда не вытащишь. Все, все, договорись. — И он в знак того, что обсуждать уже больше нечего (и с чувством удовлетворенности, что так легко закончилось все), похлопал ее слегка по плечу и вышел от нее.

«Странные люди эти женщины, — подумал он, вспомнив о том своем сравнении, что он находил сходство между Галиной и своей женой. — Сколько ни делай им добра, все чего-то хотят, а чего — и сами не знают». И, мысленно расправившись таким образом с сестрой и женой, а заодно и с тещей, которую он все более начинал, особенно в последнее время, недолюбливать, он прошел в спальню, чтобы переодеться. Виталина была уже в халате и занималась детьми — усаживала их за телевизор, по которому начиналась программа «Спокойной ночи, малыши». Анна Юрьевна заваривала на кухне чай и накрывала на стол, занимаясь тем своим, привычным по дому делом (несмотря

на все недовольство теперь зятем), какого она не могла не делать, и Дементий, предоставленный самому себе, некоторое время сидел в кресле и перебирал в памяти события сегодняшнего дня. Он был удовлетворен тем, как этот день прошел для него, и когда Виталина вошла в спальню, весело спросил у нее:

— Ну как, ты довольна?

— Чем?

— Каков Лаврентьев, а? Умница, одно слово — умница.

— Я довольна тобой,— сказала Виталина.— Если бы ты всегда был таким.

— А я и есть всегда такой,— ответил Дементий, сделав движение подняться и оставшись в то же время полулежать в кресле. — Нет, ты только представь, какую идею он подбросил мне! — Встать надо было Дементию потому, что между тем возвышенным, о чем он хотел говорить, и положением его в кресле было несоответствие, которое надо было устранить, и он, поднявшись, энергично, как он всегда умел делать это, начал пересказывать Виталине весь главный смысл своего разговора с известным академиком. — Да, так что у вас все-таки произошло с Галиной? — прервав себя в середине разговора, сказал он, почувствовав (по какому-то своему второму ходу мыслей), что надо было спросить жену об этом.

— Ты разве не был у нее? — Виталина недоверчиво и удивленно посмотрела на него.

— Был, но она ничего не сказала.

— И не скажет.

— Почему?

— Да потому что стыдно сказать об этом.

— О чем? — с еще большей настороженностью спросил Дементий.

— Ты же знаешь, что у Беянинова жена в Москве, в больнице.

— Ну?..

— Так она на ночь к нему ходит.

— Кто, Галя?

— Господи, неужели это так трудно понять?

— Не может быть! — воскликнул Дементий, покачав головой. — Не может быть,— повторил он уже тише, пораженный услышанным.

Ничего больше не говоря ей и не спрашивая ее ни о чем, он торопливо направился к Галине. Но в кабинете у окна, где он оставил сестру, ее не было. С выражением недоумения он вернулся в большую комнату и, увидев нахмуренно шагавшую навстречу ему тещу, вопросительно посмотрел на нее.

— Ушла уже,— поняв по этому вопросительному взгляду, что он хотел узнать у нее, сказала Анна Юрьевна.

— Куда?

— Куда ей? Туда же. Давайте ужинать,— затем недовольно сказала она. — Все уже на столе.

XXIII

Только спустя неделю после того, как к Беянинову приехала жена, Дементий, возвращавшийся из Киева от Патона, смог забрать Галину с собой на стройку. Он чувствовал, что Виталина была недовольна тем, что он брал сестру с собой, и особенно недовольна была Анна Юрьевна, сказавшая: «Мало своих хлопот, так с чужими наплачешься». Они считали, что лучше всего было бы отправить Галину в Москву, где только и место ей, как иронически заметила все та же Анна Юрьевна. Но Дементию казалось, что нельзя было не сдержатъ слова перед сестрой, и, несмотря на эти общие семейные возражения, сделал так, как счел нужным. Поступок его представлялся ему самому благородным, тогда как за этим благородством его было лишь то, что он по-прежнему не хотел глубже вникнуть в дело. Поездка в Киев была для него удачной, и после этого своего очередного успеха, то

есть дела, которому он придавал огромное значение, и после разговоров и встреч в Москве, где он всюду находил поддержку своим начинаниям, он не мог серьезно отнестись к домашним делам; он даже подумал, что, возможно, на Галину было наговорено, что она ни в чем не виновата, а что все заключено только в том, что она не пришлось по душе ни Виталине, ни Анне Юрьевне. Он искал тот легкий вариант объяснения, по которому все были бы удовлетворены, не было бы обиженных, а главное, чтобы он как человек, занятый большим государственным делом, имел бы прочный, как он выражался, тыл и не дергался бы по пустякам.

Прилетев с Галиною в Тобольск, он в тот же день вечером отправился с ней на катере вниз по Иртышу и Оби к станции Комсомольская, где возле речных причалов скапливались подвозимые по железной дороге основные грузы для стройки и где у Дементия были теперь свои неотложные дела. Галину же он предполагал отправить еще дальше («Если уж романтика, так под завязку», — сказал он ей), в один из Трассовых поселков, определив на самую простую должность учетчицы работ.

Всю дорогу, пока летели до Тобольска и пока затем плыли на катере, Галина была неразговорчива. Она выглядела меланхоличной уже не потому, что ей надо было быть такой, но в ней и в самом деле как будто пропал всякий интерес к жизни. Она еще тщательнее следила теперь, чтобы все было траурное на ней, и в этом траурном своем одеянии, смущая команду катера и вызывая любопытство к себе, она большую часть пути тихо сидела с заветренной стороны капитанской будки, наблюдая, как журавлиным клином расходились от кормы, бурля и вспениваясь, свинцово-холодные в это время года воды Оби. В памяти ее точно таким же журавлиным клином, отталкиваясь от нее, вытягивалась ее жизнь. Та жизнь, в которой были только желания и порывы, но не было завершения ничему, и она снова чувствовала себя ненужной, затерявшейся, без надежд, без цели, готовая подчиниться всему, что предложат ей. Время от времени к ней подходил Дементий и садился возле нее. Ему тяжело было видеть сестру в несчастье, но при всей жалости к ней, как только он начинал говорить с ней, он невольно поддавался тому общему хорошему настроению, на какое было у него немало своих причин и оснований. Он был доволен жизнью. Доволен не только тем, что сумел в ней достичь чего-то; ему казалось, что это го мог достичь каждый, приложит только старание и ум, и оттого именно, что мог достичь каждый, но достиг все же он, он готов был славить эти возможности, какие как будто открыты перед всеми, и простор (простор реки и берегов), по которому они плыли, не то чтобы вдохновлял его (пейзажи Сибири давно уже были привычны ему), но вызывал чувство, что он может все; но как ни велико это чувство с точки зрения поэтического восприятия мира, но только в соединении с определенной долей осторожности и разумности может быть отнесено к явлениям полезным в обществе. Он обращал внимание сестры на то, что сибирские реки — это совсем не то, что Ока или Ворскла в срединной России. Он обращал внимание ее на могучий нрав Оби и на пустынные (большей частью) берега ее. Ни тех деревень с церквями, что разбросаны по русским взгорьям и всегда так живописно смотрятся с палуб речных пароходов, ни той особой веселости зеленых березняков или молодых дубрав с пасущимися возле стадами и лугов со сметанными стогами сена, ни ребятишек, играющих у реки, то есть никакой той уютной для российского человека жизни не было видно по берегам Оби; за двое суток пути встретилось всего лишь несколько стожков и несколько маленьких деревушек с приземистыми бревенчатыми избами и плетнями и огородами возле них; во все же остальное время по обеим сторонам видны были только то крутые обрывы с подступавшими почти к самым этим обрывам еловыми и кедровыми лесами, то тяну-

щиеся до горизонта низины с болотистым редколесьем. Для Галины, впервые видевшей эти картины, они представлялись унылыми и безжизненными. Она чувствовала какое-то будто единство между тем, что было в ее душе, и этим, что открывалось по берегам сибирской реки; и потому она, слушая восторженные слова брата, не воспринимала их. Минутами ее охватывал ужас оттого, что она, оставив Москву, ехала непонятно зачем в эту глушь. Москва, в сущности, была для нее не просто местом ее жительства, но была местом, где удовлетворялись или, по крайней мере, могли быть удовлетворены ее жизненные претензии. Как о чем-то несбыточном вспоминала она теперь о театрах, концертных залах, куда водил ее Арсений, особенно в первые месяцы совместной жизни, и обо всех тех гостиних, в которых красовалась она, приходившая туда точно так же с Арсением. Но что взамен той жизни, к которой она успела привыкнуть, могла дать ей эта безлюдная, будто ошипанная (такое складывалось у нее впечатление) Сибирь? И она снова и снова непонимающе смотрела на брата, которого безлюдье, казалось, не только не пугало, но, напротив, вызывало у него чувство перспективы, желание заселить всю эту безжизненную как будто еще землю. Он видел впереди непочатый край работ и непочатый край возможностей проявить себя здесь, и эта-то перспектива как раз радовала его.

— Не знаю, что бы я делал, не будь этой прекрасной Сибири,— говорил он, любовно глядя перед собой на берега, мимо которых проплывали.— Ты помнишь наши споры с отцом? (Но даже при упоминании отчима Галина не изменила своего застывшего выражения.) Помнишь.— продолжил Дементий, для которого воспоминания служили лишь подтверждением его теперешних мыслей,— как он настаивал, чтобы я пошел по его линии, а я возражал? Так кто теперь прав? Как вот ты думаешь, кто прав? — Он как будто спрашивал сестру, но вопросы его были такими, что на них не надо было отвечать; в них уже заложен был тот ответ, который удовлетворял Дементия.

— Всякому человеку, чтобы проявить себя, нужен простор,— в следующий раз начинал он разговор. — Но поле деятельности — надо еще заслужить, чтобы тебе предоставили это поле. Надо заслужить право на деятельность, а заслужить его при нынешней сплошной грамотности — надо, по-моему, быть трижды Наполеоном. — Он впервые высказал вслух то, что давно приходило ему на ум, и повернулся к сестре, чтобы увидеть, как она восприняла это (не унижительный конец мрачного корсиканского гения, но лавры его артистически-необычайного взлета до сих пор, спустя уже столько десятилетий, продолжают волновать поколения молодых людей). — Ты знаешь, мне иногда кажется, что я мог бы стать полководцем,— затем, усмехнувшись, сказал он.

Он говорил о себе и не хотел трогать жизни сестры. Разбирательство ее жизни только растравило бы в ней то (похороны Юрия), что еще болезненно, как он думал, жило в ней. Он не хотел затрагивать и ее отношений с женой и тещей, которые, он чувствовал, точно так же должны были быть болезненными для нее. «Поработает в поселке, отойдет, тогда и можно будет вернуться к этому»,— думал он. Он искал причины, чтобы не заниматься сестрой; причины эти представлялись ему обоснованными, и оттого он был спокоен и строг с ней. И лишь однажды позволил себе размяченно сказать ей:

— Галя, как мне жаль тебя, если бы ты знала. Нет, нет, ты не подумай, ты извини, я просто — так хотелось, чтобы ты была счастливой.

— Боже, о чем говоришь, где оно, это твое счастье?

— Есть, Галя, есть. Ты еще так молодо выглядишь, на тебя еще можно засмотреться.

— Утешаешь?

— Для чего? Я же брат тебе.

— Вот именно.— И Галина усмехнулась чему-то своему,

что, она знала, было уже угасшим в ней, но о чем не знал и не догадывался еще брат, взявшийся опекать ее.

XXIV

Самым трудным для Дементия было, когда он отправлял (с попутным вертолетом) Галину из Комсомольской в трассовый поселок. Уже выйдя с нею на площадку, с которой она должна была улетать, он почувствовал, что нельзя было делать этого, то есть отправлять сестру в таежную глушь. Он почувствовал, что он как будто за какую-то провинность ссылал ее, и это было нехорошо: он брал на себя ответственность за то, что могло случиться с ней там. «Может, оставить пока здесь, не отправлять?» — подумал он, в то время как пилот, стоявший у раскрытой дверки вертолета, всем видом своим говорил, что ему надо уже лететь и что он не может ждать больше.

— Ну, Галя,— сказал Дементий, обняв на прощание ее,— если что, дай знать, и я тут же буду у тебя. — Пора было отпускать ее, но он чувствовал, что было еще что-то недосказано им, и держал ее руку. — Да, вот еще что,— сказал он. — Я заходил в Москве в следственный отдел. Следствие еще ведется, и я, ты не думай, я не забыл ничего. Этот твой негодяй Арсений получит что заслужил, я постараюсь. — И по выражению лица его было видно, что он выполнит то, что обещал ей.

Он отпустил руку Галины и все с тем же смешанным чувством жалости и стыда, что будто ссылает ее, смотрел затем, как пилот помог ей подняться в вертолет, как захлопнулась за ней дверца, двинулись и начали вращаться огромные лопасти, набирая обороты и взвихривая из-под колес пыль; он хотел увидеть, как сестра в иллюминатор прощально помашет ему, но потоки воздуха заставили его наклониться, запахнуться и съежиться, а когда он опять поднял голову, вертолет, описав полукруг над избами поселка, удалялся, беря курс (в пасмурном осеннем небе) по течению Оби.

Всю первую половину дня, пока дела не захватили его, Дементий оставался мрачным оттого, что был недоволен собой. Но когда затем вместе с Луганским, ведавшим всей перевалкой грузов, поступавших по железной дороге к порту, вышел к подъездным путям и причалам, заваленным трубами; когда, увидев горы этих труб и поговорив с портовиками, понял всю сложность положения (почему не отгружались эти трубы),— мрачное настроение у Дементия было уже не связано с тем, что он отослал сестру бог знает куда, к чужим людям. Дела обступили его, и он забыл о ней. От него требовалось принять меры, чтобы согласно графику трубы еще до наступления холодов были доставлены к определенным пунктам на трассу; но он впервые в своей практике столкнулся с тем обстоятельством, что самый известный, простой и всегда верно действовавший метод ускорения работ, то есть авральный, когда нагонялось людей и техники,— метод этот был неприменим здесь. Людей было достаточно, достаточно было и портовых кранов, а не хватало барж, на которые можно было бы грузить трубы. Он впервые оказался в этом положении, когда не знал, начинать ли звонить по инстанциям, чтобы прибавили барж, которых, впрочем, везде теперь не хватало по Иртышу и Оби, или искать какое-то инженерное решение. Он ходил вместе с Луганским вдоль сложенных труб, останавливаясь и постукивая по ним, словно пытаясь что-то определить по звуку, и не находил решения.

— Так что будем делать? — наконец спросил он у Луганского. — До снега? На тягачах? По морозцу?

— Не подыдем, план сорвем.

— План срывать мы не имеем права.

— Но тогда единственное — добиваться, пока не поздно, изменения графика, если уж нельзя добавить транспортных средств.

— Отступление? — удивился Дементий. — Вы предлагаете отступ-

ление? — Он теперь не говорил, что мог бы стать полководцем, а чувствовал себя таковым.

— Да, если хотите. Иногда надо уметь вовремя отступить.

— Нет,— возразил Дементий. — Я не привык отступать. Нет,— еще более решительно подтвердил он, как будто у него уже складывался план действий, как можно было выправить положение.

Но план этот надо было еще придумать, и Дементий, ни слова больше не говоря Луганскому и предоставив ему только пожимать плечами, твердой, уверенной походкой пошел в контору. Обложившись бумагами и имевшейся под рукой подсобной литературой, он принялся вычислять, как можно было увеличить грузоподъемность барж и оборачиваемость их по маршрутам. Но результаты были таковы, что нечего было думать, чтобы решить проблему за счет этой уплотненности. Надо было искать что-то другое, но другого не было, и Дементий почувствовал себя в тупике. Сказать Луганскому, что не привык отступать, было легко; но как было сдержать слово? Как было, главное, сдержать слово не перед Луганским, а перед министром, которому Дементий во время последнего разговора еще решительнее сказал, что все будет выполнено в срок? «Может быть, с народом поговорить,— подумал он. — Но что это даст?» Подперев ладонями виски, он сидел в кабинете и смотрел на бумаги. Привыкший мыслить масштабно, он не мог сосредоточиться на том конкретном, о чем надо было думать. «Да, я понимаю, как важен северный газ для европейской части страны,— говорил он себе, представляя те промышленные предприятия и города, которые должны будут подключиться к газопроводу.— Да, я понимаю, что от того, вовремя ли мы подадим газ, будет зависеть, войдут ли эти новые производственные мощности в строй или нет, дадут ли продукцию или не дадут (и все дочернее и зависящее от них). Да, я понимаю, как важно все это, и разве я могу отступить? Нет и еще раз нет»,— говорил он, в то время как чувство тупика, в котором он был, заставляло его снова и снова морщиться и потирать виски. Он ушел из конторы уже ночью и затем еще ходил по берегу Оби (перед тем как лечь спать), вглядываясь в огни причальных фонарей и прислушиваясь к шорохам набегавшей в ночи обской волны на песчаную отмель.

Утром его разбудил говор мужиков под окнами. Они собрались что-то делать и спустились вниз, к реке; и Дементий, одевшись, из любопытства пошел посмотреть, что они собрались делать.

Мужики, сойдя вниз, принялись сталкивать в реку бревна, пригоняемые на отмель большой водой. Бревна были ничейными, их можно было брать, и колхозники из близлежащих деревень давно уже пользовались этим даровым лесом. Дементий не раз слышал об этом и, увидев издали, в чем было дело, хотел было повернуться и уйти, но одно обстоятельство заставило остановиться его. Обстоятельством этим было то самое Ньютоново яблоко, упавшее с ветки (как позднее говорил об этом Дементий), по которому великий ученый открыл миру закон притяжения Земли. Дементия заинтересовало то, что мужики были без подвода и не вытаскивали на берег, а именно сталкивали бревна в воду. Он подошел ближе и, дождавшись, когда они сядут перекурить, разговорился с ними. Первым его вопросом было — откуда они?

— Из Ново-Лазаревки,— ответил за всех широкий еще в плечах старик с белой окладистой бородой. Он был, как понял Дементий, за бригадира и заправлял делом. — А что, разве нельзя? Запрет вышел? — в свою очередь спросил он, оглянувшись за поддержкою на товарищей. — Только берега захламят да и погниют, а мы их в дело.

— Запрета нет,— сказал Дементий, думавший совсем не о том, можно или нельзя было брать бревна.— Ново-Лазаревка, Ново-Лазаревка,— несколько раз повторил он. — Так это же бог знает где в стороне от Оби, что же вы их в воду сталкиваете?

— По воде оно хоть и кружным путем,— возразил старик,— а все ближе. Мы их вяжем по четыре-пять комляков и буксируем затем по протокам на моторках к деревне, а уж возле дома взять их — плевое дело.

— Мудро,— согласился Дементий, сейчас же (с инженерной точки зрения) оценив простоту решения. — И кто же из вас додумался до этого?

— А никто,— ответил все тот же старик. — Сколько живем на веку, столько так и делаем. Можно, конечно, и зимой, но ведь примерзнут, попотей тогда над ними, да и машину председатель не всегда даст. Ну так вязать начнем? — обратился он к товарищам и, подняв отвороты резиновых сапог, первым ступил в воду.

Некоторое время Дементий как будто только смотрел на старика, любуясь, как тот дирижировал делом. «По протокам и к дому», — вместе с тем повторял он слова старика, как бы прислушиваясь к ним. Мысли Дементия были направлены к тому, чтобы решить свою проблему, и бревна, качавшиеся на воде, показались ему трубами. «Да, запаял концы — и чем не бревно тебе? Увязывай в плот и заводи по протокам к любому месту, а уж на месте взять их — плевое дело», — закончил он словами старика. Он в первую минуту даже не вполне осознал, что сделал открытие и что открытие это как раз и было тем нужным инженерным решением, которое он искал и не мог найти накануне. «Зачем баржи, когда можно плотами, плотами.— Он как бы торопился расширить возможности открытия.— Верно говорят, что все гениальное просто, то есть так просто, что уму непостижимо! А главное — всегда лежит рядом». Но в то время как он думал так, для мужиков, которыми обычно руководит лишь целесообразность дела, не только не было ничего гениального и непостижимого в этом, что они повторяли из года в год, но они удивились бы, если бы этого, что подсказывалось необходимостью и облегчало им труд и жизнь, не было у них.

— Заводи, Никита, заводи правым и тяни в линию,— слышался Дементию голос старика, когда уже отходил от реки.

Он направился прямо в контору и велел вызвать Луганского; и в ожидании Луганского все минуты, пока вышагивал по кабинету, возбужденный предчувствием успеха, усмешка победного торжества не сходила с его лица.

XXV

Так же, как жизнь солдат, участвовавших в войне, не состояла только из подвигов (или случаев дезертирства и трусости, о чем тоже немало уже сочинено книг), жизнь людей, осваивавших Западную Сибирь, не представляла собою лишь одну сплошную цепь героических дел. Открытия, следовавшие одно за другим и удивлявшие и потрясавшие общественное мнение (и по месторождениям нефти и газа и подобное тому, какое сделал Дементий, позволившее затем сэкономить государству миллионы народных денег), — открытия эти, сенсационно подававшиеся прессой, делались в самой простой, будничной обстановке. Понимание общих задач по определенным и естественным причинам, то есть в силу насущных потребностей жизни, не то чтобы подменялось, но зачастую заслонялось теми интересами личного порядка, без которых невозможно никакое движение жизни. Личными интересами людей, предлагавших проект перекрытия Оби, было — продвинуть свой труд, чтобы он не пропал даром, а заодно и окатиться на волне успеха (что в данном случае не совпадало, а шло вразрез с государственными целями и потому было обречено). Личными интересами людей, противостоявших этому проекту, было — отстоять то свое мнение, какое вытекало для них из их опыта и потребностей жизни (что совпало с общими интересами и потому было перспективным и получило поддержку). Дементию же казалось, что у него не

было никаких иных интересов, кроме служения делу. Но радость и удовлетворение, какое приносили успехи (вызывавшие желание новых успехов), и чувство перспективы и продвижения, что происходило как будто само собой, как должное,— это личное, соединенное с общей целью, как раз и делало его заметным и нужным человеком. Он был на виду у высшего начальства, был своим среди того среднего звена, какое представлял сам, и находил понимание и поддержку у рядовых, у которых точно так же: у одних личные и общественные линии совпадали, и эти люди оказывались самыми полезными и надежными, у других не совпадали или совпадали не в той мере, в какой требовалось, и возникали конфликты и неурядицы.

У строителей северной нитки газопровода общая цель была одна — в срок закончить строительство. Но цели каждого отдельного участника этих теперь уже исторических событий были разными. и надо было прилагать усилия, чтобы в трассовых поселках складывались коллективы. Нужна была та незаметная как будто, не поощрявшаяся материально, но отнимавшая массу времени и сил партийная деятельность отдельных людей, какую проводил в своем трассовом поселке Иван Игнатьевич Спиваков (и куда по предписанию Дементия летела сейчас Галина).

Поселок этот, словно в шутку названный кем-то Солнечным (в то время как он был почти у Полярного круга), состоял из передвижных вагончиков и напоминал расположившийся на отдых табор. Между вагончиками на веревках висело сохнувшее белье, из жестяных труб над крышами валил дым, слышны были голоса хозяек, спускавшихся с ведрами к реке. В центре поселка стояли так называемые общественные объекты: вагончик-магазин, вагончик-столовая и вагончик-клуб, где собирались по вечерам любители провести время в обществе. Главных жителей, то есть специалистов по сварке и укладке труб, пока не было, так как работы эти еще не начинались, и большинство населения составляли подсобники, трудившиеся на разгрузке барж. Несколько вагончиков принадлежало геологам и подрывникам, проводившим сейсморазведку в этом районе. Утром они улетали на вертолете в тундру, закладывали взрывчатку в определенных местах и рвали ее, оглашая окрестности короткими и резкими звуками и сотрясая зыбкую и не заснеженную еще землю (они как будто напоминали о приближении цивилизации), и по колебанию почвы и с помощью специальных приборов устанавливали, что таилось там, в глубине, под покровом. Сейсморазведка была новшеством, применялась впервые; по данным взрывов чертились геологические карты и определялись наличие и запасы нефти и газа, и так как результаты (судя по этим составлявшимся картам) были обнадеживающими, геологи и подрывники возвращались веселые, хотя и уставшие, и своим весельем наполняли как бы второй жизнью все эти уютившиеся у реки дощатые утепленные домики.

У геологов и подрывников был свой старший — Сергей Леонидович Поморцев, по худобе и росту напоминавший Дементия. Его не было слышно и не было как будто видно, он словно прятался в тень, чтобы самому видеть всех; но люди, подчинявшиеся ему, так чувствовали его присутствие, что даже когда он на несколько дней улетал в Игрим или Салехард, никто не смел нарушить установленного им порядка жизни. У подсобников же, составлявших большинство в поселке, был свой старший — бригадир Мирон (от фамилии Миронов, хотя настоящее его имя было Василий). Мирон жил основательно, семьей, как он сам говорил о себе, то есть в одном вагончике с женой и свояченицей. Жена его была пристроена им в столовой, а свояченица, так как той не было еще тридцати и главным образом потому, что когда-то и где-то участвовала в художественной самодеятельности, была назначена им культурником при вагончике-клубе. Сам же Мирон, о котором говорили, что он мужчина в возрасте, был одним из тех бригадиров

(тех вышедших в отставку старшин), которым не то чтобы доставляет удовольствие поставить подчиненного перед собой по стойке смирно, но представляется это необходимой для дисциплины и порядка мерой. Он полагал (по этой худшей и отживающей уже фельдфебельской традиции), что на народ надо покрикивать, чтобы он делал что надо и подчинялся начальству, и это мироновское покрикивание на людей — в большинстве случаев оно производило совсем обратное действие, чем того ожидал бригадир, — покрикивание это было предметом насмешек у жителей поселка. Но дело Мирон знал, и его нельзя было уволить. Его нельзя было уволить еще и по той причине, что он бригадирствовал уже не один десяток лет, переезжая со стройки на стройку, и, что еще важнее, знал Север и умел приспособиться к нему. «Тут тебе, брат, не Фергана и не Ферганская долина», — нравоучительно любил сказать он, когда бывал в настроении и чувствовал расположение собеседника к себе. Каждому в поселке (и не раз!) он рассказывал, как подростком, еще до войны, он работал на строительстве Большого Ферганского канала и как все было там вручную, кетмень да носилки, но что, несмотря на это, было столько энергии и веры в людях, что нельзя было и сейчас, не прослезившись, говорить об этом. Из всех строек, на которых Мирон работал, он любил вспоминать именно эту, первую, и воспоминания его, так как каждый прибывавший в поселок непременно должен был познакомиться с ними, тоже становились предметом насмешек.

Но интересы людей (кроме тех часов, когда все были заняты на работе) не состояли только из этих перемываний косточек Мирону. Одна группа, что была помоложе, полагая, что прежние отношения к труду уже устарело, и что есть новое, заключавшееся в том, что можно не столько отдавать, сколько брать от государства (там кошелек большой, сведут концы с концами!), и что безответны только лошади, коим не дано говорить, — группа эта, объединявшая, в сущности, тех, кто приехал на Север, чтобы обогатиться, постоянно выдвигала какие-то требования то относительно питания, то относительно жилья, то жаловалась на скупость Мирона, который заполнял (без приписок) наряды, словно платил из своего кармана. Группа эта держалась развязно и при всяком удобном случае насмехалась над теми, кто, как ископаемые первые пятилеток, дожив до своих лет, не научились ничему в жизни. «Ископаемые» же эти были люди в возрасте, как и Мирон, и не то чтобы не хотели вступать в спор, но составляли свой кружок, в центре которого как раз и стоял Иван Игнатьевич Спиваков. Собирались эти люди либо в вагончике у Спивакова, либо у кого-нибудь еще и до полуночи иногда просиживали за неторопливыми и основательными разговорами о жизни. Жена Ивана Игнатьевича подавала чай, все не переставая курили, и под низким потолком было сине и густо от дыма. Оказавшиеся по разным жизненным обстоятельствам на Севере, они старались и здесь сохранить свою прежнюю целостность восприятий и по строгости к себе и такой же строгости к другим являли собою то сдерживающее (в жизни поселка) начало, без которого невозможна была бы никакая общая жизнь людей.

XXVI

Принято отчего-то считать, что нравственный градусник, по которому об одном коллективе говорят, что он здоровый и способен на многое, а о другом — что он больной и что надо принимать меры, чтобы оздоровить его, — что нравственный градусник этот показывает главным образом уровень идейного воспитания, насколько каждый умеет подчинять (сознательно или неосознанно) личные интересы общественным. Но у жизни, вернее у людей, есть потребности, удовлетворение которых не зависит от показаний общественного градусника; потребность эта, как упрощенно называли ее в поселке Солнечном, —

женский (для мужчин) вопрос. Мужчин было много; женщин было считанное количество, и все, кроме бригадирской свояченицы, замужние. Не проходило и недели, чтобы в каком-либо семейном вагончике не возник конфликт, и тогда начинали вылетать из вагончика чашки, ложки, табуретки, все, что попадалось под руку мужу, и провинившаяся или не провинившаяся жена убегала к соседям и отсиживалась там, пока Мирон или Спиваков, особенно умевший разобраться в этих делах так, что не оказывалось виноватых, а следовательно, и правых и надо было мириться,— пока не приходил кто-нибудь из этих отцов поселка и не улаживал дело.

— Ну зол, ну зол,— затем полупшепотом говорили между собою женщины. Им надо было занять себя, и они с удовольствием обсуждали то, чему были свидетелями.

— Да я бы ему после этого... таких рогов понаставляла!— Что было уже не осуждением мужа, но осуждением той, которая слабостью своею будто бы оскорбила все женское население поселка.

Но пока дело касалось других, Мирон был спокоен. Он знал, кочуя по стройкам, что без этого (без семейных сцен) нельзя, как свадьба не свадьба без пьянки и драки; свадьба должна быть свадьбой, а жизнь в поселке — жизнью, и надо быть снисходительным и проще смотреть на все. Тем более что он и сам не раз в молодости ревновал жену; бывало даже, поколачивал ее; но в то время как он теперь не беспокоился за нее, он боялся за свояченицу, увязавшуюся в этот раз за ним на Север. Он видел, что из тех холостых людей, что были в поселке, охотников жениться на его свояченице не было, но охотников сблизиться с ней было много, и он столько же почти усилий, сколько прилагал к делу, прилагал к тому, чтобы следить за свояченицей и оберегать ее.

— Ты дура. Ты разве не видишь, это же кобели одни,— с привычной для себя фельдфебельской прямоотой, как он говорил со всеми, говорил и с ней.

— Фу как, хоть бы волос своих седых постыдился,— укоряла жена, краснея за него.

— Мне стыдиться? Я свою жизнь прожил так, что дай бог прожить каждому, а что кобели во вокруг, так ясно — кобели, и не тут женихов искать ей.

Сваяченица, которую звали Екатериной и в имени которой как будто звучало что-то царственное, когда его произносили полностью (а полностью его произносили почти все, подчеркивая этим, что она для них Екатерина поселка),— свояченица не то чтобы обижалась на Мирона, но просто не хотела ввязываться в спор с ним. Она приловчилась так, что, молча послушав родственника и успокоив его таким образом, тут же забывала о его нравоучениях и делала то, что ей надо было и хотелось сделать. Она, в сущности, была бесконтрольной в своем вагончике-клубе. Веселая, улыбавшаяся всем, она переспала почти со всеми неженатыми мужиками поселка и в то же время держалась так, будто никогда и никаких грехов не было за ней. «Уеду отсюда, и никто никогда знать не будет»,— говорила она себе. Ей нужно было оправдание тому, что она делала, и оправдание это, сотни раз ложно уже служившее другим, было готово для нее. Она лучше, чем свояк ее Мирон, знала, что представляли собою мужики, домогавшиеся ее. И хотя далеко не все, приходившие к ней, делали это только для того, чтобы переспать и оставить present, но она не хотела этого видеть. «Только бы не открылось»,— всякий раз с беспокойством думала она.

Она была одна такая в поселке и пользовалась этим своим выгодным, как она считала, положением. С приездом же Галины у нее появилась соперница, и она поняла это тотчас, как только увидела ее, прощедшую в сопровождении пилота от вертолетной площадки к конторе.

На крыльце вагончика-конторы, в то время как Галина с пилотом,

несшим ее чемодан, подходили к нему, стоял Мирон. Он только что вышел (на шум вертолета), чтобы посмотреть, кто прилетел, хотя по радиограмме, полученной от Луганского, знал, кто прибывал в его поселок. В сапогах, в широких брезентовых штанах и куртке поверх обычных брюк и пиджака, он стоял в той хозяйской позе, что было видно, что он доволен и собой и тем, как шли в его бригаде дела. От крыльца открывался ему весь простор бригадных работ: причал, где разгружались трубы, и площадки, где складировались они (и всякое иное прибывавшее оборудование для зимних работ). Он получил указание увеличить оборачиваемость барж, иными словами — днем ли, ночью ли, но разгружать их сейчас же, как только они прибывали, и Мирон, ценнейшим качеством которого было строго выполнять указания начальства, тут же организовал круглосуточную разгрузку. Ему нетрудно было сделать это, так как те в его бригаде, кто жаждал обогатиться, выходили и вкалывали (говоря ходовым в то время словечком), а те, кто был здесь по зову сердца (как говорили о таких), вкалывали потому, что видели, что обстоятельства требовали от них этого. В общем, что касалось производственной части, Мирону не нужно было прикладывать особых усилий, все шло само собой; но что касалось женского (для мужчин) вопроса, как он складывался в поселке, — Мирон неприятно поежился теперь, глядя на Галину, в укороченной юбке и туфельках подходившую к нему по дощатому настилу.

«Не было хлопот, так купила баба цорося», — по-своему подумал он, выправляя, однако, на лице равнодушное и спокойное выражение. Он не знал Галину, но он хорошо знал, что когда начальство отправляет своего родственника в глубинку, то это значит, что родственник натворил что-то и отсылается на исправление. Тем, что натворила Галина, Мирон понимал, не положено было интересоваться ему; но, искоса и равнодушно будто вглядываясь в нее, он делал по первому своему впечатлению, то есть по туфелькам и юбке, оголявшей ноги ее, вывод: «шалава, видать» и «будет еще тут греха с ней».

— Ну, Василий Гаврилыч, принимай пополнение, — ставя чемодан на крыльцо у ног Мирона, сказал пилот, знавший его (на Севере все и всё и знают друг о друге).

— Галина Акимовна? Иванцова? — глухо спросил Мирон.

— Да.

— Сестра, что ли, нашего Дементия Акимыча? — спросил он уже для того только, чтобы подчеркнуть, что он знает, что положено знать ему, и принялся поверх голов Галины и пилота оглядывать вагончики поселка, словно был в затруднении, куда поместить вновь прибывшую. — А ты чего здесь? — заметив подошедшую свояченицу, проговорил он. — Вот ключ и отведи-ка гостью в четырнадцатый.

— В четырнадцатый? Он же для сварщиков приготовлен, — возразила свояченица, сейчас же сообразившая, в какое выгодное положение ставилась та.

— Ну, учить еще, сказано — веди, так и веди. — И Мирон, сойдя на ступеньку и наклонившись, сунул свояченице ключ в руки. — Распоряжаться тут есть кому. — Благодушное настроение его, с каким он только что оглядывал свое налаженное бригадное хозяйство (он любил порядок и всегда получал благодарности от начальства за него), было как будто испорчено тем, что свояченица посмела возразить ему, хотя причина, отчего он сердился, была в другом; была в том, что он еще более увидел (по отношению Катерины), кого он получал в поселок. Свояченица, о которой доходили до него слухи, казалась ему в сравнении с Галиной такой простенькой и обыденной, что он не мог о ней подумать дурно. «Все вздор, мало ли что на девку наговорить можно». Но строжиться на Галину, во-первых, не было у Мирона еще оснований, а во-вторых, он знал, что это не его ума дело, и потому продолжал строжиться на свояченицу. — Чемодан возьми. Я тебе го-

ворю: взять чемодан! — прикрикнул он, заставив свояченицу вернуться за чемоданом.

«Заработать приехала? Я те тут заработаю, я те устрою жизнь», — шагая впереди Галины со вскинутым на плечо чемоданом, думала между тем свояченица. Она чувствовала свою простоту в сравнении со столичной еще выправкой (и одеждой) Галины и боялась оглянуться на нее.

— Ну вот здесь, — остановившись перед новеньким запертым вагончиком и опуская на землю чемодан, сказала она и затем с насильственной улыбкой все же взглянула на Галину.

XXVII

Надо же было случиться, чтобы в тот день, когда Наташа в последний раз пришла на свою старую квартиру (у площади Никитских ворот), чтобы сдать ключи смотрителю ЖЭКа, она встретила с Тимониным.

— Наташа, вы?! — Он проходил по бульвару к Дому журналистов, как он проходил этой дорогой всякий раз, когда ему хотелось провести вечер не среди друзей-писателей, а среди друзей-журналистов, где он более свободно чувствовал себя. — Как я вас давно не видел, — добавил он, восторженно глядя на нее, делая шаг к ней, беря ее за руку и не спрашивая (ни себя, ни ее), можно, нужно, прилично или неприлично делать это. Он знал историю с ее мужем Арсением в тех подробностях, как она сочинена была и излагалась в доме профессора Лусо. Но, изрядно забыв уже за своею суетною, праздною жизнью об этой истории и помня только, что он имел какие-то планы на Наташу (в связи именно с этой историей), он старался вспомнить, что он хотел предпринять тогда. «Что-то благородное я хотел сделать, да-да, что-то благородное», — подумал он, хотя этим благородным было только то, что он увидел определенную возможность сблизиться с ней. — Что с вашим мужем? Его осудили? Оправдали? Как вы прекрасно выглядите!

Невольно, неосознанно, лишь по привычке, давно уже укоренившейся в нем (и в обществе, в котором он постоянно вращался и где тонкостью ума признавалось сказать любезность, то есть ложь вместо правды), он как будто забрасывал наживку, на которую, он знал, невозможно было не клюнуть; и по изменившемуся выражению лица Наташи он сейчас же почувствовал, что цель близка и что у него есть шанс прекрасно провести вечер.

— Куда вы направляетесь свои стопы? — спросил он, как только Наташа сказала ему, что следствие по делу Арсения еще не закончено и что неизвестно пока, когда будет назначен суд. — Если хотите, идемте со мной в Дом журналистов. Это рядом, вот, у Арбатской площади, — сказал он, не отпуская руки Наташи и испытывая к ней то же чувство, какое испытывал на даче у Карнаухова, когда прохаживался по саду.

Хотя здесь не было скошенной травы, не было яблонь, берез, сосен и неба, чашею опрокинутого над всей той дачной красотой; хотя здесь не было ничего того деревенского, чему он поклонялся (на словах и на бумаге) и что одно лишь могло, казалось, вызывать желание любви и жизни (как он утверждал это для других), а были только асфальт, дома, Кинотеатр повторного фильма, напротив которого он стоял теперь с Наташей, и огороженная переносным дощатым забором площадка, на которой возводилось здание ТАСС, то есть было все то городское, что не могло как будто способствовать ни восприятию прекрасного (по тем же уверениям Тимонина, которые он произносил, разумеется не для себя, а для других), ни пробуждению любви, как это чувство в чистоте (опять же, разумеется, не для себя, а для других) определялось им, — он не мог отпустить Наташиной руки, как не

мог не смотреть восторженно на нее. Он не сравнивал ее с теми женщинами, с которыми проводил вечера, то заезжая к одной, то оставаясь у другой, то видя их всех вместе в фойе какого-нибудь театра или клуба; он просто видел молодость Наташиного лица, молодость едва только начавшей полнеть фигуры, когда все, как теперь в Наташе, бывает красиво и совершенно в женщине, и не мог отвести от нее взгляда. «Какая свежесть, какая прелесть,— про себя повторял он, с новым как будто и прежде неизвестным ему чувством испытывая желание сблизиться с ней.— Да, да, я же знал, что она одна, как же я раньше не сообразил»,— думал он, слегка краснея от откровенности этих желаний. Он стоял спиной к заходящему солнцу, и густые, темные, низко подбритые виски его придавали лицу какое-то будто особенное, романтическое выражение.

Он выглядел удачливым и беззаботным. Жизнь его за эти месяцы не только не изменилась в чем-либо, но не могла измениться, потому что общество избранных (как они сами называли себя), к которому принадлежал Тимонин, продолжало жить теми же интересами, какими оно жило всегда. Отъезд Ольги из Москвы и то, что она, не попрощавшись с ним, сделала это, не беспокоили его. Корреспонденции его с сенокоса и с жатвы, за которыми он ездил в Пензу и Мокшу (в народ, как он говорил), были уже напечатаны и забыты всеми. К тому крупному произведению, какое он давно уже собирался начать писать, он все еще не приступал, а лишь вынашивал замысел его и пересказывал пока всем те свои мысли, то есть те имевшие хождение среди определенного круга людей и бывшие модными высказывания о красоте и притягательности прежней крестьянской жизни, какими он собирался наполнить книгу. Он хотел быть ближе к народу, тогда как не только (в силу своего образа жизни) не понимал этого народа, глашатаем которого выдавал себя, но и не прилагал усилий к тому, чтобы понять его. Модно было поэтизировать прошлое русской деревни — и Тимонин поэтизировал и верил в то, что так именно все и было, тем более что вера эта ни к чему не обязывала его; модно было хоть как-то противостоять официальному мнению — и он противостоял в тех возможных границах, в каких противостояние не мешало ему пользоваться благами этого общества, в котором, если послушать его, были только одни пороки и не было ничего, что заслуживало бы внимания и одобрения. Он выражал недовольство той жизнью, которой он, в сущности, не знал, что было сложного и несогласованного в ней и над чем, чтобы к лучшему переменить ее, задумывались люди; но жизнь, какую жил сам, проводя время в клубах и барах, где можно было слыть непонятым и великим,— жизнь эта вполне устраивала его. Он принимал ее и наслаждался ею; и он приглашал теперь Наташу, весело и просто как будто глядя на нее, разделить с ним это его привычное удовольствие.

— Ну так как? — видя, что Наташа колеблется, и беря ее за другую руку, проговорил он. Он не хотел упускать того, что было, казалось ему, уже у него в сетях, и по интуитивному чувству ловца старался лишь не спугнуть ее теперь ненужным движением или словом.

— Я не знаю,— ответила Наташа, делая усилие, чтобы освободить руки.

Но Тимонин не выпускал их, и она, краснея, чувствовала, как в ней поднималось знакомое уже ей счастливое беспокойство. Она помнила, как танцевала с ним на вечере у Лусо, возбужденная его вниманием и благодарная ему за это; она была так счастлива тогда и так счастлив, казалось ей, был ее муж Арсений тем, что ей хорошо, что она невольно улыбнулась сейчас Тимонину. «Что же тут плохого, если на меня обращают внимание? Значит, я хороша еще, и он (то есть муж) должен быть рад этому»,— просто, ясно и объяснимо было ей это, что должно было теперь повториться с ней. Перед ней открывалась возможность (уже через Тимонина) вновь приобщиться к той

высшей, как она полагала, жизни, которая так поразила ее в гостиной Лусо, а затем на вечере у Карнахова и в Большом театре (все в том же блестящем обществе), и она чувствовала, что не в силах теперь отказать Тимонину.

— Так решайтесь, решайтесь, — настоятельно повторил он, как если бы не знал ничего о ее несчастье.

— Но я... я не ожидала, — попыталась было возразить Наташа, которой казалось, что она одета не так, не в том платье, в каком прилично было бы появиться ей в обществе, куда приглашал ее Тимонин.

— Да все на вас чудесно, все-все, — сейчас же и с большей, чем в первую минуту встречи, уверенностью подтвердил Тимонин, поняв, что она хотела сказать ему. Он посмотрел на ее прическу и маленькие открытые красивые уши, которыми всегда так любовался Арсений и в которых видны были теперь все те же знакомые Тимонину сережки с красными, как капли, рубинами (подарок мужа к первому ее выходу). В сережках не было как будто ничего особенного, но они так освежали все круглое лицо Наташи, что Тимонин (как и на вечере у дяди, где впервые увидел ее) не мог уже смотреть ни на что другое, кроме как на ее лицо и сережки; ему достаточно было этой нетронутой, как он мысленно определял для себя, красоты ее, этой чистоты, какую он живо чувствовал в ней; и он мысленно разрушал уже те барьеры (как он разрушал их не раз с другими женщинами), какие только по неопытности и наивности своей, как он думал, Наташа будет возводить перед ним. — Вы хотите запереть себя в четырех стенах? Но это глупо, — сказал он, отпуская ее руки, но тут же снова беря их. — Я вижу, вас надо выручать, да-да, выручать, и я готов быть вашим слугой. Ну, решено? — И, не обращая внимания на робкое уже сопротивление Наташи, Тимонин взял ее под локоть и повел вниз по бульвару.

Несмотря на то, что ей надо было к отцу (и к подруге Любе, у которой она обещала быть сегодня), Наташа не возразила Тимонину. «Я только чуть побуду и уйду», — сказала она себе, не осознавая еще вполне, что она делает. Но мысль о том, что она идет веселиться, в то время как Арсений в тюрьме, по следствию (и что она поступает нехорошо именно по отношению к мужу), — мысль эта напугала ее. «Может быть, остановиться, не ходить, сказать что-то», — подумала она. Но изменить что-либо было уже нельзя, и Наташа только еще раз для успокоения сказала себе, что сразу же, как только немного побудет с Тимониным, уйдет к отцу и затем к Любе.

К XVIII

Член правления, известный журналист, дежуривший в этот день по клубу, увидев Тимонина, вместе с Наташей вошедшего в фойе, где уже толклось достаточно много народу, весело поздоровался и заговорщицки, но так, чтобы окружающие могли слышать, спросил:

— На него?.. — И назвал имя одного из модных московских поэтов, перед которым нельзя было как будто не преклоняться. — Получите наслаждение, уверяю. Во всяком случае, любопытно. Весьма и весьма. Но каких это стоило усилий!

— А ты знаешь, я равнодушен, — сказал Тимонин, привычно пожав плечами. Он слышал от кого-то, что поэт этот, о котором шла речь, придерживался не того литературного направления, какого следовало бы ему придерживаться, и потому не хотел и не считал нужным идти на него.

— Но ты не один? — делая изумленное лицо, спросил член правления, дежуривший в этот день. — С тобой такое очаровательное создание. Вы как? Вы тоже равнодушны? — обратился он уже к Наташе, назвав опять имя поэта и вводя своим вниманием ее в смущение.

— Ну что вы, я с удовольствием, — торопливо ответила Наташа и

повернулась к Тимонину как бы за советом, как поворачивалась за поддержкой к мужу на вечере у Лусо.

Но в это время, пока член правления, известный журналист (известный более не тем, что что-то значительное писал и печатал, а другим — что во всякое время года неизменно ходил в бассейн на Кропоткинской и держал себя в соответствующей спортивной форме), произносил свою фразу, в фойе произошло движение, и все устремились к двери, ведущей в зал. «Объявили! Объявили!» — с разных концов хлынувшей толпы раздались голоса, и Тимонин, как ни неприятно было ему идти слушать этого поэта, и Наташа, которая не успела еще присмотреться и ощутить себя в новой, непривычной для нее обстановке, и дежуривший по клубу известный журналист, которому надо было быть в фойе и следить за порядком, подхваченные толпой, очутились в зале, в проходе между стульями. Наташе не было видно сцены, и Тимонин, забыв о приличии и чувствуя себя хозяином, раздвигал стоявших перед Наташей и проталкивал ее вперед. На него оборачивались, чтобы сказать то резкое, что обычно принято говорить в таких случаях, но от покрасневшего Наташиного лица, на которое натыкались недовольные и раздраженные взгляды (главное, от того желания увидеть и услышать, какое было на молодом, девичьем еще как будто лице Наташи), раздражение сменялось улыбками, ее пропускали, а вместе с нею и Тимонина, и когда из угла сцены, где сидели поэты, двинулся к микрофону тот, кого ожидали все, Наташа находилась уже в выгодном положении, ей не надо было ни нагибаться, ни тянуться на носках. Ей было видно все, и она широко раскрытыми глазами смотрела на сцену, словно что-то чрезвычайное и удивительное, что можно увидеть только раз в жизни, должно было явиться ей.

Мягко и величественно, как выходят обычно только конферансье, поэт подошел к микрофону. Он был в темно-зеленом бархатном костюме и красной рубашке с небрежно расстегнутым воротом, и по этому виду его и по тому, как он улыбался, берясь пальцами за микрофон, чтобы по росту подогнать его, чувствовалось, что он сознавал себя любимцем публики. Он чуть наклонил голову, точно так же как наклоняют ее артисты, чтобы получить аплодисменты, и не успела Наташа сообразить, что произошло, как зал загредел овацией. Наташа тоже принялась хлопать, сначала оглядываясь вокруг себя и на Тимонина, но затем незаметно подчиняясь общему настроению восторга, каким в эти минуты, казалось, был наполнен весь зал. В душе ее точно так же, как это было с ней в Большом театре на балете, на котором она была с мужем (и на котором в тот вечер присутствовал де Голль с супругой), возникало чувство, когда то, на что она смотрела и что слышала, и то, что происходило в ней самой, сливалось в одно неразделимое целое и, заставляя забыть обо всем ином, захватывало и держало ее. Тимонин ладонями обнимал ее талию, и она не чувствовала этого; кто-то полный, стоявший рядом, постоянно ворочался, сопел и обдавал ее тяжелым духом несварения и пота, но она не замечала и этого; впервые попавшая на вечер, где читали поэты, она замирала от счастья и, вглядываясь и вслушиваясь, воспринимала не столько содержание, сколько манеру исполнять стихи, жесты и выражение лица поэта. Жесты были артистическими, и руки то и дело гимнастически распахивались, готовые обнять земной шар. Но главное заключалось не в этих артистических жестах; главное было в том, что поэт придавал значение каждому произносившемуся им слову, будто стихи состояли не из строчек, строф и рифм, а из отдаленных друг от друга на версту слов, каждое из которых само по себе, по какой-то будто особой наполненности понятиями, представляло поэзию. Было ли это только прихотью поэта или модой, когда событие, которое должно быть естественным, преподносится как великое достижение, — никто не задумывался над этим; после каждого прочитанного стихо-

творения зал хлопал, девушки восторженно подносили цветы поэту, и все это выглядело так трогательно, что у многих увлажнились глаза, как они полны были счастливых и бессмысленных слез у Наташи.

Как только поэт закончил чтение и к микрофону подошел другой, объявленный ведущим (и менее известный), грудившиеся в проходе люди начали выходить из зала. Они выходили не потому, что стихи у этого менее известного поэта были хуже или он не так, не в этой новой манере читал их; он читал их так же, с тем же ударением на каждом слове, но в представлении толпы это было не то, было даже отдаленно будто бы не похоже на то, чему они только что аплодировали, и потому они не желали уже слушать немодного поэта. «Какие стихи! Как держался! А манера, манера!» — раздавалось теперь вокруг Наташи и Тимонина. Их теснили к выходу, и хотя Наташе хотелось еще побыть в зале и послушать других, но и она и Тимонин, поджимаемые толпой, вновь очутились в фойе.

— Ничего, ну ровным счетом ничего, а народ валом валит, — отряхиваясь как будто от тесноты, проговорил Тимонин, не обращаясь ни к Наташе, ни к кому-нибудь еще, кто был рядом, а лишь удивляясь столь бурному интересу к поэзии. Интерес этот, впрочем, к середине шестидесятых годов достиг уже той своей точки, когда желающих послушать поэтов не вмещали не только залы (как знаменитый Политехнический), но и стотысячный стадион. — И вам понравилось в этой духоте? — затем продолжил он, наклоня к Наташе свое недовольное и сосредоточенное лицо с низко подбритыми висками. Он задавал ей вопрос не о поэте, которого он слушал хотя и со вниманием и любопытством, но о котором все же не мог думать хорошо (не мог, вернее, изменить о нем то свое, то есть взятое у других напрокат, мнение, которого он придерживался), но спрашивал ее о вечере вообще, который, как это казалось ему теперь, неудачно начался для него. Целью этого вечера было для него потолкаться по кулуарам, где говорилось все и обо всем и где, в сущности, шла незаметная для администрации и не управляемая ею своя клубная жизнь, посидеть в ресторане, где можно было представить Наташу друзьям и угостить ее, а затем у нее дома провести те часы приятного уединения, ради которых, как он всегда говорил, готов был пожертвовать всем; но к этой конечной цели, как он инстинктивно чувствовал, надо было подготовить Наташу, и ему казалось, что незапланированные поэты могли только помешать ему. — Вы молчите? — спросил он, снова наклоня к ней свое все еще недовольное и сосредоточенное лицо.

Наташа была возбуждена тем, что она увидела и услышала в зале, но по тому, как Тимонин спрашивал ее, по взгляду и интонации она почувствовала, что что-то было как будто нехорошее в этом восторге, какой испытывала она.

— Но читал он интересно, — все же сказала она не в силах бороться в себе этого восторга.

— Мода, только и всего, мода, — решительно возразил Тимонин, — а глубины никакой. Если вы любите поэзию, я могу познакомить вас с настоящими поэтами. — Хотя что он имел в виду под словом «настоящими», он сам толком не мог бы объяснить; но он уже говорил теперь для того, чтобы говорить, и входил в ту привычную для себя роль вещателя истин, в какой он любил представлять перед женщинами. — Надо, Наташенька... Я могу вас так называть? — И, не дожидаясь согласия, продолжил: — Надо, Наташенька, во всяком деле, а в нашем литературном особенно, отталиваться от народного понимания добра. Простите, минутку, минутку, — затем сказал он, в то время как мимо проходил крупный сутуловатый мужчина с тяжелым, нахмуренным взглядом и тяжелым подбородком. Это был Афанасий Юрьевич Куркин, искусствовед и критик, известный тем, что придерживался крайних западных взглядов в искусстве (многие даже считали, что он воз-

главлял это течение). Для Тимонина это был человек противоположного направления. Но несмотря на то, что это был человек противоположного направления, он был в то же время влиятельным человеком и потому не мог не интересоваться Тимониной.— Личность. Неприятная, но личность,— пояснил он затем Наташе, что заставило его отвлечься и посмотреть на Куркина.— Личность! Личность! — Как будто ему доставляло удовольствие повторять эти слова.

XXIX

Тимонин пытался еще что-то пояснительное, что он любил и умел делать (как это казалось ему), говорить Наташе, но знакомые, подходы к нему и просившие представить им Наташу, прерывали его.

Большинство слонявшихся по фойе и коридорам (и сидевших в ресторане) были завсегдатаями этого заведения и не просто были знакомы друг с другом, но, казалось, знали друг о друге больше, чем каждый знал о себе. Наташа была человеком новым, впервые появившимся здесь, и одним этим уже привлекала внимание. Но главным, что привлекательного было в ней, была ее нетронутая как будто свежесть, замеченная еще Тимониным, и наивность, с какою она слушала, отвечала и воспринимала все. Ей было лестно, что ею интересовались, что она вновь, как и на вечеру у Лусо, оказывалась в центре внимания, и счастливое возбуждение, поминутно игравшее на ее лице, делало ее еще более заметной среди этой примелькавшейся уже публики, которая, разбившись на кружки, толкалась и гудела своим привычным трутневым гулом. Наташа улыбалась всем, все представлялись ей опять добрыми и милыми, и лишь одно обстоятельство несколько настораживало ее: что к Тимонину подходило больше женщин, чем мужчин, и что некоторые из этих женщин как-то нехорошо, оценивающе разглядывали ее. Особенно неприятное впечатление произвела на Наташу невысокая и полная, с косою, перекинутой на грудь, молодая особа, которая с чашечкой кофе, с какою она неизменно появлялась перед всеми, подошла к Тимонину и Наташе и, попросив Наташу поддержать эту свою чашечку кофе, принялась тут же перед глазами Тимонина переплетать косу.

— Благодарю вас,— с подчеркнутой почтительностью затем сказала она, беря из рук Наташи чашечку.— А тебя поздравляю.— Она посмотрела на Тимонина, на Наташу и опять на Тимонина, за которым как будто знала что-то, что было дурно и о чем не принято было говорить, но, дескать, она понимала и Наташу, почему та, несмотря на это известное всем дурное за Тимониным, была с ним.

— Со странностями,— делая тот жест, по которому должно было быть понятно это, проговорил Тимонин, когда молодая особа уже отошла от них.— Она всем тут нам надоела,— чтобы сгладить впечатление, какое та произвела на Наташу, добавил он.— Ищет себе мужа-писателя, как будто он пятак и может валяться под ногами. Смешно, ну просто смешно.

Но Наташе не было смешно. Неискушенная и привыкшая доверять людям, она не могла понять всего, что происходило вокруг нее, но по чувству самосохранения, не притупившемуся еще в ней, уже внимательнее и осторожнее начала приглядываться ко всему. В какую-то минуту ей даже показалось, что ее втягивают в обман и что Тимонин вовсе не тот, за кого она принимает его; но общая атмосфера возбужденного веселья, лица, костюмы и платья, мелькавшие перед глазами, и спокойный, доверительный тон, каким Тимонин рассказывал ей обо всех подходивших к ним (то об одном, то о другом) «знаменитостях», делали свое дело, и Наташе, в сущности, некогда было вспомнить ни об отце, ни о подруге Любе, у которой обещала сегодня быть, ни о муже, которого, ей казалось, она все еще так любила; она лишь смутно ощущала, что было что-то нехорошее в том, что она делала, и временами была не уверена в себе и говорила не то и краснела оттого, что говорила не то.

Они с Тимониным собрались уже пойти в ресторан, когда возле шахматных столиков, где группа мужчин (не игравших) разговаривала между собой, раздался резкий взглас:

— Нет уж, спите вы сами своим обломовским сном, народ спать им не будет. Народ вам не ширма, которую можно передвигать по своему усмотрению, чтобы прикрыть свои телеса.

Человек, произнесший эти слова, был литератор с трудным, как говорили о нем, слогом. Он не примыкал ни к группе почвенников, ни к группе западников, то есть не искал выгод, какие могла бы дать ему подобная принадлежность; и потому, что он не искал выгод для себя (но какие-то цели все же должны были преследоваться им!), он был непонятен и представлялся всем неудачником, не знавшим будто бы, чего он хочет. Его не воспринимали всерьез, тогда как он говорил истину, которую могли бы признать все. Истина эта заключалась в том, что он не рядился под народ, а высказывал то, что действительно было нужно народу. Но как раз это-то и кололо всем глаза, как однажды едко заметил один критик, фраз, которого затем мало кто осмеливался произнести вслух (вслух произносили только с иронией, чтобы опровергнуть ее).

— Нет, нет, я еще раз вам поворю: народ — это вам не ширма! — Кружок мужчин, откуда донеслись эти слова, расступился, и все увидели выходившего оттуда худощавого и бледного молодого человека в очках и галстукe, общим интеллигентным видом своим не только не напоминавшего ни о чем деревенском (что только одно в понятии многих и могло говорить о принадлежности к народу), но, напротив, даже можно было найти что-то щегольское в нем.

— Стоцветов. Это известный Стоцветов,— пояснил Наташе Тимонин.— Всегда умеет только оскандалиться.

Тимонин сказал как будто оуждающе о Стоцветове как о человеке неинтересном и не стоящем внимания, но вместе с тем тут же оставил Наташу одну и пошел узнать подробности.

— Я сейчас,— сказал он Наташе.— Это любопытно, и я все вам расскажу потом.

Наташа отодвинулась к стене, чтобы не быть на виду. Она могла воспринимать и воспринимала только то, что было внешней стороной клубной жизни, и совершенно далека была от той, другой, какую живет определенная часть приходщих в клубы людей. Тимонин знал об этой другой жизни и жил ею; он пошел теперь узнать о событии, о котором затем можно будет говорить с друзьями, а Наташе оставалось только со спокойным видом ждать его. Она впервые за вечер, когда никто не прерывал ее, принялась осматриваться. Может быть, потому, что большинство было занято разбирательством ссоры, куда пошел Тимонин, и никто не интересовался Наташей и не замечал ее, ей сделалось скучно, и все только что восторженно виденное ею начало представляться по-иному, как бывает, когда после цветного изображения снова черно-белый экран. Она хотя и смутно, но чувствовала, что жизнь эта, что была вокруг нее, была чужда ей; чужда не тем, что была незнакома ей и не совпадала с привычной с детства, какую жили отец и мать и какую живут тысячи и тысячи других людей; но жизнь эта не совпадала с той возвышенной и красивой, к какой Наташа прикоснулась на вечере у Лусо (и такая все еще продолжала возбуждать ее); она чувствовала, что вокруг нее было не то общество, в каком ей хотелось быть, и с затаенной боязнью открытия (какое делала), противясь еще этому открытию и не желая принимать его, продолжала смотреть перед собой.

В это время поэты закончили читать и из зала в фойе начали выходить люди (те, которым интересно было все на поэтическом вечере). Наташа еще более прижалась к стене и принялась торопливо отыскивать глазами Тимонина. Но пока она с напряжением смотрела в ту сторону, где должен был быть он, с другой, куда она не смотрела, не-

ожиданно послышался знакомый ей женский голос. К ней подходила Лия Дружникова, только что вышедшая из зала и увидевшая ее.

— Наташа, вы как здесь?! Вы тоже приходили на него? — И она назвала имя того поэта, о котором за минутными своими заботами Наташа успела забыть. — Я сто лет вас не видела, — уже поздоровавшись, продолжала она. Она точно так же, как все знакомые и родственники Лусо, знала о Наташином несчастье, то есть об Арсении, только в том раскладе, как это преподносилось в доме дяди; но она была той единственной (из родственников), кто усомнился в правдивости такого изложения, когда во всем был виноват только Арсений. «Он, по-моему, милый и порядочный человек», — возразила она тогда своему дяде-профессору. Но дальше этого возражения не сделала ничего и только со вздохом все вспоминала о Наташе, называя ее бедняжкой, и все собиралась чем-то помочь ей; и потому она была искренне рада теперь, увидев ее. — Ты с кем пришла? Ты одна? — видя, что возле Наташи никого не было, и переходя с нею на «ты», спросила она. — Гриша мой над р а б о т о й корпит, сроки поджали, а у него еще и половины нет. Оставила его дома, а сама... — И она опять назвала имя того поэта, послушать которого она специально приехала сюда.

— Нет, я не одна, — сказала Наташа, которой, с одной стороны, было приятно увидеть Лию (по той памяти, как приятно было с нею на вечере у ее дяди, профессора Лусо), но с другой — было неловко (все по той же памяти, что тогда, у Лусо, Наташа была с мужем, но что теперь с Тимониным). Наташа почувствовала себя как бы уличенной в том, в чем она не была виновата, и стеснительно и робко отвечала Лии.

— Но с кем? Разве?.. — Лия хотела сказать: освободили Арсения? — но увидев подошедшего Тимонина, главное, как тот взял Наташу под руку и наклонился к ней, поняла, в чем было дело, и удивленно воскликнула: — Успел уже! Ну проворный, проворный. — И она пальчиком нежно погрозила ему.

— Ты домой? — сейчас же по-родственному спросил Тимонин, желавший избавиться от нее.

— А ты? А вы? — поправилась она, обращаясь к нему.

— А мы еще побудем здесь. — И он, выдавая себя, посмотрел в сторону ресторана.

— Зачем же в ресторан? — поймав его взгляд, возразила Лия. — Поужинаем у меня, и Гриша будет доволен.

— Но у меня столик заказан.

— Он у тебя заказан каждый день, а я достала индийские слайды. Необыкновенные. Вы любите смотреть слайды? — спросила она у Наташи. — Это так прекрасно, — не дожидаясь ответа, начала она со свойственной ей привычкою заполнять собою все вокруг. — Неопишущее богатство и ужасающая нищета, нет, это прекрасно, — повторила она, в то время как непонятно было, к чему относились ее слова «это прекрасно»: к тому ли, что прекрасно посмотреть слайды об Индии, которые достала она, или прекрасен тот контраст между богатством и нищетой, о котором говорили эти слайды. — Так на слайды и на ужин ко мне? — И она посмотрела на Наташу.

— Оставь ты нас, — вместо Наташи ответил Тимонин.

— И не думай, нет, нет. — Лия снова и уже с намеком, что она понимает намерения своего троюродного брата, погрозила пальчиком ему. — Ты можешь оставаться, а Наташу я забираю. — И она с улыбкой, с какою на вечере у Лусо увела Наташу от мужа, пригласив танцевать ее, повела ее теперь от Тимонина к выходу, не давая оглянуться и продолжая говорить об индийских слайдах.

Наташа чувствовала, что ее как будто хотели спасти от чего-то, что было дурным, но что в сознании ее никак не могло связаться с этим словом; она знала, что у нее не было в мыслях ничего дурного, и она как за поддержкой перед самым уже выходом обернулась на Тимонина. Ей хотелось подтверждения того, о чем она думала, но то,

что она увидела, заставило сейчас же покраснеть и отвернуться: возле Тимонина стояла знакомая Наташе молодая особа с чашечкой кофе и он, слушая ее, смеялся чему-то с ней.

XXX

Дружников, оставшийся дома, чтобы подтянуть свои «научные хвосты», как он называл работу, то есть тему, которую, будучи сотрудником научно-исследовательского института, разрабатывал уже не один год, как он десятки раз откладывал ее прежде, отложил и в этот вечер и с удовольствием вступил в разговор с возвратившимся в Москву и зашедшим к нему старым, со студенческих лет (как и Дементий Сухогрудов) другом — Станиславом Стоцветовым, старшим братом того самого Стоцветова, который, по выражению Тимонина, всегда умеет только «оскандалиться в обществе». Станислав был, как и Дементий, как и сам Дружников, геологом, но по той причине, что еще в школе начал увлекаться английским языком, а затем сумел хорошо выучить его (и, несомненно, по протекции, как думал Дружников, которому казалось, что все значительное может делаться только по протекции), был приглашен как специалист на работу за границу. Он побывал уже в нескольких странах Юго-Восточной Азии и прилетел теперь из Индии, где провел ряд важных исследований в своей области и выступил перед молодыми дельийскими учеными.

Для Дружникова, который старался поддерживать связи со всеми, кто казался ему перспективным и мог занять положение (из той простой логики, что если не заводить новых и влиятельных знакомств, то круг той «своей Москвы», в котором он вращался, мог однажды стать узким и неудобным), — для Дружникова появление Станислава Стоцветова было тем хорошим знаком, что если не забывают друзья, то и сам он чего-то еще значит в жизни. Он был рад гостю и, усадив его в кресло в гостиной, с беспокойством посетовал на то, что Лии нет дома и что, будь она дома, она не менее была бы рада Станиславу.

— Ты не представляешь, московская жизнь — скучнейшая жизнь. Каждый день одно и то же и люди и те же лица, нет, ты не представляешь, с ума можно сойти, — подлаживаясь под настроение гостя и незаметно и тонко лстя ему, говорил Дружников, барски между тем отвалиясь на спинку дивана, на котором сидел, и поглядывая то на Станислава, то на своего Поля — черного ньюфаундленда от знаменитой Аскри, лежавшего у ног на ковре. Собака, словно чувствуя ласковый взгляд хозяина, старалась выказать всю свою породистость и, положив морду на вытянутые перед собой лапы, поглядывала на гостя, как будто она была соучастницей разговора, и по-собачьи умным и вдумчивым взглядом спрашивала: так что вы можете возразить?

— Я думаю, ты преувеличиваешь, — лишь после того, как Дружников закончил говорить, возразил ему Станислав (с тем естественным чувством осторожности и такта, то есть в той привычной уже для себя манере, какую он усвоил и привез из-за рубежа). — Москва всегда притягивала и будет притягивать людей своей столичной жизнью.

— Ну разумеется, — сейчас же согласился Дружников. — Я хотел только, знаешь, как по большому счету. — И он, нагнувшись и поглажив пса (и поправив на нем ошейник с медалью, полученной летом на выводке в Серебряном бору), перевел затем разговор на другое, что было ближе ему и должно было, как он думал, вызвать интерес и у Станислава. — Меня всегда поражает, — многозначительно начал он, — всезнайство людей, которые, едва сочинив одну-две статейки и чуть познав муки творчества, спешат затем со своими поучениями и отрицают или утверждают то, к чему сами, в общем-то, безразличны. Меня поражает, — подчеркнул и продолжил он, стараясь как можно больше вложить значения в то, что он говорил, — обилие этого нашего

всезнайства. Мы все так умны, так умны... одергивать других,— на лице его скользнула скептическая улыбка,— что иногда, знаешь, становится страшно.

— Это общая болезнь. И у нас и где только нет этого всезнайства.

— Нет, я что хочу сказать,— вспомнив, что он вчера только слышал в институте, поспешно заговорил Дружников.— Создается иногда впечатление, что каждый человек в отдельности понимает все проблемы, видит пути решения их и готов сделать все, чтобы достичь цели, но как только все мы сходимся вместе, как только дело касается группы людей, продолжается та же глупость во всем. Создается впечатление,— повторил он,— как будто кто-то специально тормозит движение и не хочет, чтобы русский народ встал на ноги.

По тонкому лицу Стоцветова, в то время как он слушал эти слова, пробежала едва уловимая тень насмешки.

— Я могу еще понять моего брата,— заметил он.— Но я вижу, все вы тут заражены.

— От скуки. От скуки тут, брат, и зарычать можно,— наклоняясь к псу и относя эти слова как будто к нему (и таким образом опять высказывая из затруднительного положения, в какое сам невольно поставил себя), произнес Дружников.— Всякая человеческая жизнь есть серия ошибок. Ошибки совершаются, осознаются и потом совершаются новые.

— Что ж, это естественно. Тут нужна только честность перед собой. И перед временем,— добавил Стоцветов.

— Честность, честность... Честность есть состояние жизни, как, впрочем, и ложь есть тоже состояние жизни.— Дружников опять наклонился к псу.— Если и есть у кого бескорыстие, так у этого вот существа.— И он потрепал пса за шею.

— Ты уверен?— спросил Станислав.

— Ласковое, благодарное и беспомощное, в сущности, животное.

— Но всякое состояние беспомощности тоже есть сила, если этой беспомощностью давить и попрекать других.

— В переносе на людей?

— Почему же? Можно и на государства и на народы.

— Ты затрагиваешь, по-моему, очень болезненный вопрос, вопрос нахлебничества,— невольно (и верно, как он думал) выходя на ту колею, то есть опять незаметно и тонко лстя Стоцветову, заключил Григорий Дружников.— Я не очень силен в обсуждении международных проблем, но думаю, что именно в мировом масштабе и следует сегодня говорить о нахлебничестве. Вот ты поездил по странам, посмотрел — что ты скажешь по этому поводу?

— Я думаю, ошибочно было бы сводить отношения между государствами и народами только к нахлебничеству.

— Но все же?

— Доля истины есть, но все гораздо сложнее. Принято считать, например, что Индия сама себя прокормить не может, но мало кто знает, что по плодородию земли там таковы, что на них можно прокормить все человечество. Надо только окультурить эти земли и дать им воду.— И Стоцветов рассказал о проекте обводнения северной части Индии, какой, он слышал, или только еще собирались, или уже начали разрабатывать наши специалисты.

— Так это грандиозно,— заметил Дружников, выслушав все.

— Да, но почему бы этим нашим специалистам,— он чуть приостановился, произнес слово «нашим»,— не разработать какой-нибудь подобный проект для себя, для своих земель?— как если бы возражал не себе, а Дружникову, заключил Стоцветов.

— В самом деле, почему?

— А потому, видимо, что нас научили хорошо смотреть вдаль и не научили смотреть себе под ноги.

— Неисправим ты, Станислав. Завидую тебе.

— Все мы завидуем друг другу: я — твоей тишине и семейному уюту... — Стоцветов на минуту задумался при этих словах, — ты — моим бесконечным перелетам и поездкам, а кто-то еще — кому-то и чему-то. Все мы завидуем друг другу, и в этом тоже, наверное, заложен какой-то свой естественный смысл, как, впрочем, смысл должен быть во всем. А ты барствуешь, барствуешь, — сказал он затем Григорию, когда тот в очередной раз наклонился, чтобы поласкать пса. — Приобщаешься к барству, как все тут у вас, я заметил. Это что, поветрие? Новая мода? У меня, знаешь, даже такое впечатление, что вся Москва как-то странно приобщается к барству.

— Да просто получше стало жить люди, вот и все.

— Получше жить и барство — понятия неравнозначные. Барство порождает лень, а лень поражает общество.

— Ну, положим, наше общество нельзя упрекнуть в лени.

— Как сказать, как сказать. В лени, может быть, и нельзя, но и в прилежании особенно похвалить не за что. Ты знаешь, я не из породы скептиков, но я из породы реалистов. Что есть, то есть, а чего нет, извини, не могу признать.

— Неисправим, неисправим, — с улыбкой повторил Дружников, знавший за Стоцветовым это пристрастие — порассуждать о правде и подтасовке ее.

XXXI

Станислав Стоцветов, как и брат его, умевший только всегда «оскандальиться в обществе», был человеком странным. Станным в том отношении, что, говоря о себе, он не интересуется политикой и не любит ее и что история и философия не его удел, в то же время при разговорах на эту тему обнаруживал иногда такую осведомленность, что даже специалистам, волкам, как говорят, съевшим на общественных науках, трудно было возразить ему. Он много читал и много знал и благодаря своему природному уму с легкостью переходил от одного предмета разговора к другому, как пловец, которому все равно, как плыть — на спине ли, кролем ли, брассом ли — и какая толща воды под ним; важно только, чтобы плыть на виду и первым, и это-то и составляло всю болезненную сторону жизни Стоцветова. Он видел, что многие, стоявшие над ним, были глупее его; видел, что именно оттого, что были глупее (но были заслуженными!), задерживалось развитие научной мысли. Но их нельзя было обойти, через них нельзя было перешагнуть, и оставалось только либо мириться с тем, как все есть, и быть на виду, либо противостоять, чтобы никогда затем не выйти в заслуженные, и он более чем когда-либо прежде находился теперь именно в том положении, когда надо было ему сделать выбор между этими двумя либо: либо признать над собою глупость, либо активно противостоять ей. Он давно уже работал над темой о естественном восстановлении энергетических ресурсов Земли (за счет процессов, происходящих в ядре). Работа наконец была завершена им, он привез рукопись и не знал, как быть с ней, принять ли то высокое соавторство, которое могло бы дать ход делу и уже не раз предлагалось ему, или пойти напролом и, втянувшись в борьбу, потерять свое привычное (с выездами за рубеж) место. По справедливости — ему хотелось и втянуться в борьбу, в которой он знал, что он выиграет, и остаться на прежней должности; но он чувствовал, что его могли не пустить плыть на ту дистанцию, на какую он хотел и имел силы, и он ходил пока по друзьям, примериваясь к той (в научных кругах) московской жизни, от которой он отстал, пока был в Индии. С этой же целью — прощупать обстановку — он сидел теперь и у Дружникова, у которого он с разочарованием видел, что менее всего можно было узнать о том, что нужно. Но несмотря на это, что он не мог узнать от Дружникова что нужно, он не уходил от него. Разговор, вышедший на

излюбленную для Стоцвотова тему о правде и подтасовке, захватил его. Отстаивая теперь перед Дружниковым необходимость правды и вредность подтасовки ее для общего хода жизни, он, в сущности, отстаивал для себя право, вступив в борьбу, остаться на прежней должности (что он считал делом по справедливости, то есть тем, что должно лежать всегда в основе жизни); и он высказывал все свое недовольство, давно и болезненно копившееся в нем.

Но он не ходил по комнате и не размахивал руками; он не проявлял того возбуждения, какое сейчас же выдало бы его, а во все время разговора продолжал сидеть в кресле, в которое усадил его Дружников, и лишь по выражению лица его и по тому особенному как будто блеску, какой время от времени возникал в его глазах, можно было понять, что скрывалось за этим его внешним спокойствием. Лишь один раз он встал и прошелся к окну будто за тем только, чтобы размять ноги, или, вернее, для того (как можно было подумать еще), чтобы показать костюм, безукоризненно сидевший на нем. Но Стоцвотев тут же снова вернулся к креслу и сел в него, как будто стесняясь то ли этого своего английского костюма, купленного им в одном из дорогих универмагов Дели, то ли своей гибкой (в сравнении с Дружниковым) фигуры. Он был строен и худ, как было модно теперь, хотя чего стоило поддерживать эту моду, то есть отказывать себе во многих вкусных и сладких блюдах, знал только он; но он всегда производил впечатление, что небрежен к еде, что внешний вид вообще не интересует его, а худоба — это от бога, как он шутил, от того устройства организма, какое как наследство он получил от родителей. Но от родителей у него были только светлые, что было редкостью, волосы, серые с голубизною глаза и обычное мужское грубоватое лицо, выразительность которого происходила не от совершенства форм (было даже что-то несовершенное, слегка перекошенное в его лице), а от широты восприятия мира и от той душевной работы, которая, отражаясь на лице, делала его умным и привлекательным. Он знал, что сколько ни говорят все себе, что «принимают по одежке, а провожают по уму», и как ни высмеивают эту устаревшую будто традицию, принимают-таки все равно по одежке,— он придавал особое значение тому, как одевался. Он носил то тонкое, из хлопчатки белье, какое можно было купить лишь за границей, и те рубашки, галстуки и костюмы, которые тоже привозил оттуда. Обычно он носил два перстня: золотой, с крупным, как печатка, темным камнем и серебряный со знаком зодиака (козерога — месяца, в котором он родился) работы кхмерских мастеров. Перстни, не удивлявшие никого за рубежом, привлекали внимание московских друзей, и потому у Дружникова Станислав был без перстней и чувствовал себя вполне вправе говорить о барстве.

— Нет, барство — это самое страшное, что может быть для человека и человечества,— снова, когда о правде и подтасовке ее было выговорено все, сказал он Дружникову. Уже от скуки он рассматривал обстановку и убранство дружниковской квартиры. — Постелил на пол ковер — и уже, понимаешь, нужна соответствующая обувь. Повесил картину — и надо уже звать такого друга, который бы понимал толк в ней. А на покупку той самой обуви и на поиски понимающего друга нужно время, которого в обрез, и либо ты проведешь его за письменным столом и сделаешь полезное дело, либо потратишь на весь этот антураж, который, в сущности, и есть барство.

— Как будто ты сам живешь иначе и не стремишься к этому,— заметил Дружников, слушавший как баловство эти рассуждения Стоцвотова.

— В том-то и дело, что и я втягиваюсь. Стараюсь избавиться и снова втягиваюсь.

— Ну вот и дождались. Это Лия, это она,— услышав, как в прихожей щелкнул замок и отворилась дверь, сказал Дружников с ка-

ким-то будто оживлением, словно то, чего он дожидался весь вечер, должно будет свершиться теперь. — Ты с кем? Ты не одна? — по возне и шуму, доносившимся из прихожей, поняв, что Лия не одна, спросил он; и в то время как он, поднявшись и перешагивая через забеспокоившегося, как и хозяин, пса, направился встретить жену, на пороге комнаты появились сперва Наташа, потом Лия, возбужденные ездой, разговором и вечером поэзии, на котором Наташе удалось послушать только одного, а Лии — всех поэтов, и она дорогой пересказывала Наташе подробности своих впечатлений и перипетий вечера.

Веселые, с сияющими лицами, они стояли еще у порога, когда Стоцветов подошел к ним, поцеловал руку Лии как хозяйке и повернулся к Наташе, чтобы сделать то же. Он никогда прежде не видел Наташу и, целуя ей руку, заметил только, что она была так проста, что не подходила как будто к общему интерьеру дружниковской квартиры, к тем коврам, креслам, шкапам и картинам и к тем тяжелым (под серебро) люстре и бра с матовыми и горевшими теперь миньонами, которые как раз и создавали впечатление барства или, вернее, приобщения к барству четы Дружниковых. Стоцветову показалось (несмотря на золотые с рубинами сережки в ушах Наташи, несмотря на ее прическу, открывавшую именно эти ее маленькие и красивые с сережками уши, и несмотря на модную юбку из однотонного японского кримплена и на светлую шерстяную кофточку, надетую поверх аккуратно и модно облегавшей шею водолазки), что Наташа была как будто женщиной из другого круга, которую Лия из жалости к ней, а точнее из потребности покровительства, распространенного на Западе и начавшего уже проникать в московскую жизнь, взялась опекавать и выводить в люди. «Одной дуре некуда деть время и деньги, — цинично решил Стоцветов, подумав о Лии, как он обычно думал о ней, — а другой хочется приобщиться к тому, к чему приобщиться нельзя, но с чем надо родиться». Оторвав губы от Наташиной руки, он снова посмотрел на нее и при этом втором взгляде, несмотря на всю простоватость круглого Наташиного лица, почувствовал (по неуловимым как будто еще черточкам), что что-то сильное и умное скрывалось за ее робостью и смущением.

Стоцветов привык к обществу людей хитростных. Он привык к тому, что за каждым произнесенным словом (в этом обществе) и каждым взглядом, кто на кого и как посмотрел, стояли определенные интересы, симпатии или антипатии вынужденных к совместной деятельности людей; он привык, что по этим взглядам всегда безошибочно можно было определить степень влияния тех или иных особ, с кем он собирался иметь дело. Он привык, что и в женском обществе все основано точно так же на взаимных репликах и взглядах. Но он столкнулся теперь с тем, что Наташа была бесхитростной и не только не владела (пока еще) всеми теми приемами в обществе, в которое хотела вступить, но и не знала, что таковые есть; он понял это еще и по выражению лица Лии, перехватившей его взгляд, и неприятно в душе поморщился, словно его приглашали посмотреть, как будут на равных вводить овечку в клетку со львицами. «Из этого выйдет только то, что из нее сделают еще одну дуру», — подумал он о Наташе, отводя от нее глаза, чтобы скрыть свои мысли, тогда как Лия начала уже с улыбкой представлять ему ее.

XXXI

Перебросившись теми незначительными фразами с мужем и Стоцветовым, как это соответствовало приличию, Лия затем увела Наташу с собой на кухню и принялась готовить кофе (и яичницу с колбасой, чтобы, как обещала, накормить ужином ее), а мужчины, оставшиеся в комнате, опять заговорили о своем.

— Да, как твоя работа с восстановлением энергетических ресур-

сов Земли? — спросил Дружников, найдя, что теперь самое время было спросить Стоцветова об этом. — Ты все еще против закачки воды в отработанные скважины?

— И в отработанные и в действующие. В какие угодно, — с иронической усмешкой подтвердил Станислав. — Мы заполняем водой пространство, которое через определенный промежуток времени, скажем лет через сто или около этого, само собой заполнится нефтью. Земля живет, под толщей коры непрерывно происходят процессы, и надо не противостать им, а дать возможность естественно развиваться, — сказал он. Все только что занимавшее Стоцветова теперь не интересовало его. Он уже не помнил ни о Наташе, ни о том, что подумал о ней, а весь сосредоточился на этом главном, что составляло суть его теоретических изысканий, то есть работы, которую он считал законченной и искал, как пристроить ее. Но он не стал рассказывать Дружникову всего, что было в этой работе (из определенных профессиональных соображений, хотя и доверял ему), а ограничился лишь тем, что сказал о возможных положительных последствиях, если открытие будет признано и будут приняты по нему соответствующие меры. — Из-за наших сиюминутных интересов мы, в общем-то, лишаем человечество будущего.

— Но эти наши сиюминутные, извини, как ты назвал их, интересы — это интересы государства, интересы народа.

— Будто я забочусь о комарах, — с той же иронической усмешкой заметил Стоцветов. — Согласись, что и я тоже думаю о народе. В это время на кухне между женщинами шел свой разговор.

— Ты знаешь, кто он? — говорила Лия, имея в виду Стоцветова. — Это известный ученый. Ты заметила, как он одет? На нем все заграничное. — Она стояла возле плиты в фартуке и по-домашнему была близка и понятна теперь Наташе. С той же легкостью, как она только что вела машину, с той же непринужденностью и легкостью, как отплясывала негритянский (с вульгарными телодвижениями) танец на вечеру у Лусо, Лия делала теперь то обычное женское дело — разбивала яйца о край плиты и выливала их на сковородку, на которой шипели уже в масле подрумяненные кружки колбасы, — которое в прежнем представлении Наташи было несовместимо с ее образом.

По кухне распространялось тепло и запах еды, и что-то как будто приятное и забытое воскрешалось в памяти Наташи. Ей снова (и впервые после той страшной ночи, когда Арсений ломиком ударил по голове сына) казалось, что мир людских отношений прост и что вовсе не нужно каких-либо особых усилий, чтобы уютно чувствовать себя в нем. Она как будто поняла, что на той ступени жизни (высшей, как она думала), на которую она поднялась благодаря Арсению и на которой ей так хотелось удержаться теперь, когда с мужем было еще неопределенно все, — что на этой ступени жизни так же все человечно и просто, как и на той, на которой она была всегда, живя с отцом и матерью. Она смотрела на Лию и словно открывала для себя образец жизни; и образец этот был близок ей, так как она видела, что и она могла быть такой, как Лия. «Вот что нужно для Арсения», — думала Наташа, все более поддаваясь впечатлению, какое прсизводила на нее Дружникова. После Тимонина, после особы с чашечкою кофе, вызвавшей ревность, после раскаяния и радости от раскаяния, что Наташа испытала в машине, пока ехала сюда (главное, после слов, сказанных себе, что никогда, никогда больше не позволит, чтобы чужие мужчины заглядывались на нее), она чувствовала себя так, будто и в самом деле все в душе ее очистилось, и она обновленным и ясным взглядом смотрела на Лию.

Ей нравилось, что все у Лии на кухне было подобрано в тон: и гарнитур, и кафель над газовой плитой и мойкой, и краска и обои на стенах, и занавески на окнах, и абажур над лампой, и даже двери и косяки были выкрашены в тот же красный цвет, какой, как тень буд-

то, лежал на всем, на что смотрела Наташа. Но более всего привлекало ее внимание окно, как оно было оформлено. Занавески на нем были необычного покроя (по фотоснимкам из какого-то иностранного журнала, как потом пояснила Лия). Они состояли как бы из двух линий — внутренней, что могла раздвигаться и задвигаться, и внешней, неподвижной, представлявшей как бы арку с бархатной красной бахромой. Все это было необычно и создавало определенный эффект, хотя шилось (как было вполне очевидно это) и крепилось над окном так же просто, как шились и крепились те обычные занавески, какие всегда висели в Наташином родительском доме и какие она готовилась повесить в своей новой квартире. Но она думала теперь, что не будет вешать те привычные, какие уже заказала в мастерской, а сделает эти, сколько бы ни стоило ей. Она обращала внимание и на то, как был поставлен буфет, подвешены полки, у какой стены располагался стол и что было на нем. Ей неудобно было (в то время как Лия говорила о Стоццветове) расспрашивать у нее, где она шила занавески и где можно купить подобный с красным пластиковым покрытием дверок кухонный гарнитур; но все внимание Наташи было направлено на то, чтобы запомнить, как было у Лии, и с таким же вкусом затем (и к удивлению Арсения) расставить все у себя. «Надо посмотреть еще, как в гостиной», — думала она, с волнением открывая для себя ту незнакомую ей прежде прелесть заниматься домашними делами.

— Да, я тебе не сказала главного, — проговорила Лия, когда яичница с колбасой была готова и оставалось только разложить ее по тарелкам. — Он дважды был женат, и обе жены его умерли от родов, — то, что более всего интересовало женщин в Стоццветове, что интересовало всегда Лию и должно было заинтересовать Наташу, сказала она, невольно в каком-то таинственном будто свете представляя теперь Станислава. — Роковое что-то, — добавила она. — Но интересный мужчина, не правда ли?

Наташа, невнимательно до этого слушавшая ее и уловившая теперь только, что «дважды женат» и что «обе жены умерли от родов», с удивлением посмотрела на Лию.

— Как от родов? — спросила она.

— Как... Я не умирала, не знаю, но так говорят, — просто будто сказала она, но все с тем же загадочным выражением, по которому, однако, можно было понять, что она намекала на что-то. — Ну, идем? — берясь за передвижной столик, на котором стояло все, спросила она. И, уже не оборачиваясь на Наташу, покатила его в гостиную.

Оттого ли, что она только что была на людях, то есть в Доме журналистов; от нежности ли к Наташе, которую спасла, как она думала, от Тимонина; от присутствия ли Стоццветова, которого всегда рада была видеть у себя, или просто оттого, что ей в этот вечер было так же хорошо, как ей хорошо было всегда, — Лия была в настроении и, выпив с мужчинами (и Наташей) вина, с аппетитом ела яичницу из старинной фарфоровой тарелки. Когда она смотрела на Наташу, смущавшуюся и поминутно красневшую отчего-то, и на Стоццветова, который тоже, казалось ей, был неестественно неловок в этот вечер, у нее явилось веселое желание соединить их. Она не знала, отчего ей пришло это желание. Уведя Наташу от Тимонина (с сознанием того, что сделала доброе дело), она решила подтолкнуть ее теперь к Стоццветову (с тем же будто чувством, что и это было тоже хорошо и нужно для чего-то). Она посадила их за столом так, что они постоянно должны были смотреть друг на друга, и в то время как Стоццветов смотрел на Наташу, первое впечатление простоватости, какое она произвела на него, заменялось в нем иным чувством, заставлявшим по-другому воспринимать ее. Простоватость ее казалась ему уже не простоватостью, а чем-то тем, из чего обычно складывается естественная красота предмета (как отшлифованный кусок гранита проигрывает иногда перед природной формой его). Стоццветова привлекала в Наташе имен-

но эта неотшлифованность (то есть, в сущности, то, что бессознательно привлекало в ней и Арсения); ему казалось, что он как будто столкнулся с той целостностью (восприятия мира), которая давно уже растрчена в других (как в Лии и подобных ей), и он присматривался к Наташе, стараясь понять ее.

— Ох, Станислав, Станислав,—говорила Лия, замечая эти взгляды его. — Когда же ты снова женишься, а? — И она всякий раз при этом вскидывала глаза на Наташу. — Говорят, индианки необыкновенны, но уж больно тонки. — Что тоже говорилось ею не без намека.

— При чем тут худоба, что за подход к делу! — разводя над тарелкою руки, шуточно вмешивался Григорий. — Сари через плечо, половина груди открыта... — Он был хорош тем, что, как всегда, не понимал жены, к чему та вела разговор, и чувствовал лишь по общему настроению, что можно сказать вольность, то есть глупость, которая должна рассмешить всех. Но глупость его не рассмешила никого. — А разрешат ли вообще жениться на индианке или нет? — уже серьезно спросил он, по улыбавшемуся лицу Стоцветова видя, что это если и не занимало, то, во всяком случае, могло занимать его.

— Ты что, собираешься бросить свою благоверную? — вопросом на вопрос ответил Стоцветов, делая вид, что не понимает ни Григория, ни Лию, а лишь поддерживает тот шуточный тон, какой предложили они. И он видел, как признательна была ему Наташа за то, что он щадил ее. — Хотите, я расскажу вам об Индии,— сказал он Наташе.

— Господи, у меня же слайды! — воскликнула Лия, вспомнив, для чего она пригласила Наташу (и забывая на время о той игре, которая, она чувствовала, не вполне удавалась ей). — Какое совпадение, господи, давайте смотреть слайды. Станислав, ты будешь комментировать. Гриша, отодвигай стол, неси экран,— сейчас же встав, начала распорядиться она.

XXXIII

Показывать слайды гостям было новым, едва начавшим захватывать некоторые слои московской интеллигенции увлечением. На слайды приглашали друзей, показом слайдов заканчивались самые различные домашние застолья, и вечер считался неудавшимся, если на нем не потчевали гостей этим новшеством. Иногда это бывало интересно, иногда скучно, но всегда все досиживали до конца: во-первых, из уважения к хозяину или хозяйке и, во-вторых, из того простого соображения, что неприлично считалось противопоставить свое мнение общественному и не похвалить новшество. Григорий, как только Лия объявила о своем намерении, хотя он был хозяином, должным как будто потчевать гостей, неприятно поморщился, потому что в четвертый раз предстояло ему теперь смотреть эти индийские слайды. Он с неохотою отодвигал стол. Так же с неохотою разворачивал экран на подставке и разговаривал при этом с Полем, высказывая ему недовольство, какого не смел высказать жене.

— А не пора ли нам на прогулку? — ласково говорил он псу. — Ну не вилай хвостом, не вилай, знаю, что ты понимаешь все.

— Может быть, я пойду, уже поздно,— робко попросила Наташа, выбрав минуту, когда было удобно сделать это.

— Но это же слайды! Индийские слайды! — изумилась Лия.

Все расселись в креслах перед экраном, свет был погашен, и Лия, оставшаяся за спинами сидевших, начала показывать то, что было, в сущности, никому не нужно, было всем в тягость, но чем она все же хотела угостить друзей, чтобы не обездолить их.

Первым на экране появилось изображение знаменитой на Востоке гробницы Тадж-Махал. Изображение было цветным и поражало своим великолепием. Станислав, которому было поручено комментировать и который сидел чуть сбоку и позади Наташи и хорошо видел

при отраженном от экрана свете красивый овал ее головы и лица, с иронией, как ему удавалось все в этот вечер, особенно после появления женщин, рассказал, что он знал об этой жемчужине мусульманского зодчества (как он назвал гробницу). Но подробности его были не о том, как строилась гробница потомком знаменитого Бабура для своей любимой (из гарема) жены; подробности были о другом — как этот потомок знаменитого Бабура, свергнутый одним из семи своих сыновей, был заточен в покои той самой своей бывшей любимой жены и в просвет, прорубленный в стене, до конца дней видел только эту гробницу.

— Какая жестокость,— сказала Лия, при всех прежних просмотрах любовавшаяся только видом Тадж-Махала. «Надо будет пересказать ее»,— подумала она о подруге, у которой брала слайды.

— Главное, по-моему, не в жестокости. Главное в любви,— возразил Стоцветов.— Любовь, как мы считаем, нематериальна, а вот пожалуйста, материальна. Застывшее великолепие. Возможно ли что-либо подобное в наше время?

— Нет,— сказал Григорий, которому тоже хотелось вступить в разговор.

— Так уж сразу и нет.

— Дело не в том, сразу или не сразу, но любви такой сейчас просто быть не может.

— А не смешиваем ли мы возможность любить с возможностью вот так монументально (и субъективно, что очень важно) запечатлеть нашу любовь?

— Но если не можем запечатлеть, то и чувства нет. Наследник Бабура — ему делать нечего было, и он малейшее душевное движение возводил до высот, а мы, современники прогресса, можем ли мы при нашей неимоверной загруженности прислушиваться к своим чувствам, тем более возносить их до каких-то там высот? Нам некогда оглянуться.

— Кому некогда, а кому и некуда деть себя.

— А материально?

— И тогда не всем было доступно это.— Стоцветов кивнул на все еще не убравшееся с экрана изображение гробницы.— Но возвести храм для любимой — долг каждого мужчины. Да, да,— подтвердил он, невольно опять обращая внимание на красивый овал Наташиной головы, хорошо видный ему.

После Тадж-Махала показывались улицы Агры — городка, расположенного возле гробницы и возле Красного форта, построенного в свое время правителями края и разграбленного затем англичанами. Улицы эти отражали тот самый контраст между нищетой и богатством, о котором Лия, не придав значения словам, сказала Наташе, что «это прекрасно». Прекрасного же ничего не было, а были только полувисохшие рикши-велосипедисты и были торговые ряды с лавками и толкавшимися возле них озабоченным людом, и Лия поспешно перешла к тому, чем ей хотелось удивить всех и что она (как и подруга, у которой впервые смотрела эти слайды) оставила на завершение. Это были скульптурки голых мужчин и женщин, украшавшие фасад и стены какого-то древнего храма. Они были в тех неприличных позах, что нельзя было без определенного чувства стыда смотреть на них, хотя они и имели очевидный культовый смысл. Смысла этого, разумеется, никто не знал, в чем он на самом деле заключался, но попытки объяснить его, сделанные было Лией и затем Стоцветовым, привели только к тому, что всем стало еще более неловко смотреть на эти совокупившиеся в неестественных позах фигурки. У Лии не хватало слов, чтобы то, что имело свое (и неприличное) название, передать в понятиях, которые пристойно было бы произнести вслух; точно так же и Стоцветову (при всем его умении вести любой разговор) не хватало этих же слов, которые он мог бы сказать при Ната-

ше. Он только заметил в шутку как бы, что, по его наблюдениям, то есть по произведениям литературы и искусства, на которые он сослался, и по программам телевизионных передач, распространенных на Западе, человечество будто задалось целью вернуться к этому культу; и он еще со скептической улыбкой, не видной никому в темноте, мысленно проговорил для себя, что болезнь эта незаметно проникает и в наше общество таким вот безобидным будто просмотром слайдов.

— Но что любопытно,— снова начал он,— там, у храма, это никого не удивляет.

— Давайте разденемся и будем ходить голыми — и через день, два, три у нас тоже никого и ничто не будет удивлять,— восторженно вставил Дружников, что он хотел подать как шутку, но что, к изумлению его, было принято Стоцветовым всерьез и оценено им.

— Так оно, в общем-то, и будет, ты прав. Но будет ли это эстетично? Мне кажется, что и те древние, кто создавал этот культ, и наши нынешние, кто усиленно стремится воскресить его под видом искусства, за какую бы раскованность ни выдавалось это, преследовали и преследуют одну цель: чтобы народы, как в теплой луже, барахтались в блудодействе и не видели за этим своим блудодейством, как в чьих-то руках скапливаются богатство и власть. Мы изучаем подобные культы не с той стороны, с какой надо бы изучать их,— заключил он.— Одно дело красота человеческого тела и совсем другое — эти изображения. Ну, я думаю, достаточно,— сказал он, обернувшись к Лии (не потому, что кадры начали повторяться, как это показалось ему); он видел, что разговор был доведен до той точки, когда надо было прекращать его.

— Еще минуту, тут всего несколько штук,— попросила Лия, которой как хозяйке хотелось непременно довести все до конца.

— Нет, нет, всему есть мера,— ответил Стоцветов, относя свои слова и к просьбе Лии, и к возможности искусства, насколько дозволено в нем обращаться к изображениям подобного рода, и к просмотру слайдов вообще, и, наконец, ко всему этому вечеру, проведенному им у Дружниковых без всякой, как он думал, пользы для себя (и для дела).— Посидели, поговорили — пора и честь знать.— И он, когда был включен свет, посмотрел на Наташу, тоже заторопившуюся уходить.— Вы где живете? — спросил он у нее.

Минуту назад он не думал, что пойдет провожать ее, но теперь чувствовал, что нельзя было не сделать этого.

— Господи, Станислав, как хорошо, если ты сделаешь это. Она одна, проводи,— сейчас же подхватила Лия, с новым для нее интересом (после просмотра слайдов) включаясь в не законченную ею игру соединить их.— Он прекрасный человек,— шепнула она Наташе, прощаясь с ней.— Как я рада, что повидала тебя. Как я рада,— повторила она с тем вторым смыслом, какой хотела внушить Наташе. И, словно благословляя ее на что-то, прижалась своею щекой к раскрасневшейся и горевшей щеке Наташи.

XXXIV

— Ты поведешь Поля? Или ты уже прогуливал его? — как только закрыла за гостями дверь и вернулась в комнату, спросила Лия у мужа (тем будничным тоном, как она всегда спрашивала его об этом).— Ну вот и день прожит,— затем сказала она, опускаясь в кресло, словно все для нее заключалось только в том, чтобы прожить день, то есть наполнить его тем содержанием, которое было бы и в удовольствие и не в тягость, было бы той видимостью полезного дела (но не самим делом!), когда трудно бывает упрекнуть себя в чем-либо.

Кроме работы основной, где она, как научный сотрудник, появлялась в середине дня, она успевала обежать десятки мест и услы-

шать (и передать затем) десятки сплетен — кто, что и про кого сказал и что должно было последовать в результате этого; она не могла не быть в курсе тех дел (в кругу «своей Москвы»), от которых хотя и косвенно, но зависело и ее благополучие, и с чувством, что жизнь ее наполнена деятельностью, думала сейчас, улыбаясь, о Наташе, будто в чем-то хорошем, в чем давно уже собиралась помочь ей (после несчастья с ее мужем), помогла теперь.

— По-моему, Станислав влюбился в нее, ты слышишь? — в то время как Григорий уже надевал ошейник на пса, чтобы вести гулять его, сказала ему Лия. — Как же мало надо вам, мужчинам.

— Во-первых, ты, как всегда, преувеличиваешь, а во-вторых, не так уж и мало надо нам. — Ошейник был уже надет, и Дружников привычно и весело (и уже в который раз за этот вечер) потрепал пса за шею. — Не так-то уж и мало, а? — повторил он. — Ну, я пошел, — сказал он, отключаясь от домашнего мира, в котором он был, и настраиваясь на другой, уличный, где, он знал, ожидали его в этот час друзья-собачники, как он шутливо называл их, для которых не было ничего приятнее, чем видеть своих сведенных вместе резвящихся псов.

В кедах, в спортивной одежде, в какой Григорий не позволил бы себе появиться ни в институте, ни где-либо еще на людях, он вышел из подъезда дома и вместе с Полем, натягивавшим поводок, направился в сквер, издали замечая (в полусумрачном освещении) знакомые фигуры инженеров и кандидатов наук, уже спустивших с поводков своих ньюфаундлендов и колли, и радуясь и спеша к ним. Для него это было лучшим завершением дня. Ни тяготившей научной работы, ни Стоцветова с его умными рассуждениями, под которые надо было подстраиваться, ни Лии, от непрерывной суетной деятельности которой Григорий тоже, казалось ему, уставал, — ничего этого не существовало теперь уже, а были только друзья, которым ничего не нужно было от него, кроме разве одного — чтобы он посмотрел на их псов, полюбовался медалями на их ошейниках и похвалил удивительную выхоженность их ног, и от которых точно так же ничего не нужно было Григорию, кроме того, что он мог пустить своего любимца Поля в стаю, где сейчас же видна была особенная породистость его. «От знаменитой Аскри. От Аскри Скринского», — говорил он сам и слышал, как говорили это другие: и жизнь казалась ему прекрасной и наполненной смыслом.

Лии, продолжавшей отдыхать в кресле, оставалось лишь принять душ и лечь в постель, посидев предварительно перед туалетным столиком с кремами и мазями, и в то время как она, устало поднявшись, принялась за этот свой привычный вечерний туалет, в сознании ее происходило точно то же, что и в сознании мужа: ни Наташа, ни Стоцветов, ни вечер поэзии в Доме журналистов, из-за которого она так суетилась, чтобы попасть, ни разные другие события, занимавшие в течение дня и казавшиеся важными, уже не волновали ее, потому что не затрагивали тех главных интересов ее жизни — работы и отношений с мужем, — к которым, чтобы держалось все на уровне, она не то чтобы не прикладывала усилий, но просто ей не нужно было прикладывать их; жизнь ее была запущена и текла в тех определенных рамках, в каких, она знала, ничего не могло случиться с ней; она знала, что (по обстоятельствам связей) Григорий не мог изменить отношения к ней и что (по этим же обстоятельствам связей) у нее всегда будут работа, деньги и время, чтобы на свои удовольствия тратить его. Она спокойно смотрела на будущее и счастлива была не тем, что любила мужа и была любима им; она, в сущности, не знала любви и счастлива и довольна была сознанием того, что жизнь ее стабильна и что есть силы, которые не допустят, чтобы нарушилась эта стабильность. Она встала под душ, чтобы смыть с себя пену шампуня; волосы ее были убраны пса прозрачный целлофановый берет, и теп-

лая вода, стекавшая по этому берету на лицо, плечи и спину, вызывала то приятное ощущение жизни, когда ей хотелось сделать что-то особенно доброе, от чего было бы хорошо всем. Тело ее требовало материнства, и в минуту расслабленности (как теперь) она готова была согласиться на ребенка; но когда в спальной рубашке и халате принималась накладывать кремы на лицо перед зеркалом, уже не испытывала этого желания и вновь как бы становилась той современной (в понятии многих) женщиной, у которой голое тельце ребенка и пеленки с пятнами вызывают лишь отвращение, а не желание приложить руки. «Глупенькая-глупенькая, ахватило ума не забеременеть от Арсения,— в связи с только что пережитым самой Лией желанием иметь ребенка и новой решимостью не иметь его подумала она о Наташе.— С ее личиком, господи, с ее-то личиком...» И она улыбнулась, вспомнив взгляды Стоццветова, какие тот бросал на Наташу.

Но в то время как Лия заканчивала этот свой туалет (и день и вечер, в котором все было для нее лишь игрой, приносящей удовлетворение, а не трудом, после которого совсем иные мысли приходили бы в голову), в то время как Григорий, стоявший в окружении друзей-собачников, еще менее, чем жена, думал о прожитом дне (и вообще о жизни, какую он жил и считал настоящей, но какая была, в сущности, лишь праздным препровождением времени), Наташа, вышедшая со Стоццветовым на улицу и оказавшаяся с ним одна на безлюдном в этот час тротуаре, с ужасом поняла, как она была беззащитна, и уже не смущение, а страх перед этой своей беззащитностью охватил ее. Она молча и торопливо пошла впереди Стоццветова, каждое мгновение слыша его за собой и готовая сейчас же отстраниться, как только он протянет к ней руку. Она мысленно старалась вернуть себя к тому состоянию любви к Арсению, с которым она помнила, как легко и уверенно было ей; но она с изумлением чувствовала, что не было в ней этого прежнего состояния любви к мужу. Вместо этого состояния любви к нему (чем она жила прежде и что представлялось ей вечным) она испытывала иное, новое и удивлявшее ее чувство. Она не то чтобы еще раз у Дружниковых поняла, что она привлекательна (она знала об этом и раньше), но она увидела (по взглядам Стоццветова, обращенным на нее, и его вниманию к ней), что в жизни было столько возможностей устроить себя и что она так поторопилась с Арсением, что ей жаль было, что она несвободна. То, что еще утром ей показалось бы странным, не только не было странным теперь, но, напротив, было так просто, так просто (не только подумать, но и сделать), что странным представлялось уже другое — как можно было осудить или что-то дурное увидеть в этом. «Почему я не могу распорядиться своей жизнью? Если мне хорошо, значит, это хорошо вообще», — с ясностью, как она никогда не думала прежде, сказала она себе, все еще, однако, настороженно прислушиваясь к шагам Стоццветова и по-прежнему готовая решительно отстраниться от него, как только он протянет к ней руку.

XXXV

Сергей Иванович со всем своим теперешним одиночеством приходил к мысли, что он как будто был обманут жизнью. Он шел будто бы к свету — и через войну и через все другие трудности, — но то, к чему пришел, потеряв жену и потеряв, в сущности, дочь, было тем страшным разочарованием, как если бы вместо ожидаемой двери он снова наткнулся на мрачную бетонную стену. «Где, когда я ступил не на ту дорогу, по которой надо было идти?» — задавал он себе вопрос (словно, найдя и исправив ошибку, можно было исправить все в жизни). Но исправить, он понимал, было уже ничего нельзя. Нельзя было воскресить мать или воскресить Юлию, покоившуюся на мокшинском кладбище, куда он перед отъездом в Москву заходил,

чтобы постоять у ее могилы; нельзя было вернуть дочь, а главное, вернуть ту домашнюю атмосферу тепла, уюта и душевного спокойствия, которую, когда все это было у него, он не замечал и от которой осталось теперь лишь воспоминание. Перед ним опять возникал образ разбитой вазы, и он оглядывался на рассыпанные вокруг него хрусталики того, что составляло его жизнь. Он видел, что у дочери были свои интересы в жизни, которых он не понимал, и что точно так же свои интересы были и у Кирилла Старцева и у Никитичны, теперь почти постоянно жившей у него, и ему не то чтобы трудно было разговаривать с ними — с дочерью, с Кириллом или Никитичной, у которой всегда были на языке только две темы: о доброте, утраченной людьми, и очередях, в которых, чтобы достать что-либо приличное, приходилось простаивать ей, — но просто он чувствовал, что то, что занимало его, было неинтересно и не нужно им, а то, что занимало их, неинтересно и не нужно ему. Но надо было продолжать жить, надо было что-то делать, и эта естественная потребность деятельности (особенно после того, как отпала нужда бывать у следователя и встречаться с Кошелевым) вновь заставила Сергея Ивановича приняться за мемуары.

Однажды утром, как это и бывает с людьми, решившимися на что-то, он, поднявшись и позавтракав, сказал себе: «Все, надо приниматься за дело» — и направился к письменному столу, на котором как было все оставлено в начале июня, когда он уезжал к шурину в деревню, так и лежало нетронутым. Лишь Никитична, когда вытирала пыль, передвигала рукопись и папки с архивными выписками и разными другими бумагами, которыми Сергей Иванович пользовался во время работы. Первое, на что он обратил внимание, была желтевшая газета с опубликованной в ней его статьей «Последний водный рубеж». Это была глава из его будущей книги, в которой он рассказывал, как его батальон, получивший задание выйти к рейхстагу, под непрерывным огнем противника преодолевал последний водный рубеж — обводной берлинский канал (Тельтов-канал, как он значился на карте). Бегло глянув на эту опубликованную уже статью, он с удивлением прочитал в списке погибших фамилию лейтенанта Дорогомилина. «Да, но когда я писал, я не знал, что он жив», — сказал он, подумав о Дорогомилине с тем чувством неловкости, как он всегда теперь думал о нем. Он вспомнил, как был в гостях у Дорогомилина в Пензе, с каким настроением ехал к нему и с каким уезжал от него; вспомнил вишневую, с зеркалами, хрустальными люстрами и бра гостиную, в которой сидели, стояли и прохаживались какие-то странные люди, странные тем, что говорили о катастрофах, грозящих будто бы человечеству и должных произойти то ли от социальных бурь и перманентных революций, то ли от чрезмерного развития науки (что утверждал аспирант Никитин); люди эти были той творческой интеллигенцией, теми тонкими художественными натурами, как сказала о них жена Дорогомилина Ольга, которым нужно общение и нужен определенный простор, то есть площадка, где они могли бы проводить свои умственные тренировки. «Очевидно, так рождаются шедевры искусства», — со скептической усмешкой заметил тогда Дорогомилин, чтобы оправдать то, что происходило в его доме. И эта скептическая усмешка, которую Сергей Иванович так ясно представил себе сейчас, лишь усилила в нем общее чувство неловкости за бывшего смелого и боевого лейтенанта. «Видимо, и в самом деле произошла какая-то перестановка в мире (в сознании людей) с тех пор, как закончилась война», — мысленно произнес он, невольно соединяя в одно целое то, что он думал теперь и о Кирилле Старцеве и о дочери, не находя в их интересах созвучия своим чувствам и мыслям.

Он внимательно прочитал статью и затем все, что было написано им (и не было опубликовано), и, подперев ладонями виски, молча сидел, уставившись в ту одну перед собой точку (на стене), когда вместо

этой стены, дивана и шкафа он видел роившиеся в его сознании картины прошлого и настоящего, в которых он хотел разобраться. Он не был удовлетворен тем, что прочитал. В рукописи его, он чувствовал, отсутствовало то главное, что он теперь собирался сказать людям (в том для себя значении, что он как будто отвечал Дорогомилину и Кириллу). Он чувствовал, что изменилась сама цель, для чего нужно было ему писать мемуары. «Никто не забыт и ничто не забыто... Нет, не эта констатация фактов требуется теперь,— думал он, не умея еще вполне словесно оформить то, что он считал главным.— Мы прибавляем только количество имен и подвигов, нагромождая их и заслоняя ими те, что уже известны, но для чего это количество? Нужно не это. Порвана духовная связь между тем и этим временем, и надо найти обрыв и соединить его, да, как связист, по-пластунски, под огнем, но найти, зачистить и соединить»,— думал он, сводя пока что лишь брови над переносицей и продолжая смотреть все в ту же одну перед собой точку. Он как бы прозревал после долгой слепоты, прозревал тем внутренним прозрением, когда прежде скрытая от него суть жизненных явлений как за распахнутой дверью представляла перед ним в четком и оголенном виде.

Он вставал, принимался ходить по комнате, садился за стол и снова вставал, удивляя Никитичну, но не этой своей деятельностью, которая не была видна ей, а состоянием задумчивости и желанием чего-то, чего она не понимала, но в чем усматривала какой-то странный истораживавший ее вывих, как про себя говорила она, какое-то будто отклонение от обычного (в ее представлении) человеческого поведения. «Приловчился бы к какому-нибудь делу,— думала она,— и все бы зажило, забылось, как у всех людей». Она вспоминала приезд Павла, понравившегося ей своими простыми деревенскими суждениями, и хотя не смела сказать Сергею Ивановичу, но думала, что если и надо было ему брать с кого пример, так с шурина, для которого жизнь (опять же по ее разумению) состояла не в поисках каких-то несуществующих истин, а в том, что все, что есть вокруг, разумно и неизбежно и что надо только уметь приспособиться, то есть уметь найти выгоду для себя; и она по-своему умными старческими глазами смотрела от кухонной двери, в которой стояла, на сосредоточенное прохаживание Сергея Ивановича. Для нее, постоянно почти видевшей его, не были так заметны перемены, происшедшие за эти летние месяцы с ним. Из крепкого и здорового еще пожилого мужчины, каким он выглядел весной, он превратился, по существу, в старика — так сгорбился, осунулся и похудел от придавившего его горя. Кирилл, приходивший (хотя и редко) навестить, не узнавал Сергея Ивановича. Костюмы, прежде красиво и плотно сидевшие на нем, теперь, как на вешалке, свисали с угловатых костистых плеч, и впечатление это усиливалось еще тем, что левый рукав его был пуст. Протез, который он заказал, был настолько противен своими розовыми (под кожу) и неживыми пальцами, что он не надевал его. Но сам Сергей Иванович почти не замечал этой происшедшей с ним перемены, потому что не хватало сил, чтобы осознать все, тем более не было времени подумать об этом теперь, когда он взялся за мемуары и когда, как второе дыхание у спортсмена, открылось ему понимание мира и того назначения (в этом мире), какое, он чувствовал, отведено ему.

Воротнички рубашек были велики ему. Но когда он выбритый и причесанный (он уже не позволял себе того прежнего так называемого отдохновения, когда до полудня мог ходить в пижаме и небритым) садился за письменный стол — от напряжения ли мыслей, от желания ли убедительно изложить, что он считал теперь главным сказать людям, он чувствовал, будто что-то сдавливало его, он расслагивал пуговицу на воротнике, расслаблял галстук и то и дело незаметно для себя пальцами производил движение, словно ему было жарко и не хватало воздуха.

Но дело, и нужное и важное, которое теперь так занимало его, продвигалось трудно, он исписывал вороха бумаг и рвал и выбрасывал их затем. Он видел, что у него, по существу, получалось именно то — количественное накопление фактов, — против чего все решительно восставало в нем. Он чувствовал, что ему не хватало чего-то, как человеку, взбирающемуся на вершину, не хватает иногда последнего уступа, на который можно было бы опереться; он не находил (в окружавшей его жизни) того, что предметно сконцентрировало бы его мысли о войне и тех исторических усилиях, какие приложил народ и он сам как частица народа, чтобы победить врага.

XXXVI

— Ты знаешь, что поражает меня, — сказал он как-то зашедшему к нему посидеть Кириллу. — Мы забываем о войне. Мы забываем, что победили в ней и что победа наша есть величайшая патриотическая страница отечественной истории.

— Почему ты полагаешь, что забываем? — удивленно спросил Кирилл, для которого, как и для большинства людей, уже то, что фраза «никто не забыт и ничто не забыто» повторялась всеми, было залогом того, что и в самом деле никто не забыт и ничто не забыто. Занятый с утра и до ночи то служебными делами (по отделу народного образования, которым он руководил), то общественными, которые он выполнял с еще большей охотой, потому что выполнять их было и престижно и, главное, не надо было отвечать ни за что, он не то чтобы не хотел вникать в те глубинные процессы, какие происходили вокруг него (и в которые, впрочем, втягивался и он, только, может быть, не с той стороны), но у него не хватало времени остановиться и осмыслить их. — Нет, Сергей, ты просто сейчас болезненно воспринимаешь все, — сказал он с тем простодушием (но скорее с бездумностью), как он позволял себе говорить теперь со всеми, кто стоял ниже его.

— Ты не понял меня, — возразил Сергей Иванович. — Разумеется, мы с тобой не забыли.

— Да и в каждой семье кто-то не вернулся, кого-то все еще ждут, а ты говоришь — забыли.

— Нет, — снова возразил Сергей Иванович. — Ты не понял меня. Память, заключенная в нас, в каждом отдельном человеке, — это одно, но монумент, в котором запечатлена была бы память народа, — это другое. Есть ли памятник Победы в Москве? Нет у нас такого памятника.

— Лучший памятник, я полагаю, это наша налаженная жизнь, — заметил Кирилл, произнеся опять то, что было правильно, было тем, против чего трудно возразить, но что не могло удовлетворить Сергея Ивановича. — Мы отдавали жизни, чтобы хорошо жить. Отлично жить, — добавил Кирилл. Он был доволен этим ответом, на который не надо было тратить усилий, чтобы придумать его. Подобный ответ, как и множество других (по стереотипу), повторяемых разными людьми и ежедневно, был всегда к его услугам.

Он, как всегда, был весел, полон жизни и, как человек сытый, не разумеющий голодного, не понимал Сергея Ивановича с его беспокойством о делах, о которых, как думал Кирилл, было кому у нас (то есть соответствующим ведомствам) позаботиться; он не понимал и удивлялся, глядя на своего бывшего фронтового командира, для чего тому, не разобравшемуся еще в своих личных делах, было вмешиваться в общественные, в которых он не был компетентен, чтобы судить о них. «Устроить бы его где-нибудь на предприятии», — то, о чем Кирилл думал всегда, мысленно повторил он, посмотрев на пустой рукав Сергея Ивановича. Он всякий раз, когда видел Сергея Ивановича, испытывал это благое намерение; но всякий раз, когда

надо было приложить старание, чтобы довести дело, все заканчивалось (как и в тот день в Доме дружбы, где встретил знакомого из Комитета ветеранов войны) только разговором, не обязывающим никого и ни к чему. «Нет, я должен-таки устроить его»,— решительно заключил он. И от этого нового прилива возбуждения (прилива благородных чувств, возвышавших его перед самим собой) он не то чтобы не мог спокойно сидеть в кресле перед Сергеем Ивановичем, но не мог не выразить этого своего чувства тем внешним порывом — быстрым и нервным прохаживанием по комнате,— каким он бессловесно как бы хотел сказать Сергею Ивановичу, как переживает за него.

— Брось ты эту свою писанину, я знаю, ничего дельного из нее не получится и не может получиться,— резко остановившись перед Сергеем Ивановичем, сказал он. Модная в полоску рубашка на нем, модный, лопатой закрывавший грудь галстук, коричневый костюм в полоску и остроносые туфли того же оттенка (на что нельзя было, как и на галстук, не обратить внимания) — все это, казавшееся Кириллу соответствовавшим его теперешнему положению, и служебному и общественному, для Сергея Ивановича было лишь подтверждением того, что замеченный им разрыв между поколениями был и что люди, подобные Кириллу (и Дорогомилину), настолько переменились, что им лишь кажется, что они помнят о войне и трудностях ее, тогда как живут совсем иными, своими и странными (если не сказать больше, как думал Сергей Иванович), интересами. «Но чего они хотят, что святого у них?» — спрашивал он себя, в то время как Старцев, не утруждаясь обдумыванием того, что сказать, продолжал уверять его: — Брось, что твоя писанина может дать тебе? Не такие головы брались, а что вышло из-под их пера? Все известно, обо всем уже сказано, а вот какую-нибудь настоящую бы работу тебе — было бы дело. Я займусь этим. Я обещаю тебе.— И в эту минуту Кирилл сам верил, что был искренен, и в голове его хотя и смутно, но возникали планы устройства Сергея Ивановича.

— Однако, ты извини, мне нужно бежать,— затем говорил он.— Я еще зайду. Как тут моя Никитична?

— Спасибо. Что бы я делал без нее.

— Ну то-то, то-то. До встречи.— И он, щегольски отсвечивая своими остроносими модными туфлями по паркету, веселый, жизнерадостный (и довольный тем, как он проявил себя у друга) уходил от Коростелева.

Кириллу казалось, что он был так загружен теперь полезной деятельностью, что многое пострадало бы в общественной жизни, не будь у него энергии и здоровья, как он добавлял в шутку, для этой деятельности. Он, как и сотни других, не замечавших (подобно ему) того, что суетою своею приносили не пользу, а лишь создавали иллюзию ее, жалел Сергея Ивановича, в то время как Сергей Иванович, не думавший о себе, что он загружен деятельностью, в которой нуждается общество, был, в сущности, занят именно тем делом, за которое как раз и важно было кому-то взяться теперь. Он инстинктивно, лишь по тому чувству, что не хватало ему (в работе над мемуарами) того последнего уступа, опершись на который можно было подняться на вершину, приходил к выводу, что в Москве нужен памятник Победы. Он не был согласен с Кириллом Старцевым, что наладившаяся жизнь — это и есть памятник. «Так, да и не совсем так,— мысленно отвечал он Кириллу.— Слава народа достойна, чтобы воплотить ее в мраморе».

— А как полагаете вы? — спрашивал он у Никитичны, у которой на этот счет не было мнения (как о своем приработке), какое она могла бы с уверенностью высказать Сергею Ивановичу. Она знала только, что людям образованным всегда виднее, что им следует и чего не следует делать.

— Да хоть бы и простому человеку: прожил жизнь — и крест ему на могилу или звезду, как по-теперешнему. Надо, как же не надо, — отвечала она именно по этому своему согласию с Сергеем Ивановичем. — Что народ пережил за войну, так одному богу известно, — добавляла она, выражая то общее мнение, о котором (по какому-то молчаливому будто согласию) менее всего в то время принято было говорить и писать.

«Голос народа, да, голос народа», — повторял затем Сергей Иванович, мысленно возвращаясь к разговору с Никитичной. Он обращался с этим же и к Наташе, которая тоже, как и Никитична, поддерживала его, но не из убежденности, что памятник такой нужен в Москве (она была занята своим делом, то есть делом мужа, и не могла думать о другом), а только из того чувства, что ей не хотелось огорчать отца.

— Да, но что ты можешь? — все-таки возразила она. — Ты же не правительство.

— Не правительство, но — народ! А народ — кинь только клич, как миллионы средств сейчас же будут собраны на такой памятник.

— Господи, и хочется тебе заниматься этим? — было заключением Наташи, понимавшей себя и не понимавшей отца.

Но Сергей Иванович чем больше сталкивался с равнодушием к этой своей идее, тем определеннее приходил к мысли, что надо действовать. «Вот она, разорванная связь поколений», — думал он, вспоминая уже о словах дочери, и вместо мемуаров, которые с трудом продвигались у него, он, сев однажды утром за стол, сочинил записку в Президиум Верховного Совета, в которой от имени фронтовиков, решительно взяв на себя это право, предлагал рассмотреть вопрос о строительстве памятника Победы в Москве. Он предлагал (не из того соображения, что у правительства могло не оказаться свободных средств) обратиться к народу, чтобы каждый в меру своего достатка смог принять участие в этом важном государственном деле. «Всем народом» — была фраза в его записке. «Всем народом», — повторял ее затем Сергей Иванович, когда записка была отправлена и он, повеселевший от того, что сделал (от своей решительности, которая, как в молодости, вновь будто вернулась к нему), возбужденно ходил по комнате, удивляя и настораживая уже этим Никитичну. Он опять чувствовал себя как бы вернувшимся к жизни. Несмотря на то, что в личной жизни его по-прежнему оставалось только горе: и смерть матери, и смерть Юлии, и потеря руки, и разочарование в бывших своих фронтовых друзьях Старцеве и Дорогомилине, и, наконец, замужество дочери, — несмотря на горе, о котором все в доме напоминало ему, он был именно весело возбужден от своей общественной, как назвал бы ее Кирилл, деятельности. Интересы общественные, о которых так иронически принято иногда говорить, что они не могут заменить в человеке его «я», были для Сергея Ивановича выше, чем личные; он не говорил об этом и не замечал этого, как не замечал во время войны, когда надо было поднять роту в атаку (и когда личным интересом выступала жизнь!). Он возбужден был тем, что первым, как он думал, подал мысль о создании памятника Победы в Москве, тогда как он только не знал, что сотни записок подобного рода и с разных концов страны поступали в те соответствующие инстанции, в которых должен был решаться вопрос о памятнике. Он не знал, что по заданию правительства десятки коллективов уже работали над проектом такого памятника и что трудно было сказать, кто был первым. Сергей Иванович был лишь одним из тех, кто почувствовал, что пора было предпринять что-то, чтобы увековечить подвиг народа; и он с нетерпением ожидал теперь ответа из канцелярии высшей власти.

XXXVII

Он получил ответ в тот день, когда ждал Наташу.

Хотя в бумаге было лишь по-служебному сухо изложено, что предложение его принято к сведению, что возможность строительства такого памятника в Москве уже рассматривается и что решение об этом, видимо, в самое ближайшее время будет опубликовано в печати (и приписано было в конце, что его благодарят за проявленную инициативу), Сергей Иванович был вполне доволен ответом. Он прочитал его несколько раз, потом прочитал Никитичне, которая поняла только, что произошло что-то хорошее для него; потом, походив с бумагой, подписанной Георгадзе, по комнате, положил на письменный стол, чтобы видеть ее. Он испытывал чувство, словно совершил что-то, чего никто и никогда до него не совершал, и был горд и ощущал в себе новые силы для новых дел. «Ну так что ты на это скажешь? — мысленно спрашивал он у Кирилла, воображая его перед собой. — Не верил, а почитай-ка вот!» И он (мысленно же) протягивал письмо бывшему фронтовому другу. Он собирался показать письмо и Наташе и готовил фразы, какие скажет ей. Ему надо было, чтобы кто-то разделил с ним его радость, то есть победу, одержанную, в сущности, над собой, чего он, разумеется, еще не осознавал, надо было, чтобы кто-то поддержал его в его душевном порыве, и он ждал этого от дочери.

— Знаете, у нас вечером будет Наташа, — сказал он Никитичне, войдя к ней на кухню. — Я хотел бы устроить небольшой праздник. Мы сможем приготовить что-нибудь? — присоединяя к своему настроению и Никитичну, спросил он.

— Надо, так приготовим, — согласилась Никитична, чувствующая себя в это утро отдохнувшей (от работы, о которой она не говорила Сергею Ивановичу) и потому тоже бывшая в настроении.

Настроение у Никитичны было еще оттого, что она, не спрашивая у Сергея Ивановича, можно ли ей жить у него или нельзя, и не советуясь с Кириллом, а по инстинктивному лишь чувству, что нужна здесь, незаметно для себя обосновалась в квартире Коростелева, в комнате, где прежде лежала его больная мать, а в свой дом в Дьякове пустила квартирантов — только что поженившихся студентов, — которые хотя и немного, но исправно платили ей. Она чувствовала, что жизнь ее (под старость) была во всех отношениях налаженной, налаженной так, как, ей казалось, не была налаженной в молодости, и она усматривала в этом руку божью за труды — что обмывала и наряжала покойников, — за которые люди обычно щедро платили ей. Она видела, что Сергей Иванович был в горе (был без жены, без руки и, в сущности, без дочери), что он был беспомощным в делах житейских, как всякий в ее понимании образованный человек, и уже не из выгод для себя, а из привязанности к нему ухаживала за ним. Она видела, что он страдал, по неделям не встречаясь с дочерью, и осуждала Наташу. Но осуждая, вместе с тем, как только та появлялась в доме, бывала рада ей и не знала, куда посадить и как угодить. При всем сложном положении Наташи, о котором Никитична была осведомлена, Наташа так следила за собой, так тщательно одевалась и умела держать себя, что Никитичне оставалось только восхищаться ею. Наташа производила на Никитичну то действие, какое производят цветы, внесенные в комнату и поставленные в вазу. Цветы эти, отрезанные от корня, уже лишены жизни, но они еще, всасывая в себя подслащенную воду, весело тянут свои красивые головки к оконному свету и радуются жизни. «Тут свое, там свое горе», — подумала она теперь о Наташе.

— Да уж не беспокойтеся, встретим нашу голубушку, — подтвердила она Сергею Ивановичу, стараясь своим настроением поддержать его.

По тому необъяснимому совпадению, какому без конца продолжают удивляться люди, находя в нем какое-то будто проявление рока, Никитична приготовила фарш и тесто и начала стряпать пельмени, полагая (как и Юлия накануне того памятного воскресного утра, когда готовилась встретить Наташу с женихом), что вкуснее всех иных блюд будут пельмени, поданные горячими на стол. Она принялась за то, что в понимании ее было лучшим, что она умела делать, и не только не думала, но и не могла предположить, чтобы что-то нехорошее, что было еще свежо в памяти и Сергея Ивановича и Наташи, заключалось в этом ее приготовлении. Вытирая о фартук белые мучные руки, она несколько раз выходила к Сергею Ивановичу, чтобы спросить, в котором часу придет Наташа, чтобы заранее вскипятить воду, и будет ли еще кто-либо приглашен кроме нее, и так как Сергей Иванович сам не знал, в котором часу придет Наташа, и был в нерешительности, позвать или не позвать Кирилла с женой, чтобы и они разделили его радость,—пельмени были уложены в морозилку, вода постоянно держалась горячей, а стол посреди комнаты, накрытый красной с белою каймой скатертью, был заставлен уже приборами, как умела сделать это Никитична. Сама же она была в новой кофте и в юбке, по-старушечьи широко сидевшей на ней, была вся преобразившаяся, какой Сергей Иванович никогда не видел ее. Но он не спрашивал, для чего она нарядилась; все, что происходило теперь в доме, все соответствовало его настроению, он чувствовал в душе своей обновление, и обновление, он видел, было в доме и радовало его. Он всю вторую половину дня (именно после письма и звонка от дочери) работал над рукописью. Все, казалось ему, получалось у него, он был доволен и тем, что писал, и собой, и Никитичной, и вообще обстоятельствами жизни, опять как будто лицом повернувшимися к нему, и представлял себе, как будут изданы его мемуары, как мемуары эти произведут впечатление (он уже не говорил, что связь времен безвозвратно утрачена) и как он сам будет чувствовать себя, будто им снова, как в войну, взята важная для общего хода дел высота, с которой просматриваются стратегические дали. «Поживем еще. Еще кое-что сделаем»,—думал он, мысленно то обращаясь к тому, что было его (и сотен тысяч других людей) фронтовым прошлым, то с только что будто взятой им высоты вглядываясь в пространство, на котором предстояло развернуться ему.

Но как он ни был рад своим мыслям, как ни казалось ему, что все мучившие его жизненные вопросы были теперь решены им, с приближением времени, когда должна была появиться Наташа, какое-то странное будто беспokoйство начало охватывать его. То, о чем он не хотел думать (о своих отношениях с дочерью) и отодвигал, как отодвигают мешающий из-под руки предмет на столе,—предмет этот кто-то снова как бы подсовывал ему под руку. Он видел, что дочь не простила ему, что примирение с ней было внешним, что в отношениях его с ней все еще оставались струны, до которых нельзя было дотронуться, не порвав их. «Может быть, я преувеличиваю? Может быть, все не так?»—пробовал говорить он себе. Но это не утешало, а лишь возвращало его к болезненному для него вопросу. Ему хотелось не этого видимого примирения, возникшего, когда надо было совместно действовать в защиту Арсения (и начавшего остывать сейчас же, как только отпала необходимость в таких действиях), а иного, основанного на том (и со стороны Сергея Ивановича и со стороны Наташи), что принято называть родством крови, тем, что при всех обстоятельствах жизни иногда трудно, мучительно, но всегда неразрывно связывает отцов и детей. Ему хотелось восстановить ту душевную близость с дочерью, без которой жизнь его была для него пустой, и он понимал, что нельзя было общественной деятельностью заполнить эту пустоту.

XXXVIII

В то время как Наташа, пообещавшая отцу прийти к нему, была в Доме журналистов и приобщалась к иной, чем родительская, жизни, в которой она искала то, чего не было и нельзя было найти в ней, Сергей Иванович, каждую минуту ждавший ее, прислушивался к звукам, сквозь обитую дверь доносившимся из коридора к нему. Он ясно слышал теперь (чего не замечал раньше) и шум поднимавшегося лифта, и хлопанье дверей, и шаги, когда шли по коридору, вернувшиеся с работы соседи. Он весь был насторожен, как был насторожен в тот вечер, когда, выгнав Наташу с женихом из дома, увезя на машине «скорой помощи» Юлию в больницу и застав (по возвращении) умершую мать, ждал дочь, что она придет и прояснит все. Он подходил к двери, возвращался и опять садился за стол или устраивался на диване, но в той же сторбленной позе, словно что-то тяжелое уже начинало давить его. Никитична сварила ему пельмени, к которым он не притронулся. Она по привычке, как и в день похорон Елизаветы Григорьевны, когда впервые появилась в этом доме, принялась было руководить им, но состояние души Сергея Ивановича, какое было у него тогда (и было понятно Никитичне) и какое было теперь, лишь вводило в недоумение старую женщину. Ей странным казалось, что он как будто улыбался чему-то, иронически кривя губы, и она всякий раз, входя в комнату, присматривалась к нему. «Но за что же так убиваться? — думала она. — Не пришла, так придет. Завтра придет». И точно так же, как она могла спать на стуле, когда приглашали ее посидеть у гроба с покойным, с тем же чувством сообразности и естественности всего сначала дремала на кухне в ожидании Наташи, потом ушла в комнату, которую считала своей, и как только легла, сейчас же заснула, забыв и об иронической улыбке Сергея Ивановича, пугавшей ее, и обо всем другом, что только могло приходиться ей в голову.

Ей все было ясно в жизни, и потому она была спокойна и спала. Вся жизненная философия ее укладывалась в понятие «чему быть, того не миновать». Но Сергею Ивановичу казалось, что жизнь с ее правилами и признанием цели (как в свое время была воспринята им) шла не в согласии с этими правилами и целью. Только из отношения дочери к себе и несостоявшегося примирения с ней, которое он никогда так обостренно не чувствовал, как сейчас, когда она не пришла разделить с ним радость, нельзя было как будто выводить суждений о состоянии общества или о каком-то будто сместившемся понимании цели (как Сергей Иванович делал это, исходя из своих наблюдений за Дорогомилиным и Кириллом); но он был так возбужден, что не мог не проводить параллели между тем, что было его отношением с дочерью, и тем, что было общим (в его понимании) состоянием жизни. То, какую он хотел видеть дочь, когда растил и воспитывал ее, и какую хотел видеть жизнь, когда, как тысячи других, не щадя себя, шел на вражеские окопы, не совпадало с тем, какую была теперь его дочь и была жизнь, как он воспринимал ее, судя по Дорогомилину и Кириллу, не находя в них тех прежних фронтовых лейтенантов, подчинявшихся ему, какими они все еще жили в его сознании. Он не обращался к переменам, происходившим в деревне у Павла; те перемены не затрагивали его городской жизни и были для него как рассвет, так ли, иначе ли, раньше ли, позже ли, но непременно должный встать над землей; те перемены были для шурина (но, главное, в них все было понятно Сергею Ивановичу и было, хотя он как следует не думал об этом, согласно с его восприятием жизни), а эти, что он обнаружил сперва в Дорогомилине, затем в Кирилле (и переносил их теперь на дочь), — эти перемены были непонятны, были вокруг него и подмывали, как ему казалось, основы его жизни. Он чувствовал, что не мог объяснить — ни словом «диа-

лектика», ни каким-либо иным известным ему философским термином — корня явления, причины, почему известное (и правильное, как думал он) движение жизни вдруг словно наталкивалось на что-то и получало искривление, и искривление это представлялось ему настолько произвольным, что он приходил к мысли, что точно так же как народными изречениями (вроде этого: чему быть, того не миновать), так и философскими терминами невозможно ничего объяснить в жизни. «Тысячелетиями ищем смысл жизни, а не ушли дальше простых народных мудростей,— думал он с тем почти детским удивлением на лице (что Никитична как раз и принимала за улыбку), будто вместо фасада, о котором всегда говорили, как он величествен и красив, перед ним открылись обыкновенные задворки.— Диалектика... да и так понятно, что все движется. Но почему туда, а не туда?...» — продолжал он, прикладывая это общее понятие к тем частностям жизни, которые он хотел объяснить. Он делал то, что было с точки зрения теории нелепым, потому что всякое учение есть только результат общих наблюдений и выводов. Но в понимании Сергея Ивановича, как в понимании всякого среднего человека, хорошо усвоившего с детства, что наука служит человеку, нелепым представлялось другое — что общие законы развития жизни, по которым он жил и которые казались ему правильными, существовали как будто отдельно, сами по себе и неприменимы были к его жизни.

«Почему она стала такой? Разве я внушал ей это? — просто и ясно задавал он себе вопрос, думая о дочери (в то время как точно такого же простого и ясного ответа не было на него).— Куда делось то, что было в Дорогомиле и в Кирилле? И было ли вообще или было только желанием и обманом? Но если только желанием и обманом, то для чего было желать? Для чего желать, если даже родственных связей недостаточно, чтобы два близких человека могли понять друг друга?» — повторял он. И по опустошенности, какую чувствовал в себе, опять и опять приходил к тому удивлявшему его теперь выводу: «А мы бьемся, мы желаем чего-то!» И ему мелкими и смешными представлялись эти людские желания, он иронически кривил губы, глядя перед собой, и странное выражение это, даже когда он задремал, сидя на диване и все еще ожидая дочь, сохранялось на его лице.

В середине ночи он встал и начал ходить по комнатам. На кухне горел свет, оставленный им же, и горел ночник у Никитичны, красноватым мягким светом освещая кровать, на которой она спала, стены и коврик над кроватью. Заглянув на кухню и постояв там, пока мучившие его с вечера мрачные мысли возвращались к нему, Сергей Иванович направился затем в комнату к Никитичне по той только привычке, что он иногда заходил ночью туда проведать больную мать; и так же как он, ясно будто помнивший, что что-то простое и главное (перед тем как задремать) было открыто им для себя, и старавшийся теперь вернуться к тому простому и главному, наткнувшись на иные, уже по-другому соединившиеся мысли,— в проваленной на подушке седой голове Никитичны увидел не Никитичну, а мать, будто та была жива и лежала в этой комнате. Потерев глаза и поняв, что ошибся, Сергей Иванович хотел было выйти, но, обернувшись на пороге, опять почувствовал, будто он видит не Никитичну, а мать. Он подошел к Никитичне и наклонился над ней. «Да нет,— удивленно подумал он.— Ее давно нет, а это Никитична». Но чувство близости тех горестных событий, так сразу изменивших его жизнь, уже не отпускало его. Перед ним возникали лица Арсения и Наташи, какими они запомнились ему в день сватовства, то есть в тот самый день, с которого началось все, и с тем же неприятием этого сватовства, закончившегося криком: «Вон! Вон! И ты вон (что относилось к дочери)», готов был повторить все, что сделал тогда. Нет, он не простил дочери, и он знал теперь это. С плотно сжатыми

губами ходя по комнате и переживая заново то, что за лето и осень было уже как будто пережито им, он не раскаивался ни в чем. «Да, но пусто, ничего нет, пусто», — остановившись, говорил он.

Лишь временами, как проступают иногда стожки сквозь утренний туман на лугу, что-то радовавшее его начинало видаться Сергею Ивановичу. «Да, что-то я хотел сделать или сделал?» — опять, остановившись, спрашивал он себя. И десятки раз проходивший мимо стола, на котором лежало полученное им письмо, и не замечавший этого письма, он вдруг снова увидел его. Торопливо взяв и пробежав его глазами, он не уловил, однако, в нем того прежнего смысла, какой поразил Сергея Ивановича утром. Для чего нужно было возводить этот памятник, если он ничего не мог изменить в его жизни, то есть в его отношениях с дочерью? И он как что-то бесполезное, ничего не говорившее, держал в руках эту бумагу и смотрел на нее.

XXXIX

2 декабря, в канун двадцатипятилетия разгрома немцев под Москвой, в Зеркальном зале ресторана «Прага» собирались гости (в основном это были старые дипломаты), приглашенные Иваном Афанасьевичем Кудасовым на торжества по случаю присвоения ему профессорского звания. Защитив еще в молодости, еще в начале своей блестящей затем дипломатической карьеры кандидатскую и следом докторскую диссертации, он теперь, перейдя на преподавательскую работу, был представлен к званию профессора и, получив его, имел, как он говорил, повод собрать друзей, с кем в трудные для страны (и для дипломатии) годы проводил ту мирную политику, какую Советское государство с первого дня существования положило в основу своих международных отношений.

Внизу, в холле, Иван Афанасьевич встречал гостей. В белой рубашке и светлом (по-европейски) костюме он стоял рядом с женой и, принимая вместе с нею цветы, подносившиеся гостями, улыбался всем той известной в дипломатических кругах и никому ни о чем не говорившей обаятельной улыбкой, какою он не мог не улыбаться, видя, как на лицах подходивших к нему (как только эти подходившие протягивали цветы или руки для пожатия) возникали точно такие же заученно-обаятельные улыбки, по которым можно было понять лишь, как вышололены эти люди. С бобровых ушанок, дубленок, дамских шапок и шуб из дорогих мехов (словно дамы соревновались в роскоши) стряхивался у порога снежок, крупными хлопьями валившимися на улице, гардеробщики в традиционных, с желтыми околышами фуражках подхватывали все это богатство и уносили за стойку с таким видом, будто цель их жизни только и состояла в том, чтобы уметь выказать услужливость. Швейцар в такой же форменной, как и у гардеробщиков, фуражке и с густыми и пышными (словно из прошлого века) бакенбардами провожал гостей к лифту, и когда двери лифта захлопывались, увозя нарядно одетых мужчин и дам в длинных вечерних платьях, в холле держался еще оставленный ими запах дорогих духов (и даже будто блеск их коле, перстней и брошей).

В зале были уже накрыты столы, и в дверном проеме, откуда должны были подаваться блюда, толпились официанты и выглядывали из-за бархатных портьер в зал. Зал был небольшой, удлиненный и не очень удобный для приемов, но благодаря зеркальным стенам производил как раз то нужное впечатление простора, какого недоставало ему. Отраженные в зеркалах, отовсюду, казалось, светила старинные люстры; казалось, что и противоположная от окон стена тоже была с окнами, портьерами, и столами с рюмками и приборами на них (в простенках), и теми же людьми — гостями, которые не то чтобы не замечали этого эффекта сдвоенности, но для которых

Зеркальный зал «Праги» был всего лишь отдаленным напоминанием тех иных зеркальных и не зеркальных и неповторимых в своем величии и богатстве залов, где приходилось по положению бывать им. Дворцы наций, конгрессов; подреставрированные и увенчанные новыми гербами и флагами резиденции бывших европейских монархов; Женева, Лондон, Генуя, Нью-Йорк, Париж... Как для солдата бой, из которого он только что вышел и куда, помня все перипетии его, даже мысленно не хотелось бы вновь вернуться ему, была для них та их работа и жизнь, какую они все еще продолжали жить. «Да, было время, что говорить, было, было» — светилось на лицах всех этих отставных уже дипломатов, многие из которых стояли когда-то рядом с наркомом Чичериным и Литвиновым. Но они не говорили сейчас о своей прошлой деятельности. То, что было историей для всех, было как будто историей и для них. И все же, собравшись вместе, эти живые представители тех отдаленных исторических событий — старички и старушки, не желавшие еще признать себя поставившими и не надевшие наград только потому, что не к месту было надеть их, — испытывали чувство, будто их пригласили посмотреть на плоды своего труда. Плоды были хорошими, советские люди жили в мире. Мирно за окнами падал снег, застилая Москву и поля Подмосковья, те самые поля, на которых в памятном сорок первом в эти декабрьские дни развернулось одно из самых, может быть, важных для исхода войны сражений; мирно, приветливо светилось все в Зеркальном зале, и передвигались гости. Но было ли так уж спокойно в мире? Можно ли было собравшимся здесь, долго и успешно поработавшим на дипломатической ниве, сказать — и себе и другим, — что дом, возведенный ими, будет стоять вечно, что мир нерушим и что ничто не сможет вовлечь человечество в новую войну? Сказать этого было нельзя. Здание было; но оно не было вечным. И больше чем кто-либо понимали это гости Кудасова. Для них, отошедших от дел и со стороны следивших за тем, что происходило в мире, важны были не временные интересы борьбы, двигающие людьми; как в прошлых, так и в настоящих событиях они признавали только один интерес истории, очищенный от наслоений временного и личного, и интерес этот занимал их.

В условиях той Европы — после первой мировой войны, — в каких приходилось действовать первым советским дипломатам, то есть многим из тех, кто был сейчас в гостях у Кудасова, надо было приложить известные усилия, чтобы разглядеть за благостными речами западных политиков, что замышляли они. 10 апреля 1922 года в Генуе во дворце Сан-Джорджо открылось первое пленарное заседание представителей держав, приехавших обсудить вопросы так называемого излечения Европы, и не было, казалось, ни одного выступающего, кто не выразил бы (именно в этот первый день работы Генуэзской конференции) сочувствия народам, пострадавшим от войны, и не предложил бы того правильного пути, по которому должно пойти развитие человечества. Премьер-министр Италии Факта, избранный председательствующим, привел ужасающую по тем временам цифру безработных, сказав, что в мире более трехсот миллионов человек не заняты производительным трудом. Он говорил затем, что нет среди европейских держав ни победителей, ни побежденных, что народы равны и должны жить в мире; о равенстве народов и государств говорили и Ллойд-Джордж и представители Франции и Германии. Идея всеобщего равенства, казалось, так привлекала их, что они и в самом деле готовы были поступиться своими монополистическими интересами. Но когда представитель советской делегации нарком Чичерин предложил для достижения действительного равенства и для того, чтобы народы могли жить в мире, начать сокращение вооружений и вооруженных сил, со всех этих только что благостно звучавших речей словно было сорвано покрывало. «Все говорили самые

хорошие слова, — докладывал позднее третьей сессии ВЦИК член делегации в Генуе Рудзутак, — но стоило лишь Чичерину заявить, что для того, чтобы сократить расходы, для того, чтобы действительно восстановить хозяйство, действительно добиться восстановления мира, нужно перейти к разоружению, сейчас же все миролюбие было забыто». И Ллойд-Джорджу, и итальянскому премьеру Факте, и представителю Франции Барту хотелось, чтобы восстановление мирового хозяйства, вернее хозяйства их стран, шло за счет советской России. Эти дипломаты Антанты полагали, что они смогут поставить на колени советскую Россию. Но советская сторона 20 апреля предъявила меморандум участникам конференции, и вот что было сказано в этом меморандуме: «Русский народ принес в жертву общесоюзным военным интересам больше жизней, чем все остальные союзники вместе, он понес огромный имущественный ущерб и в результате войны потерял крупные и важные для его государственного развития территории. И после того как остальные союзники получили по мирным договорам громадные приращения территорий, крупные контрибуции, с русского народа хотят взыскать издержки по операции, принесшей столь богатые плоды другим державам».

Зеркальный зал между тем продолжал наполняться гостями, и как раз в эти минуты в него входил поднявшийся на лифте старый, сутулый человек, поддерживаемый под руку красивой девушкой, видимо внучкой. Человек этот, участник Генуэзской конференции и свидетель триумфа Чичерина, воспринятого всеми тогда как триумф советской дипломатии, — человек этот, сам ставший уже историей, сейчас же обратил на себя внимание гостей Кудасова. «Кто пришел!» — зашептали вокруг, произнося его фамилию. Его усадили на стул, так как он не мог долго стоять, и многие затем старались держаться поближе, чтобы заговорить с ним. Но старому человеку, которого более чем сорокалетняя давность отделяла от той бурной деятельности, когда он был молодым (сорокалетним) и перспективным дипломатом, ему не то чтобы не хотелось говорить о прошлом, но трудно было вспомнить, как все было тогда. На лице его, изрезанном морщинами, лишь на мгновение, пока он оглядывал зал, появилось то живое выражение участия, ради чего он, собственно, и пришел сюда; но через минуту — от усталости ли, от старческого ли безразличия ко всему — глаза его уже выражали только то, что он никого не узнавал и даже не понимал будто, для чего он здесь и для чего были вокруг него люди, хотевшие заговорить с ним. «Чем я могу помочь вам? Я ничем не могу вам помочь и прошу только не беспокоить меня» — было в его старческих, дремотно слипавшихся глазах, когда он, силясь вспомнить что-то и оживляясь от этой своей душевной работы, смотрел в зал перед собой.

Ни Генуэзская, ни затем Гагская (как продолжение Генуэзской) конференции не решили самого главного для того времени вопроса — вопроса о сокращении вооружений и вооруженных сил. Его обходили, старались не замечать, как будто, сказав, что такой-то проблемы нет, проблема эта переставала существовать; нет, проблема не переставала существовать, и народам, чтобы жить в мире, нужно было разоружение. В Женеве при Лиге наций продолжала работать смешанная комиссия по вопросам разоружения. Возглавляемая представителями Англии и Франции — лордом Сесилем и де Жувенелем, — она за все шесть лет своего существования не только ни на шаг не продвинула дело разоружения, но, напротив, лишь осложнила и запутала все своими ложнопацифистскими маневрами. Лорд Сесиль, вынужденный в 1927 году подать в отставку, с откровением писал своему английскому премьеру Болдуину, что «мы будем иметь на берегах Женевского озера девятую, десятую, двенадца-

тую сессии... совещаться в течение многих лет... пока война, к несчастью, не прервет эти работы». Но война, к несчастью, прервала не только эти работы; она унесла миллионы жизней ни в чем не повинных людей (повинных, видимо, только в том, что лорд Сесиль занимался не тем, чем надо было заниматься ему!). Лорд Сесиль ушел, и де Жувенель вынужден был подать в отставку, но закрыть вопрос о разоружении было нельзя, и возникает (все при той же Лиге наций) некая уже так называемая подготовительная (по разоружению) комиссия. С чем же приходят на эту подготовительную комиссию представители европейских держав? С искренним ли желанием мира и разоружения, как того требовали народы (и обстоятельства и здравый смысл)? Франция — да, за разоружение, как объявляет представитель этой страны; имевшая мощные сухопутные силы, она предлагает начать сокращение морских вооружений, что ослабляло Англию, имевшую сильный флот и не имевшую столь же хорошо оснащенной сухопутной армии. «Нет,— возражает представитель Англии, тоже как будто ратовавший за разоружение,— сокращение надо начинать с сухопутных войск, артиллерии и авиации», что ослабляло Францию и было неприемлемо для нее. Германия, не имевшая права по Версальскому договору держать армию, но державшая усиленный жандармский корпус, предлагала распространить действие этого унижительного для нее договора на все страны и таким образом ослабить и Англию и Францию, то есть уравниваться с ними в правах на великую державу, а в случае неприятия ее плана грозилась в одностороннем порядке порвать Версальский договор, связывавший ее, и начать вооружаться (что и было сделано). Соединенные Штаты Америки, не имевшие в то время ведущих позиций среди европейских стран и как наблюдатель следившие за ходом споров, поддерживали все, что ослабляло Европу и не затрагивало интересов самих Соединенных Штатов. Они не хотели разоружаться. В общем, как писала в те дни «Правда», каждый из участников конференции помышлял «вовсе не о том, чтобы разоружить себя, но о том, чтобы разоружить другого и, таким образом, стать самому в вооруженном отношении сильнее... Торг пошел не по вопросу о «разоружении», а по вопросам «равновесия» вооруженных сил различных держав, причем каждая из держав склонна толковать «равновесие» именно в свою пользу». Было очевидно, что вместо разоружения мир лихорадочно готовился к войне, и в этих условиях как единственно здравый смысл прозвучала декларация о всеобщем и полном разоружении, изложенная советской делегацией на первом же заседании подготовительной комиссии в Женеве. Делегацию возглавлял Литвинов (и среди гостей Кудасова были теперь те, кто участвовал в этом историческом событии). Декларация не была принята, и мир оказался ввергнутым в гигантскую по своим разрушительным масштабам вторую мировую войну.

XI

— Но что же делается теперь? Теперь повторяется то же,— говорили гости Кудасова, пока хозяин торжества был еще внизу, в холле.— Им наплевать, чем озабочено человечество.

— Разумеется, разумеется.

— Однако давайте будем справедливы,— заметил кто-то.— Не ради же увеселительной прогулки приезжал в Москву де Голль.

— Де Голлю нужна опора, чтобы возвеличить Францию.

— В Европе давно уже нет великих держав. Всем дирижируют Соединенные Штаты.

— Но сознают ли это европейские народы?

— Вот именно, теперь уже не Европа Америку, а Америка открывает для себя Европу, чтобы закабалить ее.

— Не Европу,— опять возразил кто-то,— а Россию, как они все еще

называют нас. Политика их прозрачна, как дистиллированная вода, они с удовольствием ринулись бы на наши просторы и, как индейцев, загнали нас в резервации.

— Слава богу, мы не с копьями и стрелами против ружей.

Старик поднял голову, чтобы сказать что-то. Все сейчас же притихли и повернулись к старику, словно он мог сказать им что-то такое, связанное с судьбами народов и государств, что должно было погрозить им.

— Вы говорите о Женеве,— начал он, с трудом выговаривая слова, хотя никто не упоминал об этом городе.— Женеве — это театр, куда съезжаются, чтобы разыграть очередной акт мирового спектакля. А был ли там решен хоть один экономический или политический вопрос? Сесили и де жувенели, да, да, сесили и де жувенели.— повторил он, каким-то будто ожившим и ясным взглядом окидывая всех.

Но никто из гостей не помнил о Сесиле и де Жувенеле. Пуанкаре, Факта, Болдуин, наконец, Черчилль со своей подстрекательской речью в Фултоне — вот кто определял политический курс, а лорд Сесиль и де Жувенель были лишь клерками, лишь исполнителями, которых всегда десятки и которые готовы на все, на что будет воля пославших их.

— Да, да, сесили и де жувенели,— еще отчетливее повторил старик. Он сталкивался (в годы своей деятельности) не с теми, кто выработывал политику, а с теми, кто проводил ее, и знал, как много зависело от этих подставных господ сесилей и де жувенелей, этих исполнителей, умевших утопить в словопрениях любое живое дело. Они все были на одно лицо (менялись только фамилии), все были скользкими, дживыми, готовыми в любых размерах пролить чужую кровь и боящимися хоть каплю уронить своей. Старый, восьмидесятичетырехлетний дипломат знал это. И он старался связать события более чем сорокалетней давности с тем, что происходило теперь, как будто те же Сесиль и де Жувенель и в тех же креслах, но только под другими флагами, заседали во дворцах конгрессов и наций и извращали дело.

— Вы имели в виду признание лорда Сесилия Болдуину? — подавшись к старику, спросил кто-то.

— Я имел в виду то, что я сказал,— ответил он, в то время как было видно, что минуты возбуждения прошли и ему трудно было вновь вернуться к тому, о чем он только что говорил.

Несмотря на решительно взятый Советским правительством курс на разрядку напряженности в Европе и в мире, несмотря на то, что те, от кого зависело все, признавали, что разрядка возможна, что народы, уставшие от «холодной войны» и гонки вооружений, ждут и готовы принять ее,— в том среднем звене действующих дипломатов, в котором всегда бывает сразу несколько мнений по любому вопросу, к возможности достижения разрядки относились еще по-разному. Одни, их было большинство, соглашались, что разрядка возможна, и прилагали усилия, чтобы добиться ее (и среди этих прилагавших усилия был Кудасов); другие, их было меньше, полагали, что с западными политиками договориться нельзя, потому что они не делают ничего без односторонних выгод, и мнение это, как отголосок борьбы доходившее до гостей Кудасова, разделялось некоторыми из них. Старые дипломаты продолжали говорить, когда в дверях появился Кудасов. Не ожидавший уже больше гостей, он шел с двумя генералами, которым он, обращаясь то к одному, то к другому, говорил что-то. Следом за ним шла жена с генеральшами, с которыми она тоже о чем-то оживленно беседовала. И Кудасов, и генералы, и дамы, шедшие за ними,— все было так естественно весело, что трудно было даже предположить, чтобы политика, та самая большая политика, приводящая в движение силы войны и мира,— чтобы политика эта, призванная служить людям, могла иметь хоть какое-то отношение к празднично оживленному Кудасову и к генералам и женам их. Было трудно предположить, но еще труднее согласиться с тем, что для того, чтобы быть независимым,

счастливым и веселым, каким выглядел теперь Кудасов (и должны выглядеть миллионы других свободных и дорожащих своею жизнью людей), надо кому-то и где-то принимать резолюции, сочинять меморандумы, спорить, тратя силы на это. Мир един; и воля народов едина — жить в мире и дружбе, и есть правительства, которые считаются с этой волей и выполняют ее, и которые не считаются и не выполняют ее. Кудасов знал это. Еще вчера действующий дипломат, хорошо представлявший состояние дел и не успевший еще как следует отойти от них, он теперь, казалось, менее всех был озабочен этими делами. Он видел, что наступало время разрядки; видел не только по усилиям, прилагавшимся советской стороной (что особенно выразилось на переговорах с де Голлем, в которых участвовал он), но по тем происходившим в политике европейских государств переменам в сторону реалистических оценок и здравого смысла, по которым он делал как раз эти свои оптимистические выводы. Точно так же будто, как он сам стоял на перевале, оставив позади дипломатическую и перейдя к новой, преподавательской деятельности, на которой предстояло развернуться ему, он полагал, находился мир, оставивший за чертой «холодную войну» и напряженность и вступивший в полосу понимания и доверия друг к другу. Во Вьетнаме еще рвались бомбы, на Ближнем Востоке вот-вот готов был разразиться новый конфликт, но по мнению Кудасова это были частности, которые не могли заслонить от него то общее (и главное), что одно только, как он считал, должно было привести народы к желанной цели.

Он шел вдоль столов, уставленных яствами, приветствуя по второму разу тех, кого встречал в холле. Одним кивал, поворачивая к ним веснушчатое и казавшееся теперь помолодевшим (от возбужденности) лицо, возле других останавливался, чтобы выразить почтение. Он будто хотел сказать всем, что и в новом своем качестве — в качестве преподавателя и профессора — оставался все тем же значительным, знающим себе и другим цену человеком, каким был рядом с де Голлем (или с другими политическими деятелями эпохи, с которыми приходилось встречаться ему). Ему казалось, что он тоже держал в своих руках судьбы мира, и он, в сущности, жалел о том времени, которое безвозвратно было теперь отдалено от него.

— Нет, вы знаете, я не жалею,— вместе с тем говорил он, отвечая на вопрос (задававшийся ему), который мучил его.— По крайней мере будет возможность заняться теорией.— Он имел в виду те свои рассуждения об ускорении жизни, которые, пока он был в Париже, представлялись верными и легко приложимыми ко всему и которые теперь, когда он был не в Париже, он видел, невозможно было без определенного изучения проблем приложить к жизни.— Годы тянут к обобщению, да,— однако продолжал он, чтобы поддержать о себе то мнение, какое было важно ему.

Впереди, куда он шел, то есть во главу стола, где он должен был сесть с женой, разместив по обе стороны от себя знакомых еще с войны известных генералов — преподавателей военных академий, которых он не мог не пригласить на свои торжества, между другими именитыми гостями видна была плотная фигура профессора Лусо. Вернее, даже не фигура, а многократно повторенная в зеркалах бритая голова его. Игорь Константинович был доволен, что находился здесь; дело Арсения не поколебало его общественного положения и уже не заботило его; он улыбался, глядя на подходившего Кудасова, и протягивал руки, чтобы обнять его.

— Ну, поздравляю еще раз, поздравляю,— сказал он, после того как обнял друга-дипломата, которого всегда считал стоявшим выше себя, но который, как оказалось, только теперь получил то звание, какое Игорю Константиновичу было присвоено так давно, что он уже не помнил, сколько лет носил его, и к которому настолько привык, что, казалось, родился с ним.

«Не написать ли нам совместно учебник по современной истории?» — вслушиваясь затем в речи, произносившиеся за столом в честь Кудасова, чувствуя по этим речам, как высок был авторитет его, и по-новому всматриваясь в него, подумал Игорь Константинович и, достав носовой платок, завязал узел, чтобы не забыть этого важного, что осенило его.

XII

После речей, тостов и пожеланий успеха, которого, все понимали, уже не могло (в той степени, как он прежде был у Кудасова) быть у него; после объятий, поцелуев и пожатий рук, через что, как и в начале торжества, должен был пройти Иван Афанасьевич в конце, когда в одиннадцатом часу стали разъезжаться гости; после этого всего, что должно было как будто удовлетворить тщеславие и не удовлетворило его, а, напротив, лишь обострило чувство неприятия того положения, в каком был теперь Иван Афанасьевич (и какое заключалось в том, что сколько бы хороших мыслей ни приходило ему, их не к чему было приложить, то есть обратить в дело), — встав утром прежде, чем поднялись домашние, и выпив французского растворимого кофе, Иван Афанасьевич вышел на улицу. Это было 3 декабря, исторический для Москвы и народа день, когда в Александровском саду у кремлевской стены должно было состояться захоронение останков неизвестного солдата, погибшего в сорок первом году в боях под Москвой. Кудасов знал об этом. Знал даже подробности, как будет проходить церемония (о чем рассказали вчера генералы). Но в первые минуты, когда он оказался на улице, иные, свои, далекие от исторических событий мысли занимали его. Его как будто угнетало что-то после вчерашнего застолья. «Но что? Перспектива будущей жизни?» — спрашивал он себя, внутренне смеясь теперь над тем обманчивым чувством перевала, как он всем говорил на вечере, будто пройдена им только половина пути; чувство это не могло сейчас удовлетворить его. Будущее, он понимал, было не в том, что он пытался вообразить себе; будущее было в другом — что он становился в ряд со всеми теми отставными дипломатами, которых он пригласил и слушал вчера; и он, вспоминая вчерашнее, ужасался теперь их старости. Он мысленно останавливался взглядом то на одном, то на другом (более же всего на бывшем участнике Генуэзской конференции, пришедшем с внучкой, который произвел на Кудасова особенно тягостное впечатление своей старческой забывчивостью), то видел всех сразу, невольно сравнивая, какими они были в то время, когда он начинал с ними карьеру, и были теперь. И с утомленного (оттого что он мало и плохо спал в эту ночь) лица его не сходило выражение брезгливости, словно он был недоволен не тем, о чем думал, а снегом под ногами, не убранном с тротуаров, морозцем, заставлявшим потирать то щеки, то уши, тогда как проще было бы либо поглубже надеть шапку (папаху из черного каракуля, какую носил, подчиняясь моде), либо поднять (из того же черного каракуля) воротник пальто; и был еще недоволен тем, что в эти часы, когда он любил прогуливаться, было больше народа на улице, чем обычно.

Несколько раз Кудасов с удивлением останавливался, чтобы понять, куда и зачем спешили все эти люди, обгонявшие его. «Да, сегодня же захоронение останков неизвестного солдата», — вспомнил он, и событие это, не затронувшее его ни вчера, ни неделю назад, когда впервые услышал о нем (по французскому образцу, только и сказал себе), — событие это теперь, при виде массы народа, спешившей посмотреть на захоронение, начало волновать его. Подхваченный потоком, чем ближе он подвигался к площади Белорусского вокзала, где должна была начаться церемония, тем сильнее, он чувствовал, было оживление среди людей, тем плотнее, гуще было народу; и он непроизвольно, как это всегда бывает, начал проникаться тем общим настроением толпы, значение и смысл которого, понимая, даже не пытался

объяснить себе. О своем он уже не думал, а лишь сильнее, как и все вокруг, с кем он шел, вбирал в себя это необъяснимое, захватывавшее его чувство чего-то значительного, о чем в просторечии говорят в сем народе и что не в абстрактном понятии этих слов, а в наглядном, материальном проявлении было перед ним. «Как же я забыл», — думал он, продолжая брезгливо морщиться уже оттого, что позволил себе не придать значения тому, что было важно для народа.

До начала церемонии оставалось еще около часа, но и улица Горького и прилегавшие к Белорусскому вокзалу (и Ленинградское шоссе до кольцевой дороги) — все было заполнено людьми. Казалось, вся Москва высыпала посмотреть, как будут (с воинскими почестями) провозить останки бойца, отдавшего жизнь за оборону столицы, и любопытство это было иным, чем то, какое владело москвичами, когда они встречали де Голля. Это было сознание сопричастности с тем историческим делом, которое, несмотря на двадцатипятилетнюю давность, жило в народе. На лицах всех светилось это выражение сопричастности, как будто не было прошлого, не было настоящего, а было только одно целое, что называется жизнь. У Кудасова, оказавшегося среди всех этих заиндевелых шапок, воротников и спин, среди толпы, то начинавшей напирать, словно что-то уже появилось на дороге, то сдерживаемой кордоном краснощеких солдат с карабинами и подающейся назад, было вначале только одно странное чувство — что он уже однажды видел это. «Но где? Когда? — думал он, в то время как в памяти возникало что-то связанное с вокзалом, что он, разгребая наслезения всех последующих событий в себе, старался вспомнить. Он был на Казанском вокзале в октябре сорок первого, в тот самый день, когда панический слух, что Москва будет сдана, достиг предела и когда те, у кого не хватило мужества пойти в ополчение, ринулись на вокзалы — с чемоданами, узлами, давя и топча друг друга, — чтобы спасти свои жизни. Кудасов, уезжавший по делам службы в Тегеран и затем в Алжир, был именно в этот день на Казанском вокзале. Он шел к поезду по тесному сквозь толпу коридору, солдаты сдерживали народ, и было что-то неповторимо ужасное в паническом крике людей, прорывавшихся сквозь солдатскую шеренгу. Он втягивал голову в плечи, чтобы не видеть и не слышать ничего, и по этому на миг охватившему его сейчас воспоминанию невольно съежился, будто кто-то хотел схватить за плечи его. Но ни криков, ни коридора сквозь толпу не было; была только одна сплошная масса народа, старавшегося увидеть что-то, что было за передними рядами, на площади, и куда невольно, подогреваемый этим общим интересом, старался протиснуться Кудасов. На площади уже был военный оркестр, стояли солдаты в парадной форме из роты почетного караула и герои боев за Москву, уходившие в сорок первом с этой же площади оборонять столицу. Кудасов протискивался, чтобы увидеть именно этих защитников Москвы, которые — кто в шинелях, сохранных с войны, кто в гражданском (их было больше) — уже выстраивались в колонну перед трибуной, увидеть броневик и орудийный лафет, на котором повезут прах неизвестного солдата к кремлевской стене, и знаменитых маршалов — Жукова, Рокоссовского, Конева, Еременко, Баграмяна, — которые вот-вот должны были появиться на площади.

Когда Кудасов с выбившимся из-под пальто шарфом и с покрасневшим лицом протиснулся наконец к тому месту, откуда можно было видеть все, со стороны улицы Горького втягивалась на площадь вереница военных машин с венками и лентами.

«От ЦК КПСС»,

«От Совета Министров СССР»,

«От Президиума Верховного Совета СССР»,

«От исполкома Моссовета»,

«От трудящихся Можайского района»,

«От воинов гвардейской Таманской дивизии» — было на лентах.

Но со стороны Ленинградского шоссе еще не появлялась колонна.

На сорок первом километре этого шоссе, под Зеленоградом, еще только доставали из братской могилы останки того, кому предназначались венки, и чувство тех, кто стоял у раскрытой могилы (как будто раскрыта была общая рана войны) и с осторожностью поднимал серые оголенные кости, становившиеся с этой минуты святынею народной славы, — чувство этих немногих, бывших у могилы, незримо передавалось народу, запрудившему площадь и улицы. Кудасов, всегда полагавшийся, что он понимал страдания и славу народа и жил ими, испытывал теперь новое и сильное чувство любви к тому, что он называл — народ; и он неосознанно радовался этому новому чувству, как будто и в самом деле не тогда, а теперь, именно теперь жил страданиями и славой народа и понимал их.

Колонны все еще не было, и чем дольше длилось ожидание, тем заметнее было между людьми это ощущение общей раскрытой раны войны. Но никто пока не снимал шапок, и не было слез и склоненных голов; в ожидании главного события, как и бывает обычно, люди еще развлекались теми мелкими житейскими сценками, которые происходили то в одном, то в другом месте. То внимание всех привлекал выбежавший на неположенное пространство мальчик, которого под смех и улыбки солдат и шутивное подбадривание толпы ловила и не могла поймать бросившаяся за ним мать; то все вдруг оборачивались на шум и возню, возникшую где-то в задних рядах, и затем опять смотрели на пытавшегося перебежать улицу неудачника, которого блюстители порядка, остановив, просили вернуться на место. Но среди этих сопутствующих главному мелочей, всегда возникающих при скоплении народа, Кудасова особенно привлекло одно обстоятельство. К однорукому полковнику, стоявшему в первом ряду колонны защитников Москвы, подбежала прорвавшаяся сквозь цепь солдат молодая женщина и принялась завязывать на его шее шарф и прятать концы под шинель, чтобы не было видно их, и вся огромная стена народа притихла, наблюдая это. Что-то, как в прелюдии к тому главному, чего ожидали все, было в этой простой женской заботливости.

— Ишь ты, ишь как, — ласково сказал кто-то позади Кудасова, на кого он сейчас же оглянулся.

Полковник без руки был Сергей Иванович Коростелев, а молодая женщина, укутывавшая его шарфом, была его дочь Наташа, на которую смотрели сейчас тысячи людских глаз.

XII

Проведя ночь в душевном расстройстве и не сказав ничего Наташе о своих мыслях о ней, когда она на другой день пришла, Сергей Иванович вскоре после этого заболел гриппом, около двух недель пролежал в постели, был слаб и не выходил из дома, когда неожиданно получил через военкомат приглашение на захоронение останков неизвестного солдата у кремлевской стены, в котором принимал участие теперь. Он обрадовался приглашению больше, чем радовался ответу Георгадзе на свой запрос, и на слова Наташи, что она не пустит его, что он может получить воспаление легких (так говорил врач, опасавшийся осложнения после гриппа), решительно заявил, что он еще в строю и что, следовательно, должен быть там, где приказано быть ему.

— Это же моя жизнь, — сказал он Наташе, не выпуская из рук приглашения и глядя на дочь так, будто и в самом деле принимал какое-то историческое решение. — Я ждал этого дня.

— Но тебе нельзя.

— Кто сказал? Кто и что может сказать обо мне? Ты знаешь, через что я прошел? Смерти? Нет. Пули, осколки? Нет. Танки, давящие людей? Нет. Есть другое измерение всему. — И он, разволновавшись, пе-

рассказал Наташе все те новые мысли о войне (и об усилиях народа в ней), какие он теперь намеревался вложить в свои мемуары.— А ты говоришь, нельзя,— заключил он, садясь подле нее.— Нет, я не могу в такой день оставаться дома, не вправе, и только еще сильнее заболелю,— добавил Сергей Иванович, выразив то, что он действительно чувствовал в эти минуты. К нему как будто вернулись годы, когда он был молодым, сильным и когда от его распоряжений зависели судьбы людей (судьба общего дела, как он старался подчеркнуть теперь). Он растроганно смотрел на Наташу и не только не думал, что должен что-то простить ей, но ему и в голову не приходило, чтобы можно было что-то иметь против нее. В том, что она была с ним, как и в приглашении, которое он все еще держал в руках, он находил для себя то важное, что вновь делало его жизнь осмысленной и нужной; с него как будто сразу снимались два мучивших его вопроса: вопрос о памятнике (что было теперь решением правительства, то есть тем, что подтверждало Сергею Ивановичу, как верно он понимал жизнь) и вопрос его отношений с дочерью, который сам собой, будто без усилий, безуспешно принимавшихся им раньше, пришел к завершению.

Он видел, что Наташа переменялась к нему во время его болезни, когда приходила подменить Никитичну, оставалась на ночь и принималась наводить в доме тот порядок (как было при Юлии, ее матери), который более, чем все выписывавшиеся Сергею Ивановичу лекарства, благотворно действовал на него. Он не спрашивал у нее, как было с Арсением, но по этой именно перемене ее полагал, что все шло к благополучному завершению, как и предсказывал Кошелев. Он радовался за дочь, что она успокоилась и подобрела, искренне веря, что все это именно от его болезни и предстоявшего оправдания Арсения. Но то, что происходило с Наташей в действительности, имело совсем иные причины. Познакомившись у Дружниковых со Станиславом Стоцетовым, она затем (в его доме) была представлена его брату Александру, тому самому умевшему всегда только «оскандалиться в обществе» (как охарактеризовал его Тимонин), которого видела в Доме журналистов, не поняв тогда ни его раздражительности, ни его слов относительно народа и осудив (вместе с Тимониным) его, но через которого теперь была введена в тот круг новых знакомых, в то общество, как было приятнее говорить ей, в котором было как будто и все то, что было у Лусо, Карнауховых и Дружниковых, и было еще что-то целенаправленное, относившееся к общей жизни людей, чего Наташа пока еще не понимала, но чувствовала, что целенаправленность эта не расходилась с ее прежними, воспринятыми от родителей взглядами на жизнь. Наташа ухаживала за отцом и заставляла себя думать об Арсении, чтобы заглушить это новое чувство. «Нет, я не могу допустить, чтобы он был еще более несчастен»,— говорила она себе, веря в то, о чем говорила, и через минуту ловя себя на том, что думает не о муже.

Накануне того дня, когда должно было происходить захоронение останков неизвестного солдата, все в доме Коростелевых были заняты сборами Сергея Ивановича. И Наташе и Никитичне хотелось, чтобы он (он имел право на ношение военной формы) во всем парадном появился на площади, и за суетою этих сборов некогда было им подумать о своем. Сергей Иванович был доволен дочерью. Наташа была довольна тем, что у нее было о ком позаботиться (больной отец!), и она с удовольствием отдавалась этим заботам. Никитична же, всегда говорившая, что нельзя, чтобы между родными не было согласия, со счастливым выражением смотрела то на Сергея Ивановича, то на Наташу и несколько раз тем движением, которое она хотела скрыть от них, крестила их и благодарила его (то есть бога, в которого она не верила), что он совершил это чудо, дав душевное успокоение отцу и дочери. «Мыслимое ли дело так-то жить,— рассудительно говорила она, вспоминая мучения Сергея Ивановича.— Спихватишься, да поздно будет.— Она переводила взгляд на Наташу.— Все готова будешь

отдать, да некому. За добро добром отплачивается, а за бездушие — мукой».

— Господи, исколешься вся, — следя за стараниями Наташи, перешивавшей пуговицы на кителе отца, сказала она. — Давай-ка уж мне, мне-то привычней. — И, отстранив Наташу и подслеповато склонившись над пуговицей и бортом кителя, который был теперь у нее в руках (и еще более неловко, чем только что Наташа), принялась за дело.

Она не могла оставаться без работы, когда все вокруг были заняты. Перешив пуговицы на кителе и затем на шинели (по теперешней, особенно после болезни, худобе Сергея Ивановича), точно так же Никитична не допустила Наташу и к утюгу и, прыскавая изо рта водой на марлю, колдовала сперва над кителем, потом над брюками и шинелью, о которой Сергей Иванович сказал:

— Да разве ее гладят?

— А как же, все гладят, — возразила Никитична. — Перед народом будешь, тысяча глаз, как же не гладят, все гладят, — подтвердила она, стараясь придать этим своим словам то второе значение, какого она не умела по-иному выразить и какое испытывала, глядя на него и Наташу.

Утром 3 декабря все еще более были заняты сборами и, не выходя из дому, а лишь по настроению, какое было у Сергея Ивановича и передавалось им, были так возбуждены, словно событие (для чего они наряжали его), должно было изменить что-то в судьбе Наташи и в судьбах Никитичны и Сергея Ивановича. Каким образом могло произойти это, было неясно. Неясно было и то, что могло измениться. Но чувство, что произойдет что-то, было; было сознание какого-то будто обновления, наступившего уже для них, и Наташа своим непривычно шумным голосом особенно подтверждала это.

— Ну орденов-то, орденов! — восклицала Никитична, всплескивая руками, в то время как Сергей Иванович со всеми своими боевыми наградами, прикрепленными к кителю, помолодевший даже будто (несмотря на болезненный вид лица и пот, постоянно проступавший то на лбу, то на верхней губе), стоял посреди комнаты, оглядываемый Наташей, обходившей его со всех сторон.

— Может, не надо? Все равно под шинелью не видно. — Он пытался возразить не потому, что хотел снять ордена и медали; ордена и медали эти, полученные им в боях, он чувствовал, теплили грудь, но то подсознательное, что после похорон Юлии, совсем еще будто недавних, и похорон матери, Елизаветы Григорьевны, с кем он делил радость, рано еще было надевать их, — подсознательное это (о чем он даже не думал сейчас) как раз и вызывало в нем неловкость, как будто и в самом деле было что-то нескромное или нехорошее в том, что он делал.

— Нет, без орденов нельзя, — убеждала его Наташа. — Ты же сам говорил, что в этом твоя жизнь. — И, не желая больше слушать его, принималась опять поправлять на груди его неровно прикрепленные (ею же) медали.

Суэта сборов так закрутила и Наташу и Никитичну, что когда все вышли из дому, оказалось, что шерстяной шарф, приготовленный для Сергея Ивановича на стуле в прихожей, так и остался лежать там. Но обнаружилось это не сразу. Лишь когда подходили уже к площади Белорусского вокзала, Наташа вдруг заметила, что у отца раскрыта грудь.

— Как же так! — изумилась она, укоризненно взглянув на Никитичну. — Да и сам-то ты ну как дитя малое, — с тем присвоенным правом на старшинство и опеку, как она привыкла обращаться с отцом во время его болезни, сказала Наташа. Ей доставляло радость заботиться о нем, и она, выговаривая теперь отцу за его беспомощность, не только, в сущности, не сердилась на него, но была даже бла-

годарна, что он предоставлял ей возможность проявить себя.—Может быть, мой,—предложила она, снимая с себя шарф.—Хотя нет, я лучше сбегаю и принесу,—сказала она (по тому непроизвольному чувству из двух возможных вариантов сделать добро, выбирала тот, что был труднее).

Когда с шарфом в руках Наташа вернулась на площадь, народу было так много, что она долго не могла понять, где ей искать отца. Ей подсказали, что бывшие защитники Москвы собираются в центре площади, у трибуны, и она начала пробиваться туда. Она действовала так решительно, что прорвалась не только сквозь толпу, но и сквозь солдат, хотевших остановить ее, и с притворно нахмуренным и счастливым выражением встала перед отцом.

— Ну вот, наконец. Дитя, господи, дитя,—проговорила она, повторив затем несколько раз это будто понравившееся ей слово «дитя», в котором соединены были для нее, как нити, сходящиеся в узле, все делавшие ее счастливой чувства к отцу. То неясно ожидавшееся ею обновление, что оно произойдет с ней, отцом и Никитичной,—обновление это было в ее теперешнем взволнованном состоянии и готовности, если надо, снова пожертвовать собой, в быстро и ловко работавших пальцах и в том нежном взгляде, каким она (как она смотрела на Арсения, когда собиралась за него замуж) смотрела на отца. Ей не важно было, что тысячи глаз наблюдали за ней; все не касавшееся ее было за чертой ее восприятия, и она прислушивалась только к тому, что происходило в ней и делало ее уверенной и счастливой.—Как я только согласилась пустить тебя, не ворочайся, не трагай, не поправляй,—твердила она, притворно (и радостно) строжась.

XLIII

Мысли Кудасова о минувшей войне и мысли Сергея Ивановича, пока ожидалась колонна с останками неизвестного солдата, были разными. Наблюдавший за войною из Алжира и не имевший (в силу своей дипломатической миссии) возможности быть на передовой, Кудасов думал о трудностях той поры, исходя не из физических страданий, о которых он только читал и знал, что они были, потому что нет войны без увечий и смертей, но исходя из душевных страданий, что испытал он сам, издали наблюдая войну, и эти-то душевные страдания и представлялись ему теперь болевым (оголенным) стержнем войны. Он не мог, как ни сильно было его воображение, в правдивых подробностях представить то, чего он не видел; да он и не пытался сделать это, понимая несостоятельность подобных ложных картин, и величие народа (величие этой минуты, приближение которой он чувствовал) виделось ему в величии духа, то есть в том высшем, чем наделен человек. Но мысли Сергея Ивановича, перебиваемые настоящими картинами войны—видом крови, трупов, как на всяком поле после сражения,—не были так ясны ему, как Кудасову. Он то охватывал всю войну, то видел только тот волжский лед, по которому во время контрнаступления наших войск под Москвой повел роту в атаку и по которому затем везли его, раненного, в медсанбат, и не столько душевное, сколько физическое ощущение боли, когда в медсанбате зондировали рану ему, делало его теперь сопричастным со всем тем общим—и трудностями и славой,—что пережил народ. Воспоминания о тех днях связывались у него еще с письмом Юлии, полученным им как раз в канун контрнаступления, в котором та сообщила, что родилась Наташа, и он невольно поворачивался теперь в ту сторону, куда отошла дочь и где он с трудом (среди толпы) отыскивал ее. «Береги себя и Наташу»,—написал он тогда жене. «Береги...»—с грустью повторил он сейчас. Но это личное, заставлявшее страдать его, тут же перестало занимать Сергея Ивановича, как только после шороха, прокатившегося по толпе:

«Везут, едут», на площади появилась колонна машин, на одной из которых, украшенной красными и черными траурными полотнищами, был виден гроб с останками неизвестного солдата. С этой минуты Сергей Иванович смотрел только на гроб, который с осторожностью, передававшейся толпе, будто все были причастны к этой работе, переносили из кузова машины, борта которой были раскрыты, на оружейный лафет. Траурная музыка военного оркестра поднималась над площадью, вбираемая голубизною морозного неба и сердцами людей, без шапок и со склоненными головами стоявших вокруг, и в Сергее Ивановиче, как в сотнях других участников и не участников войны (как и в Кудасове, мысли которого тоже словно остановились на том, найденном им стержне войны, который он почти физически ощущал теперь), — в Сергее Ивановиче будто оборвалось то, что было он сам; он сознавал себя то частью музыки, сжимавшей сердце ему, то частью тех речей, произносившихся с трибуны, содержание которых заключалось для него не в словах, а в каком-то будто заложенном в звучании их смысле, то частью славы, какую будто веяло от маршала, во всем парадном проходивших к трибуне, то частью тех воинских почестей, какие отдавались теперь останкам неизвестного солдата. Кем и сколько было произнесено речей, он не помнил, как не помнил, сколько времени длилась эта предварявшая главное церемония на площади у Белорусского вокзала; он только вдруг почувствовал, что уже не стоит, а идет за орудийным лафетом и гробом, укрытым венками, что по обе стороны лафета и гроба солдаты из роты почетного караула и что впереди и позади по всей улице Горького — стена людей, многие из которых плакали.

На Манежной площади, куда спустилась торжественно-траурная процессия, было еще больше народа. Как хлеба в безветрии, стояло это нешелохнувшееся поле людей, когда машины с венками, предварявшие шествие, начали одна за другой подъезжать к решетке Александровского сада и к Историческому музею; и словно подчиняясь этой общей тишине, торжественно, траурно и спокойно опускались знамена красными волнами над площадью. Казалось, что и музыка звучала теперь приглушеннее, в то время как траурная процессия, вытянувшись, замерла перед трибуной, на которую уже поднялись партийные руководители, члены правительства. Ими владело то же чувство, что и народом, и только теле- и кинорепортеры с присущей им торопливостью (чтобы сохранить для истории этот день), с какою они снимают и ведут репортажи отовсюду, куда посылают их (и с какою, погибая, запечатлевали на пленках детали войны), делали свое привычное дело, перетаскивая и нацеливая камеры, суетясь и видя для себя важность наступающей минуты только в том, чтобы не опоздать и не упустить что-либо.

В сознании Сергея Ивановича между тем, как это случилось с ним и на площади Белорусского вокзала, вновь наступил будто провал. Он смотрел перед собой, но видел только орудийный лафет и гроб с венками. Со стороны Александровского сада из толпы несколько раз приветственно помахал ему рукой Борис Лукьянов, узнавший его.

— Дядя мой, ты его видел, помнишь, когда отца провожали... Вон, вон он стоит, — говорил затем Борис Матвеев Кошелеву, бывшему рядом с ним.

Делал приветственные знаки Сергею Ивановичу и Кирилл Старцев, в ондатровой шапке стоявший недалеко от трибуны, и, будто прибавляя это к полученному им праву стоять возле трибуны, говорил всем:

— Рейхстаг вместе брали. Вон, вон, полковник без руки.

Музыка стихла. С трибуны зазвучали речи. Потом (та самая минута, с которой опять способность воспринимать все как будто вернулась

к Сергею Ивановичу) гроб с останками неизвестного солдата, поднятый на плечи тех, кому выпала честь нести его, медленно поплыл к воротам Александровского сада и кремлевской стене. Ударили залпы пушек, и гроб опустили в могилу. Кто-то бросил на крышку гроба первую горсть земли. Потом еще, еще, пока вся могила не заполнилась ею. За спинами засыпавших не было видно, как они делали это. Но когда они расступились, над только что будто зиявшей раной было натянуто огромное красное покрывало. Покрывало сняли, и все увидели белую мраморную плиту, по которой золотыми буквами было выведено: «Здесь будет сооружен памятник — могила неизвестного солдата и зажжен вечный огонь славы». Оркестр заиграл гимн, и все стоявшие на площади как будто замерли — и от торжественных звуков гимна и, главное, от величия этой минуты, какую переживала страна. Рана, нанесенная народу войной, вечным рубцом оставалась жить на теле его. Люди плакали, и воздух был густ от слез и воспоминаний. Под пережитым подводилась черта, и всем казалось (по силе испытанных ими чувств), что такого уже не может повториться, что человеческий разум одержит наконец верх над безумием.

К могиле понесли венки, и над белой плитой с надписью, закрывая ее, и над всей могилой выросла гора цветов. У подножья ее установили еще одну мраморную плиту. По ней надпись:

«ИМЯ ТВОЕ НЕИЗВЕСТНО, ПОДВИГ ТВОЙ БЕССМЕРТЕН.
1941 павшим за Родину 1945».

Для Сергея Ивановича, уже далеко за полдень вернувшегося домой, все это увиденное и пережитое было как во сне: и минуты захоронения, и торжественные минуты парада, когда перед свежее еще могилой, перед горою венков и трибуной, на которой стояли руководители партии, члены правительства, прославленные полководцы Великой Отечественной войны, проходили маршем слушатели военных академий, моряки, пограничники, суворовцы. Метававшийся в поисках того, что он потерял и что надо было найти ему (как он говорил об этом шурина в деревне), он чувствовал, что он знал теперь, что ему делать в жизни; знал не в том конкретном значении этого слова, но в ином — что впереди был свет и что он уже не потеряет из виду этот свет и будет идти и идти к нему, сколько бы трудностей ни пришлось вновь испытать ему. То, что понимал сейчас Сергей Иванович, он понимал душой; и он, расстегивая застывшими пальцами правой (и единственной у него) руки шинель, впервые за все последние месяцы улыбался той спокойной улыбкой, которую, казалось, невозможно было стереть с его болезненно-бледного лица.

— Наташа где? — спросил он у Никитичны, пришедшей раньше его и хлопотавшей на кухне.

— Сказала, только забежит к себе и придет.

— А-а, ну хорошо, хорошо, — ответил Сергей Иванович, продолжая улыбаться, тогда как в эти самые минуты Наташа, доставшая из почтового ящика открытку, извещавшую ее о том, что суд над Арсением назначен на середину декабря, стояла в своей новой квартире у окна, держа открытку в руках и не зная, радоваться или огорчаться ей. Она, как и Сергей Иванович, была счастлива в этот день; но известие о суде, которого она еще недавно так ждала, — известие это не входило в круг ее теперешнего счастья, а только разбивало его, и ей было грустно и не хотелось идти к отцу.

Конец третьей книги

ВЛАДИМИР ПАВЛИНОВ

★

БОЛЬШЕВИКИ

Мы совесть мира, коммунисты,
и между нами клин не вбить!
Отныне так тому и быть,
душа и руки наши чисты.
На ваших лицах свет зари,
погибшие, вы вечно живы —
двадцатилетние нацдивы
и командармы в двадцать три.
Вы разгромили старый мир
в чаду развала и разрухи,
вы — Фрунзе, Тухачевский, Блюхер,
и Уборевич, и Якир!..
Смиритесь с правдою суровой:
бьют полководцы школы новой,
суровой школы Октября,
седых полковников царя.
Смиритесь с истиной — увы,
вам красной не видать Москвы,

душители и богомольцы,
Россию вспомнившие вдруг.
И покатались добровольцы
и казаки на юг, на юг.
Москва! Над миром тьмы и зла
звонят твои колокола —
сплав небывалого металла.
Прочнее сплава не бывало:
ты белокаменной была,
ты красномраморною стала!
Завоевателей шаги
души твоей не бередили,
и только пленные ходили
по улицам твоим враги.
Ты — сердце каждого из нас!
Нам в небесах не надо рая:
твои солдаты, умирая,
что видели в свой смертный час?

Сыны крестьян

Сыны лесов твоих, Ока,
сыны Рязани да Торжка
не в дилижансе, не в коляске —
сквозь пляски выюг и сабель пляски
с ружьем прошли через века
и через три материка:
До Сан-Франциско и Аляски!
Они пришли на край земли,
впервые сети завели
в воде, тяжелой от туманов...

Державе дар и вами дан —
Сибирь да Тихий океан, —
Дежнёв, Хабаров и Баранов!
Они, сыны крестьян бесправных,
хранители границ державных,
век славы создали стране.
На свете нет бойцов, им равных.
Их мощь — в земле.
Их кровь — во мне.

ГЕОРГЕ ЧОКОЙ

★

ВОЗРАСТ*

С молдавского

1

...Вылепи, рука,
Плеск родника,
Вылепи, слово,
Шорох ливня лесного.
Сотвори, земля,
Жаворонка, что, звеня,
Взмывает в сияние...
Форму песни свирели льют!
Все идут и идут,
Собираются изваяния...
И каждый день опять
Мы учимся тесать,
Лепить, строгать, выдалбливать,
Прекрасное накапливать —
Стихи в тиши ночей
Из лунного свечения
Готовят облегчение
Для статуй тополей.
На столетних рубежах
Камни молча не лежат,
Камни
Время понимают
И над далью смятою
Луч рассветный поднимают,
Поднимают статую.
По весне кипит в природе
Дух любви и риска.
Несказанный луч восходит
Из ладоней материнских...

2

...Свои четыре времени год
Скрепляет печатями грамот Молдавии.
У каждых сельских ворот
Начинаются родины дали.

* Отрывок из поэмы «Возраст монументов».

Жаворонок уносит в листву и росу
И повторяют розы внизу —
У подножия Статуи.
Голос Ленина к звездам сегодня
В изваянных звуках
Жизнь вознесет.
Нет величественней симфонии.
Кедры вскинули ветви — и вот
Начинает звучать «Аппассионата».
День рождения Солнца.
Праздник с утра.
И каждое слово —
Обвал водопада,
Коммунистов мира «ур-р-ра».
И в этой стозвучной раскатистой буре
К Нему,
Воплощенному в вечной скульптуре,
Прильнули молдавских сел лепестки,
И лозы, как лавры, сплетают венки.

Перевел КИРИЛЛ КОВАЛЬДЖИ.



МИХАИЛ КОЛОСОВ



ТРИ КРУГА ВОЙНЫ

Повесть

Проводы

Жогда загремел, приближаясь, фронт, Гурин побежал было на встречу нашим, чтобы перейти линию, но не сумел. В кукурузе возле третьего отделения совхоза «Комсомолец» его поймали конные немецкие патрули и привели в хутор. Обыскали до нитки — ничего подозрительного не нашли, — толкнули под развесистый дуб, где уже сидели человек пятнадцать хуторских мужиков.

Минут через двадцать всех подняли, и два немца — один впереди, другой позади — повели их по дороге на запад. Вот уже миновали и родной Васькин поселок... Он попытался было объяснить конвоирам, что там мать его ждет, но они заорали на него, автоматом пригрозили.

Перешли через железную дорогу. Тут за насыпью немцы оборону заняли — пулеметы установили, противотанковый ров отрыли. А через переезд валом валят немецкие машины, мотоциклы, артиллерия, пехотинцы. Кричат, торопят один другого. По всему видно — отступают.

За переездом маленькая колонна гражданских русских мужиков почти смешалась с немецкой пехотой. Конвоиры ослабили надзор, идут вдвоем впереди, лишь изредка оглядываются на пленных.

«Бежать! — решил Гурин, и сердце забилося испуганным воробьем, подскочило к самому горлу — не продохнуть. — Бежать! И — сейчас!..» Он чуть приотстал от колонны и, схватившись за живот, направился в посадку, на ходу расстегивая ремень — делая вид, что его приперла нужда. А сам ждал окрика или выстрела. Но вот он уже в кустах, а ни того, ни другого не слышно. Быстро присел, оглянулся — удаляется колонна, его никто не преследует — и рванул на другую сторону посадки, в кукурузу. Побежал... Бежит и все ждет: вот-вот в спину полоснут автоматной очередью...

Совсем уж выбился из сил, упал, отдышался немного и дальше подался.

Увидел: на полевой дороге тачка стоит и две женщины к ней кукурузу носят. Присмотрелся — узнал: с Четечкиной улицы тетка с дочкой обирают початки на своей делянке; подошел, спросил, как там. Да как: мужиков, какие не сумели попрытаться, всех похватали, немцев в поселке уже и нет, только шляхом войско густо идет, вдоль дороги патрули на конях разъезжают. «Опять патрули!.. Куда же податься?..»

— Теть, дайте вашу юбку и платок, вместе тачку повезем...

— А как доглядят? Всех порешат!.. — Но сняла юбку, сама оста-

Печатается с сокращениями.

лась в исподней, платок развязала. Обрядился Гурин в женское, платок пониже на глаза надвинул, впрягся в оглобли, поехали.

Уже вот-вот, совсем близок переезд. Не тот, где основная дорога, другой, безлюдный. Еще бы немного — и они на той стороне. И вдруг откуда ни возьмись двое в касках на лошадях догоняют. Мчатся рысью, пыль из-под копыт, будто дымок от выстрелов. Кони крупные, сытые, шерсть на них блестит, кожаные седла поскрипывают. Догнали, поравнялись... И — мимо, помчались дальше... Неужели пронесло? С удвоенной силой потянул Васька тачку на переезд, застучали колеса по булыжнику, по шпалам, по рельсам... Одни пути проехали, другие, третьи... Сколько их? Раньше как-то и не замечал... Скорее бы с насыпи, а то маячат как нарочно на самой верхотуре.

Наконец переехали, вниз тачка сама понеслась, только держи. По пустынной улице покатали торопливо. Тетка держится за оглоблю, бежит сбоку, девочка сзади. На повороте, где дождевая промоина делила огороды надвое, Васька выпрягся и побежал оврагом домой. Прибежал, а мать лежит: кто-то видел, как Ваську с хуторскими мужиками через поселок гнали, и передал ей.

— Вася!.. Сыночек!.. Цел?!

А Ваське не до радостей — надо спрятаться понадежней. И придумал: в картофельную яму. Она за сараем, хмызом разным прикрыта, не видна, и мало кто о ней знает. Думал — ночь одну перебыть, а оно все три пришлось просидеть.

Вышел на волю — день солнечный, тихий, теплый. Пахнет ранней осенью — яблоками, сухой травой, первым палым листом. Выглянул за ворота и увидел на еще пустынной улице солдата. Нашего солдата! Идет он по тротуару в выцветшей пилотке со звездочкой, в плащ-накидке, на груди автомат с большим дисковым магазином. Идет не спеша, спокойно, чуть вразвалочку. На другой стороне улицы, немного приотстав, второй шествует — тоже не торопясь.

Увидел Гурин солдат, и забилося сердце. Точно так же оно билось три дня назад, когда бежал от немцев, — так же сильно и тревожно, но теперь не от страха, а от радости. И не знает он, что делать: то ли навстречу солдату идти, то ли своих звать, чтобы посмотрели. А солдат все ближе и ближе. И видит Гурин, что солдатик-то совсем молоденький, моложе его самого, и росточком пониже, и нахлынуло на Гурина чувство стыда, неловкости перед солдатом: тот воюет, освобождает его, а он стоит в легкой рубашке у ворот своего дома...

А солдат уже вот он, совсем близко подходит, смотрит на Гурина настороженно.

— Здравствуй, — сказал ему Гурин и сам не узнал своего голоса. — Наконец-то дождались!..

Солдат устало кивнул и прошел мимо.

А вскоре все улицы заполонили военные — они шли или ехали не останавливаясь, другие расквартировывались будто надолго, но оказалось — только на несколько часов: снялись быстро, пошли дальше, их сменили другие.

И был в поселке сплошной большой праздник. Хорошо — пора чудесная: конец лета, было чем угощать освободителей. На улице выносили арбузы, дыни, фрукты, помидоры. Идут ли, едут ли солдаты — уже руки полны угощениями, нет, не проходите мимо, не обижайте, отведайте нашего.

С интересом смотрели на новую форму, разглядывали появившиеся погоны, немного смущались и даже пугались их — уж больно похожи на погоны старой армии, — с трудом привыкали к новым званиям: солдат, генерал, полковник, офицер — казалось, «не прилипали» они к нашей армии.

Алешка носился как угорелый — хотелось все узнать, увидеть,

потрогать. Таскал солдатам что мог: побуревшие, но еще твердые, как галька, сливы из своего сада, скороспелую сладкую терновку из соседского, помидоры; зазывал в дом умыться, отдохнуть, воды напиться. Ощупывал погоны, просил подержать автомат. Василий одергивал младшего брата, хотя и самому хотелось подержать оружие. Но стеснялся, было неловко оттого, что не в армии. И хотя его никто не спрашивал ни о чем, не упрекал, он тем не менее при каждом удобном случае старался оправдаться, рассказывал, как жил, чем занимался во время оккупации.

Гурин показывал политработникам свои антифашистские стихи, пародии на немецкую песенку «Лили-Марлен», новые тексты на популярные советские песни — все, что писал и распространял в оккупации. Те читали, хвалили и возвращали тетрадь. Он умолял военных взять его к себе в часть, но ему отвечали, что не имеют права, советовали обратиться в военкомат.

Военкомат начал работать только на другой день после освобождения. Гурин первым сдал свои документы и получил повестку.

И снова матери беспокойство, волнение: не думала она, что все случится так быстро, заметалась, собирая сына в дорогу. Силится не плакать, а слезы сами набегали, застилали глаза, и лицо сына расплывалось как в тумане.

Первая колонна новобранцев вышла из поселка, и в первой ее шеренге шел Гурин. Весело помахал рукой матери, Танюшке, Алешке, прокричал:

— До свиданья, мама! Таня, Алеха, выше голову!

Задергались губы у Алешки, но крепится, а Танюшка не сдержалась: всхлипнула и разревелась вместе с матерью.

— Ну вот!..

Василий покачал головой, отвернулся: жгут их слезы душу, рвут на части. «Уж возвращались бы домой скорее, что ли».

— Мама, вертались бы вы уж... Хватит провозжать.

Отмахнулась мать решительно:

— Не выдумывай! Люди идут, а мы вернемся?

Уже через переезд перешли и направились по дороге на Песчаный хутор, когда толпа провожающих стала редеть. Отстали и мать с Танюшкой. Распрощались, сошли на обочину и остановились. Оглянется Гурин, а они все стоят... И так пока не скрылись за бугром.

А Алешка до самого Песчаного плелся следом. Только там на привале Василий уговорил братишку вернуться.

Ушел Алешка, и оборвалась последняя ниточка: все, один. Со всем один. Даже знакомых нет. Ступил Гурин: слишком торопился сдать документы, никого из друзей-одноклассников не встретил, перед тем как бежать в военкомат. Иван Костин, Миша Белозеров — где они? Вот бы хорошо вместе! Жека Сорокин... С этим дружба давно поломалась. Еще с тех пор, как тот в сорок первом увильнул от мобилизации. Да и потом таскался с баяном по вечеринкам, заискивал перед немцами, разучил немецкие песенки, веселил оккупантов...

Третьи сутки Гурин в походе, смотрит на новые незнакомые села — все они разные и оттого будто чужие и далекие. И кажется ему, что ушел он в такие дали, где его никто и никогда не найдет...

Тоска перехватила Ваське горло. Но вспомнил Гурин напутствие рассудительного соседа Неботова: «Главное, Васек, не давай себя грызть тоске-кручине. Это зараза такая — вмиг съест. Поддашься ей — все беды потом тебя одолеют. А в первую очередь — воши. Дужа они почему-то уважают тоскливого человека. Заедят, гады!»

Тогда Гурин только поежился от этих слов, усмехнулся недочувственно, а сейчас вспомнил неожиданно и почувствовал в них какой-

то смысл. «В самом деле не надо поддаваться унынию. Все идет как должно быть. Все хорошо!»

Вот и большая станция со странным названием Пологи. Прошли через весь поселок, на окраине остановились. Тут их стали обмундировывать. И вдруг кто-то робко потянул Гурина за рукав. Оглянулся — Алешка!

— Ты?! Откуда?

— С мамой... Пойдем, она там нас ждет.

Стрелби в охапку обмундирование — и к матери с этой обновой. — Ой, боже мой! Уже солдатскую одежду выдали! — всплеснула мать руками и бросилась целовать сына.

Васька был рад, что снова увидел своих, даже не ругал их, что не вернулись домой, а только удивился:

— И как вы нашли?

— Язык до Киева доведет, — сказала мать.

— До Киева будете провожать? — упрекнул он. — Я ж вам письмо послал — обо всем написал.

— Письмо письмом, а так-то лучше: повидаться, поговорить.

— Говорить долго не придется. Отпустили переодеться. Пришить подворотнички, погоны... Через час построение — смотр. И пойдем дальше. А вам придется возвратиться, на дорогах патрули, не пустят: прифронтовая полоса.

— Вернемся, вернемся, не пугай уж. Как люди, так и мы. Ты нас еще из Марьинки гнал, а люди вон аж куда пришли. Вот видишь, мы и пригодились. А так куда б ты свою одежду дел? Выбросил бы? А костюмчик хороший еще, вернешься — на первое время сгодится. Да и ему вот, — кивнула на Алешку, — ходить не в чем... И куфаечка еще почти новенькая.

Гурин улыбнулся: конечно, хорошо, что они рядом. Вот только с обмотками никак не совладеет. И шинель скатать не может, там старшина показывает, как это делается, а он возле мамки...

— Я пойду, мам. Вы тут посидите. Я еще, может, прибегу, попрощаемся. — Он встал, разогнал под ремнем складки на гимнастерке, надел пилотку. — Ну как, похож на солдата?

— Похож, — сказала мать. — На прежнего Васю не стал похож... — И она заплакала.

Прощаясь, торопливо вытирая слезы и целуя сына, мать вдруг что-то вспомнила, сунула руку себе за пазуху и вытащила оттуда три бумажки, скрученные в тугие трубки, словно папиросы. Гурин сначала так и подумал — папиросы, и удивился: он ведь не курил, а тем более при матери.

— Ой, хорошо, что вспомнила!.. Возьми вот и выучи наизусть, — таинственно и строго сказала она.

— Что это?

— Возьми, — повторила мать, чуть смутившись. — Молитвы это. Для тебя списала. Одна от огня, другая от стрелы, значит — от пули, и третья от злых людей. Возьми, сыночек...

— Да ну, что вы, мама! — возмутился Гурин. — Позор какой — молитвы! Меня же засмеют! Вот придумали... Что я, бабка верующая? Смешно прямо!

— Возьми, — умоляла она. — Кто тебя увидит... А вдруг поможет? Кто знает...

— Не надо, не возьму я. «Кто увидит!» Самому стыдно: в кармане молитвы! Смешно...

— Да что же тут такого — в трудную минуту про себя прочитать молитву? Услышит тебя кто? «Господи, спаси меня...»

— Перестаньте, — отмахнулся он досадливо и отступил от матери. — Я побегу... До свидания...

И он побежал. Оглянулся, а мать так и стоит с протянутой рукой и в ней скрученные в трубку молитвы.

«Ну, придумала мама! Что это с ней?» — удивлялся Гурин.

Прибежал в роту, а там уже построение идет. Старшина Грачев в который раз пересчитывал новичков, и всякий раз одного не хватало.

— Кого нет? — спрашивает он у солдат.

Те молча переглядывались, пожимали плечами: ненастолько еще узнали друг друга, чтобы сразу сказать кого. Да к тому же в обмундировании все, непривычно, сами себя не узнают, не то что соседей.

— Ну-ка разберитесь как следует. Еще раз по порядку номеров рассчитайсь! Так... Одного все-таки нет. Кого нет?

— Кого нет — отзовись! — сострил кто-то из задних рядов.

— Разговорчики в строю! Остряков наказывать буду. Так кого же нет? Или переключку делать? — Старшина в хромовых сапогах, в офицерском, из тонкого сукна обмундировании петухом вышагивал перед строем и заглядывал каждому в лицо своими маленькими острыми глазками. Небольшой шрам у левого глаза делал лицо его свирепым. Очень не хотелось Гурину провиниться перед ним, и вот случилось.

— Меня нет! — крикнул он и с ходу втиснулся на свое место.

— Отставить! — заорал старшина. — Выйти из строя!

Гурин вышел.

— Как фамилия?

— Гурин...

— Почему опаздываешь? Почему без разрешения в строй становишься? Почему?

— Извините...

— Ты мне что, на ногу наступил? «Извините». Я тебе барышня? Хватит! Отвыкайте от своей гражданской расхлябанности. Вы в армии, а не на базаре. Почему опоздал?

— Мама там... Мать... Попрошался с ней...

— «Мама», — передразнил старшина, скривив рот. — С мамой никак не расстанешься. Еще не насиделся под маминой юбкой?

Эти слова будто плеткой резанули Василия, кровь хлынула к лицу, он взглянул на старшину — не ослышался ли.

— Что поглядываешь? Не прав, скажешь?

— Не прав, — сказал Гурин. — Вам бы так посидеть, еще посмотрели бы, что из вас вышло.

— А что бы из меня вышло?

«Может быть, полицай», — чуть не выпалил Гурин, но вовремя сдержался, махнул неопределенно рукой:

— Откуда я знаю...

— Да я от самого Сталинграда воюю! — вскипел старшина. — А ты?..

— Я тоже хотел воевать... Разве я виноват, что так получилось?

— «Хотел»... — передразнил его старшина. — Скатку не можешь скатать. — Он дернул за шинель так, что Гурин чуть не упал. — Вояка! Посмотрим, как ты будешь воевать. Может, опять к фрицу подашься?

Тут уж Гурин ничего не мог ответить, ему хотелось кричать, бить старшину, но он стоял побелевший от гнева, смотрел на него и чувствовал, что сейчас заплачет...

— Ладно, становись в строй, — разрешил Грачев. — А чем ты занимался в оккупации — еще разберемся, — пригрозил он.

Стычка со старшиной подействовала угнетающе. Сник Гурин, словно из него воздух выпустили. Скажи ему Гурин, что он сочинял антифашистские стихи, что помог бежать пленному Косте, что собирал в поле листовки и разбрасывал их в поселке, что скрывался от разных работ и мобилизаций, что у него не было дня без риска, что голодали... Скажи обо всем этом такому — на смех ведь поды-

мет. Он же ничего не знает, сам подобного не пережил. Усвоил одно: был в оккупации — значит, предатель...

Неизвестно, чем бы закончилась эта ссора Гурина с Грачевым, если бы в тот же вечер не подняли новичков по тревоге. Их построили в одну шеренгу, сделали поименную перекличку и стали проверять обмундирование.

Перекличку делал какой-то новый лейтенант — высокий, худой, лицо землисто-черное, суровое. Старшина Грачев лишь ходил рядом и настороженно ждал ответов солдат на вопросы лейтенанта.

Закончив проверку, лейтенант спрятал список в полевую сумку, сказал солдатам:

— Моя фамилия Иванов. Федор Васильевич. Буду вас сопровождать до части. У кого есть какие претензии? Может, ботинки дырявые, или жмут, или велики? Может, кто недополучил чего?

Солдаты молчали, и тогда Грачев подал голос:

— Да че тут спрашивать? С обмундированием полный порядок: все новенькое, с иголочки! Воинство что надо! Особенно вон тот, — указал старшина на Гурина. — Шустер! Того и гляди...

Лейтенант будто не слышал его, скомандовал:

— Равняйся! Смирно! Напра-а-во! Шагом арш! — и сам поспешил в голову колонны.

Второй эшелон

Новобранцы длинной серой колонной вышли за поселок и запылили разбитым большаком на запад. Уже первые километры заставили думать о привале, воде, о тяжести вещмешка. Пот ручьями катился из-под пилотки, попадал в глаза и ел их будто рассол.

А мимо, обгоняя колонну, мчались машины, в машинах ехали солдаты веселые и озорные, кричали пешим:

— Не пыли, пехота!

— Эх, люблю пехоту: сто верст прошел и еще охота!

Хорошо им шутить, сидя в кузове...

Одна мысль, как молитва, билась в воспаленной голове Гурина: не окажется слабее других, вынести все это и не раскиснуть. Не заметили бы окружающие его усталость. Он должен быть сильным, выносливым, иначе зачем он здесь?..

Шли весь день и почти всю ночь. Шли быстро, привалы были редкими и короткими. Вдоль колонны то и дело передавалось: «Не курить! Не шуметь!» И от этой торопливости и затаенности, когда слышно только шарканье многочисленных подошв, в душу закрадывалась беззащитная тревога.

Гурина к тому же еще грызли и тоска и обида после стычки со старшиной. Однако все это сложное сплетение чувств перекрывало одно — мысль, что он в рядах своей родной армии и идет на фронт воевать, что наконец-то свершилось то, о чем он мечтал на протяжении долгих двух лет оккупации! Когда он об этом думал, ему становилось легче и суровая обстановка и трудность перехода делались не такими страшными.

Шли без оружия, а впереди все сильнее и сильнее погромыхивало, и красное зарево передовой уже не только не гасло, но с каждым километром все больше и больше разгоралось. Холодок близкой опасности пробегал по спине, и солдаты уже сами, без всякой команды притихли, молча поглядывали на сполохи и настороженно прислушивались к недалеким громовым раскатам.

Гурина всю дорогу мучили обмотки, они постоянно сползали с ноги, развязывались, волоклись по пыли, пока задний не наступал на этот длинный хвост. Гурин сходил на обочину и, кляня изобретателя этой несуразной обувной принадлежности, перематывал обмотки. Наконец ему надоело возиться с ними, он снял их и зашпал

в карманы шинели. «Все равно ведь темно, никто не видит, а на привале снова намотаю».

На рассвете колонна свернула с дороги и пошла степью. Под ногами хрустел сухой бурьян, полынная пыль першила в горле. Остановились где-то в большой балке, вдоль которой шла чахлая, с проплешинами лесная полоса.

Балка была набита войсками, почти под каждым деревцем стояли машины, повозки, прямо на открытой местности были оборудованы зенитные позиции — в круглых ямах, задрав к небу длинные стволы, стояли зенитки.

Лейтенант посадил солдат на траву, а сам надолго ушел куда-то что-то выяснять. Возвратился он налегке — без шинели и без вещмешка, словно дома побывал, — поднял свою команду и, не ровняя и не пересчитывая, повел в молодую рощицу. Здесь было раскинута несколько палаток. Одна из них, самая большая, похоже, была штабная — туда чаще всего входили офицеры. В ней же скрылся и Иваньков. Вышел он минут через пять с другим лейтенантом, подал знак солдатам, чтобы шли за ним, и зашагал не оглядываясь, продолжая о чем-то спорить со своим напарником.

— Ну, а я тут при чем? — оправдывался новый лейтенант. — Я тоже хочу в свою часть. Понимаешь, сказали: пока.

— Знаю я это «пока», — махнул рукой Иваньков и жестом остановил колонну. — Ну-ка разберитесь! Быстро, быстро! За мной шагом арш!

На просторной лужайке толпой стояли офицеры и сержанты, смотрели на прибывших. За ними на разостланных плащ-палатках тремя кучами лежали оружие, брезентовые патронташи, каски.

Тот лейтенант, что спорил с Иваньковым, крикнул:

— Младший лейтенант Алиев! Принимай первый взвод!

Наперед выбежал молоденький чернобровый офицер. На нем было совсем новенькое обмундирование, и сам он, видать, был офицер тоже новенький — только из училища.

— Слушаюсь! — козырнул он. — Первый взвод, напра-а-во! — скомандовал Алиев. — Шагом арш! Стой! Налево! Вольно... — И сам расслабился, покраснел вдруг: наверное, первый раз получил подчиненных. Вспотел даже. Оглянулся, позвал: — Сержант Семенов, принимай первое отделение. — Говорил он с заметным акцентом, немного врастяжку, и иногда вместо «е» у него звучало «э». — Список составь, раздай оружие... — И вдруг запнулся, уставившись на плащ-палатку. Потом обернулся, крикнул: — Товарищ старшина! Старшина Тягач!

Вразвалку подошел старшина — приземистый, скуластый, деловитый.

— Ну в чем дело? Что непонятно?

— Сколько тут? Как его делить? — указал Алиев на оружие.

— Как хотите, так и делите, — развел старшина руками. — На взвод два РПД, четыре ППШ, остальным винтовки. По паре гранат. Ну?

— Всего четыре автомата и два пулемета? — переспросил Алиев недоверчиво.

— Ну! Сколько есть. А что, мало?

— Набор комплект. Пулеметов мало. Хоть бы еще два. И автоматов мало. Только младшим командирам?

— Ну. Молодежь пока с винтовками повоюет. Между прочим, безотказное оружие. — Последние слова старшина адресовал новичкам.

— А мне автомат? — спросил Алиев.

— А вам зачем? У вас пистолет.

— Нет... Я знаю: пистолет пистолетом, а автомат лучше.

— Найду, — пообещал старшина. — Все?

— Все. Давай, Семенов,— кивнул Алиев сержанту.

Семенов окинул свое отделение взглядом, выбрал самого крепкого паренька, спросил:

— Фамилия?

— Толбатов. Александр.

— Бери пулемет. Первым номером будешь. Ты? — ткнул он карандашом в грудь его соседа.

— Шахов,— отозвался солдат.

— Шахов — второй номер. Бери сумки с дисками. И винтовку. Так.— Сам нагнулся, поднял подсумок, подал Шахову.— Гранаты в ящике возьмите. Запалы потом я сам раздам. Каски не забудьте. И не терять. Это касается всех. Бывает, получают каски, нести тяжело, жарко, возьмут да побросают на дороге. А на передовой потом локти кусают: осколочек, пуля на излете — все это, когда в каске, не страшно.

— А если прямое попадание? — спросил кто-то.

— Ну, от прямого, конечно, не спасешься, а если чуть наискосок чиркнет — голова уцелеет. Так. Пошли дальше по порядку. Фамилия? — ткнул он карандашом в грудь Василию.

— Гурин.

— Гурин... А почему без обмоток? Потерял? Что ж ты за солдат? И винтовку потеряешь?

— Нет, товарищ сержант...

— Что нет?

— Не потерял... Вот они, в кармане.

— Вместо носового платка? — усмехнулся Семенов.— Бери винтовку, патроны, гранаты, каску... И сейчас же обмотки намотай.— И добавил с ухмылкой: — На ноги. Это не кашне, на шею не надень.

Гурин не обиделся на эту остроту, только чуть смутился, себя выругал: надо было вовремя надеть эти злосчастные обмотки, времени было предостаточно. Взял винтовку и все, что полагалось, отошел в сторонку, сел на землю, принялся за обмотки.

Вооружив, командиры развели новичков по окопам, уже отрытым кем-то в полный профиль и оборудованным по всем правилам военной науки: брустверы замаскированы, в стенах сделаны ниши для гранат.

Василий спрыгнул в эту аккуратно оборудованную «могилку», сел на дно, привалился спиной к прохладной стенке, вытянул ноги и тут же уснул.

Разбудил его шум: громкие команды, звон котелков, разговоры — это рота выстраивалась на завтрак.

Походная кухня стояла под деревцем в тени — видать, ее только что откуда-то привезли. Повар-солдат в засаленном фартуке длинным черпаком делил по котелкам пахучий густой суп. Раздавал он свою стряпню весело, с прибаутками:

— Подходи! Живей! Подставляй, не робей! А мы вот тебе сейчас зачерпнем сверху погуще, снизу пожирней! Навались! Шрапнельки вам, чтоб было чем фрицев бить...

Очередь подвигалась быстро.

Старшина стоял тут же и каждого, кто получил паек, отсылал «домой» без строя...

Гурин устроился на бруствере, хлебал суп и поглядывал вокруг. А кругом насколько хватало глаз степь кишела солдатами. «Боже мой! Сколько народу! А вдруг самолеты налетят?..» И он невольно посмотрел вверх: небо чистое, ни облачка. И успокоил себя: «Ничего, наверное, охраняют, сам видел зенитки...»

После завтрака их снова построили и вывели в поле на учение. Уже почти в конце занятий Гурина зачем-то позвали к командиру роты.

— Иди, тебя майор Коркин вызывает,— сказал Иваньков мрачно, глядя куда-то в сторону.

— А кто это? А где он? — заволновался Гурин, чувствуя что-то неладное.

— Вон связной покажет.

У майора Коркина тоже был свой окоп. Майор сидел на бруствере и читал газету. Когда Гурин представился, он взглянул на него из-под большого козырька фуражки, переспросил:

— Гурин? Садись, побеседуем,— пригласил он мягко, будто Василий ему был сын родной.— Ну, как служится?

— Ничего...

— Никаких жалоб?

— А какие жалобы? Одет, обут, накормлен.

— Это верно. Ты из Букреевки?

— Да.

— Немцы свирепствовали? — сочувственно спросил он.

— Да... Как везде, наверное...

Майор пристально посмотрел Гурина в глаза.

— Комсомолец?

— Да. Комсомольский билет сохранил,— похвастался Василий.

— Молодец,— похвалил майор.— Ну, расскажи мне подробно, чем занимался, как жил при немцах. Мне это просто интересно.

Гурин охотно стал рассказывать свою оккупационную эпопею. Коркин слушал его не перебивая.

— Стихи со мной в вещмешке... Принести?

Гурина очень хотелось показать майору свои стихи, но тот сказал:

— В другой раз... А как солдаты, твои однополчане, довольны службой?

— Наверное, довольны... Я же их не спрашивал.

— Ты понимаешь, какое дело...— начал майор доверительно.— Отступая, немцы очень много оставили разной сволочи, завербовали на свою сторону, дали задание вредить, сеять панику, распускать разные слухи. Вот таких нет среди вас? Не замечал?

— Да вроде нет... Если бы попался — морду сразу набили бы.

— Нет, морду бить не надо,— сказал майор.— В таких случаях надо мне сообщать. Понял? А мы разберемся, что это — случайная болтовня или, может быть, злонамеренная. А морду бить — так можно спугнуть опасного врага. Ясно?

— Конечно.

— Ну вот и отлично...

Голос у майора Коркина был мягкий, убаюкивающий, глаза добрые, располагающие. Но когда Гурин шел от него, на душе было почему-то скверно.

— Ну что? — встретил его лейтенант.

— Да... спрашивал, как жил при немцах.

— А-а... Ну что ж, у него работа такая: знать все и обо всех...— Он сдвинул брови, вспомнил что-то.— Да, а что это старшина в запасном полку на тебя бочку катил?

— На построение я опоздал,— признался Гурин.— С мамой долго прощался...

— Ладно, иди во взвод. Не обращай внимания,— посоветовал Иваньков вдогонку.

В тот же вечер им выдали сухой паек, пополнили боеприпасы и повели куда-то в ночь.

Зеленый Гай

Шли долго и путано, пока наконец увидели фонари над передним краем и цепочки трассирующих пуль. Изредка где-то вздыхали орудия, с воем, холода кровь, проносились снаряды.

— Не шуметь! Прекратить разговоры! — передавалось все чаще и чаще по колонне.

Внезапно остановились, но тут же побежали — кто-то стоял и почти каждого торопил:

— Быстрее, быстрее, колодец пристрелян.

Пахло порохом, землей, кровью. Вокруг колодца были сплошные воронки, валялась искореженная кухня, лежала убитая лошадь. В стороне стонал солдат, над ним стоял на коленях санитар, делал перевязку.

Пригнувшись, все бежали куда-то по полю. Когда вспыхивала ракета, прижимались к земле, а потом снова поднимались и бежали. Вдруг Гурина кто-то остановил, сказал:

— Давай прыгай, только тихо...

Гурин увидел перед собой окоп, повиновался и прыгнул в него. Отдышавшись, он посмотрел вверх — над ним было высокое звездное небо. Вспыхнула ракета, и звезды исчезли. Ракета с шипением погасла и упала где-то рядом. Сделалось совсем темно.

Сидеть в окопе было скучно и жутковато. Гурин попробовал выглянуть, но, никого не увидев, снова спрятался. Так сидел он довольно долго, пока не услышал чей-то голос:

— Эй ты, давай котелок. Да не греми, немец рядом.

Василий обрадовался: значит, он не один здесь и о нем кто-то заботится. Через некоторое время котелок возвратили и приказали: не спать, наблюдать за противником.

Наступил день. Крутом стояла такая тишина, будто никакой войны и нет. Поднялось солнышко, в окопе стало теплее. Гурина хотелось посмотреть, что делается на поверхности. Вдруг до него донеслось приглушенное:

— Эй ты!..

«Не меня ли?» — подумал он и осторожно высунул голову. Из соседнего окопа в его сторону смотрел молодой солдат. На голове у него был укреплен куст травы, а глаза блестели озорно и пугливо, как у зверька. Из ихнего взвода солдат, Гурин запомнил его — веселый паренек. Звать только не знает как.

Вдали, в ложине, лежало притихшее село. Беленькие хатки, сады с изрядно покрасневшими листьями и за селом — желтое поле. Собственно, это была лишь окраина большого селения, а само оно уходило влево и скрывалось за бугром.

— Что за деревня? — спросил Гурин у соседа.

— Зеленый Гай.

— Откуда знаешь?

— Слышал.

Их разговор прервала разорвавшаяся невдалеке мина. Солдаты, словно суслики, тут же юркнули в окопы и хорошо сделали, так как мины стали рваться одна за другой у самых окопов, засыпая их землей. Гурин сжался в уголке и думал, что налету, наверное, не будет конца, ждал, что вот-вот мина залетит в окоп и все будет кончено. Но налет прекратился так же внезапно, как и начался. Остался только дым да комки земли на дне окопа. Посидев немного, Василий стал отряхиваться. И снова услышал:

— Эй ты... Живой?

— Живой, — ответил Гурин как можно бодрее. — А ты?

— И я.

— Тебя как зовут?

— Степан... Степка. А тебя?

— Василий. Откуда ты?

— С Новоселовки. А ты?

— Букреевский.

— Земляки, значит, — улыбнулся гуринский сосед. — Давай держаться друг друга?

— Давай...— обрадовался Василий. На сердце стало так хорошо, легко — дружок у него появился!

А тишина вокруг была такой редкой, даль такой прозрачной, какой они бывают, кажется, только в самое мирное время. В воздухе паутинки летали, и на много верст кругом — до самого горизонта — никакого знака, что идет война. Тихая, мирная степь. И лишь сознание подсказывало Гурину, что тишина эта обманчива, что все затаилось, замаскировалось, зарылось в землю.

Сосед Гурина Степка настолько освоился, осмелел, что даже вылез наружу, сел на край окопа, а ноги свесил в него.

— Красота! — произнес он, и в ту же минуту послышался окрик сержанта:

— Сейчас же в окоп, твою мать!.. Вылез, как...— И снова матерные слова.— Ребенок, что ли?..

Степка нырнул в окоп, и тут же две пули, вжикнув, ударились в его брествер.

Посидев немного, Гурин вспомнил приказ наблюдать за противником. Водрузив на каску куст перекати-поля и несколько веточек полыни, он стал смотреть поверх брествера в сторону немецких траншей. Там по-прежнему была тишина и покой — ни звука, ни тени. И вдруг он увидел: на бугре за деревней, где стоят скирды соломы, от одной скирды к другой идет человек. Явно немец. «Они стреляют по нас, а мы что, сидеть сюда пришли?» — рассудил Гурин, загнал патрон в казенник и стал целиться в идущего. Долго целился, наконец решил, что тот на мушке, и нажал на курок. Винтовка дернулась и больно ударила Гурина в плечо, но он не обратил на это внимания, смотрел на немца и ждал, когда тот упадет. А он даже шагу не прибавил — так и прошел спокойно от скирды к скирде.

Опять послышался голос сержанта, и через какое-то время Гурин увидел его рыжую голову, свесившуюся к нему в окоп.

— Ты стрелял?

— Да.

— Зачем?

— А немец там шел.

— Где ты увидел немца?

— Как где? Возле стогов соломы.

— Ё... Елки-палки! — закатил сержант глаза.— Дите! Да ведь... ведь туда, наверное, километров пять будет?

— А пуля летит до восьми... лейтенант говорил.

— «Летит», — передразнил Гурина сержант.— Дите! А эффективный прицельный огонь на сколько метров можно вести? Об этом говорил лейтенант?

Когда стемнело, сержант снова появился над окопом. Стоя во весь рост, он приказал Гурину:

— Собери котелки в своем отделении, пойдешь за ужином.

Василий выскочил из окопа, винтовку и вещмешок оставил внизу. Подумал и бросил туда же шинель, чтобы легче было идти.

— Ты что, дома у мамки или на передовой? А если немцы встретятся, чем отбиваться будешь? Котелками?

Гурину стало стыдно, что из него получается такой нескладный солдат, проворчал: «При чем тут мамка?» — и снова полез в окоп. Нацепил на себя всю амуницию, собрал котелки и побежал вместе с другими солдатами в овраг, куда пришла кухня.

Нагрузились солдаты кашей и пустились в обратный путь. Бежать Василию было тяжело, неудобно: на спине вещмешок, на плече винтовка, в руках по четыре котелка... Поле сплошь изрыто воронками, ноги то и дело спотыкаются. Просторная каска напозвала на глаза, а поправить ее нельзя, руки заняты.

— Быстрее, быстрее,— торопил их сержант из третьего отделения — он водил солдат за ужином.

А как еще быстрее? Гурин и так уж совсем выдохся. Весь в поту и дышит, как загнанный пес... А тут еще немец ракеты одну за другой пуляет в небо, освещает — видно все, как днем. Василий невольно приседает, ждет, когда она погаснет. А погаснет — темень сразу такая сгущается, что под носом ничего не видно. Пока глаза привыкали к темноте, снова раздалось шипение: полетела в небо хвостатой кометой новая ракета, вспыхнула на высоте — опять приседай.

Приотстал Гурин от своих, ноги путаются в длинной шинели, ругает про себя сержанта — зачем заставил все нацепить? Ребята из других отделений налегке — только котелки да оружие. Даже без касок...

И вдруг холодящий душу вой: мина. Упал Гурин на землю, и тут же взрыв раздался. Даже не взрыв, а будто ударило чем-то тяжелым рядом, даже земля вздрогнула, запели на разные голоса осколки, запахло динамитом. Не успел Василий голову поднять — вторая мина, третья, да все ближе, ближе. Вокруг него вспыхивают огненные кусты — не знает, куда деваться. Вжимается плотнее в землю и понимает, что это не спасение. Но уткнулся головой в свежую воронку, вдавился в нее. А мины, будто остервенев, одна за другой, одна за другой — Гурин уже перестал различать отдельные удары: все слилось в сплошной гул. Бьет совсем рядом, отдаются сильные толчки в грудь, в голову, приподнимает его какая-то сила — то ли воздушная волна, то ли ему так кажется, — всеми силами вжимается в землю, успокаивает себя: «В воронку не попадет, не может мина дважды ударить в одно и то же место». Это он слышал от кого-то... И вдруг у самой головы — бом!

«Боже мой, когда же это кончится?.. Наверное, зря не взял у мамы молитвы, может...» А мины толкут и толкут землю то ближе, то чуть дальше, словно щупают, где тут залег солдат.

— Господи, спаси меня!.. Господи, спаси меня и помилуй!.. Господи... — лихорадочно шептал Гурин откуда-то пришедшие совсем чужие слова.

И тут как бы в ответ на его просьбу сильнейший удар совсем рядом, будто по голове огромной дубиной огрели Гурина, тягучий звон пошел и, не прекращаясь, так и застрял в ушах. Гурин вдруг перестал слышать взрывы: то ли они прекратились, то ли его оглушило? Нет, кажется, прекратились: земля больше не вздрагивала. Полежал немного, поднял голову, поправил каску. Звон не проходил, нудно так зудит, на одной ноте. Поковырял пальцами в ушах — не помогло, зудит. И кажется — не только уши, а все вокруг наполнено этим зудящим звоном.

Собрал котелки и не знает, что с ними делать: идти в роту или вернуться к кухне обновить кашу. В них ведь если что и осталось, то все перемешалось с землей. Решил вернуться. Пошел не спеша. Дым и пыль медленно оседали, противно воняло динамитом.

Идет Гурин, головой трясет — хочет избавиться от звона в ушах, а он все не проходит.

Пришел в овраг — кухни и след простыл. Никого! Жутко ему стало, одиноко. Не раздумывая долго, пустился бегом к своим окопам. То сержант подгонял — с трудом бежал, а тут никто не понукает, сам бежит, будто кто гонится за ним следом. Знает: страх гонит, хотя и стыдно в этом признаться...

Вот-вот должны бы уже и спасительные, такие родные окопы быть, а их все нет и нет. Что такое? Не заблудился ли? Этого еще не хватало! И горечь пополам с испугом опять холодит душу.

Остановился, огляделся — ничего не поймет: кругом сплошная темень. И вдруг показалось ему, что взял он слишком вправо. Тут же побежал влево. Долго бежал — опять остановился. Нет, все-таки, кажется, надо правее... И заметался Гурин по полю, как пуганный за-

яц. Бегал, бегал, выбился из сил, остановился. «Нет, так нельзя... Надо осмотреться, все прикинуть, сориентироваться...» — начал он успокаивать себя.

Где-то далеко вспыхнула ракета, он не стал прятаться от нее — будь что будет: ему надо осмотреться. И вдруг на самом излете ее увидел он на далеком бугре скирды соломы. «Так вот же они, это же те самые, напротив них наши окопы! Значит, вперед мне надо, вперед!» — обрадовался Василий и затрусил рысцой напрямую.

Еще не добежал до окопов, видит — навстречу ему идут сержант и лейтенант Алиев.

— Под налет попал? — спросил сержант.

— Да! — обрадованно сказал Гурин: он был безмерно счастлив, что вновь видит своих.

Сержант отобрал у него котелки, заглянул в один, в другой.

— С землицей? Ну ладно... Не надо было отставать. Все проскочили нормально.

Василий ничего не сказал, пошел к своему окопу. Упал на бруствер — все еще не может отдышаться.

Утром, когда взошло солнышко, пригрело ласково и мир вокруг стал так хорош, Гурин невольно вспомнил о ночном налете и удивился: «А был ли налет, а со мной ли это было? Неужели это я корчился в воронке, стараясь зарыться в землю как можно глубже и шептал: «Господи, спаси... Господи, спаси и помилуй...»? Откуда эти слова? Я их никогда не знал... Да еще и «помилуй» — ну совсем как святоша какой. Смешно! Услышал бы кто — позор!.. А вообще зря, наверное, перепугался: ничего ведь не случилось. Да и почему должно было меня убить? Именно меня? Первым? У нас еще никого даже не царапнуло. А меня — убить? Нет, этого не может быть. Я молод, я жить хочу, я умею слагать стихи и хочу быть знаменитым... И вдруг убью! Нет. А зачем мне тогда даны ум, талант? Я же должен все это проявить, осуществить, сделать в жизни что-то большое, полезное, оставить след и потом уже уйти из нее... Нет, меня не должно убить...»

И тут ему вспомнились уроки по «Краткому курсу истории ВКП(б)», вспомнилось, как долго и настойчиво втолковывал им учитель диалектику: старое отживает, молодое растет, развивается. От низшего к высшему, от нарождающегося к зрелому, от неразумного к разумному... Васька, с детства склонный к мечтательности, силится понять эту мудрость, но неспособность мыслить абстрактно толкала его искать примеры в окружающей жизни, а та часто подбрасывала совсем другое: из их класса умерла Нина Огаркова — молодая красивая девушка, у бабушки Фени умерла совсем маленькая внучка. «Это исключение, — говорил учитель. — Мир развивается в вечной борьбе противоположностей: жизнь и смерть, свет и тьма, новое и старое, нарождающееся и отживающее, передовое и отсталое, революционное и контрреволюционное. Побеждает всегда прогрессивное. Но в силу разных причин бывает, что временно верх берет негативное. Однако в конечном итоге победа остается за новым, передовым, прогрессивным, иначе не было бы развития ни в природе, ни в общественной жизни».

Теперь, сидя в окопе и призывая себе на помощь эту философию, Гурин опускал в ней всякие неприятные исключения, думал только о главном: молодое выживает. Хотелось верить в это как в непробиваемую броню. И он верил, и вера вселяла в него надежду, заглушала страх перед действительностью...

День прошел почти спокойно. Немцы обстреливали передний край приблизительно через каждый час, но уже не так сильно, как ночью. Однако всякий раз Гурин забивался в угол окопа, сжимался там и прощался с жизнью. Но налет кончался, дым рассеивался — и

жизнь продолжалась. И снова он торжествовал и говорил себе: «Нет, меня не убьют... Я должен жить — у меня есть планы, дела...»

Новички уже стали привыкать к обстановке, местности, налетам, им уже думалось, что они так и будут тут сидеть неопределенно долго, пока немцам не надоест поливать их минами и они не убегут, как вдруг вечером, вместо того чтобы собрать котелки, их спешно выгнали из окопов и повели в тыл. Вели прямо по степи, без дороги, вывели к какому-то леску, тут их покормили и повели дальше через кукурузное поле, пока они снова не оказались на передовой. Эта передовая была оживленней, чем первая, тут чаще взлетали ракеты, то с одного, то с другого фланга беспрестанно стучали пулеметы, и трассирующие пули красивыми огоньками обозначали свой путь.

Попрыгав в траншею, солдаты извилистыми ходами сообщения проникали все ближе и ближе к переднему краю. Наконец их оставили, назначили наблюдателей, а остальным приказали отдыхать: на рассвете предстоит наступление. Опустившись на дно, Гурин привалился плечом к стенке траншеи, подобрал под себя ноги, чтобы по ним не ходили, и собрался «отдыхать». Но прибежал младший лейтенант Алиев, растолкал его:

— Эй... Первый взвод?.. Первый?.. Давай в укрытие. Там.— Он указал рукой вправо, а сам, пригнувшись, заспешил по траншее дальше собирать свой взвод.

Вслед за другими солдатами Гурин быстро нашел это укрытие. Несколько ступенек вниз, брезентовый полог над входом — и он очутился в довольно просторной землянке. Подвешенная к бревенчатому потолку сплюснутая гильза от снаряда, сильно коптя, освещала ее внутренность мерцающим пламенем. Землянка была набита солдатами, одни полулежали, другие сидели, привалившись к стенке и обняв оружие, словно любимую; одни спали, другие что-то жевали, третьи разговаривали вполголоса.

Рядом сидели двое в маскировочных халатах, и Гурин все время поглядывал на них: сразу было видно, что это не обычные солдаты, они и сидели как-то независимо и разговаривали, не обращая ни на кого внимания. Одно слово — разведчики! Смелый, отчаянный народ! Василий представил себя в маскировочном халате, с финкой в кожаном чехле, с пистолетом на боку и трофейным автоматом на груди. «Эх, жаль, не попал в разведчики, — позавидовал Гурин соседям. — То ли дело!..»

— Ешь, — говорил один из них другому. — Ты че, психуешь? Че не ешь?

— Не хочется... — отвечал другой. — Я знаешь чего больше всего боюсь?

— Чего? — насторожился первый.

— Ранения в живот. Вывернет кишки, а сам живой. И мучайся. Нет, лучше уж сразу, совсем. Особенно, говорят, опасно ранение в живот, когда желудок полный.

— Брехня! — отрубил первый.

— Врач в госпитале говорил.

— Верь им больше, этим коновалам! А я, гля, всегда перед задницей набью брюхо, гля, как барабан, гля!..

«Какой-то блатяга, а может, воображает», — подумал Гурин о разведчике и посмотрел на него. Здоровый парень со сбитым на спину капюшоном выковыривал ножом из банки куски мяса, ел аппетитно и не переставая говорил:

— А иначе как же? Идешь, гля, не к теще на блины. Может, придется сутки или двое, гля, на нейтралке лежать.

«Красивый!» — снова позавидовал Гурин и пожалел, что сам он не такой, как они.

Разведчики скоро ушли, стало просторнее, и Гурин устроился

посвободнее. Сон сморил не скоро, думалось о завтрашнем наступлении, о разведчиках.

На рассвете подняли на завтрак. Гурин получил свою порцию супа, но есть его не стал, а тайком выплеснул за бруствер: боялся ранения в живот.

Пришел лейтенант Иваньков, окинул всех взглядом, улыбнулся, заговорил как можно бодрее:

— Ну, как настроение? Боевое? — И, не дождавшись ответа, сказал: — Правильно. — Он присел у входа на ящик с патронами, заговорил доверительно: — Запомните, ребята, вот что: будьте быстрыми, расторопными. Бежать — быстро, падать — быстро, подниматься — быстро. И не трусьте. Струсил — пропал. Замешкался, засуетился, промедлил — все, капут, подстрелят. Если попал под артострел, броском вперед, ближе к немецким траншеям, там безопаснее...

В траншее послышался топот, кто-то рывком отдернул полог над дверью, и в землянку, пригибаясь, вошел старший лейтенант — поджарый, стремительный, с двумя крест-накрест портупейми, с планшеткой на одном боку, на другом — огромный пистолет в деревянной кобуре (после Гурин узнал, что это маузер), сбил на затылок пилотку.

— Это что за собрание? Иваньков, ты все еще митингуешь?

— Разъясняю задачу, товарищ комбат, — сказал спокойно Иваньков, не обижаясь на окрик старшего лейтенанта и не оправдываясь перед ним.

— Поздно! Через полчаса в наступление, все уже должны быть на своих местах и ждать команды. Где твой НП? Я переносу туда связь.

И они вышли из землянки. Вслед за ними тесной толпой затопились и солдаты.

Рассвело. Стали видны немецкие траншеи — они легко угадывались по земляному валику, протянувшемуся поперек поля. Сколько еще осталось до атаки, солдаты не знали, часов ни у кого не было, и они только нетерпеливо поглядывали друг на друга.

Неожиданно сзади них загрохотало, словно там случился обвал, и над головами одни со свистом, другие с шипением пронеслись первые снаряды. Гурин да и другие невольно пригнулись, но вскоре сообразили, что это началась артподготовка и что летят наши снаряды, приободрились, стали наблюдать за разрывами. Над немецкими траншеями один за другим вспыхнуло несколько черных кустов. А вскоре их стало так много, что в дыму и пыли трудно было что-либо различить. Выстрелы орудий, свист пролетавших снарядов, взрывы — все смешалось в сплошной гул, и от этого гула в душе Гурина росло торжественно-радостное чувство. Солдаты победно улыбались друг другу, словно уже одолели противника.

Взвилась зеленая ракета, и в тот же миг послышалась команда: «Вперед!»

Гурин вылез на бруствер и, втянув голову в плечи, побежал. Тритиловый смрад стоял над полем, от дыма и пыли першило в горле. Упал, передохнул немного, схватил покрепче винтовку правой рукой за ствол и ринулся дальше. А сзади на разные голоса то там, то здесь слышалось: «Впе-е-ред!.. Впе-е-е-ре-ед!..»

У самой головы слева и справа противно взвизгнули пули, и Гурин снова упал, прижался к земле. Огляделся, увидел впереди воронку, вскочил и через секунду был уже в ней. Тут он почувствовал себя безопаснее. Не поднимая высоко головы, оглянулся — по полю, как снопы, лежали солдаты. Одни поднимались, бежали вперед и снова падали, другие были неподвижны.

«Вперед! Вперед!» — этот крик не прекращался. Повинуясь ему, Гурин приподнял голову, чтобы наметить место, куда бежать дальше. В тот же миг штук пять пылевых султанчиков вспыхнуло перед

самым носом — пули, вжикнув, зарылись в землю. Однако он все же успел заметить, что впереди лежали наши солдаты, вырвавшиеся вперед, приметил и воронку, в которой можно укрыться. Подогнув под себя ногу, Гурин рванулся что есть силы вперед, побежал, зачем-то по-заячьи петляя. «Нет, меня не убьет... Меня не убьет...» — шептал он про себя, падая в воронку. Отдышавшись немного, огляделся, увидел: недалеко Степка лежит, тоже вертит головой, смотрит — боится оторваться от своих.

Откуда-то справа донеслось раскатистое «ура». Это взбодрило, они подхватились и бросились дальше. Пули вокруг вжикали и свистели, словно ребята попали в какое-то осиное гнездо. Но вот наконец немецкие траншеи, вот и бруствер, утыканный маскировочным бурьяном... Повинуясь инстинкту скорее спрятаться в любую выемку, Гурин бросился к ним и спрыгнул с ходу в глубокую щель. Рядом плюхнулся Степка. Зырк-зырк по сторонам, ищут испуганно немцев, а их нету. Присели. Слева и справа с глухим стуком прыгали в траншею солдаты, траншея быстро наполнилась народом, все дышало тяжело, устало, загнанно.

«Убежали немцы, испугались! — торжествовал про себя Гурин. — А я даже и не выстрелил ни разу, впопыхах как-то и забыл, что надо стрелять, бежал с винтовкой словно с дубиной». Он вытер рукавом пыль с затвора, загнал патрон. Хотя теперь это уже, наверное, было ни к чему...

— Смотри! — дернул его за рукав Степка и показал блестящий квадратик: плоский хромированный портсигар. — Вот, в окопе нашел! — В глазах его было столько радости, будто он невесть что добыл. — Наверное, серебряный. Первый трофей! — Он шаркнул портсигаром о шинель, счистил с него глину, и на уголках под стертым никелем явно обозначилась желтая бронза.

— Золотой, — съехидничал Гурин.

— Ладно... Завидно небось?

Вдоль траншеи бежал сержант и, матерясь, выгонял всех наверх.

— Расселись, как у тещи на блинах! Вперед, вперед, мать вашу!..

Вслед за ним торопился лейтенант Алиев и тоже кричал:

— Вперед!.. Быстро вперед!..

«Опять вперед...» — встревожился Гурин. Он-то уже успокоился, думал — все, конец атаке...

Не дожидаясь особого приглашения, Гурин выскочил из траншеи и ринулся вперед. Пули свистели у самой головы, и он плюхнулся на землю. Только хотел подняться, чтобы бежать дальше, как рядом разорвалась мина, за ней другая, третья. Начался минометный обстрел. Гурин вжался в землю, однако вспомнил лейтенантов наказ — броском вперед, — рванулся, побежал. Не видя поблизости никакого укрытия — ни буторка, ни выемки, — упал на ровное место, спрятал лицо в стерню. И вовремя сделал, так как тут же над ним пропело несколько пуль.

Лежит, хочет увидеть, далеко ли свои, но голову не может поднять: пулемет строчит непрерывно. Выростал лопату, стал долбить землю, нагорнул небольшой бруствер перед собой — спокойнее стало. Озирается по сторонам — никого не видит поблизости. А пулемет бьет у самого изголовья, стучит редко, гулко, будто крупнокалиберный.

Постепенно стрельба стала затихать и совсем смолкла. Гурин снова осмотрелся — никого рядом. Стало жутко: он один у самых немецких траншей! Недолго думая, все так же не поднимая головы, Гурин вскочил и побежал в обратную сторону. И тут как остервенелые заработали пулеметы, пули свистели вокруг и, словно крупные градины, шлепались о землю. Не падая и даже не пригибаясь, он бежал к спасительной траншее. С разбегу кубарем влетел в нее, обрушив край земли. Упал на задницу и чувствует: последние силы оставляют, задыхается, не хватает воздуха.

— Кто приказал отходить? — донесся до него голос комбата. — Кто, я вас спрашиваю? Ты почему отступил? Кто приказал?

Это уже относилось к Гурину. Он глядел на комбата, открыв рот и тяжело дыша, как загнанный воробей.

— Тебе ближе было прыгнуть в немецкую траншею, меньше риска, а ты бежал вон сколько обратно под пулеметным огнем! Ты мог бы гранатой пулемет уничтожить!..

— Один... Я ждал... — с трудом выдавил из себя Гурин.

— «Ждал»... — Наверное, все-таки Гурин не очень был виноват, так как голос у комбата помягчел. — А теперь попробуй опять преодолеть это расстояние... Связные, быстро в роты — сведения о потерях. Быстро! Кушнарев, ну что там? Связь есть?

Кушнарев, бледный солдат-связист, сидел на корточках, крутил дрожащей рукой ручку коричневого пластмассового полевого телефона и плачущим голосом звал к трубке, которая висела у него над ухом:

— «Волга», «Волга», я «Дон»!.. Наверное, обрыв, товарищ комбат. Не отвечает, — сказал он, виновато глядя на комбата.

— Так пошлите кого-нибудь! Какого черта?! — Комбат кивнул на Гурина. — Ну-ка быстро: провод в руку — и бегом! Найдешь обрыв, соедини и обратно. Быстро!

Гурин вылез из траншеи, взял провод в левую руку и побежал. Пули изредка посвистывали вокруг, но он не обращал на них внимания, бежал так, что ладонь нагрелась от скользящего провода. Приблизительно на полпути к своим траншеям, откуда началось наступление, провод выскользнул из руки. Гурин поднял конец и, не выпуская его, стал искать другой. Наконец нашел его, потянул, взял оба конца в руки, присел на землю и почувствовал, что соединить их не сможет: провод был перерублен осколком и у обоих концов металлическая сердцевина скрывалась в пластмассовой оплетке. Нужен был нож, чтобы очистить концы, а его у Гурина не было. Он ткнул кончики проводов друг в дружку, они скользнули один о другой и тут же разминулись. С досады Гурин взял один конец провода в рот, стал грызть оплетку. С трудом размочалил один конец, затем другой, оголил проводки, скрутил их крепко и подался обратно. Увидев ход сообщения — ус, — который выдавался далеко в нашу сторону, прыгнул в него — кругом раненые. Одни сидели, привалясь к стенкам траншеи, другие лежали; они стонали, просили пить, звали на помощь. Санитары быстро перевязывали их, говорили раненым какие-то утешительные слова. Гурин осторожно пробирался по траншее и вдруг за очередным коленом увидел Степку. Бледный, без кровинки в лице, он сидел с закрытыми глазами, держал руку на перевязи и тихо звал:

— Мама... Ой, мамочка...

— Степа, тебя ранило? — присел возле него Гурин.

Тот перестал стонать, с трудом открыл глаза, прошептал:

— Ага... В плечо... — И улыбнулся неожиданно.

— Ты чего? — удивился Гурин.

— Повезло мне, правда? Ранило!..

К своим Гурин прибежал вовремя: как раз готовились к очередному штурму. Офицеры собирали солдат в одно место, где в сторону немцев был небольшой выход из траншеи — две ступеньки вверх и утоптанная тропинка через бруствер и далее в лощину.

Разъяренный комбат торопил офицеров и, когда в траншее скопились все оставшиеся солдаты, закричал:

— Вперед! Вперед!

Первый солдат перемахнул через бруствер и скрылся, тут же хлопнули выстрелы со стороны немцев. Второй солдат, пожилой и неуклюжий, замешкался, и комбат заорал истерично:

— Вперед! Что ты как баба!.. Вперед! Быстрее!

Тот вцепился руками в дерн, хотел подтянуться, но тут же упал обратно в траншею с кровавым пятном на лбу.

— Вперед! — кричал комбат. — Вперед!..

Приближалась очередь Гурина.

— Вперед! Вперед! — неистовствовал комбат.

Сжавшись в комок, Василий одним стремительным рывком перемахнул через бруствер. Две пули запоздало просвистели мимо. Жив! Вскочил, не помня зачем закричал «ура», выстрелил куда-то в сторону немецких траншей, пробежал несколько метров, упал. Снова вскочил, снова выстрелил и нырнул головой в большую, наверное от бомбы, воронку. Тяжело дыша, оглянулся. Там-сям лежали солдаты. Один из них перебежкой приблизился к Гурину, упал в соседнюю воронку.

Где-то совсем рядом заработал пулемет. Не вставая Василий вытащил гранату и лежа бросил ее в сторону пулемета. Но когда граната была еще в руке, он уже чувствовал, что она пропадет зря, далеко не полетит, однако удержать ее был не в силах — поздно. И действительно, граната разорвалась совсем рядом, обдав его землей. Гурин тут же выхватил другую, быстро вытащил чеку и, пока не рассеялся дым, встав во весь рост, швырнул вторую гранату как можно дальше. Швырнул и моментально юркнул снова в свое укрытие. А когда поднял голову, увидел на краю своей воронки молоденького солдата-казаха. Он смотрел на Гурина испуганными детскими глазами, хотел что-то сказать и не мог.

— Давай сюда, — поторопил его Василий.

Тот живо сполз в воронку, подобрал под себя ноги, смотрел на Гурина, ждал чего-то. Гурин оглянулся — больше никто к ним не приблизился. Наш пулемет дал две длинные очереди и затих. Немецкий тоже молчал.

Назад, в траншею, возвращаться Гурин не мог. Вперед бежать, в немецкие траншеи, вдвоем бессмысленно. Что делать — не знал. А казашонек смотрел на Гурина и чего-то ждал от него, каких-то действий, что ли, или слов.

— Подождем, — прошептал он, боясь, что их услышат немцы.

Солнце скрылось, сумерки стали быстро сгущаться. Потянуло прохладой.

Когда совсем стемнело, Гурин посмотрел на своего напарника, приложил палец к губам — тихо, мол, не шуми — и полез из воронки. Осторожно, еле сдерживаясь, чтобы не побежать, они, пригнувшись, ступая тихо, по-кошачьи, вернулись в свою траншею.

— Ой, живы! — радостно встретил их Алиев. — Живы! Быстро кушать и вперед — немес удрал.

— Как удрал? — удивился Гурин.

— Так — удрал! Догонять будем!

Они сидели с казашонком и ели кашу из одного котелка: тот свой где-то потерял. Ел, поглядывал на Гурина преданно, наконец сказал:

— Ты смелей!

— С чего ты взял?

— «Ура» кричал.

— Ну да? Не помню. От страха, наверное.

— И-и, хитрий!..

Гурин отмахнулся ложкой, но было приятно услышать такое, как-то даже сам в своих глазах вдруг вырос, зауважал себя, что свой страх смог так хорошо скрыть, а может, даже и подавить.

«Немес», к сожалению, удрал недалеко. Уже через час или полтора погони он обстрелял своих преследователей и заставил залечь. Долго лежали, вжимаясь в землю от каждой ракеты, ждали чего-то и ~~всего~~ на всякий случай окапывались. Потом сделали несколько перебежек, подошли поближе к противнику и принялись рыть окопы основательно.

Сложив свою амуницию, Гурин принялся долбить землю лопатой. Но не успел снять даже верхний слой, как подошел младший лейтенант Алиев и приказал идти к командиру роты.

Лейтенант Иваньков долбил малой саперной лопатой землю и аккуратно складывал плитки дерна в сторонке — для последующей маскировки. Когда Гурин доложил, он поднял голову, присмотрелся, узнал:

— А, это ты, Гурин? Жив еще?

— Живой...

— Молодец,— похвалил он его за что-то.— У тебя десять классов образования?

— Да.

— Грамотный, значит. Будешь связным у меня.

— Хорошо.

— Не знаю, хорошо ли...

— А что делать?

— Лопата есть? Давай вот помогай.

Гурин положил в сторонке винтовку, вещмешок, шинель, отцепил лопату и принялся за работу.

То ли они обнаружили окапывающихся у себя под носом солдат, то ли их напугали наши разведчики, немцы неожиданно так всполошились, что открыли стрельбу из всех видов оружия. Пулеметы били с разных концов, трассы схлестывались, переплетались, расходились в стороны и снова перекрещивались. А потом вдруг за немецкой обороной что-то железно заскрежетало, горизонт озарился вспышками, и послышался такой звук, будто рычало какое-то чудовище.

— Ложись! — Лейтенант прижал Гурина к земле и сам упал рядом.

В тот же миг один за другим там-сям раздались сильные рывающие взрывы. Не успели отвыть осколки, как снова раздался рычащий скрежет и снова взрывы в нашей обороне.

И вдруг все затихло, как и не было ничего.

— Что это? — спросил Гурин, отряхиваясь.

— «Ишак»,— сказал лейтенант. Потом пояснил: — Шестиствольный миномет... Опасная штука. Шахматным порядком кладет мины.

Взвилась с шипением ракета, осветила весь передний край. При ее свете Гурин увидел вдали телеграфные столбы, редкий рядок деревьев и насыпь. А за ними угадывались сады и беленькие хатки.

— Похоже, село какое-то?..

— Зеленый Гай,— сказал лейтенант.

— А там... где мы в обороне сидели? Тоже Зеленый Гай, говорили?

— С другого фланга.

В сторону противника медленно пролетел наш «кукурузник», по нему стали бить несколько пулеметов, светящиеся трассы скрещивались в небе. В ответ «кукурузник» повесил над немцами большую лампадку, послышалось несколько глухих разрывов, и вскоре он так же не спеша пролетел в обратную сторону.

— Помог,— сказал лейтенант, провожая самолет.

Василий не понял, то ли всерьез он сказал это, то ли пошутил: уж больно по-мирному стрекотал мотор у этого бомбовоза.

Уже далеко за полночь, основательно уработавшись, Гурин и Иваньков уложили на бруствер последние дернины и сели на дно окопа друг против друга отдохнуть, словно обживали свое новое жилье. Длинный сутулый лейтенант смотрел прямо перед собой, о чем-то думал. Потом встрепенулся, посмотрел на часы, осветив их карманным фонариком.

— О! — удивился он.— Время бежит!.. Сейчас пойдут за завтраком, и ты с ними. Принесешь нам на двоих.

Вещмешок Гурина лежал наверху. Василий вылез из окопа, выпро- стал из мешка котелок, принялся освобождать его нутро от разных

вещей. Чтобы сэкономить место, он хранил в котелке полотенце, носовые платки и завернутое в газету мыло. Собственно, это и было почти все его имущество. Отдельно лежали лишь общая тетрадь в клеточку с портретом Пушкина на обложке — в ней были его стихи — да томик рассказов Короленко, который Василию раскрыть пока что ни разу не удалось.

— Мала посудина, — сказал лейтенант, кивнув на котелок, и тут же взял каску, зажал ее коленями, стал выдирать из нее подушечки. Выдрал, выбросил за бруствер, дунул в каску. — Во! Сюда возьмишь кашу. Хватит нам? — Он чуть улыбнулся. — Беги во взводы, скажи — пусть выделяют людей за завтраком. И ты с ними.

Одна каска на голове, другая в руке, винтовка, котелок, за спиной вещмешок. Шинель тяжелая — в карманах патронов полно. Хорошо гранаты вчера побросал, легче стало. Побежал Гурин в один взвод, в другой, в третий. А третий далеко почему-то оказался, между третьим и вторым откуда-то взялись артиллеристы, «сорокапятку» свою окапывали, маскировали. Молодцы: на самую передовую выкатили, прямой наводкой будут бить. Хотя что такое прямая наводка, Василий толком еще не знал, но по смыслу догадывался: прямо в лоб.

Собрали солдаты котелки и побежали гуськом в тыл. Прибежали, а там уже кухня ждет их. Подставил Гурин каску, повар плюхнул туда полный черпак каши, еще зачерпнул, добавил до краев. На двоих.

— Доппаек на лейтенанта получи. — Он бросил пачку печенья и крепкий, бесформенный, как булыжник, кусок сахара. — Все. Масла сегодня нет.

Отоварившись первым, Гурин не стал ждать остальных, пустился в обратный путь один. Прибежал к лейтенанту, упал на край окопа, выдохнул облегченно. Протянул ему доппаек, тот взглянул на него, махнул:

— Оставь пока у себя.

После завтрака, облизав ложки, Гурин сунул свою в вещмешок, а лейтенант — в полевую сумку.

— Ну? Что-то долго думают — никаких распоряжений. А эти гады уже одолели. — Он полез под мышку и с остервенением почесался. — Вши одолели, — сказал он без стеснения.

— Это от тоски, — знающе объяснил Гурин.

— Какой там... Ранит меня, если не убьет.

Гурин молчал, и он продолжил:

— Я уже приметил. Семь раз был раненый, и всякий раз вот такая штука. Откуда только берутся. Три дня как в бане был, чистое белье надел, а они вот, будто подсыпал кто... Это уж у меня приметой стало...

— Семь раз? — удивился Гурин.

Прибежал связной от комбата, распластался с разбегу на краю окопа, поправил каску, свалившуюся на глаза, выдохнул:

— Товарищ лейтенант... Комбат приказал подвинуть роту на правый фланг — ликвидировать разрыв... Разрыв там большой образовался...

— Прямо сейчас? — уточнил лейтенант.

— Да. Срочно, — подтвердил связной.

— На виду у немцев?

Связной промолчал. Да это к нему и не относилось, последнее лейтенант проговорил скорее для себя.

— Слышал? — Он посмотрел на Гурина. — Беги во взводы, передай приказ. Начала в третий взвод. Скажи лейтенанту Пучкову: пусть по одному, поотделенно короткими перебежками начинает продвижение.

— А как же окопы? — невольно вырвалось у Гурина: ведь всю ночь люди мучились — копали, долбили, маскировали.

— Какие окопы?

— Ну, эти...

— С собой возьмем,— сказал лейтенант, хмыкнув.— Бегом, выполняй приказание. И тут же обратно.

Выскочил Гурин из окопа и направился в третий взвод. Добежал туда без приключений: немцы всего два или три выстрела сделали по нему. Да и то, наверное, не очень целясь — пули пропели далеко от него. Просто поугаать решили.

Пучков, смуглолицый остроносенький молодой лейтенант, выслушал Гурина, чертыхнулся, сплюнул себе под ноги, буркнул: «Хорошо...» — и стал натягивать на кудрявую голову пилотку потуже, готовясь к перебежкам.

От третьего ко второму Гурин бежал от окопа к окопу короткими перебежками, а иногда полз по-пластунски: немцы, видать, уже засекли его — просто так под огнем не будет человек мотаться — и принялись охотиться за ним, стали стрелять чаще и точнее, пули вжикали совсем рядом.

Кажется, уже на последнем издыхании, окончательно умаявшись, добрался он наконец до своего взвода, передал приказ Алиеву и остался лежать возле окопа не в силах подняться. Однако отдышался немного и пустился в обратный путь. Пробежал несколько метров, упал, и пуля тут же вжикнула. «Ого, вовремя упал,— подумал Гурин.— Еще бы один миг — и как раз бы...» Но делать нечего, надо бежать дальше, и Гурин скомандовал себе: «Пора!» Подтянул ноги почти к самому подбородку и рванулся вперед. Но не сделал и половины обычной своей перебежки, как что-то рвануло его за воротник шинели и дунуло холодком в затылок. Догадался: пуля воротник зацепила. «Метко бьет, наверное снайпер... Надо затаиться, пусть думает, что убил, и отвлечется...» — решил Гурин перехитрить снайпера. Затаился, лежит не шевелясь, притворился мертвым, как божья коровка. Рассчитывает: «Ну, теперь он уже, наверное, смотрит в другую сторону, похоронил меня. Пора!» И снова Василий подтягивает незаметно ноги, собирается с силами, чтобы сразу, вскочив, набрать максимальную скорость. Вскакивает и бежит. Бежит, а сам лихорадочно определяет: «Теперь он заметил меня, целится, сейчас выстрелит...» Гурин падает, и тут же рядом в землю впивается пуля. «Ага, не успел, гад!..— торжествует Василий.— Ну, теперь надо полежать подольше, чтобы он посчитал меня убитым. Сейчас он во все глаза смотрит». И снова Гурин лежит затаясь. «Вот повезло... Все в окопах сидят, а я бегаю, как заяц... Нет, он меня не убьет, я должен жить,— начинает сверлить мозг ставшая обычной здесь его «молитва».— Не убьет...— А сам думает о немце, который охотится за ним: — Ну, теперь, наверное, он уже отвлекся, может, уже и сказал кому-то там: «Айн рус капут». Так пока они там разговаривают, надо сделать еще рывок...»

Гурин вскакивает, бежит и снова определяет: «Целится, целится, сейчас выстрелит...» — падает, и тут же с каким-то остервенением впивается в землю пуля.

Счет потерял Гурин, сколько раз вскакивал, сколько раз прикидывался убитым, чтобы обмануть снайпера, сколько раз призывал себе на помощь и свою «молитву» и матери, а только добрался он все-таки до комроты живым и невредимым. Да еще и духу хватило доложить:

— Ваше приказание выполнил...

— Вижу. Третий взвод начал перебежку. Пора и нам. Пошли,— Он взял в одну руку шинель, в другую автомат.— За мной!

Не отдохнув, не отдышавшись даже, Василий последовал за ним.
— Быстрее, быстрее! — кричал лейтенант солдатам и сам бежал вперед.

Он пробежит, упадет, потом то же расстояние преодолевает Гурин. И вдруг лейтенант упал как-то неестественно и быстро, не успев и двух шагов сделать. «Убило...» — подумал Гурин и подполз к нему.

— О!..— простонал тот и с досадой проговорил: — Так я и знал... Передай по цепи: командир роты ранен. Вместо себя назначаю лейтенанта Пучкова.

Подхватился Гурин, побежал наперерез солдатам. Увидел: залег один, он к нему. На счастье, это оказался сам Пучков. Уткнулись друг в друга головами, чтобы не задели осколки, разговаривают громко.

— Ладно. Понял. Беги к нему.

Вернулся Гурин к Иванькову — тот лежит вниз лицом. Гимнастерка на спине пропиталась темной кровью, худые лопатки выпирают острыми углами.

— Передал? — спросил он, когда Гурин упал рядом. — Молодец. А теперь возьми мой автомат и шинель — и за мной.

Он поднялся, сначала неуверенно, качаясь, сделал шаг, другой, обрел устойчивость и побежал в тыл. Гурин за ним. Бежали долго, не останавливаясь. Наконец он увидел окопчик, повернул к нему, упал.

— Сними с меня гимнастерку.

Расстегнув ремень, Гурин стал стягивать с него гимнастерку. На спине она прилипла, и Гурин отдирает ее осторожно, чтобы не сделать лейтенанту больно. Но тот нетерпеливо сказал: «Быстрее» — и повалился вниз лицом.

Так и не сняв гимнастерку, а лишь закатав ее вместе с нижней рубашкой на голову, Гурин уткнулся на худую, костистую спину лейтенанта, всю залитую кровью. Присмотревшись, он увидел, что у командира роты пробиты обе лопатки. Из ран сочилась кровь.

— Что там? — спросил лейтенант. — Попробуй перевязать... В левой сумке пакет. — Он сел, поднял вверх руки, чтобы Гурину было удобнее перевязывать.

Развернув пакет, Василий приложил мягкую подушечку к левой лопатке, протянул бинт через правую и, придерживая одной рукой подушечку, другой рукой поддел бинт ему под мышцы. Вторым витком закрепил подушечку и стал разматывать пакет вокруг груди.

— Туже, — сказал лейтенант.

Гурин натянул бинт, и сквозь него тут же четырьмя кляксами проступила кровь. Забинтовав, Василий опустил рубашку и гимнастерку, стал застегивать ремень.

— Я сам. — Лейтенант отобрал у него пряжку.

Пока он возился с ремнем, Гурин стоял над ним, готовый прийти на помощь. А потом как-то машинально огляделся вокруг и неожиданно удивился всему — и в первую очередь простору. Горизонт был далеко-далеко. Над полем стеклянным куполом висело по-летнему чистое голубое небо. Вдали виднелась посадка, там ходили во весь рост люди, за посадкой урчали машины. На западе, там, где они оставили свою роту, вспыхивали черные фонтаны земли от разрывов немецких мин. Но казались они такими далекими и безобидными, что и не верилось в их смертоносность. «Простор!.. Простор-то какой!.. И можно стоять во весь рост!» Гурин смотрел вокруг так, будто был выпущен на свет божий из долгого и темного заточения. До сих пор видел перед собой только землю и ходил по ней не иначе как согнувшись, да и не ходил, а бегал, ползал по ней, сидел в ее глубине. Мимо проплыла паутинка, паучок на ней полетел куда-то. Гурин проводил ее глазами. «Боже мой, благодать-то какая!..»

Гурин помог лейтенанту подняться, подобрал вещи, поплелся назад, нагруженный своей и лейтенантской амуницией. Они шли во весь рост, и это больше всего удивляло Гурина: он отвык от такой ходьбы, забыл уже, что можно ходить нормально.

Санбат располагался в роще. Тут было раскинуто несколько больших, как дом, палаток — с квадратными окошками, с подведенными к ним электрическими проводами. Возле палаток сидели и лежали раненые — одни уже перевязанные, другие еще ждали своей очереди. Одни стонали, просили о помощи, другие матерились громко, чем-то

были недовольны, третьи как-то отрешенно и обреченно молчали.

Лейтенант кивнул на тень под деревом, сказал Гурину: «Жди меня здесь», а сам пошел в одну из палаток.

Сразу лейтенант не вышел, и Василий решил воспользоваться передышкой и написать матери письмо. Достал из вещмешка тетрадь, вырвал с конца чистый лист и стал писать:

«Дорогая мама! Я вот уже который день на фронте. Повидал за эти дни немало. Но у меня все в порядке. Сейчас привел в санбат своего командира роты, его тяжело ранило. Он пошел к врачам, а я пишу вам письмо. Хороший лейтенант, добрый. Да здесь все хорошие.

Как там Танюшка, Алешка? Привет им. У меня все хорошо, мама! Ваш сын Вася».

Написал, и вдруг взгрустнулось. Давно не видел своих, кажется, сто лет уже прошло с тех пор, как он расстался с матерью в Пологах. Свернул письмо треугольником, адрес надписал. Долго думал, указывать ли обратный адрес, свою полевую почту. Напрасно писать будут, разве на передовой можно получить письмо? Не успеешь... Но на всякий случай приписал. «Пусть, маме легче будет — все-таки есть куда писать ей».

Из палатки лейтенант вышел не скоро, а когда он появился, Гурин не сразу узнал его: обе руки его были продеты в петли из бинтов, которые свисали с шеи на грудь. Эти-то многочисленные бинты и делали Иванькова неузнаваемым. Лицо было бледным, осунувшимся, глаза усталые.

— Ну вот и все, Гурин. Опять в госпиталь.

Василий не знал, что сказать, вскочил на ноги, стоял, смотрел на бинты.

— Накинь мне шинель на плечи, только осторожно. Вот так... Во... Спасибо. Знобит что-то... Письмо написал? — Лейтенант увидел треугольник на вещмешке. — Молодец.

— Да. Только не знаю, куда его тут опустить.

— Оставь мне, я отправлю. У меня теперь свободного времени много будет. В полевую сумку положи.

Положил Гурин письмо и туда же стал перекидывать лейтенантов допцак — печенье и сахар. Тот увидел, остановил:

— Не надо, не надо. Себе оставь.

— Спасибо... — Гурину было неудобно. Помялся немного, нерешительно спросил: — Ну так я пойду? — И тут же поправился: — Мне можно идти?

— Пойдешь-пойдешь, не торопись, — сказал Иваньков. — Слушай меня внимательно. Здесь, в той стороне, с километр, не больше, — указал он подбородком на восток, — тылы нашего батальона. Я узнавал. Наша кухня там. Пойдешь туда и вечером вместе с кухней возвратишься в роту. Так вернее будет и безопаснее. Иначе ты заблудишься. Понял?

— Понял.

— Ну вот... — Лейтенант выпростал из бинта правую руку и, морщась от боли, протянул Гурину. — Прощай. Желаю тебе удачи.

У Гурина в носу защеколало — растрогался, жалко лейтенанта стало: хороший человек. Пожал его руку и нагнулся за вещмешком и винтовкой.

— Ты вот что, — сказал лейтенант. — Винтовку свою мне оставь, а себе возьми автомат.

— Автомат? — обрадовался Гурин. Подхватил с земли автомат, повесил себе на шею, улыбнулся лейтенанту благодарно. — Удобный какой: легкий, ловкий! — Ладонью погладил его, сжал крепко, схватил за шейку приклада — не верится в такое счастье. — Спасибо, товарищ лейтенант! До свидания!..

И Гурин пошел. Идет, а руки на автомате держит — одну на приклад положил, другую на кожух. Идет вразвалочку, точно так, как

тот солдат, которого он впервые встретил на своей улице после оккупации. Радость распирает Гурина, хочется показаться кому-то, покрасоваться, похвастаться. Но перед кем? Кого тут удивишь? Но ему все равно радостно, будто награду получил.

Вечером вместе с кухней приехал Гурин на передовую. В условленном месте их уже ждали солдаты с котелками, с ними он вернулся в свою роту. Доложилась младшему лейтенанту Алиеву, тот выслушал его, сказал:

— Ничего, жив будет... А ты, Гурин, принимай первое отделение.

— А сержант где?

— Нет сержанта, убил немес. Ты командир первого отделения. Мало людей осталось. Взвод — тринадцать человек. Твое отделение — четыре человека. Иди командуй. Наблюдение за немсем установи. Утром опять наступление.

— Днем наступали?

— Наступали. Три раза. Немес укрепился крепко. Иди командуй.

Гурин пошел в свое отделение. Солдаты, сидя у окопов, ужинали. Первым Василий встретил казашонка. Тот увидел Гурина, заулыбался как родному. И Гурин ему обрадовался:

— Привет, Рахим. Позови всех ребят сюда.

Рахим повиновался и привел отделение к своему окопу. Солдаты недоуменно смотрели на Гурина, молча рассаживались на земле.

— Беседа будет? — спросил один.

— Да нет, — сказал Василий. Ему было неловко в новой роли, не знал, с чего начать разговор. Наконец собрался с духом, объявил: — Меня назначили командиром отделения... — И замолчал. — Ну вот... — И это «ну вот» получилось точно как у лейтенанта Иванькова. — Ну вот, — повторил он. — Утром будет наступление. А сейчас основное — наблюдение за противником. Я думаю, всем наблюдать не имеет смысла, будем дежурить по очереди. Разделим ночь на пять частей, на каждого придется часа по полтора, по два, а остальным можно поспать. Ну вот... Пока все. По местам.

Перед рассветом Алиев вызвал Гурина к себе.

— Слушай, Гурин. Организуй, пожалуйста, это... Накорми взвод. Возьми двух человек, пойди на кухню. — И пожаловался: — А я совсем больной. Живот так режет, так режет. Колет прямо.

Взял Гурин двух человек, пошел за завтраком. Дорога была знакома, и он с этой задачей справился легко и быстро.

Когда рассвело, Алиев снова вызвал Гурина к себе.

— Слушай, Гурин. Иди сюда, в мой окоп. Скоро наступление, а я не могу — больно. Будешь команду подавать взводу. — Он подвинулся к стенке, освобождая место Гурину.

Но наступления утром не было, отменили. Об этом передали по цепи, и солдаты расслабились, повеселели, напряжение спало.

Наступление началось во второй половине дня. В три часа заговорила наша артиллерия, и Гурин прокричал вправо и влево из окопа: — Приготовиться к атаке! Приготовиться к атаке!

Алиев смотрел на часы — вот-вот наша артиллерия перенесет огонь в глубь обороны и взвод должен броситься на штурм.

— Вперед! — сказал Алиев.

И Гурин прокричал:

— Вперед! В атаку — вперед! Впере-е-ед! — И сам стал вылезать из окопа.

— Подожди. — Лейтенант дернул Гурина за шинель. — Посмотри, все пошли?

Немцы стали огрызаться минометами, мины обрушились на наши окопы. Гурин посмотрел влево, вправо, солдаты по одному выскакивали из окопов, устремлялись вперед, но тут же залегали.

— Вперед! — закричал Гурин снова. — Взвод, впере-е-ед! — Обернулся к лейтенанту. — Все уже пошли.

— Ну давай... Командуй! Ты — командир взвода. Давай...

Выскочив из окопа, Гурин устремился вслед за солдатами. Но не успел он сделать и одной перебежки, как что-то тяжелое и громоздкое ударило его в спину, и он упал. Какая бывает боль от пули, от осколка, он не знал, но ему казалось, что это должно быть ощущение какое-то острое, мгновенное. А тут удар словно дубиной.

Правая рука онемела, во рту сразу пересохло, затошнило. Однако он сделал усилие, поднял голову — солдаты перебежками рвались вперед. Справа откуда-то издалека донеслось многоголосое «ура». Гурин посмотрел в ту сторону и увидел наши танки. Много танков, передние уже были далеко в глубине немецкой обороны. «Прорвали наши! — догадался он. — Обходят!..»

И точно: немцы стали выскакивать из траншей и убегать. Обрадованные таким успехом, подчиненные Гурина тоже закричали «ура». Поддаваясь общему настроению, Василий вскочил и побежал догонять своих. Добежал до немецких позиций, хотел перепрыгнуть траншею с ходу, но край земли обрушился и он упал вниз. Хотел вырваться из нее — не смог: правая рука не повиновалась, в плече кольнула острая боль. Спина была мокрой, и Гурин понял, что это кровь... Ему сделалось плохо, снова затошнило. Но он не потерял сознание, он изо всех сил старался не потерять сознание. Уткнулся лбом в холодную стенку — стало лучше.

Тут подскочила санитарка — откуда она взялась, первый раз увидел: молоденькая блондиночка, шустрая такая, — помогла снять скатку, задрала гимнастерку, потом сняла ее совсем, стала перевязывать плечо через грудь, через спину, накрутила бинтов — тепло от них сделалось, будто в телогрейку одела. Подмигнула:

— Тебе повезло, родненький: кость, кажется, цела, не пробило. Недельку прокантуешься в госпитале и пойдешь дальше!

Пока она перевязывала Гурина, в траншее набилось полно раненых, стонущих, нетерпеливых, и девчужка всем успевала ответить, помочь, успокоить:

— Потерпи, родненький... Потерпи, милый... Все будет хорошо.

В сумерки раненых стали выводить с передовой. Тяжелораненых вывозили телегами, легкораненые, ходячие, шли своим ходом. Гурин тоже был ходячим и относился к числу легкораненых, хотя чувствовал себя совершенно обессиленным и, преодолевая боль, еле плелся в санбат. Возле кухни, которая привезла ужин, остановились передохнуть и поужинать. Гурина есть не хотелось, он сидел, терпеливо ждал, когда их поведут дальше.

Повар узнал его, окликнул:

— Эй, солдат! Это ты вчера со мной ехал на передовую?

— Я, — сказал Гурин.

— А сегодня уже обратно?

— Ранило... — Василий чувствовал себя скверно, ему было не до шуток. Наверно, крови много потерял.

Повар заметил это, подбодрил:

— Крепись. Сейчас раздам ужин — подвезу.

Кончил кормить людей, задрал винтами крышку, махнул Гури-ну:

— Иди садись. — И когда тот подошел, помог ему забраться наверх.

Усевшись на округлую крышку, которая была еще теплой от недавнего варева, Гурин уцепился левой рукой за винты-барашки, и повар тронул лошадь. По бездорожью ехать было тряско, каждая неровность отзывалась острой болью в плече, и Гурин тихо стонал. Сидеть на куполообразной крышке было неудобно, на глубоких выбоинах его подбрасывало, и он готов был сорваться под колеса. И лишь неимоверным усилием левой руки он удерживал себя на этой колеснице.

Наконец добрались до санбата. Гурин сполз с кухни и присел у палатки: тут была очередь на перевязку. Среди раненых ходили санитарки, выбирали самых тяжелых, кому нужна была срочная помощь, клали на носилки и уносили в палатку.

Гурин уже знал, что он легкораненый, и потому приготовился к долгому ожиданию.

Только далеко за полночь дошла очередь и до него.

В центре палатки Василий увидел большой, блестящий от воды стол. Над ним горела электрическая лампочка. Вокруг стола, скрывая головы в тени примитивного абажура, стояли в белых халатах врачи.

— Быстрее! — нетерпеливо повторил один из них, высокий и худой. Голос его Гурину показался сердитым, резким.

Один из санитаров помог Гурину раздеться и заставил его лечь на мокрый и холодный стол голым животом. Василий молча повиновался. Ему сделали противостолбнячный укол, потом чем-то холодным вытерли лопатку, и он, вдруг почувствовав острую боль, невольно равнулся левой рукой к правому плечу. Врач резким ударом отбросил его руку и снова сделал ему больно.

— Пинцет! — бросил коротко кому-то, и снова Гурин ощутил нестерпимо болезненный рывок. — Все, — сказал врач и бросил что-то в тазик на полу. Это «что-то» металлически звякнуло. То был осколок от мины, застрявший у Гурина в правой лопатке. — Повязку! — приказал он и отошел от операционного стола. — Готовьте следующего.

На рану наложили большой тампон и, посадив Гурина на табуретку, стали бинтовать. Василий взглянул на доктора. Он стоял в сторонке, сдвинув брови, сосредоточенно курил. Глаза у него были красные, усталые, вокруг глаз темные набрякшие круги.

Гурина одели, повесили ему на шею петлю из бинта, вложили в нее правую руку и вывели из палатки. Подвели к группе раненых, которые в самых неестественных позах сидели и лежали на земле, сказали:

— Жди.

Вскоре пришла грузовая машина, их посадили в кузов и повезли. Везли долго. Только к утру приехали на место.

Длинные кирпичные коровники были оборудованы под полевой госпиталь: полы вычищены и устланы толстым слоем свежей соломы. На этой соломе головами к стене в два ряда лежали раненые.

Волоча в левой руке свой мешок, Гурин прошел в глубь коровника, нашел свободное место и лег. Натруженная в дороге рана дергала, словно там бился обнаженный нерв. Постепенно усталость сморила, и он уснул.

Разбудили его санитары — раздавали завтрак. Они волокли по проходу большой бак и, черпая из него суп, разливали по котелкам. Однорукие с непривычки неумело терзали свои вещмешки здоровой рукой, неловко подставляли котелки, ругались беззлобно. Кроме супа, раненым дали по куску хлеба и по два квадратика пиленого сахара.

Через какое-то время санитары вновь волокли по проходу большой бак и предлагали чай. О, это уже была такая роскошь, в которую не сразу и верили. Чай! Настоящий чай — горячий, коричневый, с плавающими чайниками! Правда, он сильно отдавал запахом супа и на поверхности его обильно поблескивали жировые кружочки, но все равно это был чай. Он согревал душу.

Позавтракав, Гурин снова улегся. От соломы пахло знойным летом, хлебом, миром. Гурин вдыхал этот желанный запах и понемногу отходил от того напряжения, испуга, в состоянии которых он был последние дни. «Сколько же дней я пробыл на передовой? Всего три?.. Пять?.. Не больше недели. А сколько событий, сколько людей промелькнуло! Как в кино... Неужели все это возможно на самом деле, неужели все это было и я там был?..» — удивлялся Гурин.

На улице шумел дождь, барабанил по черепичной крыше корсв-

ника. Первый осенний дождь. «Опять мне повезло,— думал Гурин. — За все время ни одного серьезного дождя, а на передовой так и вовсе все дни было сухо и солнечно. Каково в такую погоду в окопах? — Он невольно поежился. — Повезло...»

Пришел замполит и прочитал последнюю сводку Совинформбюро. Гурин слушал внимательно, боясь пропустить хоть одно слово. Ведь это сообщение за вчерашний день, как раз когда его ранило. Он ждал, что в нем будет расписана вся жуть, какую он пережил, но там лишь сухо подводились итоги. И он разочарованно подумал, что сводка об их наступлении совсем ничего не сообщает...

Кончив читать, политрук пошел вдоль прохода, заговаривая с ранеными.

— А Зеленый Гай взяли? — спросил у него Гурин, когда тот поравнялся с ним.

— Зеленый Гай?.. Не знаю... Это что, твоя родина?

— Нет. Там меня ранило...

Наши наступали, занимали сильно укрепленные пункты, города, а Зеленого Гая все не было, будто его и вовсе не существовало. Даже обидно было — столько там полегло, а в сводках ни слова. И только в сообщении за 22 октября он вдруг услышал: «В течение 22 октября в районе севернее города Мелитополь наши войска в результате упорных боев сломали сопротивление противника и овладели сильно укрепленными пунктами его обороны — Карачекрак, Эривостка, Украинка, Калиновка, Кренталь, Зеленый Гай, Ильиновка...». «Наконец-то! — чуть не закричал Гурин, услышав знакомое название. — Вот, оказывается, сколько дней еще там бились! Сколько же там полегло наших?»

Встречи

Раненые все прибывали, в коровниках становилось все теснее. Госпитальное начальство нашло выход: всех ходячих стали расселять по хатам. Повели первую группу, в нее попал и Гурин, потекли они медленно по мокрой улице, останавливаясь у каждого двора.

— Сюда три человека,— указывал провожающий.

Трое направлялись в ворота, а остальные шли дальше.

— Сюда пять. Вот вы,— отсчитал он пять человек. — Идите.

Наконец дошла очередь до Гурина.

— В этот дом шесть.

— Ого!

— Ну что «ого»? Надо же как-то людей размещать! Так. Шесть. Ты шестой,— отделил провожатый Гурина от остальных. — Идите. Вы будете старшим,— сказал он самому пожилому из группы. — Как ваша фамилия?

— Ефрейтор Харабаров.

Тот записал фамилию и повел толпу раненых дальше.

Раненые вошли в хату и остановились у порога: перед ними была чистенько смазанная земля и на ней разноцветная домотканая дорожка. Солдаты поглядывали на свои мокрые шинели, на грязные ботиночки, сапоги и не решались ступить дальше.

— Ничего, ничего,— пропела хозяйка в белом платочке. — Проходите... Там вы будете жить,— указала она на дверь в горницу.

У стола сидел бородатый старик, крутил сигарку, смотрел на солдат хмуро и так же хмуро поддержал свою старуху.

— Проходите, чего уж там,— кивнул он на ноги солдат.

В горнице для них была приготовлена постель: аккуратно разложенная свежая солома на земляном полу застелена сверху чистым рядном. В головах вместо подушек возвышался соломенный валик. Пока другие разглядывали опрятную горницу, рушники, развешенные в углу над иконами и над увеличенными фотографиями на

стенах, Гурин поспешил занять крайнее место, обеспечив себе спокойствие с правого фланга. Бросил под лавку вещмешок, сам опустился на постель и утонул в рыхлой, взбитой заботливыми руками соломе.

Пока раненые устраивались, обминали свои ложа, к ним никто из хозяев не заходил, и солдаты решили, что те так и будут вести себя отчужденно. Но они ошиблись. Вскоре дверь в горницу открылась и на пороге появился старик. Оглядел их и, почесывая в бороде, спросил:

— Ну як тут?.. Вмистылысь? Тисновато?

— Ничего... — не сразу ответил за всех ефрейтор Харабаров, мрачный, малоразговорчивый сибиряк.

— Може, що треба?

Раненые молча переглянулись, пожали плечами — вроде никому ничего не надо. Харабаров ответил:

— Нет, спасибо. Мы и так вас стеснили.

— Об этом не турбуйтэсь,— проговорила из-за спины старика хозяйка. — Може, голодни, зварыты щось треба? У нас е картопля.

— Варить ничего не надо, хозяйюшка, нас кормят.

— То, може, постирать?

— Это пожалуй... — Харабаров посмотрел на своих. — Соберем, если вам нетрудно будет.

— А шо ж тут трудного? Може, и наш Ивашка дэсь отак, бидолага, мається...

— Сын, что ли?

— Да. На хронти. — И она засморкалась, заплакала, ушла к себе. Наступила пауза, и тогда сосед Гурина спросил у старика:

— Папаша, а как ваше село называется?

— Чапаевка.

— Чапаевка? Разве тут Чапаев был?

— Ни. Тут Махно лютовав,— оживился старик. Он указал на окно рукой. — Отуточки, версты з три, станция Пологи, а там дали — Гуляй Поле... Ото он тут и бигав.

«Пологи? — удивился Гурин. — Опять Пологи? Это же те Пологи, где нас обмундировывали!» — обрадовался он: все-таки знакомое место.

Разговор кончился, старик ушел, а квартиранты занялись своими делами, кто чем. Гурин достал из мешка тетрадь со стихами, вырвал с конца чистый лист, стал писать матери письмо. Сосед увидел, попросил листок себе. Василий выдрал и ему, а потом уже было неудобно прятать тетрадь, и он оделил всех чистыми листочками. С бумагой было туго, он знал это, а у него тетрадь толстая, стихами исписана только наполовину, останется и на стихи.

К ночи рана его, как обычно, начала давать знать о себе. Ныло плечо, и нельзя было шевельнуть рукой, чтобы не ойкнуть. Каждое движение, даже левой рукой, даже ногой — все тут же отзывалось в плече болью, которая долго потом не утихала. Гурин не находил себе места, а когда наконец нашел его и плечо успокоилось и он начал забываться сном, пришла другая беда — ему нестерпимо захотелось на двор. Он крепился, чтобы оттянуть это дело как можно дальше, ведь вставать для него — целое несчастье: одной рукой надевать ботинки, шинель, открывать двери, выходить в холод на улицу и идти куда-то за сарай. Потом возвращаться... Беспокоить людей... Но самое-то главное — опять натрудит рану и будет потом долго корчиться, возиться, пока найдет то единственное положение, в котором начнет все затихать.

Но делать нечего, встал осторожно, сунул в холодные ботинки босые ноги, натянул на плечи шинель, пошел. В сенях долго возился с запором — не знал, как он открывается, и поэтому никак не мог с ним совладать в темноте. Слышит: кто-то идет ему на помощь. Хозяйка.

— Извините, бабушка,— сказал ей Гурин, а самому и стыдно и больно.

— Ничего, ничего,— успокоила она его. Открыла дверь и вернулась в хату.

Вышел Гурин на волю, поежился. Мелкий холодный дождь сечет лицо, ноги разъезжаются по грязи, но он упорно идет куда надо.

Возвратился, разделся, а лечь не может: больно нагибаться. Он и так и эдак — никак. Наконец, стиснув зубы, упал на левый бок, застонал: «Ой-ой-ой!.. Мама!.. Мамочка!..»

Днем Гурин подарил бабушке кусок сахара. Хотел отдать и печенье, но раздумал, оставил до другого раза.

Увидев сахар, она обрадовалась, а потом стала отказываться:

— Куды ж його? Так много! Ни-ни, сами з чаем выпьете.

— Нам дают,— сказал Гурин, и тогда она взяла сахар и спрятала его в большую эмалированную чашку, задвинув поглубже в шкаф.

На курево раненым давали листья табака. Гурин не курил и весь свой пай дарил старику. Старик не скрывал своей радости, и Гурину было приятно, что он нашел, чем хоть немного отплатить старикам за гостеприимство.

Прошел день, другой, и жизнь в доме наладилась. Солдаты регулярно ходили на перевязку и каждый день по очереди за обедом на кухню. Котелки были не у всех, да они оказались и не очень удобными в этих условиях: в одной руке лучше держать одну большую посудину, чем пять или шесть котелков. Такую посудину им дала хозяйка — большой толстопузый выщербленный кувшин — глечик. Дед Гнат обвязал вокруг шеи глечика пеньковую веревку и из нее же сделал петлю — будто дужка на ведерке. Удобно и вместительно. Держишь за веревку кувшин и несешь в нем суп на всю компанию.

Вскоре, правда, эта компания стала распадаться: у двоих оказалась совсем недалеко их родина и они каким-то образом умотали домой. Двое проникли в ближайшие хутора, пристроились там у одиноких вдов и оттуда ходили на перевязку. И Харабаров вскоре, встретив земляка, перебрался к нему.

Гурина тоже подмывало махнуть домой, но он не решался: все-таки не близко. А их предупреждали: всякое отсутствие более трех суток считается дезертирством. И он остался один со стариками. За обедом по-прежнему ходил с щербатым кувшином и угощал госпитальным супом своих хозяев, которые жили очень бедно. В погребе у них была одна «картопля» да бочка соленой капусты.

У Гурина оказалось много свободного времени, он читал Короленко, почти каждый день писал домой письма, сидел со стариками, слушал дедовы рассказы о махновщине. В хорошую погоду бродил по селу и раза два дошел даже до станции Пологи. Толкался среди толпы на вокзале, смотрел на поезда, которые уходили на восток. Два перегона всего до родины: Пологи — Волноваха и Волноваха — Сталино. И все. А там три часа пешего хода — и он дома. А случится попутка — так и за полчаса можно добраться. «Рискнуть, что ли? — приходила сладкая до одурения мысль. — Сесть вон на тормозную площадку. Ну пусть сутки до Волновахи, да там сутки, да там... Максимум трое суток. И обратно трое. Вполне можно успеть: на перевязку я хожу через семь дней. Ну а один раз приду через восемь — какая беда? Рискнуть? Маму увижу, Алешку, Танюшку. Вот удивятся!»

И уже совсем было решался, направлялся к поезду, и тут пришла другая, здравая и потому неприятная мысль: «Ну и что? Ну приедешь, покажешься, расстроишь всех — и в обратный путь? Опять слезы, проводы, бегодня, суетня — мама побежит по соседям взаимно просить денег, продуктов... А тут? Вдруг кинутся — нет на месте. Три дня потерпят, а потом подадут в розыск. Дезертир... Нет, потерплю...»

И Гурин, уже стоя у тормозной площадки, в последний момент отговаривал себя. Состав медленно трогался и, набирая скорость, про-

ходил мимо. Вот отстучал колесами последний вагон. Гурин смотрит ему вслед: качается на тормозной площадке одетый в тулуп старший кондуктор, все дальше уходит поезд... Вот уже скрылся за поворотом и шум от него затих, а Гурин все стоит... «Может, напрасно не рискнул?...» Наконец медленно поворачивается и медленно идет в свою Чапаевку.

Но ему определенно везло в жизни: все равно что-нибудь хорошее, радостное да случится.

Однажды стоит он в длинной очереди раненых к кухне и видит: идет какая-то женщина в их сторону. Идет медленно, в солдат всматривается, будто ищет кого. И вдруг показалось ему, что на ней очень знакомая телогрейка: точно такая у них дома была, в ней он в армию уходил, в Пологах, когда уже их обмундировали, отдал ее матери. Присмотрелся — и сама женщина показалась похожей на его мать, только постарше будет. Она скорее похожа на его бабушку...

И так, пока мысли разные в голове спорили между собой, сам он уже машинально направился к ней. Подошел и видит: точно — мать, только постаревшая сильно, поседевшая. А она все смотрит по сторонам, не видит сына, не узнает...

— Мама... — сказал он тихо.

Она вздрогнула, вскинула на него глаза, узнала, а все еще не верит глазам своим. На нем шинель наполовину внакидку — левый рукав одет, а правый болтается пустым.

— Ой, сыночек мой! Руки нема?! — вскрикнула она, вскинув руки к лицу.

— Есть, цела рука, — сказал он, улыбаясь, и показал ей подбородком себе на грудь под шинель.

— И шинель в крови... — продолжала она оглядывать Василия, а губы ее плаксиво дергаются, в глазах слезы стоят.

— Как вы сюда попали? Откуда?

— Третий день ищу... — И не сдержалась, заплакала, жалуясь: — Отчаялась совсем. Это ж я на станцию уже иду. И думаю: дай еще раз пройду, посмотрю, поспрашиваю... Как чуяло сердце. А пройди я мимо?... Я ж была уже здесь.

— Да откуда вы узнали адрес?

— А ты ж письмо прислал и в уголке написал: «с. Чапаевка». А Чапаевка у нас уже известная, многих домой на поправку поотпускали. А про тебя слух прошел, будто убитый. — И снова у матери губы задергались, слезы покатались по щекам, она заплакала, уже не сдерживаясь.

— Не надо, мама... Живой же, чего ж плакать?

— Извелась вся, пока получили письмо...

— Почта, наверное, плохо работает: я сразу написал.

— Людская молва быстрее всякой почты разносится. Значит, все-таки правда: кто-то ж тебя видел. — Она кивнула на окровавленную шинель.

— Вряд ли... Знакомых никого не было. Как же вы не побоялись в такую дорогу пуститься?

— А я не одна. Я с мужиком. Алеша увязался. Как отговаривала — нет, не отстал...

— Алешка? — удивился и обрадовался Гурин. — Где же он?

— В другой конец деревни пошел тебя искать. Договорились встретиться возле сельсовета. Может, он уже и ждет меня там.

— Так вы идите к нему, а я сейчас получу обед и тоже приду.

— Как? Тебя оставит одного? — всерьез испугалась она. — А вдруг опять потеряешься?

— Не потеряюсь! Теперь я вас буду искать.

Мать согласилась, пошла к Алешке. Гурин дождался своей очереди у кухни, получил полный кувшин супа — ему теперь много на-

до: хозяев кормить, гостей угощать — и пошел к сельсовету. Еще издали увидел своих. Алешку он не узнал, а догадался, что это он: зарыганный осенней грязью, неумытый, глаза красные от усталости, улыбається смущенно, подойти к брату не решается, словно чужой. Кидаёт растерянно глазами то на окровавленное плечо шинели, то на пустой рукав, не знает, как вести себя. И все-таки радость от встречи побеждает, он кидается к Василию, прячет лицо у него на груди, прижимается крепко. А Василий не может его обнять: одна рука на перевязи, другая занята ношей, стоит, подбородком прижался к голове братишки.

— Тише ты, ему же больно,— говорит мать, и Алешка виновато отступает от Василия.

Привел он их к себе и поселил рядом с собой на солдатской соломке. Делился с ними своим солдатским пайком. А мать добыла за какие-то гроши, а может, выменяла на какую-нибудь барахолину на местном базаре муки и бутылочку подсолнечного масла, испекла пирожков с картошкой. Румяные, пахучие, вкусные. Угощала ими стариков — хозяев сына, и те были очень довольны, хвалили мать, какая она мастерица куховарить.

С неделю прожили у него мать и братишка, наступило время расставаться. Василий засуетился, забеспокоился — подарок бы нужен, как же без подарка провожать гостей? А у него как у нагиша — вещмешок да душа. Все на нем военное, казенное. Гимнастерка, шаровары солдатские — всего по одной паре, да и то б/у — бывшие в употреблении. Даже запасной пары портянок нет, чтобы подарить Алешке, — пригодились бы, за войну совсем обносились, на хлеб обменяли все. И обрадовался безмерно, когда вспомнил о пачке печенья. Вытащил из-под лавки вещмешок, достал пачку настоящего фабричного печенья, протянул матери:

— Вот вам гостинец. Танюшке повезете от меня подарок.

— Печенье? Откуда? — удивилась мать.

— На фронте давали,— сказал он небрежно.

Провожать своих Гурин пошел до самой станции Пологи. Шли дорогой, разговаривали. Мать совсем привыкла к нему такому — в шинели с засохшими бурными пятнами крови на ней, с рукой на перевязи — и успокоилась: ничего страшного с сыном не случилось, жив и даже не калека. Руки, ноги целы — и слава богу... Правда, натерпелся страху, пережил боль, ну что ж... На то война. Спасибо господь помиловал, спас от худшего — многие вон совсем головы посложили...

— Ну, выздоравливай, сынок, поскорее. Наконец-то твоя душенька успокоилась. Отбыл свое, пролил кровь, совесть теперь тебя не будет мучить, и мне легче. Да оно, я тебе скажу, и такие есть, что вон как-то сумели, затаились, и ничего. Брони заимели... Не вижу, чтоб их дужа совесть мучила... Ну, не морщись, не морщись. Это я так, к слову пришлось. Я ж их не хвалю... А только мне обидно: за что нам такая доля? У них отцы, у них все... И война их не коснулась, стороной обошла. Не тронуты, невредимы. А мой сыночек и детства как следует не видел — все в нужде да в голоде, и теперь ему больше всех достается. За какую такую провинность? — Мать заплакала.

— Пусть, мало ли кто как живет. Зато мы можем людям прямо в глаза смотреть: мы никогда не ловчили.

— Это правда,— согласилась мать, вытирая глаза кончиком платка. — Это правда. Нам нечего стыдиться, оттого и ходим прямо и свету больше видим.

Алешка был рядом, слушал, смаргивал белесыми ресницами набегавшие слезы, глотал их незаметно, сиюсь не расплакаться.

— Ничего, не плачь, сынок: теперь мы его повидали. Все самое страшное позади уже... Все позади.

Василий обнял Алешку, прижал к себе.

— Твоя невеста объявилась,— сказала мать. — Чуть не забыла сообщить.

— Какая невеста?

— Какая? У тебя их много было? Валя Мальцева. Живет в Красноармейском, вышла замуж. И Паша Земляных со мной очень ласково здоровкается. И все спрашивает про тебя, никогда мимо не пройдет. Очень хорошая девочка. Красивая стала.

Василий молчал. Паша — их соседка, одноклассница Гурина, они с ней с самого первого класса вместе в школу ходили, к ней он относился как к сестре — безразлично, но защищал и в обиду не давал. Чернбровая дивчина эта Паша, черные как смоль волосы расчесаны на пробор, и две тяжелые косы лежат на спине до самого пояса...

— Ладно, давайте о чем-нибудь другом,— оборвал Василий разговор.

Они подошли к порожняку, к которому уже был прицеплен паровоз, нетерпеливо попыхивавший струйкой пара. Гурин увидел капитана — тот забросил в пустой вагон вещмешок,— подошел к нему.

— Товарищ капитан, этот поезд до Сталина идет?

— Не знаю. Пока у него маршрут до Волновахи,— сказал капитан не оборачиваясь. Он влез в вагон и принялся мостить себе из соломы гнездо.

— Можно к вам посадить вот маму и братишку?.. Они ко мне в госпиталь приезжали...

Капитан оглянулся.

— Конечно, можно. Я ведь тоже зайцем еду. Садитесь. Веселее будет. — И он протянул руку, чтобы помочь матери забраться в высокий вагон без подножки.

Мать неловко, с трудом, несмотря на то, что и Василий и капитан помогали ей, взобралась в вагон, застеснялась своей неловкости:

— Баба она и есть баба: в вагон залезть как следует не умеет.

— Давай, Алеш. — Василий обнял братишку, поцеловал в щеку.

Капитан подхватил его за обе руки, поднял в вагон.

— Ну вот теперь прощай уже по-настоящему. А то «прощай, прощай», а сами стоим.— У матери задергались губы.— Теперь все хорошо будет. Выздоровлявай.

Вагоны лязгнули буферами, и поезд медленно тронулся. Василий несколько метров шел рядом, потом стал отставать.

— Выздоровлявай! — крикнула мать напоследок. — Не скучай! Будет возможность, может, еще приеде-е-ем!..

Поезд заизвивался на выходных стрелках, и вагон уплыл в сторону. А потом вдруг снова показался. Василий еще раз на мгновение увидел своих в проеме вагонной двери, прокричал:

— Не надо!..

Со станции он направился прямо на перевязку. Его срок перевязки был еще вчера, но он пропустил его из-за гостей. Несмотря на ожидание взбучки за пропуск, настроение у него было хорошее: мать уехала спокойная и в него вселила это спокойствие. Немного грустно было от расставания, но ничего. «Все позади, все позади...» — звучали в нем как музыка материны слова, и ему от них было легко и радостно.

Врач тоже был в хорошем настроении, о том, что Гурин пропустил свой день, он даже ничего и не сказал, а только спросил весело:

— Ну, как дела, Гурин?

— Хорошо.

— Посмотрим. Разбинтуйте-ка его,— попросил он свою помощницу, которая и без его просьбы уже сматывала с Гурина длинный бинт.

Сестра стала потихоньку отдирать от раны присохший тампон, причиняя Гурину нестерпимую боль. Как ни крепился Гурин, все же

ойкнул и взглянул виновато на врача. Но тот не обратил на него внимания и склонился к ране.

— Действительно хорошо. Повязку! — приказал он сестре рокошущим басом. — Только не забинтовывайте. Сделайте марлевую наклею.

Без бинтов стало совсем легко и непривычно, будто Гурина лишила теплой душегрейки. Врач что-то писал, кончил, бросил сестре:

— На выписку.— Потом повернулся к Гурину, повторил: — На выписку,— и уставился вопросительно, словно ожидал возражения. И, ничего не дождавшись, пояснил: — В батальоне выздоравливающих долечишься. Рана заживает хорошо. Завтра к десяти ноль-ноль быть возле канцелярии с вещами. Все. До свидания.

Для Гурина это было неожиданно... И мать уехала, не узнав такой новости. Сделалось грустно. Сам не зная почему, он совсем сник. И стариков жалко, привык он к ним и они к нему.

Ночью спал плохо: беспокоило неизвестное страшнее.

Утром распроцался с хозяйками, закинул за левое плечо свой вещмешок и поплелся к госпитальной канцелярии. Там собралась довольно большая группа выписанных. Распоряжался здесь лейтенант Елагин — худой и пожилой дядька. Именно дядька, потому что фуражка на нем сидела совсем не по-военному, а как у больничного завхоза, и командовал он как-то неумело. Перед тем как подать команду «смирно», сам вытягивался в струнку, словно собирался с духом, и потом, будто испугавшись своего же голоса, вздрагивал и стоял какое-то время смирнее солдат. Помощником у Елагина был сержант — круглолицый плотный паренек по фамилии Бутусов. Бутус он и есть бутус: среди всех сержант выделялся, как свинья бита в куче бараньих бабок.

Каждого проходящего сюда Елагин сначала гнал на кухню завтракать, а потом уж интересовался его фамилией, выдавал госпитальную справку и отсылал к сержанту за сухим пайком. Расположившись в сенях крестьянской хаты, тот выдавал каждому по банке тушенки, по буханке хлеба, по две пачки концентрата и сыпал каждому по нескольку ложек сахарного песка.

Когда все было получено, лейтенант приказал построиться и, стоя в проеме двери, чтобы дождь не размочил список, сделал переключку.

— Продукты все получили? — спросил Елагин, пряча список. — Справки? Хорошо. Предупреждаю: идти нам далеко, так что наберитесь духу. И прошу не отставать. Кто совсем не может идти?

Молчание.

— Нету таких? Хорошо. Тогда шагом арш!

И колонна человек в восемьдесят потянулась вдоль Чапаевки на запад.

Дождь не переставая сыпал мелким сеянцем. Расквашенная дорога была скользкой, ноги расплзались в разные стороны, и колонна быстро расстроилась, растянулась: каждый искал, куда половчее ступить, чтобы потверже, чтобы не упасть, чтобы не зачерпнуть в ботинок воды. В поле колонна вообще вытянулась в две длинные серые нитки: шли двумя обочинами вдоль дороги. Бровки, как всегда, крепче — они не разъезжены и не разбиты.

Лейтенант хотел было навести порядок, но быстро отказался от этой затеи, понял, что воинство его не совсем здоровое и требовать от них дисциплины бессмысленно. Некоторые хромали и шли с палочками — нелегко таким, — у многих руки висели на перевязи, и Елагин ограничился тем, что послал сержанта в хвост колонны, а сам поспешил вперед. Разбрызгивая грязь большими кирзовыми сапогами и скользя, он бежал серединой дороги между понуро идущими солдатами.

Шли медленно и без привалов, потому что «привалиться» было негде — кругом мокрядь и села, которые они проходили, были забиты

войсками. Да, похоже, лейтенант и не очень хотел в селе останавливаться — попробуй потом собери всех быстро.

Натянув поглубже пилотку и подняв воротник шинели, чтобы не лило на шею, Гурин брел узкой межой между дорогой и полем. Впереди все время маячила чья-то спина и мокрый вещмешок. Ноги соскальзывали то в дорожную колею, то на пашню. В колее вода хлюпала неприятно холодно, по-осеннему, быстро проникала в ботинки. На пашне ноги увязали по щиколотки в жирный чернозем, и, чтобы вытащить их, нужно было немалое усилие. Вытащит — на них по пуду грязи. Вытрет кое-как о траву — торопливо, на ходу, чтобы не отстать, — и бредет, нагнув голову. Случайно поднимает ее, а перед ним все та же серая спина и мокрый вещмешок...

Когда они только вышли из села, Гурин все остерегался, чтобы не набрать воды в ботинки, а потом, когда набрал в один и в другой, стережение это было уже ни к чему, и он теперь не очень выбирал дорогу. Новые порции холодной воды в ботинках лишь на время доставляли неприятность, вскоре вода согрелась, и Гурин не обращал на нее внимания.

Уже наступили сумерки, а они все шли и шли. Еле-еле приблизились к своему ночлегу.

Развели всех по хатам. Хозяева — нечего делать, принимают. Тем более видят — войско хилое, больное, в бинтах. Жалеют.

Гуриная хозяйка, молодая дебелая украинка, быстро загнала ребятишек на печь, сама притащила большую охапку соломы, раскопегарила плиту, пригласила постояльцев:

— Раздвигайтесь, сушитесь... Ой, биднесенки, куды ж вас гонють таких хворых?

— Нас не гонят, сами идем, — сказал, бодрясь, пожилой солдат. И пояснил: — Мы еще на излечении.

Картошки большой чугуна сварила, чайник вскипятила — ешьте, пейте.

В комнате пахло сырым. От шинелей, ботинок, сапог — от всего пар валит, и было душно, как в жарко натопленной бане.

Утром портянки у всех сухие, ботинки тоже. Только шинели волглые — ими накрывались вместо одеял. Да их и не высушишь так быстро.

Еще сидят за столом, дохлебывают суп солдаты — уже бежит сержант:

— Кончай ночевать! Выходи строиться!

Нехотя повинуются, одеваются, благодарят хозяйку, выходят в дождь. Лейтенант Елагин, чтобы не задерживаться, не стал делать переключку, заставил лишь по порядку номеров рассчитаться.

Захлюпала нестройно десятками ног по лужам колонна, потекла дальше по избитой войной дороге. Куда идут, где их конечный пункт — никто не знает, кроме лейтенанта Елагина. Но он держит все в секрете, под разными предложениями уходит от прямого ответа. Даже где намечен следующий ночлег, не говорит.

Спасаясь от грязи, солдаты взобрались на железнодорожную насыпь. Кто мелко семенил, ступая на каждую шпалу, кто, наоборот, шагал широко — через одну, кто для пущей безопасности шел бровкой вдоль полотна. Ребята помоложе и поздоровее, дурачась, пытались идти по рельсам — соревновались, кто дальше пройдет, не соскользнув с гладкой поверхности.

Ветка еще не была восстановлена, на рельсах краснела ржавчина. Местами путь был разворочен, а рельсы загнуты в разные стороны, будто проволочные прутья. Мосты взорваны. По обеим сторонам насыпи в кюветах насколько хватало глаз валялись скелеты обгорелых вагонов, платформы, «тигры», пушки, грузовики, кургузые немецкие паровозы. И чем дальше, тем больше.

Только к концу третьего или четвертого дня добралась команда Елагина до цели — догнала батальон выздоравливающих. Располагался он в большой пустой деревне — бывшей немецкой колонии. Дома огромные, островерхие. Внутри простор. Посредине толстотрубная печь, а вокруг нее вдоль стен сплошной соломенный настил, подпертый в ногах деревянными брусками, чтобы солома не растаскивалась.

Солома... Что бы они делали без нее, родимой? Она всю дорогу у них и под боком вместо перины, и в головах вместо подушки, и в ботинках вместо стелек, она и топливо и защита...

Гурин бросил подальше к стенке — себе в изголовье — вещмешок, не раздеваясь упал на солому и тут же уснул.

Утром их разбудили строгой и очень неприятной командой «подъем».

— Подъем, подъем! — Сержант Бутусов ходил и каждого тербил, стягивал с них шинели. — Не слышите, что ли? Подъем!

Солдаты спросонок ворчали, одни поднимались, потягивались, разминая кости после трудной дороги, другие снова тянули шинели себе на головы, подбирали ноги, скрючивались в калачик, собираясь еще соснуть хотя бы с часок.

— Эт-то что такое? — послышался громкий строгий голос. — До сих пор валяются!.. Подъе-ем! Засаекаю время!

После такого окрика не уснешь, зашевелились солдаты, ворчат, но одеваются.

— Что мы, строевые, что ли? У нас еще раны не зажили.

— Разговор-р-рчики! Раны. У всех раны. В госпитале не отоспались? Безобразия, понимаете!.. А вы, товарищ Бутусов, куда смотрите?

Одеваясь, Гурин выглянул из-за печи — кто там такой строгий? — и увидел лейтенанта ниже среднего роста, в большой фуражке, сильно надвинутой на лоб. Из-под козырька сверкали маленькие узенькие глазки, губы были по-детски надуты — лейтенант сердился. Левая рука висела на перевязи. Весь он был как на пружинках, не стоялось ему на месте, так и ходил туда-сюда. Посмотрел на часы.

— Полчаса на туалет — и всем быть готовыми к построению. — И, крутанувшись на каблуках, лейтенант выбежал из хаты.

— Шебутной лейтенант, — проговорил кто-то. — Этот заставит и строевой заниматься.

— Дурное дело нехитрое, — поддержал его другой солдат.

Через полчаса лейтенант снова влетел в дом, скомандовал:

— Выходи строиться!

По небу плыли низкие плотные облака, готовые в любую минуту пролиться дождем. Поеживаясь, с неохотой выходили солдаты из теплого помещения на воздух.

— Вот кому-то неймется, — ворчали они.

— Становись! — У лейтенанта брови сурово сдвинуты. — Равняйся! Смирно! — Оглядел строй и, будто смилостивился, сказал просто: — Вольно. Вот что, товарищи. На первый раз ограничусь общим предупреждением. Безобразия, понимаете... Что у вас за вид? Где вы учились в таком виде становиться в строй? Без ремней, шинели не застегнуты, подворотнички грязные, сапоги, ботинки нечищенные...

— Мы же только вчера вечером пришли...

— Разговоры! Кто разрешал разговаривать в строю? Вы солдаты Красной Армии и должны об этом всегда помнить. Безобразия, понимаете! Теперь насчет ран. Раны будем лечить, а вас учить. — И уголок рта чуть тронула еле заметная улыбка, лейтенант, наверное, сам не ожидал, что так складно получится, как у Суворова. — Жить будем по строгому распорядку. Подъем, зарядка, завтрак, занятия. И так далее. Я ваш командир взвода. Моя фамилия Максимов. Гвардии лейтенант Максимов Петр Иванович. Вопросы есть? — Он посмотрел на

часы.— Сорок минут на приведение себя в порядок — почиститься, побриться, пришить подворотнички и так далее... Р-раз-зойдись!

С этого часа госпитальная вольница кончилась и началась служба. Но Гурина она была не в тягость, ему даже нравилось собирать и разбирать оружие, и он очень был доволен, когда наловчился это делать быстро: все пружинки, бойки, запоры, упоры становились на свои места, занимали свои пазы — щелк, щелк... И последний щелчок самый громкий: клац — спустил боевую пружину. Рассказал взаимодействие частей, выпалил все возможные задержки — загрязнение, перекос патрона...

— Молодец,— хвалил его лейтенант и ставил против его фамилии в своей тетрадке «отл.».

Боже мой! Как радовался Гурин этой оценке! Он и в школе-то всего лишь несколько раз получал это «отл.», может все их припомнить: в пятом классе по рисованию — нарисовал на большом газетном листе бумаги паровоз «ФД»; в девятом по физкультуре и в десятом по литературе. Вот и все «отл.». А тут — круглый отличник!

И в наряд Гурин ходил без особого внутреннего сопротивления — на кухню, на заготовку топлива, на другие разные работы. Дневалил. Тут он сказал себе: «Надо — значит, надо. Ты в армии, ты на войне. Будь добр». И ничего, не тяжело было.

А другие хныкали, под разными предлогами увивали не только от нарядов, но даже и от занятий. Ворчали:

— Зачем это? Зачем голову забивать разными названиями? Кто их на фронте будет спрашивать? Важно уметь стрелять.

Однажды к ним пришел огромного роста младший лейтенант, сутулый (наверное, оттого, что ему в каждую дверь приходилось входить согнувшись). Он поздоровался и спросил:

— Комсомольцы есть?

— Есть,— ответило несколько голосов.

— Подойдите ко мне. Я комсорг батальона.

Комсорг примостился на единственной в доме табуретке и, положив на колено полевую сумку, стал записывать фамилии комсомольцев, принимать взносы, делать отметки в билетах.

Достал свой билет и Гурин, но стоял в стороне, ждал, пока младший лейтенант освободится. С ним разговор, наверное, будет долгий, последний взнос он уплатил еще в августе 1941 года, а сейчас ноябрь 1943-го. Все это надо ему объяснить, рассказать про оккупацию. Протянув комсоргу билет, Гурин попытался ему сразу все объяснить. Но смог сказать только несколько слов:

— Я был в оккупации... Поэтому...

Младший лейтенант полистал билет, записал фамилию Гурина в общий список, но взносы принимать не стал.

— Зайди ко мне завтра,— сказал он, возвращая билет.— Я узнаю, как тут быть.

Захватив с собой на всякий случай тетрадь со стихами как единственный документ, характеризующий его в годы оккупации, Гурин в назначенный час пришел к комсоргу. Тот сидел в своей комнатке за столом в шинели и фуражке, что-то писал. Увидев Гурина, пригласил:

— Заходи, заходи. Садись.— И отодвинул в сторону свою писанину.— Значит, в оккупации был?..— Он взял билет, еще раз полистал.— Ну расскажи, как жил, чем занимался.

Гурин стал рассказывать. Комсорг слушал внимательно и даже как-то заинтересованно, будто раньше ничего такого и не слышал.

— Интересно... Ты, значит, и стихи сочиняешь.— Он взял тетрадь, стал листать кое-что.— А это что, у них такая песня есть — «Лили-Марлен»?

— Да. Солдатская песня. Солдат прощается со своей девушкой Лили-Марлен. Мол, жди, вернись с победой. «Около казармы, у боль-

ших ворот, там, где мы прощались, прошел уж целый год...» Ну а я переиначил ее: мол, не жди своего фрица, Лили-Марлен, он давно уже тод.

- А что такое «тод»?
- Ну, мертвый по-немецки.
- Ты знаешь немецкий язык?
- Немножко. В школе учил.
- О, а это сам придумал?

Гурин заглянул в тетрадь — там внизу страницы под стихотворением, в котором говорилось, что Гитлер и вся его клика, которые несут смерть народам, сами в конце концов будут болтаться в петле, было написано печатными буквами четыре фамилии: Гитлер, Геринг, Гиммлер, Геббельс. Заглавная буква «Г» у всех четырех была нарисована объемной, будто из бревен сколочена виселица, и с каждой спускалась веревочная петля.

— Ну ладно.— Младший лейтенант возвратил Гурина тетрадь.— Причина, конечно, у тебя уважительная... Взносы я у тебя приму и возьму на учет.

Гурин расплылся в улыбке. Комсорг терпеливо заполнил все пустые клеточки в комсомольском билете, расписался в каждой и поставил штампик.

— Возьми билет. Молодец, что сохранил. Ну а теперь поговорим насчет комсомольского поручения. Какой же комсомолец без поручения? Верно?

— Верно.
— Вот если мы тебя агитатором во взводе назначим?.. Как ты на это помотришь?

— А справлюсь?
— Справишься,— сказал комсорг уверенно.— Лейтенант Максимов говорил, что ты отличник у него.

— Да ну...— засмутился Гурин.
— Это хорошо. Молодец. Значит, так. Задачи агитатора какие? Рассказывать людям последние известия, разъяснять политику нашей партии и правительства, читать газеты... Газеты будешь у меня брать. Вот тебе.— И положил перед Гуриным кипу газет.— Хорошо бы наладить выпуск «Боевого листка».

— А на чем? Бумаги нет.
— Этим я тебя обеспечу, только работай. Вот тебе бланки «Боевых листков».

Он достал из сундучка, стоявшего на полу, несколько больших листов. На них уже было отпечатано: «Смерть немецким оккупантам!» — потом крупно: «Боевой листок» — и рисунок: солдаты идут в атаку. Под заголовком до самого низа шли три пустые колонки, которые надо было заполнить заметками.

— Значит, о чем могут быть заметки? О жизни взвода — учеба, работа, кто-то отличился... Нерадивых, самовольщиков протаскивать надо. Офицеров критиковать нельзя.

— Нельзя?
— Нельзя. Не положено... Ну что еще тебе дать? На вот тебе карандаш.— Он выложил все из того же сундучка двухцветный толстый шестигранный карандаш.— Ну и вот тебе бумага для писем. Солдатам будешь давать. Все?

— Все,— заулыбался Гурин и стал бережно складывать бумагу. Младший лейтенант увидел его аккуратность, вытащил из сундучка обшарпанную, с провалившимися тощими боками кирзовую полевую сумку, подал Гурина.

— Возьми, пригодится...
— Ох ты! — обрадовался Гурин сумке. Разордал слежалое нутро ее, сунул туда бумагу, про себя подумал: «И тетрадь для стихов положу в нее, мяться не будет...» Повесил сумку через плечо, сгреб

остальное свое богатство, взял под мышку и зашагал довольный во взвод. Радостно, приятно ему — столько газет, бумаги в его распоряжении! Но, главное, в комсомоле восстановился, доверие обрел. Молодец, умница младший лейтенант — сразу разобрался что к чему.

«Боевые листки» стал он печь чуть ли не каждый день. Все заметки сочиняет сам, потому что написать их никого не допросишься. А он наострился, будто всю жизнь только этим и занимался. «Хороший поступок» — рядовой Сидоров, преодолевая боль в левой руке, смастерил из подручных материалов отличную скамейку и стол. Теперь солдаты взвода пишут письма и читают газеты за столом, а не сидя на соломе. «Отличник боевой и политической подготовки» — рядовой Иванов отлично понимает: если тяжело в учении, то будет легко в бою. И поэтому не покладая рук изучает оружие. Берите с него пример. «Нехороший поступок» — рядовой Сысоев совершил нехороший поступок: ушел в самовольную отлучку в соседнюю деревню к своей знакомой и пробыл там весь день. Тов. Сысоев забыл, что он находится на военной службе, где самоволка считается тяжким преступлением. А особенно в военное время. Стыдно, тов. Сысоев, так поступать. И подпись: «Товарищ».

Комсорг был доволен работой Гурина, замполит тоже. Приходил, читал, ухмылялся чему-то и хвалил: во взводе хорошо поставлена агитационно-массовая работа. Это был плюс и лейтенанту Максиму. Он горделиво улыбался майору, оглядываясь на Гурина: вот, мол, какой кадр воспитан в его взводе.

А Сысоев обиделся. Сощурил свои наглые глаза, прошипел:

— «Товарищ»... Выслуживаешься? Думаешь, до конца войны прокантоваться в выздоравливающем? Не надейся, вот заживет твоя царапина — и снова загремишь на передовую.

— Ду-у-урак! И уши холодные.— Гурин готов был ударить его в рожу.

Но после этого Василий уже не стал писать о нехороших поступках, больше напирал на положительные.

А «царапина» его почему-то заживала медленно. Состав их взвода почти полностью обновился, а он все еще оставался здесь. И врач тоже удивлялась.

— Не пойму, что с ней. Не остался ли там осколочек? — говорила она и снова накладывала ему повязку.

— Да ладно... Она уже почти не болит, выпишите меня.

— Как же не болит? Рана сочится.

Выписали Гурина в маршевую роту только в декабре. Зима уже была, но такая слякотная: то снег, то дождь. Стояли они в селе где-то у Днепра. Выдали им стеганные брюки, ватники, шапки-ушанки, зимние портянки, трехпалые рукавицы — и шагом марш.

В маршевой «покупателей» много, и они порешительнее и деловитее тех, которые бывали в выздоравливающем. Эти в анкетных данных не копались, вопросы ставили прямо:

— Артиллеристы есть? Три шага вперед — шагом арш! Так... — И к остальным: — Кто хочет быть артиллеристом — два шага вперед. Так... А ты? — обращался артиллерийский капитан к рослому парню.

— Я в свою часть хочу.

— Будешь еще в своей части. Два шага вперед — шагом арш!

Другой не спрашивает, есть ли люди его специальности, а с ходу приказывает:

— Минометчики — ко мне! Желающие тоже ко мне!

Гурин, наученный горьким опытом, никуда не лез со своими желаниями, боясь получить поворот от ворот. «Куда прикажут, туда и пойду», — решил он.

— Остальные разойдись!

Не успели вернуться в хату, снова команда:

— Выходи строиться!

Новый «покупатель» явился — лейтенант Исаев. В белом полушубке, отороченном серой смушкой, в серой каракулевой ушанке, черноглазый, чернобровый, стройный, высокий. На ногах бурки из белого войлока, обсоюзенные желтой кожей, в левой руке кожаные перчатки. Голову держит горделиво. Говорит с одесским акцентом и слегка бравирует этим. Не лейтенант, а картинка.

— Автоматчики, прошу! — Он вытянул левую руку как при команде «в одну шеренгу становись». — Ну бистренько, бистренько, голуби, под мое крылышко!

Вышли человек семь. Он оглядел, усмехнувшись, спросил:

— Шо ж вас так мало?

— Зато в тельняшках, — подал голос самый смелый.

— О! Что-то слышится родное! Сразу видно сокола по полету, а молодца по... Ладно, об этом после. — Он обернулся к оставшимся. — Приглашаю добровольцев в доблестные ряды автоматчиков. Кто? — И пошел вдоль строя. — Выходи, выходи, выходи, — тыкал он рукой в грудь приглянувшимся. Гурин тоже попал в их число. — Автоматчики — лихой народ! Это те же разведчики, а может даже и почище, тут еще бабушка надвое гадала! Выходи, выходи! Так... — Он хлопнул перчатками по ладони — подвел черту. — Так. Кто шибко грамотный, прошу переписать всех. — Он достал из планшетки лист бумаги и карандаш. — Ну, у кого почерк не как у моей бабушки?

— Вот у агитатора, — указали на Гурина.

— Люблю агитаторов! — воскликнул лейтенант и вручил ему бумагу. — Бистренько — фамилии и инициалы.

Когда Гурин переписал всех, лейтенант взял список и пошел в канцелярию, солдатам на ходу бросил:

— Пока я буду оформлять документы, получите продукты у старшины — сухой паек на двое суток.

Солдаты без строя, толпой повалили к каптерке. Старшина увидел, возмутился:

— Что это за команда анархистов? Где командир?

— Лейтенант Исаев пошел документы оформлять.

— Кто старший?

— А во, агитатор.

Ребята подшучивали над Гуриным, вытолкнули его вперед. Поднял Гурин глаза и видит: перед ним его старый знакомец — старшина Грачев! Одет тепленько, рожа сытенная, довольная. И строг до неимоверности. А в Гурине всколыхнулась старая обида на него.

— Э-э! — воскликнул он развязно. — Старшина Грач! Привет!

Старшина не узнал Гурина, подумал сначала, что это какой-то его давний дружок, хотел улыбнуться. А потом видит — Гурин, лицо стало звереть: узнал.

— Я вам не Грач. Моя фамилия Грачев.

— Да все равно Грач! Оно ж видно, что ты за птица, — разошелся Гурин: охота ему перед ребятами себя героем выставить. «А что мне? — подзадоривал себя Василий. — Дальше фронта не пошлют. Теперь я не тот, знаю людям цену, особенно этому». — Все воюешь?.. В запасном полку?

— А ты, я вижу, очухался от первого испуга?

«Укол-таки, гад!» Гурин закипал всерьез.

— На второй круг заходишь? — продолжал старшина. — Ну что ж. Когда будешь на третий заходить, тогда поговорим. Пока рано храбришься.

— А ты рассчитываешь до тех пор здесь прокантоваться? Ну герой!

Грачев побагровел, угрожающе сверкнул на Гурина жуликова-

тыми глазами, отвернулся. Сильно пожалел он, наверно, что Гурин уже в маршевой команде.

— Сколько человек? — бросил он зло.

— Двадцать пять.

Получили паек, разделили. Пришел лейтенант. На спине у него желтый ранец из телячьей кожи шерстью наружу, на левом плече ППШ, на правом боку пистолет. Построил, спросил, нет ли каких жалоб. Нет? Тогда шагом арш!

И они пошли.

Прощай, запасный полк! Что-то ждет их впереди? Удачен ли будет второй круг? Удастся ли зайти на третий? Никому ничего не известно.

Днепр широкий

Трудно сказать, какая дорога хуже — осенняя раскисшая и разбитая или зимняя: замерзшие колеи, острые гребни вздыбленной некогда колесами и теперь скованной морозом грязи.. Шагу не сделаешь, чтобы не поскользнуться, чтобы нога не подвернулась на очередной кочке. По-украински декабрь — грудень. Точное название: кочки, кочки, груды куда ни глянешь. Дорога словно длинная полоса, вспаханная каким-то чудовищным плугом: колеи по колено, вывороченные комья земли, будто глыбы угля, черны и огромны.

Ноги выкручиваются на такой дороге, и Гурин невольно ищет нетронутую обочину, бровку, но тут ее нет: все вспаханно, изъезжено, изуродовано колесами, гусеницами, копытами лошадей.

В поле дует ветер — холодный, промозглый, метет поземка, замедляет выбоины, пытается заровнять следы прошедших армий. Может, и заровняет, только не скоро, а солдатам сейчас идти тяжело.

Лейтенант Исаев по-прежнему бодр, уши на шапке не опускает, веселит свою команду разными одесскими байками.

К полудню ветер усилился, снег начал лепить мокрый, хлопьями. Идти стало еще труднее — ноги скользили, то и дело обрушивались в глубокие колдобины. И лейтенант не машина, устал, шел молча впереди. И уши опустил на шапке — допекло, видать, и его.

Привал сделали в поле у соломенной скирды. С подветренной стороны вжались спинами в скирду, вытянули гудящие ноги.

— Что, мальчики, устали? Крепитесь — атаманами будете! — не унывал лейтенант. Он достал карту, долго изучал ее. — На ночлег остановимся вот в этом хуторке. Сделаем небольшой крюк, зато нам будет там хорошо: хутор в стороне от больших дорог, наверняка наш брат не заходил туда, поэтому нам будут рады. Там будет кров и пища. Ну как? Вперед? Вперед!

В декабре самые короткие дни — об этом напомнил своим подчиненным Исаев, когда их застала темень, а хутор еще и в бинокль не просматривался.

— Что вы, мальчики! Еще шести часов нет: декабрь месяц ведь. Не будете же вы вместе с курами спать ложиться?

Солдаты выбивались из последних сил. Шли медленно, а стужа к ночи свирепела, ветер усилился и теперь продувал насквозь. Днем у Гурина спина была мокрой от пота, а сейчас будто кто сорвал с него всю одежду вплоть до нижней рубахи. Гимнастерка сделалась жесткой и холодной, как железо.

Наконец впереди сквозь снежную мглу замаячила темная стена деревьев. Лейтенант обернулся, прокричал:

— Шире шаг! Впереди завиднелись сады хутора! — И сам зашагал быстрее.

Солдаты воспрянули духом, поспешили за ним.

И действительно вскоре они, уже не разбирая дороги, шли напрямик через сад. Голые ветки хлестали их по лицу, они увертывались от них, торопились за лейтенантом. На душе стало веселее: сей-

час залают собаки и на этот лай выйдет дядька или тетка, и как бы хозяева худо ни отнеслись к солдатам, они все равно будут в теплой хате.

Сады кончились, лейтенант уже вышел на улицу и стоял, словно раздумывал, в какую сторону идти. По одному из-за деревьев выползали солдаты и молча останавливались рядом. Напротив стояла сожженная хата. Длинная черная труба зловеще вздымалась над провалившимся потолком. Белые стены и черные закопченные пустые глазницы окон пугали. Осмотрелись: слева такая же хата, а справа и стен нет, одна обуглившаяся печь и кривая большеголовая труба.

Лейтенант медленно пошел вдоль улицы, солдаты, приотстав на несколько шагов, потянулись за ним. Ни одной уцелевшей хаты, село было мертвым. У одной избы скрипели ворота, и от этого скрипа дрожь пробегала по коже.

В конце улицы Исаев остановился.

— Ну что ж...— сказал он.— Такие вещи запоминайте. И когда будете драться, пусть этот пейзаж встанет у вас перед глазами! — прокричал он сердито, потрясая кулаком.— А теперь не хныкать! Надо думать о ночлеге.

Подходящая хата нашлась на другом конце улицы: в ней не только потолок уцелел, но и дверь и в окнах не все стекла были вышиблены. Лейтенант посветил фонариком — на полу валялась посуда, разные тряпки, перья от подушек. Осмотрел печь — остался доволен.

— Все, мальчики! Будем спать в тепле. Только надо потрудиться.

Работа закипела. Уже через пять минут в печи загудело веселое пламя, и при свете его Гурин венником из голых веток подметал пол. Кое-как заделали в окнах дыры, и хата стала наполняться теплым духом.

Ужинали кто что: кто сварил себе кашу в котелке, кто ел консервы, а кто ограничился сухим куском хлеба и скорее на боковую. Гурин не захотел ни кашу варить, ни банку с тушенкой открывать, натопил в котелке снеговой воды (в колодце воду брать лейтенант не разрешил: недавно фронт прошел и неизвестно — может, ее немцы отравили), вскипятил, попил кипяточку с хлебом и совсем расслабился. Одолевала усталость, кипятка своего и то еле дождался. Скорее спать...

Но лейтенант, прежде чем объявить отбой, приказал разбудить всех и предупредил, что здесь прифронтовая полоса, поэтому два человека все время должны бодрствовать — часовой и дневальный. Часовой на улице, а дневальный должен следить за огнем.

— И прошу смотреть в оба,— сказал Исаев строго.— Тут шуточки в сторону. Фронт рядом, в нашем тылу может шастать немецкая разведка. Наткнутся на часового-ротозея и перережут всех, как котят. А одному, который в полушубке, засунут кляп в рот; руки назад — и будь здоров, потащили языка. Кто первый на пост? Так. Бери автомат и шагом арш.

Гурин хотел крикнуть свою фамилию, да не успел, опередили. А так бы хорошо было: отдежурил бы с самого начала и спи потом спокойно до утра. Не вышло. Но ничего, невелика беда. Улегся поудобнее, натянул воротник шинели на голову и тут же провалился в глубокий сон.

Дежурить досталось ему в самое глухое время — между двумя и тремя часами ночи.

Вышел, взял автомат у часового, повесил себе на шею. Не успел оглянуться, как тот уже убежал в хату. Остался Гурин один.

Ветер завывает на разные голоса, стучит оторванными воротами, воем в трубе соседней хаты, поскрипывает какой-то доской, будто силится отодрать ее, шумит деревьями в саду, и каждый звук настойчиво раздражает Гурина, заставляет вздрагивать. Вглядывается он в темноту — там будто тени какие-то прыгают, словно один за другим кто-то

улицу перебегает. Напрягся Гурин до предела — весь превратился в слух и зрение, пока не убедился: метель играет, ветер порывами бросает снежные космы. Облегченно вздохнул Гурин и пошел заглянуть за угол хаты — может, там кто-то подкрался и караулит его. Прислушался, выглянул осторожно — никого. Быстро оборачивается, идет в обратную сторону и вдруг видит: кто-то стоит вдали. Не стоит, а движется! Нет, кажется, стоит... Вроде нагибается. Нет, стоит, только покачнулся. Ждет чего-то, наверное, заметил Гурина и затаился. Василий оттянул затвор, поставил пружину на боевой взвод, ждет, что тот будет делать. А он все стоит. И тут на миг редеют тучи, становится светлее, и Гурин ясно видит — столб. «Тьфу, откуда он взялся? Ведь не было же...»

Как долго тянется время! А ветер все воет, воет, деревья в саду шумят, голые ветки лязгают друг о дружку — трудно уловить посторонние звуки.

Наконец дверь открывается — идет смена. И страхи вмиг исчезают. Гурин смело направляется к столбу, убеждается, что это действительно столб, пинает его ногой и идет обратно. Сменщик стоит на пороге, ежится от холода.

— Ну что? Все тихо?

— Какой там тихо! Не слышишь разве? Ведьмы разгулялись.

— Ведьмы? Это не страшно. Особенно если молодые.

— Ну, бери автомат, раз ты такой смелый, а я пошел.

Лег Василий, но еще долго не мог уснуть: все прислушивался к звукам на улице — не подбираются ли немецкие разведчики...

Покинули они хутор рано, часов в шесть, еще темно было. Когда рассвело, они уже вышли на большую оживленную дорогу: колоннами и в одиночку спешили по ней машины в сторону фронта.

Урчат натужно тяжелые грузовики — везут снаряды, мины, тащат за собой орудия. Промчалась колонна зачехленных «катюш», установленных на «студебеккерах». Пробежали мимо, качаясь с кормы на нос, амфибии, за ними грузовики с прицепами, на прицепах огромные металлические лодки. Чувствуется по всему — впереди водная преграда, Днепр, гонят туда плавучую технику, переправы наводят.

Бегут по дороге два новеньких «студебеккера», как два близнеца, легко бегут, только снег из-под колес струится. Лейтенант вышел на дорогу, поднял руку. Остановились. Поднялся на подножку, поговорил о чем-то с водителем, махнул своей команде.

Обрадовались солдаты, бросились, как в атаку, на кузов, карабкаются, друг другу то ли помогают, то ли мешают — со стороны не разобрать, но в минуту все исчезли в брезентовой будке.

Да, ехать не идти: через час или полтора «студебеккер» затормозил, и солдаты, как перезрелые груши, посыпались из кузова на мерзлую землю. Огляделись — впереди огромная деревня.

— Построиться! — скомандовал лейтенант. — По селу идти, соблюдая порядок, из строя не выходить. Шагом арш!

Вскоре он привел команду к большому дому — то ли сельсовет здесь был раньше, то ли колхозная контора. Часовой у порога вытянулся перед лейтенантом.

— Привет, Генатулин! — поприветствовал его Исаев.

— Привет, товарищ гвардия лейтенант, — заулыбался часовой.

— Как наши мальчишки?

— Нет здесь наши мальчишки, — сказал Генатулин. — Все мальчишки на тот берег. Разведчик там, автоматчик тоже там.

— На задании?

— Моя не знай, товарищ гвардия лейтенант.

Пока лейтенант разговаривал с Генатулиным, из дома вышел старший лейтенант, увидел Исаева, обрадовался:

— А, Исаев вернулся! Как раз вовремя. Здравствуй. — Он пожал ему руку. — Перебазируемся на тот берег.

— На этот пяточок? — удивился Исаев.

— Да, на плацдарм. Давай вооружай своих мальчиков — и туда. Старшина Макивчук со своим хозяйством еще на месте.

Лейтенант вошел в сени, привычно толкнул дверь в левую половину хаты, крикнул своей команде:

— Орлы, заходите!

Солдаты вошли в пустую комнату. На полу лежала примятая солома — видать, тут провели не одну ночь солдаты до них.

— Отдохните, я сейчас приду, — сказал Исаев.

Но вскоре пришел не лейтенант, а старшина Макивчук, которого он прислал. Рыжеусый, скуластый, в коротком бушлате, старшина заглянул в комнату, спросил:

— Вы «мальчики»?

— Мы, — сказали те уверенно.

— Айда за мной.

Он привел их в свою каптерку, которая располагалась в большом крестьянском сарае, сам встал за высокий ящик как за прилавок, разложил перед собой бумаги, а пришедшим приказал:

— Вон в ящике автоматы. Берите по одному и называйте свою фамилию. Далее диски, по два на каждого, далее в ящике патроны. Берите побольше. Я вам как батько советую: лучше меньше хлеба в сумку положи, а поболее патронов — лишний патрон на передовой может жизнь тебе спасти.

Автоматы без дисков и ремней лежали рядком, густо смазанные солидолом.

— И пока все. Гранат нема. Привезуть — снабдю.

Гурин взял автомат за конец ствола, понес его к куче тряпья — старого нательного белья, — отодрал полрубахи, потом еще клочок поменьше, набил карманы патронами (шинель сразу стала тяжеленной, будто намокла, на плечи надавила), на руку повесил ремень, мизинцем за петлю подхватил подсумок и пошел к двери.

— Почистите оружие, зарядите диски и ждите лейтенанта. — И, спохватившись, старшина закричал: — Эй, кто тут у вас в обмотках? Лейтенант сказав, щоб в сапоги обуть. Эй, в обмотках!

До Гурина не сразу дошло, что это ему кричат. Старшина глядел на его ноги словно на диковинку.

— Шо ж ты за солдат — сапоги доси не добыл себе?

— А где их добывают? — обиделся Гурин.

Старшина взглянул на него, не ответил.

— Какой номер носишь?

— Сороковой.

— Сапоги треба брать на номер, а то и на два больше. Зимой портянок намотаешь — теплее будет. А? — Он полез куда-то в угол за ящики, долго шарил там, наконец выбросил через голову один, потом другой сапог: головки кожаные, а голенища кирзовые. Сапоги совсем новые, пахнут свежей резиной и кожей. — Ну як? Меряй.

«Як? Як? Хорошо — вот як!» Радость такая охватила Гурина, как на первомайский праздник, когда мать дарила ему какую-нибудь обновку. Снял ботинки, чуть подправил портянки, сунул ноги в сапоги — хорошо-то как! Удобно! Совсем другой вид у человека.

— Не жмутъ?

— Вроде нет...

— Гляди. Портянки есть запасные? Возьми. — Старшина с треском оторвал полоску белой фланели. — Да не говори, шо старшина жадный.

Идет Гурин по улице, и кажется ему, что все на него смотрят, сапогами его новыми любуются: какой солдат красивый! В сапогах!

Садами, потом перелесками, узкими тропками шли новички вслед за лейтенантом. Он нарочно вел их скрытой местностью, чтобы не

стать мишенью для «мессершмиттов», которые уже дважды появлялись над их головами. Покачиваясь с крыла на крыло, они разворачивались и где-то совсем недалеко впереди поливали пулеметным огнем какую-то цель. Гурин догадывался, что это была переправа, к которой их вел лейтенант Исаев, и мурашки пробежали по спине.

Они вышли к плавням. Кривые вербы, кусты лозняка и сухой камыш все еще скрывали реку, но Гурин почувствовал ее близость — близость большой, сильной воды.

Здесь то и дело встречались свежие воронки, пахло тротилловым смрадом, от которого у него тряслись поджилки: он помнил этот запах с Зеленого Гая. Гурин все поглядывал вперед и вправо сквозь плавни — боялся пропустить встречу с Днепром. Вот они повернули на проторенную широкую тропу и еще долго шли плавнями, как вдруг перед ними открылась ни с чем не сравнимая водная ширь! Противоположный берег далеко-далеко, чуть виден, и там под отвесным обрывом у самой воды еле заметно копошились люди — маленькие, как муравьи. А Днепр, темный, густой, ворочался, будто исполинское животное, будто чешуей серебрился ледяными глыбами. То ли он не успел еще замерзнуть, то ли ему не давали успокоиться бесконечные артиллерийские и воздушные налеты — шурша льдинами, словно гигантскими жабрами, Днепр дышал тяжело и могуче.

Гурин любовался впервые увиденным зрелищем, забыв о войне. И только когда раздалась команда «воздух», обернулся и побежал вслед за солдатами в кусты.

Над Днепром плыла «рама» — двухфюзеляжный «фокке-вульф». По нему, неистово шпокая, били зенитки, небо усеялось черными ключьями разрывов, но «рама» спокойно развернулась и ушла невредимой. В ту же минуту начался артолет. Вода в Днепре вскипела от сотен снарядов, вздыбилась фонтанами вместе с крошевом льда, от которого стоял сплошной обвальный шорох.

Били по переправе, но несколько снарядов разорвалось и неподалеку от автоматчиков — холодные брызги окропили команду.

— Бегом за мной!

Лейтенант побежал вдоль берега, и вскоре они увидели две черные лодки и трех человек около них. Один из них пошел навстречу Исаеву. Не доходя нескольких шагов, он напустился на лейтенанта:

— Ну где вы пропали? Мы тут уж окончили. И лодки у нас чуть не отняли.

— Спокойно, Леня, спокойно! — И тем же шутливым тоном спросил: — Как встречаешь начальство?

— Потом, лейтенант, потом, — досадливо поморщился сержант. — Давайте быстрее переправляться. Нам надо успеть до следующего налета. Накроет вот, тогда встретимся у рыбок на пиру...

— Без паники, сержант, — серьезно сказал лейтенант и оглянулся. — В первую лодку тринадцать человек! Остальные во вторую. Быстро! — Обернулся к сержанту: — Садись, правь, ты дорогу знаешь. Я буду во второй.

— Тут дорога одна, — буркнул тот и закричал: — Кто умеет грести, бери весла, садись с краю!

Весел Гурин никогда в жизни в руках не держал, поэтому полез в середину. Широкая неуклюжая плоскодонка кренилась под тяжестью наседавших солдат то на один бок, то на другой, легко бросая их то к одному борту, то к другому.

— Садитесь! Все садитесь! Не стойте! — кричал сержант. И не успел последний солдат перебросить через борт ногу, как он принялся изо всех сил толкать лодку с мели. — Веслами помогите, веслами!

Наконец лодка беспомощно закачалась на волнах, он вскочил в нее и снова начал кричать:

— Правый!.. Правый борт, гребь!.. Куда гребешь, твою мать?..

Правый, говорю. Не давайте развернуться лодке! Так, так... Оба быстро! Быстрее, быстрее!

Явно не рассчитанная на такой груз, лодка сидела в воде почти по самые борта. Вот-вот, казалось, еще чуть-чуть — и вода хлынет через край. Но в критический момент край лодки приподнимался и уходил от беды.

Гребцы старались изо всех сил, но на середине реки течение было такое сильное и такие большие волны, что лодку стало разворачивать и захлестывать водой.

— Правый, давай! Давай! — надрывался сержант. — Шевелись, что вы как неживые?

Лодку опасно качало, льдины скреблись о деревянную обшивку, волны били о правый борт и обдавали всех холодными брызгами. Гурин вцепился обеими руками в доску под собой, будто от этого зависело спасение. Взглянул на берег — он с огромной быстротой убежал назад, словно они ехали на курьерском поезде.

— Стоп! Стоп! — закричал сержант. — Тормози! Пропусти льдину, а то перевернет лодку.

Качаясь на волнах, пронеслась вниз по течению огромная, как баржа, зеленоватая глыба.

— Вперед! Живее, живее!

И вдруг фыркающий свист снаряда, это значит он уже на излете и упадет где-то близко. И точно: рвануло совсем рядом, посыпались на солдат мелкие осколки льда, лодка закачалась, хлебнула изрядную порцию воды, но устояла.

— Вперед! — снова закричал сержант.

Второй снаряд просвистел над головами и разорвался на берегу.

— Ну еще чуток! Еще!

Лодку перестало качать, и вскоре она ткнулась в берег. Солдаты торопливо выскакивали из нее прямо в воду и бежали на спасительную землю.

Вторую лодку прибило к берегу ниже метров на двести.

Солдаты принялись выливать воду из сапог, перематывать портянки, выжимать полы шинелей. У Гурина тоже хлюпало в сапогах, он примостился на валун, хотел переобуться, но сержант предупредил:

— Прекратить разуваться! Берег постоянно обстреливается, а вы расселись, как... Все под обрыв!

Только теперь Гурин рассмотрел крикливого сержанта. Огромный, рыжий, он снял шапку, и от его красных коротких волос, стоявших ежиком, повалил пар, будто дым от костра. Умаялся парень. Большая, как носок сапога, челюсть выдавалась вперед, делала его свирепым. Но глаза были добрыми, смеялись. Сержант увидел подходившего лейтенанта, надел шапку, вскинул руку к голове, сказал:

— Вот теперь могу доложить по форме. — И отрапортовал: — Товарищ гвардии лейтенант, за время вашего отсутствия в роте никаких происшествий не произошло! Докладывает сержант Серпухов.

Лейтенант пожал ему руку.

— Почему не переправой, а лодками?

— Была переправа, — сержант махнул безнадежно, — да гад засек ее и каждый час поливает. Ее больше восстанавливают. Так безопаснее. — Серпухов крикнул солдатам: — Не рассиживайтесь! Пошли, за мной!

Лейтенант и сержант, разговаривая, шли впереди, остальные гуськом тянулись вслед за ними по кривой, в дождевых вымоинах узкой дороге. Дорога поднималась по откосу вверх, Днепр остался далеко внизу — широкий, черный, сердитый.

Сержант привел их в большой сарай, где на соломе валялись несколько солдат.

— Принимайте пополнение! — крикнул он весело, входя в сарай.

Солдаты зашевелились, увидели лейтенанта, заулыбались, стали вразной с ним здороваться.

— Располагайтесь,— обернулся Серпухов к новичкам.— Можете переобуться.

Гурин стянул с себя сапоги, разматал портянки — они были мокрые и черные. Этими портянками и соломой он вытер насухо внутри сапоги, подмостил туда соломенные стельки, наматал запасные портянки и снова обулся. Сразу хорошо стало ногам, уютно и на душе веселее. Спасибо старшине — знает, что солдату нужно.

Погода на улице переменилась — началась оттепель, снег сменился дождем, с крыши сарая за стеной, навевая скуку, лилась вода. Под это заунывное журчание Гурин стал задремывать, когда раздался звонкий девичий голос:

— Привет, мальчики! О, сколько вас!

Вскочив, Гурин поправил шапку, сел попрямее, будто так и сидел. А почему — и сам не знает, словно генерала услышал, а не девочку.

А она действительно девочка, эта Аня-санитарка. Росточка маленького и толстенькая, как колобок. Курносая, щечки пухленькие, пунцовые, нахлестанные ветром. Глазки круглые, большие, веселенькие. Такая вся пампушечка.

— Молодец, лейтенант, хороших мальчиков привел,— не унималась Аня. Она подошла к Гурину и вдруг, строго насупив брови, крикнула: — Эй! А ты че на чужом месте развалился?

Гурин решил, что это к нему относится, стал, оглядываясь, медленно подниматься, но Аня махнула на него рукой:

— Да не ты. Сосед твой.— И она легонько пнула ногой сапог гуринского соседа.— Слышишь?

Тот поднял голову, спросонья посмотрел на нее.

— Чево там?

— «Чево, чево». Чужое место, говорю, занял. Там, в головах, под соломой мои вещи. Не видел разве?

— Дак не знал я,— оправдывался солдат. Поднял вещмешок, пошел искать свободное место.— Вот чертова девка...

А «чертова девка» как ни в чем не бывало бросила к стенке свою сумку с большим красным крестом, стала по женской привычке вслушивать солому, готовя себе постель.

Чтобы не мешать ей, Гурин отодвинулся подальше, к своему правому соседу. Она обернулась:

— А ты почему съезился? Че на соседа полез? Неужели я такая страшная?

— Нет, не страшная,— выдавил Гурин из себя.

— Ну и не бойся. Я такой же солдат, как и все. Так и смотри на меня. Понял?

— А я так и смотрю.

— Вижу я, как ты смотришь. Вытаращил зенки, будто никогда девок не видел.

Гурин промолчал. Ему было и приятно ее соседство, и неловко, и сковывала она его: он стеснялся своих рук с траурными каемками под ногтями, своих портянок в дегтярных разводах, хотя она, видно, ко всему этому уже привыкла и не обращала внимания.

Спал он ночью осторожно, все жался к своему соседу, боясь задеть ее, чтобы она не дай бог не подумала о нем плохо. Когда пришлось вставать по нужде, поднимался бесшумно, как кошка, и на улице пошел подальше за сарай. Снег пополам с дождем сыпал на шею, но он, помня об Ане, не остановился у первого угла, а дошел до самой деревянной постройки, которая и была предназначена для таких нужд.

На западе полыхало зарево, непрерывно ухала земля, по облакам шарили тугие столбы света прожекторов, вдали беззвучно раскрашивали черное небо трассирующие строчки пулеметных очередей.

Передовая не спала. То ли от холода, то ли от близости передовой Гурин поежился и побежал в сарай. Часовой усмехнулся ему вдогонку:

— Уж не на передний ли край бегал мочиться?

Утром основной мишенью для шуток был Гурин:

— Ну как? Что снилось? Тепло ли было?

Аня не сердилась, наоборот, помогала балагурам:

— Какой там тепло! Вся спина с его стороны отмерзла. Он же со страха чуть своего соседа не задавил — все пятился от меня.

Гурин растерянно улыбался, знал, что лучше всего в его положении принять участие в этих шутках, но не мог. Уши, щеки его горели огнем: он стеснялся таких шуток, был к ним непривычен.

После завтрака в сарае затихло: многие разбрелись куда-то по своим делам, оставшиеся кто спал, кто оружие чистил, кто читал. Сосед Гурина затеял бриться. Разложил поверх вещмешка зеркальце, мыло, кисточку, складную бритву, а сам с котелком побежал за водой. Гурин взял зеркальце, заглянул в него и улыбнулся невольно, будто давнего знакомого увидел: вроде он и вроде в чем-то изменился. А в чем — не поймать. Заметил: на верхней губе редкий пушок мохнатится. На середине почти и не виден, а к уголкам рта даже очень заметен, длинные волосики свисают, их можно уже пальцами ухватить. И он подергал себя за неведомо откуда взявшиеся усики. «Сбрить бы надо, — подумал он и застыдился так, как когда-то застыдился, будучи пойман с папиросами. — А некрасиво, — продолжал он рассматривать себя. — Как у Чингисхана на рисунке в учебнике...»

— Что, любишься? — застал его возвратившийся сосед. — Анька, стерва, хоть кого взбудоражит!

— Да не... — зарделся Василий, возвращая зеркальце на место. — Вон у меня, оказывается, усы выросли...

— Какие там усы? — прищурился, посмотрел тот на Гурина.

В ответ Гурин улыбнулся сконфуженно, ничего не сказал, а рука сама теперь невольно все теребила верхнюю губу, под пальцами явно ощущалась растительность.

Побрившись, сосед толкнул Гурина.

— Ну что? Будешь бриться — так бери.

— Ага! Спасибо. — Василий вскочил и, взяв кисть, принялся сбивать мыльную пену в баночке.

— Че там мылить? Насухую сбрей, и все, — посоветовал сосед.

Гурин взял бритву, стал вертеть ею около носа, боясь прикоснуться лезвием к губе. И так и этак поворачивал ее — нет, не с руки, чувствует — обрежется.

— Никогда не брился? — спросил сосед, видя его беспомощность.

— Ага... Никогда...

— Эх ты! А еще на Аньку поглядывает! Дай-ка я сбрею... — Он отобрал бритву, перегнул ее, будто вывернул наизнанку, и ловко двумя-тремя движениями сбрил злополучный пушок на Васькиной губе. — Все. Теперь, брат, обзаводись бритвой: через неделю вырастут усы настоящие. Лиха беда — начало!

Васька трогал пальцами бритое место и улыбался неведомому доселе ощущению:

— Чудно. Щекотно как-то...

А вскоре пришло и задание. И было оно, по ворчливым замечаниям старых разведчиков и автоматчиков, неинтересным. Им поручалось пойти на передовую и на время подменить пехоту в окопах. Несколько дней подряд шел холодный, пополам со снегом дождь, люди совсем измучились, надо дать им хотя бы суточный отдых: обсушиться, помыться, обогреться.

Днем, поеживаясь под холодным дождем, не прячась от противника, медленно поплелись на передовую. Дождь сек лицо острыми

колючками; начался гололед, дорога покрылась прозрачной ледяной коркой, идти было скользко. Идут мокрые, понурые. Пока дошли до передовой — совсем промокли. Словно на сборном пункте, столпились у первого окопа, ждали распоряжений.

Подбежал лейтенант, сказал, чтобы не стояли кучкой, а побыстрее занимали окопы. Кто-то спросил, где же немцы.

— Да вон они, разве не видите?

Гурин посмотрел в ту сторону, куда указывал лейтенант, и увидел сквозь густую сетку дождя движущиеся фигуры людей. Они приплясывали от холода — согревались. До противника им будто не было никакого дела. Видать, на время непогоды здесь установилось негласное перемирие.

Окоп, который пришлось занять Гурину, оказался глубоким, взглянуть из него можно было, только встав на цыпочки. Хозяин его потрудился на совесть. Солдат улыбнулся, довольный замечанием Гурина, сказал:

— Грязь выгребаешь, окоп становится глыбше. — Он весь кололся как в ознобе, лицо было заросшее, почерневшее.

Его винтовка, направленная в сторону немцев, лежала на бруствере. Она настолько обледенела, что в ней с трудом можно было узнать винтовку. Казенная часть ее зачем-то была накрыта грязной тряпкой. «Для маскировки, что ли, — подумал Гурин. — Да, с такой винтовкой навоюешь...»

Но когда солдат снял превратившуюся в твердый панцирь эту тряпку, Василий увидел совершенно сухой поблескивающий затвор. «Оказывается, он знает, что делает...»

Над окопом появился незнакомый Гурину молоденький младший лейтенант, поторопил солдата:

— Онищенко, ну что ж ты? Быстрее вылезай и догоняй.

— Зараз, — ответил ему солдат и обернулся к Гурину. — Ну, бувай...

Солдат с трудом выкарабкался из окопа, Гурин подал ему винтовку, а когда нагнулся к своему автомату, раздался взрыв. Вернее, взрыва он даже и не слышал, а был внезапный удар по голове и потом непроходящий тугой звон в ушах. Окоп засыпало землей — снаряд угодил прямо в бруствер. Вслед за ним второй удар, чуть подальше.

Гурин стал отряхиваться и вдруг увидел над краем окопа голову солдата, с которым только что расстался. Солдат полз в окоп на животе; по-тюленьи извиваясь всем телом. Руки у него не действовали.

— Помоги... — простонал он.

Подхватив под мышки, Гурин втащил солдата в окоп.

Правую руку у него перебило выше локтя, и белая кость торчала из разорванной шинели. Левую оторвало напрочь у самого плеча.

— Помоги... — просил он. — В кармане пакет... «Фердинанд» проклятый... В командира взвода, младшего лейтенанта, прямо попало. На куски... А мне вот...

Разорвав пакет, Гурин перетянул бинтом правую руку, чтобы остановить кровь, а остатком бинта замотал рану. С левым плечом ничего не мог сделать — его невозможно было ни перетянуть, ни завязать. Кое-как приложив к ране вату, он сделал перевязку, обмотав бинт вокруг шеи.

— Як же ж я буду без обох рук?.. Дитиночки мои, девчаточки Оксана и Наталка...

Выглянув из окопа, Гурин крикнул:

— Эй, там! Передайте, чтобы санитары пришли, человека тяжело ранило.

Они сидели на дне окопа и смотрели друг на друга. Повязки быстро напитались кровью, солдат заметно осунулся: лицо стало мертвенно-серым, губы посинели.

Дождь сменился густым пушистым снегом. Снег падал ему на

лицо, таял, солдат облизывал мокрые губы и все говорил, говорил о своих девочках.

— Нема у вас татка... Як же вы будете...

А снег валил и валил, засыпал, забеливал все следы, и только кровь сквозь бинты проступала, не поддавалась.

Снег уже не успевал таять на его лице, солдат с трудом раздираал веки. Наконец до Гурина дошло, что тот не может протереть себе глаза, и он достал из его вещевого мешка домашнее полотенце, вытер ему лицо. Рушничок Василий не стал класть в мешок, засунул ему за пазуху. Бельный кончик его остался снаружи, и он увидел две буквы — «Н» и «О». «Инициалы девочек», — догадался Гурин.

— Не буду я жив... Умираю...— простонал солдат. В уголке рта показалась кровь.— Напиши диточкам, жинке... Вот тут адреса.— Он глазами показал на левый нагрудный карман.— Напиши им... Недалече тут мое село, Зеленый Гай... Напиши...

Он дернулся и затих. Губы вмиг почернели, глаза сделались стеклянными, и снег, перестав таять на лице, быстро засыпал его.

Гурин сидел не шевелясь. Впервые у него на глазах вот так умер человек! И он не смог ему ничем помочь.

— Ну что тут у вас?— раздалось сверху.— Сейчас придут санитары. Э-э, да ему уже не санитары нужны. А ты чего сидишь? Вылезай, иди ко мне в окоп.

Гурин осторожно взглянул вверх и увидел сержанта Серпухова.

— Вылезай. Ну ты что, остолбенел?

Не помнил Гурин, как выбрался наверх, как очутился в соседнем сержантском окопе. Немного опомнившись, он сказал сержанту:

— Написать надо ему домой.

— Напишут. Вот придут из наркомзема, заберут его и напишут. За этим дело не станет.

В этот момент начался обстрел. Кто-то закричал:

— Немцы наступают! Немцы наступают!

Поднялась стрельба. Автоматчики заставили немцев залечь, а потом и повернуть обратно. Но и в суматохе Гурин думал о солдате. Когда стемнело, он пошел в «свой» окоп, но солдата там уже не было, унесли.

«Конечно,— думал Гурин,— о нем напишут из штаба, пошлют стандартку: погиб смертью храбрых. Но ведь он просил меня не об этом. Он обращался ко мне — к единственному очевидцу его гибели, потому что я за эти пять—десять минут узнал о нем больше, чем кто-либо другой. Он погиб не вообще «смертью храбрых», а был смертельно ранен осколками разорвавшегося снаряда и скончался от потери крови. Я один знаю, о ком и о чем он говорил перед смертью, я один знаю, как он любил своих девочек, жену, и я мог бы им обо всем написать — тепло, по-человечески. Он просил меня именно об этом, но я, перепуганный его смертью, не написал. А ведь может случиться, что извещение не дойдет до адресата и будут считать в Зеленом Гае солдата того без вести пропавшим...»

— Гурин,— позвал его сержант,— ты что там притих? Сбегай с ребятами за ужином.

Гурин повиновался. Бежит, а из головы тот солдат не выходит.

Второй круг

Гурин шел с котелками в обеих руках вслед за солдатами. Снег похрумкивал под сапогами. Шли они медленно, мокрые, грязные шинели отяжелели, полы их замерзли и сделались твердыми, как панцирь, они сковывали ноги и, совсем не сгибаясь, мешали идти.

Раздав котелки, Гурин подошел к своему окопу и по привычке прыгнул в него. Но задубевшая шинель не пролезла в окоп, и Гурин

повис в беспомощной позе, болтая ногами, силясь достать до дна окопа. Он попытался локтями смять, согнуть шинель, но не тут-то было, она крепко держала его под мышки. Гурин кое-как дотянулся до края окопа, поставил на снег котелок, рядом положил автомат и кулаками принялся уминать полы шинели. Они хрустели, как кости на зубах у собаки, с трудом поддавались. Наконец он кое-как одолел шинель и с шорохом обрушился на дно. Там он согнул, подмял ее под себя, сел и принялся за еду. Шинель под ним постепенно отошла, оттаяла, обмякла, и Гурин уселся уже совсем удобно, приготовился вздремнуть, пока стояла тишина.

— Эй, кто тут?— послышался голос лейтенанта Исаева, и в Гурина полетел маленький комочек снега.— Гурин? Ты что притих? Загрустил? Вылезай и беги на НП роты — вон туда, возьми себе лопату, пока не расхватали, и соедини свой окоп с соседним слева ходом сообщения. Прокопаешь траншею сюда, до этого колышка, потом завернешь к тому окопу. Чтобы получился зигзаг. Понял?

Возле НП роты лежала куча лопат: малые саперные, большие штыковые, даже совковые. Гурин схватил сначала малую, но потом раздумал, бросил и поднял большую: ею удобнее копать. А долбить сподручнее малой... Оглянулся — рядом никого — и схватил обе. Соседи Гурина уже всюю работали, разогрелись, даже шинели с себя снимали, в одних телогрейках орудовали. Гурин тоже вскоре сбросил шинель, кинул ее в окоп — тепло стало.

Прежде чем углубляться в землю, он решил расчертить свой участок и очистить его от снега. Провел лопатой две параллельные линии сначала до углового колышка, потом завернул к соседу. Расчертив все, принялся отбрасывать снег. Снег был податлив — не успел еще слежаться, сверху только покрылся ледяной коркой. Гурин резал лопатой аккуратные снежные кубики и складывал их на тыльную сторону, чтобы потом замаскировать ими бруствер.

Работалось хорошо, немцы не беспокоили, лишь изредка поливали бесприцельно нашу сторону пулеметными очередями, пули пролетали высоко над головами, да так же изредка бросали ракеты — освещали нейтральную полосу. Пригнутся солдаты, переждут, пока погаснет ракета, заодно и передохнут, и снова за работу.

Земля еще не промерзла глубоко и Гурин до утра справился с заданием, ненамного отстав от других. Бруствер замаскировал, всю землю вокруг забелил снегом, и когда лейтенант с другим офицером проверяли работу, Гурина даже похвалили.

— Бывалый солдат! — сказал лейтенант.— Мой мальчик! Плохих не держим.— Он подмигнул Гурину, и они пошли дальше.

День прошел спокойно. Немцы, правда, обрушивали на нашу сторону минометные и артиллерийские налеты, но били главным образом по тылам плацдарма, наверное знали, что там земля нафарширована техникой и редкий снаряд не причинит вреда.

Поздно вечером в траншее вернулась пехота. Автоматчики обрадовались: вот сейчас они сдадут окопы хозяевам, а сами побегут в свой теплый сарайчик в деревню. Уже собирались в небольшие группы, довольно потирали руки, ждали команды. А ее почему-то не было. И лейтенанта не было. Может, он не знает, что пехота вернулась? Разыскать бы его.

Но Исаев появился сам, и был он как-то весь напряжен и собран. Не подмигивал, не шутил, строг, деловит. Собрал автоматчиков, сказал:

— Никаких сарайчиков. Утром пойдем в наступление вместе с пехотой. На нас ложится основная задача прорыва обороны противника. Автоматы почистить, проверить все, чтобы работали, как часы. А пока отдыхайте.

Какой там отдых! Заныло сердечко, защемило, ладони вспотели, а спине холодно сделалось. Поежился Гурин, шинель потуже застегнул.

Но к утру озноб прошел, общее боевое возбуждение передалось и ему, солдаты старались шутить, подначивали друг друга — делали все, чтобы не думать об атаке.

Ровно в назначенное время заговорила артиллерия. Гурин снял шинель, накинул на плечи. Шапку надвинул покрепче на лоб, чтобы не потерялась, автомат перевел на длинные очереди — приготовился.

Еще рвались над немецкими траншеями снаряды, как раздалась команда: «Вперед! В атаку!» Василий выскочил из траншеи и побежал, время от времени посылая автоматные очереди. Косит глаза направо и налево — следит за своими. Бегут все, строчат из автоматов. Когда уже преодолели половину нейтральной полосы, сзади стали рваться мины. «Опоздали, голубчики!» — подбодрил себя Гурин. Но тут откуда-то слева заработал пулемет. Пули запели у самой головы. Гурин хотел было залечь, но команда «вперед» погнала его дальше. Вот уже виден немецкий бруствер, еще несколько шагов — и Гурин прыгнет в окоп, а у него силы на исходе, совсем задыхается, вот-вот упадет. И вдруг увидел — над бруствером высовывается ствол винтовки и макушка немецкой каски. Первый порыв был — упасть на землю, но, подчиняясь, наверное, инстинкту, Гурин не упал, а нажал на спусковой крючок. Каска сразу опустилась, и вслед за ней медленно сползла в траншею винтовка. Гурин прыгнул в окоп и, привалившись спиной к стене, бросил глазами вправо-влево. Никого. Только рядом немец сидит, уткнулся головой в песок. Хотел было кинуться вдоль по траншее, как вдруг навстречу — другой. Высунулся и тут же нырнул обратно. Гурин дал по нему очередь, но, видать, опоздал: из-за угла вылетела на длинной деревянной ручке граната и завертелась под ногами. Гурин перепрыгнул через нее и, спасаясь от взрыва, ринулся за угол. А там немец удирает по траншее, вот-вот юркнет за поворот. Ударил по нему очередь, тот споткнулся, упал. Гурин присел, прижался к стене, и в этот момент взорвалась граната, из-за угла полетели осколки, комья земли. Гурин вскочил и побежал дальше по траншее, у самого поворота прижался к стене, не зная, как быть: вдруг в следующем колене немцы подстерегают его? А тут этот, убитый им, растянулся как раз на проходе, мешает. Затаился Гурин, прислушался. Бродит тихо. И он, полоснув на всякий случай очередь за угол, ринулся туда сам. Пусто. Все, теперь навверх — и вперед, дальше.

Выбрался, смотрит: автоматчики уже впереди, замешкался он в траншее, долго, наверное, простоял за пустым углом. Поднажал — догнал, бежит и чувствует, что ему легче стало дышать, и бежать не тяжело и страх куда-то девался.

— Вперед! Вперед! В атаку!

Вот и она, вторая линия обороны. Не зевнуть бы, не сплеховать... И вдруг чувствует: огонь по ним начал ослабевать. Поднял голову, видит: немцы один за другим выскакивают из траншеи.

— Ура-а-а! — обрадованно закричал он и послал длинную очередь вдогонку.

Вот и вторая траншея. Прыгнул в нее, дал очередь налево за угол и сам туда же пулей влетел. Никого. Снова навверх — и побежал дальше.

— Вперед! — не умолкала команда.

Хотел еще дать очередь по бегущим немцам, нажал на спуск, но автомат на третьем или четвертом патроне захлебнулся. Понял Гурин — магазин опустел, и нырнул в ближайшую воронку. Быстро выпростал из чехла запасной диск, вставил, оттянул затвор — все в порядке. Выглянул: бегут по всему полю наши солдаты, то там, то здесь только и слышно: «Вперед! Вперед!»

Подхватился Гурин и пустился вслед за солдатами. Смотрит, Аня стоит на коленях, перевязывает автоматчика. Обрадовавшись своим, Гурин плюхнулся рядом. Аня оглянулась, сказала сурово:

— 'А, это ты? Куда торопишься? Лейтенант с сержантом уже заворачивают наших.

Огляделся: действительно, приотстали автоматчики. Гурин поднялся. Пехота уже стреляла и кричала где-то вдаль, за холмом, а вслед за ней спешили артиллеристы, минометчики, подводы с боеприпасами. Сорвали немцев, погнали!

Подошел сержант, шапка на макушке, красный ежик дымится паром.

— Ну как?— спросил он, неизвестно к кому обращаясь.

Гурин вытирал пот со лба, молчал. Серпухов нагнулся над раненым.

— Кого это? Ты, Востряков? Эх, бедолага! Бок распорол... Ну ничего, крепись. После госпиталя ты нас найдешь.

— А я не пойду в госпиталь,— простонал Востряков.

— Лежи, лежи!— прикрикнула на него Аня.— Развоевался!

Автоматчики по одному, группами потащились к своим траншеям. Пошел и Гурин. Только теперь почувствовал, как устал — ноги были будто из ваты, его качало из стороны в сторону. В своем окопе упал на шинель и слышит, как в нем гудит все и сердце колотится, будто барабан.

Через какое-то время их собрали всех вместе, подошел лейтенант, спросил у сержанта:

— Сколько?

— Семерых... Трое убито, четверо ранено.

— Много,— сказал лейтенант мрачно.— Жалко ребят.— Потом поднял голову.— Ну что ж, мальчики, война... А вообще молодцы. Все молодцы, поработали что надо.— Кивнул сержанту.— Веди.

— За мной шагом арш!— махнул рукой Серпухов, перепрыгнул через траншею и направился в сторону фронта.

По полю ходили солдаты и подбирали убитых. Чем ближе к немецким траншеям, тем больше трупов, гибли в основном на бруствере перед броском в траншею. Дальше наши лежали вперемежку с немцами.

За второй линией обороны наших уже было гораздо меньше, сплошь по белому полю горбились немецкие шинели, валялись их каски, противогазы, оружие.

Рядом с Гуриным идет Юрка Костырин, земляк его — тоже донбасский, из Макеевки. У них даже общие воспоминания нашлись: оба знают макеевскую свалку, куда Василий с матерью ходил выбирать из шлака кусочки кокса на топливо. Он толкнул Гурина, указал головой:

— Гляди, наверное, унтер?.. Погоны серебряные.— И Юрка вышел из строя. Вернее, не из строя, шли они вразброд, он просто отделился от толпы.

— Куда ты?— удивился Гурин.

— Сейчас догоню.

И Юрка выразительно принялся расстегивать штаны. А когда уже последний солдат миновал его, он подбежал к унтеру, нагнулся и стал что-то делать. Потом быстро догнал, поравнялся с Гуриным и показал ему на ладони часы.

— Думал, гад, швейцарские, а они та же штамповка. Возьми, у меня такие уже есть.— Юрка вытянул левую руку, показал на запястье.— Бери, не морщись. Трофей.

За разговором не заметили, как прошли поле и вышли на дорогу. Вдали завиднелось село. Лейтенант сошел на обочину, оглянулся на свою роту.

— Подтянитесь! Разберитесь! Шинели застегните, что вы как пленные! Ну-ка приведите себя в порядок. На вас люди будут смотреть, освободители.

Это правда: передовые части промчались и поэтому автоматчики, по существу, первые солдаты, которые вступают в освобожденное село.

Еще на подходе им навстречу выбежала толпа ребятишек и, как почетный эскорт, сопровождала их вступление в населенный пункт.

А в селе и старый и малый — все стояли на улице и смотрели на них как на чудо чудное, свалившееся с небес. Женщины плакали, дети махали им руками, старики почтительно снимали шапки. А где-то уже на середине улицы толпа стала такой плотной, что трудно было пройти. Женщины тянули к ним руки, словно хотели потрогать, действительно ли это живые солдаты, а не мираж. Одна воздела руки, закричала:

— Боже мой! Вызволители вы наши! Родненькие!— И кинулась целовать одного, другого.

За ней и остальные — обнимают солдат, целуют, плачут.

— Та куды ж вас спешите? Та хоч на минутку остановитесь, отдохните — мы на вас полюбуемся.

А солдаты и так уже остановились, растерянно улыбаются, самим плакать хочется от такой всеобщей радости.

Лейтенант пробился на середину, сказал:

— Ладно. Полчаса отдых. Разбирайте, тетки, кому кто нравится. Покормите солдат.

Подхватила Гурина с Юркой пожилая украинка, затараторила весело:

— Ходимте до хаты, ходимте...

Привела в дом, хлопочет:

— Знимайте шинели, умойтесь. Ось вам рушничок чистый. А я зараз стол накрюю. Що вам хочеться — чи яшеньки, чи молока? Сало е у мене. Сховала от нимцев.

— Я бы съел борща,— осмелел Гурин.— Давно не ел домашнего борща.

— Борщ е!— обрадовалась хозяйка.— Зараз!

Быстро время пролетело. Не успели поесть, поговорить, как слышалась команда: «Выходи строиться!» Молоко допивали стоя.

— Ну, час вам добрый! Хай вам щастыть, хай вас ворожи пули минають.— Поцеловала солдат как родных, расплакалась.

Покидали ребята село — грустно было: родным теплом повеяло, будто из материнского дома уходили...

Почти полтора месяца минуло, как Гурин попал в роту автоматчиков, срок невероятный. А ведь они и в атаки ходили и на прорыв их бросали, однажды в разведку боем, дважды придавали их разведчикам. За это время рота сильно поредела. Когда Гурин пришел в нее, там вместе со «стариками» было тридцать четыре «мальчика», сейчас осталось человек пятнадцать. Кого убило, кого ранило. Ранило и земляка Гурина Юру Костырина из Макеевки. Больно было Гурина расставаться с ним, привыкли друг к другу, сдружились.

Был конец февраля. Уже солнышко пригревало, снег напитался водой и готов был разродиться потоками. Пахло весной. И то ли этот запах, то ли еще что действовало на солдат — у них все чаще и чаще возникали разговоры о мирной жизни, ребята вспоминали школу, девочек. И вот как-то затеялся разговор о любви.

Колька Шевцов, маленький, шустренький, глазки точечками в разные стороны смотрят, страшный женоненавистник на словах, категорически утверждал:

— Вообще любви никакой нет, выдумки все это. Есть одно чикибрики — и все. К этому все и стремятся — и мужики, а особенно бабы.

Аня брезгливо поморщилась.

— Нет, ребята,— поднялся Сергей Проторин, долговязый заика.— Я думаю, любовь — это с-страсть, к-которая заложена природой в

ч-человеке. Ф-физиология. Б-брачный период у животных, б-брачное время у человека. Это естественная п-потребность.

— Ну и ты туда же, куда и Шевцов,— отмахнулась Аня.— А ты, Серпухов, почему молчишь? Есть любовь или нет?

Сержант почесал в затылке, двинул плечами.

— А хрен ее знает. То будто есть, то будто нет ее. Говорят: любовь навеки. Я не верю в это.

— А я верю,— сказала Аня.

Любовь! От одного этого слова Гурина в дрожь бросает: очень влюбчивый парень. Вспомнил Валу Мальцеву, заныло сердечко — любил он ее, крепко любил...

А вообще, что такое любовь? Тут он был начитан, мог бы поспорить кое с кем, но сейчас почему-то не мог собраться с мыслями, ребята сбивали.

— Ну а все-таки что такое любовь?— допытывалась Аня.— Ну вот ты, Гурин, скажи,— обратилась она к нему.

— Любовь, по-моему, это наилучшее состояние человека. Любовь, по-моему, это самое сокровенное, самое неприкасаемое...

— Ну, напел!— поморщился Шевцов.— Неприкасаемое. В этот момент только и прикоснуться!— И захихикал.

— Да, люди должны стесняться, совеститься показывать свою любовь, хранить ее втайне и никого не пускать к ней.

— Тайна! А всем видно, что ты влюблен в Аньку.

Вспыхнул Гурин, хотел запустить в него котелком, но Аня остановила его:

— Не обращай внимания. Он кого только ко мне не клеил... А ты знаешь, Гурин, мне нравится, как ты говоришь: тайна, совесть, наилучшее состояние... Интересно. Правда ты так думаешь?

Вошел лейтенант, и возбужденная Аня кинулась к нему с вопросом:

— А теперь пусть лейтенант скажет: что такое любовь? А, лейтенант? Тут вот спор...

— После, Аня... Про любовь после.— И скомандовал резко:— В ружье!

Все понятно — срочное задание. Моментажно одеваются, оружие в руки — и в строй.

— Все автоматчики временно поступают в распоряжение командира стрелковой роты старшего лейтенанта Кривцова. Через полчаса всем быть на передовой.— Лейтенант посмотрел на ребят, грустно улыбнулся.— Ничего, мальчики, я на вас надеюсь. Сержант Серпухов, ведите.

Вышли за село, впереди открытое поле, чистый снег поблескивает на солнце, спит глаза. Подставишь лицо — пригревает ласково. Со всем весна.

На ходу Серпухов дает инструкции:

— На передовую будем добираться двумя тропами. Вы пойдете той, что ведет к самолету,— приказывает он первому отделению,— а вы правее, где телега разбита.— Это уже касается второго отделения.

Тропы эти Гурина знакомы, не раз приходилось и ночью и днем пробираться ими на передовую и обратно. Больше всего протоптали дорогу солдаты мимо самолета. Грохнулся тут как-то на брюхо огромный немецкий транспортник, фюзеляж из гофрированного железа, будто шифером обшит, немного не дотянул до своих. Теперь хорошим ориентиром служит этот самолет. И укрытие тоже неплохое. Бывало, бегут с передовой, доберутся до самолета — все, считают себя спасенными. Отдохнут под ним как под скалой, потом еще одна-две перебежки — и дальше идут спокойно в рост, пули уже не достают.

И на передовую — тоже самолет вежа. Бросится к нему солдат, передохнет, наберется сил — и вперед. Два-три раза упадет, переждет,

пока немец отстреляется, потом сделает последний рывок — и в ход сообщения. Тут уже длинный ус ведет на самую передовую...

— Давай, Гурин.

На самолетной тропке он оказался первым. Побежал рысцой, сберегая силы для последних перебежек. Бежит и рассчитывает, где упасть. Однако по нему не стреляют и он не падает. Выскочил на бугорок, прикинул: «Может, добегу без остановки до самолета? Нет, не стоит...» И он плюхается на мокрый снег. И в тот же миг две пули чиркнули рядом. «Вот гады...» Лежит, прикидывает — далеко ли до самолета, успеет ли за одну перебежку добраться или лучше это расстояние преодолеть за два раза? Если бы на полпути была воронка... Она, кажется, есть...

Ох эти перебежки под огнем у врага! Тут любой предмет кажется спасительным. Самолет, телега, воронка, камень, кустик, бугорок — все годится, у всего ищешь защиты.

Гурин окончательно решает до самолета сделать две перебежки: раз уж они начали бить прицельно, рисковать не стоит.

Еще издалека с разбегу ныряет под самолет, как в воду. На мокром снегу брюхом проехался, ожидал, что стукнется головой о железо, но вдруг уперся во что-то мягкое. Поднял голову, шапку сдвинул с глаз, видит: два пожилых солдата сидят, смотрят на него как на пришельца с другой планеты.

— Ну что? — спрашивает Гурин, чтобы не молчать.

— Бьет... — говорит один. — Пристрелял, не дает голову высунуть. Из крупнокалиберного бьет, изрешетил весь самолет.

И тут, как бы подтверждающая правдивость слов солдата, забарабанили по гулкому пустому фюзеляжу тяжелые пули. Они пригнулись.

— Да, бьет. А что же делать?

— Темна дожидаться надо.

— До темна далеко, — сказал Гурин и стал натягивать шапку потуже, готовясь рвануться вперед: кучей скапливаться нельзя, тем более за ним бегут другие: немец может накрыть всех минами.

Пока Гурин собирался с духом, выглядывал из-за самолета, высматривал защитные ориентиры, кто-то сзади упал, задышал тяжело. «Ну вот, досиделся. Пора!» И он рванулся дальше...

Скопившись в траншее, автоматчики ждали распоряжений. Сержант Серпухов побежал куда-то докладывать о прибытии, а с другой стороны на них наткнулся какой-то офицер в фуражке с большим квадратным козырьком и в плащ-накидке поверх шинели.

— Это что за народ? Откуда?

— Автоматчики.

— Наконец-то! Кто старший? Позовите сержанта!

— Я здесь, товарищ старший лейтенант. Сержант Серпухов. — Вовремя успел вернуться.

— Иди сюда, — позвал его старший лейтенант. — Вот видишь высотка? Она у меня, как прыщ на... Надо провести разведку боем. Окопчики видишь у самого подножия высотки?

Старший лейтенант продолжал объяснять сержанту задачу, но Гурин уже не прислушивался: при словах «разведка боем» у него все внутри опустилось, как в первый раз. Никак не привыкнет и за это ругает себя, косится на ребят — не заметили бы, — а сам знает: побледнел он, в лице ни кровинки.

Подошел сержант:

— Будем штурмовать высотку. Рассредоточьтесь. Через пять минут пойдем, будьте готовы.

За это время Гурин успел проследить весь предстоящий ему путь до самой высотки. Нейтральная полоса была изрыта воронками, и он наматил себе пункты передышки. По команде «вперед» вывалился за бруствер, пробежал несколько метров и упал, хотя немцы по нему еще и не стреляли. Он тут же вскочил и побежал дальше. Пули за-

чиркали вокруг, и он нырнул на землю. Полежал, подхватился, на ходу дал рассыпную очередь по немецким траншеям и снова упал. Лежит, дышит тяжело. Решает: «Пора оглянуться, где там наши». Не отрывая головы от земли, посмотрел вправо — автоматчики продолжают перебежки, но впереди пока не видно никого. «Вырвался вперед. Хорошо: подожду и заодно передохну. Только бы немцы не прибили». А немцы уже всполошились, открыли стрельбу из всех видов оружия, пулеметы строчат со всех сторон, штук пять, не меньше. Лежит Гурин, ждет, пока поравняются с ним остальные. И чувствует, что-то получилось не так: солдаты прекратили перебежки, лежат по всей нейтралке, то ли побиты, то ли так же, как Гурин, залегли.

И вдруг шпокнуло где-то позади, взвилась вверх с шипением зеленая ракета — отход. Вот те на! Откуда-то донесся голос сержанта:

— Отходите!

Ожили автоматчики, поползли, побежали один за другим обратно. И тут немцы снова как взбесились: открыли такую пальбу, что над полем стояла сплошной свист от пуль. «Обрадовались!.. А наши хоть бы припрыжили... Но пора и мне», — решает Гурин. Вырвался вперед — теперь бежать дальше всех. Туда был первым, обратно последним оказался. Осматривается, собирается с духом. Наконец рванулся — побежал. Ух как резанули воздух вокруг головы пули! Упал, снова побежал, еще, еще, наконец кубарем скатился в траншею. Сел на дно, привалился к стенке — отдышаться не может. Жив! Жив!.. Жив... Еще раз сбегал туда и вернулся. Теперь меньше осталось. Но сколько? Если бы знать, сколько раз ему предназначено пытать свою судьбу?

Наверное, и получаса не прошло, как слышит Гурин — передают по цепи: приготовиться к атаке. После артподготовки по сигналу красной ракеты снова на штурм высоты. Касается всех — и автоматчиков и стрелков.

Завыли снаряды, завизжали над головами, задымилась высотка, расцвела фонтанами взрывов.

— Вперед! Вперед!

Пошел Гурин снова своей дорогой, только уже не падал в «свои» воронки, а бежал, бежал, пока немцы не опомнились от артралета. Но такая благодать длилась недолго. Не успел затихнуть наш артралет, как тут же заработали пулеметы противника. Залегла пехота, залегли автоматчики.

— Вперед! Вперед! — надрывался Серпухов.

А куда вперед, если головы нельзя поднять?

Но выскакивают, перебегают. И падают люди, гибнут. Огневой заслон у немцев плотный, видать, перехитрили они наш артралет.

Залегли. И команды уже никакой не подается — ни вперед, ни назад.

И вдруг зеленая ракета взвилась. «Да пропади ты пропадом такая война! Опять назад, опять немцам спину подставляй! Не могли уж как следует подавить пулеметные точки!» — ругается про себя Гурин. Срывается и бежит обратно. Добежал. Опять жив! Может, сегодня на этом наконец закончится эта беготня? Сколько можно?

Прошел час, два. Гурин отдышался, пришел в себя, а они, командиры, все молчат. Наверное, придумывают что-нибудь другое. Похоже, старший лейтенант атаками в лоб насытился, успокоился. «Может, доживем до завтра?» — думает Гурин. И тут будто в ответ на его мысли раздается команда:

— Приготовиться к атаке!

Снова заговорила артиллерия, снова высотку охватил огневой смерч. Казалось, после такого налета там уже ничего живого не останется.

— Вперед! В атаку!

Пулей вылетел Гурин из траншеи. Он твердо усвоил, что только в быстроте его спасение: опередить пулеметную очередь, опередить снайперскую пулю, опередить мину — только так, только поэтому он и жив пока...

Несмотря на губительный артоналет, немцы снова ожили и стали поливать штурмующих пулеметным огнем. Цепь залегла, и тут же по ней стали бить минометы. «Нет, тут лежать нельзя, надо броском вперед...» — решает Гурин и, пригнувшись, бросает себя дальше. Мины рвутся вокруг, но он не обращает на них внимания, торопится как можно ближе прижаться к немецким траншеям. И вдруг слышит: летит мина и звук от нее необычный — она уже не свистит, а как-то пофыркивает. «На излете...» — молнией пронзила догадка, и он нырнул головой в снег. В тот же миг раздался взрыв, в нос ударил противный запах пороха, на спину посыпались комья мерзлой земли. В ушах остался долгий тугой звон. Полежав, Гурин отряхнулся, поднял голову и увидел метрах в десяти правее от себя Аню. Она бежала к раненому, но на полпути вдруг упала как-то неестественно. «Ранило!» — догадался он и бросился к ней. Подхватил под мышки, потащил в траншею. Тяжелая, будто свинцом налитая, она пыталась идти сама, но лишь корчилась от боли и сердито отдувалась. Гурин опустил ее на дно траншеи, она застонала.

— Ранило? Куда? — пытался помочь ей Василий.

— Куда? Куда? Проклятый фриц, наверное, специально целил, чтобы стыдно было на перевязку ходить...

— Вперед! Вперед! — сквозь выстрелы доносилась команда.

— Кто позволил?! Кто приказал возвращаться в траншею?! — Старший лейтенант пнул Гурина под зад сапогом. — Кто приказал?! Вперед! Сейчас же вперед! — истерично кричал он, размахивая пистолетом. — Или я сейчас же расстреляю на месте! Как труса!

— Ранило вот... — попытался оправдаться Гурин.

— Вперед!

Покарабкался Гурин из глубокой траншеи, побежал догонять наступающую цепь. Догнать ее было нетрудно: цепь дальше не продвинулась. Перебежками Гурин добрался до самых передовых и тоже залег: пулеметы поливали их перекрестным огнем.

Стало смеркаться, а до темноты надо было ворваться в немецкие окопы. «Сейчас бы броском вперед. Всем», — подумал Гурин. Но команды не было. Опять что-то затихло сзади, и только впереди заклебывались немецкие пулеметы.

Видит Гурин: по одному начали отход, кто ползком, кто короткими перебежками. И тут на него напало какое-то остервенение: «Не пойду назад! Не пойду! Сколько можно? Пусть убьют тут! Нет, не надо... Не надо раскисать. Я должен жить, жить, жить!..» И он рванулся к своим траншеям. На поле уже почти никого не осталось, кроме убитых, поэтому палили в основном только по нему, пули визжали вокруг головы, как осы, шпокали разрывные у самых ног, а он бежал, падал, снова бежал. И вот наконец спасительный окоп, прыгнул в него, просвистели над траншеей запоздалые пули. Все! Опять живой! Неужели опять невредим?!

Стемнело. То с одного фланга, то с другого немцы изредка пускали в нашу сторону длинные очереди трассирующих пуль. Бросали осветительные ракеты — наверное, ждали очередной атаки. Но у нас пока было все тихо. Солдаты уже начали поговаривать об ужине, готовили котелки — вытирали их, выдували из них землю. Кто-то выбросил свой котелок за бруствер: продырявлен пулей или осколком.

Отдохнув немного, Гурин пошел по траншее искать своих. Встретил совсем немного ребят, человек пять, они, сбившись сиротливой кучкой, сидели в развилке траншеи, курили. От них он узнал, что сержанта тяжело ранило и его унесли санитары.

— А как же мы?

— А что мы? Мы остаемся в этой роте. У старшего лейтенанта.

— Говорили же — временно?

— Может, и временно...

Гурин толкнул Кольку Шевцова.

— Дай... — Он кивнул на сигарку.

— Ты че? То отдавал табак, а теперь — дай. — Он полез нехотя в карман, достал жестяную коробочку.

— Нет... Дай докурить... Оставь бычка. — Гурин знал, что сигарки ему не свернуть — руки все еще дрожали.

— К концу самое сладкое — и отдавай. — Шевцов сделал две сильные затяжки, отдал через плечо окурков. Василий затянулся раз, другой, по телу разлился какой-то дурман, голова пьяно закружилась.

Ужин на передовую принесли в термосах, и солдаты, обрадовавшись, что за ним не надо бежать куда-то, выстроились с котелками к раздающему.

Немцы незаметно прекратили стрельбу и даже ракеты перестали бросать, наверное совсем успокоились и тоже ужинают — едят свой гороховый суп. А у нас перловка с тушенкой. Солдаты зовут ее презрительно «шрапнель», а Гурина она нравится, дома такой сытной и вкусной пищи он никогда не ел, все как-то впроголодь жили. Мать одна, их три рта — где ей было насытить всех? Василию нравится и пшенная каша, и овсяная, и кукурузная, в батальоне выздоравливающих он даже баланду из какой-то непонятной крупяной сечки ел с удовольствием и никогда не жаловался, как другие. Бывало, мало-вато ее клали в котелок, не наедался частенько, но это уже дело другое: такова норма.

— Вот она где, шрапнель, надо было днем ею шарахнуть по фрицам, высотка была бы нашей! — шутил какой-то остряк.

Поесть не успели, прибежал связной.

— Вы автоматчики? Срочно все к командиру роты. Бегом.

— Не дал поужинать спокойно, — заворчали солдаты, однако засуетились: кто стал быстро доедать кашу, кто принялся вываливать ее за бруствер, весело заскрежетали ложки о котелки — подчищают остатки. — Пошли, а то будет орать.

По ходу сообщения побежали они вслед за связным. Еще издали увидели: стоит Кривцов, отдает распоряжения направо и налево, руками размахивает, только полы плащ-палатки взлетают, как от сильного ветра.

— Пришли автоматчики, — доложил связной.

— Где? — обернулся командир роты. Заорал: — А где остальные? Всех сюда!

Автоматчики угрюмо молчали, переглядывались.

— Угу. — Кривцов кашлянул. Наверное, дошло до него, где остальные. — Ладно. Ты, — указал он на Проторина, — бери пулемет. Будешь первым номером. Ты — вторым, — ткнул он в Шевцова и отделил их от остальных.

Те замешкались, хотели что-то сказать, но комроты закричал:

— Быстро! — И рука его вытянулась в сторону РПД, который лежал на бруствере на боку, задрав вверх одну сошку, словно зарезанный баран ногу.

Сергей поднял пулемет, пошел по траншее вперед, вслед за ним с сумкой с запасными дисками пошел Шевцов.

— Ты, — указал Кривцов на Гурина, — бери ружье, будешь первым номером. Второй номер...

«Так и знал! — выругался Василий про себя. — Чего не хочешь, то обязательно будет!» Это ПТР, длинную эту железную палку, он невзлюбил с первого раза, еще когда только увидел в запасном полку, — неуклюжее, тяжелое, примитивное оружие. «Разве с ним, — думал он, — можно обороняться против танков?» И вот оно как нарочно достается ему.

- Где второй номер ПТР?
- Я тут, — вяло отозвался рядом стоящий солдат.
- Вот второй номер. Патроны есть?
- Та есть...
- Шагом арш! — махнул им комроты.

Гурин и его второй номер отошли, встали поблизости от Проторина с Шевцовым.

Направив ствол в сторону немцев, Василий открыл затвор — в казеннике оказался патрон. Он вытащил его, проверил работу затвора, вложил патрон на место. «Черт знает что за оружие! Даже на затворе не рукоятка, как на винтовке, а крючок какой-то. А ручка, за которую переносить ружье? Ну что это за ручка! Железный плоский кронштейн, а по бокам наклепаны две примитивные деревяшки. Будто папа Карло топором выстругал». Все нутро Гурина восставало против противотанкового ружья.

— Патронов много? — спросил он сердито у своего напарника, будто тот был виноват, что Гурина досталось нелюбимое оружие.

— Да вот, — Второй номер положил на бруствер сумку. — Богато... Куды их?

Голос у солдата был тягучий, слабый, как у тяжело больного. Гурин присмотрелся к нему: маленький, щупленький пожилой дядька. «Старик, — определил он. — Наверное, лет сорок, не меньше. А я так грубо с ним обращаюсь. Он в отцы мне подходит...»

— Ничего, пригодятся, — сказал Василий мягко, заглаживая свою оплошность. — Сейчас выберем местечко, оборудуем позицию.

— Какую п-п-позицию? — услышал их разговор Проторин. — Сейчас марш-б-бросок будем д-делать. Немцы-то д-д-драпанули. Р-разведчики там уже п-побывали.

- Как драпанули? А зачем же мы целый день лезли туда?
- А к-кто же знал.

Вот почему притихла эта высотка: там, оказывается, уже никого нет!

По траншее пробежал старший лейтенант Кривцов.

— Готовы? Быстро! Быстро! Через пять минут тронемся. Быстро!

Задача ясна, и Гурин преворачивает свою грозу для немецких танков на бок, поджимает к стволу ножки-сошки, вешает поудобнее вещмешок на спину, автомат на шею — готовится к походу.

— А на шо автомат, у вас же ружжо? — спросил Гурина напарник, увидев его приготовления.

— Ружье против танков, а автомат против пехоты, — объяснил Гурин ему, а про себя отметил: «Старик ко мне относится с почтением, на «вы». Подтянул ремень, лопату сдвинул подальше назад, чтобы не мешала. — Вас как зовут?

- Микола Родич.
- А по отчеству?
- Гнатом батьку звали.

— Николай Игнатович, значит? А меня зовут Василий. Фамилия Гурин. Вот и познакомились. Почему вы так тихо разговариваете? Вы больны? — спросил Гурин.

- Не, — сказал тот. — А зачем кричать?
- «И то правда», — подумал Гурин.

Когда передали команду «вперед», Василий взвалил на правое плечо, словно бревно, длинное, тяжелое и неуклюжее ружье, сказал второму номеру:

— Ну, Николай Игнатович, пошли. Не отставайте только...

Идти было тяжело: глубокий снег напитался водой, стал рыхлым, ноги проваливались почти до колен, каждый шаг стоил огромных усилий. Не снег, а каша крутая. И ноша нелегкая. Ружье с каждым километром казалось все тяжелее и тяжелее. Гурин перебрасывал его с плеча на плечо и натрудил их так, что они горели как обожженные.

И сам был весь мокрый, будто только из парной вышел. Сначала он надеялся, что ружье это они будут нести поочередно, но потом пришлось от этой надежды отказаться. Уже на первых километрах Родич отстал от Гурина, и он вынужден был подождать его.

— Вы не отставайте, пожалуйста,— попросил его Гурин.— Вдруг придется отбиваться, а вас нет...

— Та успею... — протянул тот спокойно.— А вы дуже шибко не бежите.

— Ну как же? Вон все уже где.— Василий пошел вперед.

Некоторое время он слышал позади себя сопение Родича, но вскоре тот умолк. Оглянулся Василий — не видать напарника. Опять остановился, стал поджидать.

— Николай Игнатович, вам тяжело?

— Та ни...

— Так не отставайте, пожалуйста. Ну в самом деле: вдруг сейчас пойдут танки, где я вас буду искать? А у меня в стволе один патрон. Дайте мне хоть пару еще.

Тот охотно развязал сумку, Гурин взял два патрона (не патроны, а целые снаряды!), положил в карман шинели.

— Пойдемте побыстрее, не отставайте, прошу вас.

— Та успею...

«Да, не повезло мне с напарником. Не только не помощник, а хоть самого бери на буксир»,— сокрушался Гурин. Его медлительность, тягучее спокойствие, невозмутимость начинали раздражать Гурина. Но он сдерживался: старик, что с него возьмешь. «И все-таки совесть должен бы иметь, хотя бы немножко понес ружье, а я взял бы сумку с патронами... Самому взвалить на него ружье, что ли? А потом что? Совсем отстанет...»

Оглянулся Гурин — не видать старика, пропал где-то. Ну что за человек! Ведь это сколько сил стоит Гурину по такой дороге снова догонять роту! Плюнул, пошел один: три патрона есть, на первый случай хватит. А там подбежит, не совсем же он чокнутый, чтобы оставить товарища без патронов.

Шли всю ночь. И не просто шли, а почти бежали: надо было догнать немцев, не дать им закрепиться на новых вот таких высотках, которые стоят потом стольких жизней.

На рассвете напоролись на немецкую оборону, но атаковать ее с ходу не решились, приказали окопаться. Гурин сбросил с себя всю амуницию, расчистил площадку от снега и принялся долбить мерзлую землю, поглядывая, не идет ли его напарник. Вдруг заблудился где в ночи, сбился с дороги — еще отвечать за него придется.

Грунт был как камень, даже искры летели из-под лопаты, тут бы лом нужен, а не эта малая саперная. Но где его взять, тот лом, а окоп нужен, вот-вот рассветет, без окопа немцы быстро отправят в могилевскую губернию.

Наконец припелся напарник Гурина. Увидел того за работой, стал в сторонке, отвернулся спиной к ветру и будто уснул: стоит, качаясь. «Ах ты ж паразит такой!» — рассердился на него Гурин.

— Николай Игнатович, а вы почему не окапываетесь?

— У мене лопаты нема.

— Так пойдите и найдите! — приказным тоном сказал ему Гурин.— Там же есть где-то лопаты. Идите!

Потек гуринский помощник куда-то, и долго его не было, наконец пришел, остановился вдали.

— Ниде нема... Уси сами копають.

— Какой же вы солдат? Стащили бы...

— А на шо?.. Все одно скоро пойдём дальше.

И тут как нарочно прибежал какой-то офицер, не Кривцов, а другой, незнакомый:

— На сто метров вперед, только тихо, без шума. На сто метров вперед...

— Ну шо я говорив? — невозмутимо и тягуче сказал Родич.

Собрал Гурин свои шмотки в охапку, подхватил ружье за рукоятку, двинулся вперед. На новом месте начал с нуля. Только теперь уже наметил окоп поменьше — земля тяжелая. Да и немцы поближе стали, постреливают.

Долбит мерзлую землю, вспотел даже, шинель сбросил. Поглядывает на восток — чувствует, не успеть ему до рассвета отрыть настоящий окоп. Поэтому долбит круглую яму, чтобы только пролезть в нее, а там, в глубине, когда пройдет слой мерзлоты, там он расширит свое убежище.

А Родич, напарник, стоит, дрожит весь: сырой ветер пронизывает его насквозь. Это Гурина жарко — работает.

— Ну что же вы, так и будете стоять? Совести у вас нет... Помогли бы хоть, — не выдерживает Гурин.

— А на шо?

— Как «на шо»? День настанет, куда вы денетесь? Вы думаете, я на двоих копаю? Возьмите лопату — согреетесь.

— Та... не надо... — великодушно отказывается Родич.

— Ах ты ж... твою мать. — И Гурин впервые выругался при старших. — И где ты родился такой?

И вдруг вой мины. Одна, другая, все ближе, ближе к ним. Гурин присел в свою яму — она уже по колено была, — а Родич заметался к одному окопу, к другому, упал на Гурина, головой уткнулся и бурлит его, хочет залезть на самое дно. «Ах ты паразит такой!» — взъярился Василий и вытолкнул своего напарника.

Налет скоро прекратился, и по цепи передали команду «вперед». Противник оставил передние траншеи, надо их занять.

— Я ж говорив: все одно бросим окопы, на шо их и копать, — сказал Родич.

— Пошел ты, — огрызнулся Гурин и побежал вслед за ротой.

А рассвет все сильнее, уже далеко видно, а немцы, наверное, только и ждали этого — стали поливать из пулеметов.

В несколько перебежек Гурин добрался до траншеи и прыгнул в нее. Траншея оказалась залита водой — зловредные фрицы обязательно какую-нибудь пакость устроят. А может, они и бросили эти траншеи, потому что их залило? Как бы там ни было, а делать что-то надо: в воде долго не прстоишь. Гурин быстро отцепил лопату и принялся долбить в стенах повыше воды уступы. Выдолбил, уперся в них ногами, раскорячился на всю ширину траншеи, согнулся, чтобы голова не маячила над бруствером, стоит. Но ведь и в такой позе долго не прстоишь, а тем более не навоюешь. Надо придумать что-то понадежнее, соорудить опору для ног покрепче. И он снова начинает долбить стены, стесывать с них землю. Земля сыплется вниз, в воду — растет бугорок под ногами. Еще несколько усилий — и вот уже настоящая плотинка поднялась над водой. Встал на нее Гурин — хорошо, прочно. Траншея, правда, стала мельче, но это ничего, зато сухо и твердо под ногами и руки свободны на случай немецкой атаки.

Пока Гурин мостил себе гнездо, прибежал Родич. Плюхнулся не глядя в воду — так и остался стоять, как цапля посреди болота. Гурин не выдержал, протянул ему лопату:

— Возьмите, нагребите себе под ноги земли.

— Не надо... — отмахнулся тот.

Посмотрел на него Гурин, вода почти до колен, а он ведь в ботинках и в обмотках.

— Простудитесь.

— Нехай... Скоро все одно в наступление.

«Странный тип», — подумал Гурин и стал оборудовать себе позицию для стрельбы. Впереди было ровное поле, залитое талой водой.

Она поблескивала под лучами восходящего солнца, и казалось, будто впереди не поле, а глубокое озеро.

Василий пристроил свое ружье, прицелился в одну сторону, в другую, остался доволен: справа пойдут танки — ему все видно и бить удобно и слева тоже.

А солдаты все накапливались в траншее: бежали, прыгали, не обращая внимания на воду, потом ругались, кляли немцев.

Один прибежал, увидел воду и забоялся прыгнуть в нее, заметался на бруствере. Ему кричат: «Прыгай! Прыгай быстрее!» А он мечется туда-сюда, ищет, где посуше, и вдруг: «Ой!..» — и ткнулся ничком в землю.

— Дотанцевался! — упрекнул его кто-то громко, и засмеялись все дружно, захохотали — смешной случай: воды солдат испугался, замешкался и поймал пулю...

— Приготовиться к атаке! — пробежало по цепи.

Гурин давно готов. Услышав команду, прильнул к ружью правым плечом, посмотрел еще раз через прицел: танки пойдут в контратаку — надо будет успеть ударить по ним.

— Впе-е-ре-ед!

Это «вперед», как он понимал, к нему пока не относилось: он должен быть готов к отражению танков. Пошла пехота, побежали по воде, брызги из-под ног взлетают, сверкают на солнце веселой радугой. Ожили немецкие пулеметы. Присмотрелся Гурин и заметил, что один сидит прямо напротив него и оттуда строчит по наступающей цепи. «Ну-ка, что, если ударить по нему? Танков все равно пока не видно...» — подумал Гурин, прижимая ружье крепче к плечу. Прицелился, нажал на спусковой крючок. Обрадовался: кажется, именно там, куда он и целил, взметнулся фонтанчик земли. Если и не попал, то напугал фрица здорово: такая пуля — чуть ли не со снаряд величиной — шпокнулась рядом!.. Ободренный выстрелом, Гурин достал из кармана другой патрон, зарядил ружье...

— Вперед! — продолжал кричать командир роты. — Вперед! — раздавалось почти рядом. — А вы почему сидите?

Гурин оглянулся на крик. Рядом стоял старший лейтенант с выпученными от ярости глазами, с пистолетом наголо и сыпал матюками.

— Вперед! Кому сказано?

Гурин показал ему глазами на свое ружье: мол, у меня ПТР, что же я буду делать с ним в немецких траншеях? там с ним не развернуться, жду танки...

— Впере-ед! Пристрелю!

— За мной, — кивнул Василий Родичу и выскочил из траншеи.

Подхватил правой рукой за ручку ружье, побежал. А иначе как с ним бежать? Наперевес, как винтовку, не возьмешь.

Сделал одну перебежку, другую, упал прямо в воду, оглянулся, поискал своего напарника. Увидел: отстал тот, но продвигается. Подождал, предупредил:

— Не отставайте! — И рванулся дальше.

Пробежал, снова упал, поднялся, еще пробежал, еще, залег: пора оглянуться, не отстал ли его второй номер с патронами. Ищет глазами — не видать. Наконец увидел: бежит далеко позади и держит направление куда-то вправо.

— Родич! — закричал ему Гурин. — Ко мне! Ко мне!

Услышал ли тот призыв Гурина, нет ли... Скорее всего нет: всюду стрельба, крики — разве услышишь? «Идиот ненормальный! Уродился же такой на мою голову...» — выругался Гурин, вскочил и побежал дальше за наступающими. Но не успел он сделать и нескольких шагов, как вдруг что-то дернуло его за левое плечо, дернуло резко, сильно, даже рвануло всего назад. И в тот же миг он почувствовал, что левая рука его онемела и, повиснув плетью, сделалась непос-

лушной. Гурин не сразу сообразил, что его ранило. Лишь какое-то время спустя он почувствовал острую боль в плече и все понял. Уткнувшись головой в ружье, он лежал в воде и думал, что ему делать. С одной рукой он, конечно, не вояка... И тот идиот где-то застрялся... Хотел было поискать Родича, но пули не дали ему поднять голову, они роем носились вокруг, падали густым градом в воду, взвихривали ее многочисленными фонтанчиками. Попытался пошевелить левой рукой — не смог, будто ее и не было вовсе. Только плечо отозвалось болью. Гурин схватил ружье и побежал обратно в траншею.

— Почему возвратился? — закричал на него Кривцов, тыча пистолетом чуть ли не в лицо.

— Меня ранило... — сказал Гурин.

— «Ранило», — передразнил тот недовольно. — А где второй номер?

— А я знаю? Дали какого-то, и нянчись с ним... — У Гурина закружилась голова, замутило, он обессиленно привалился к стене.

— Санитара сюда! — Кривцов подался куда-то по траншее.

Прибежала санитарка — курносенькая девчужка, две белые косички из-под шапки свисали на спину поверх серой шинели. Она быстро и умело раздела Гурина, вспорола рукав гимнастерки и принялась перевязывать, приговаривая ласковые слова, будто родная мать:

— Крепись, родненький, крепись... О, как тебе повезло, миленький!.. Еще бы немного — и прямо в сердце... Пулей навывлет. Ну ничего, ничего... Все будет хорошо.

Забинтовав, она сделала петлю, набросила ему на шею и сунула в нее осторожно его руку.

— Ну вот... — Она мягко укрыла его плечи шинелью. — Посиди. А если можешь, иди в санбат. Вот этой траншеей до поворота, а там ходом сообщения... Как, родненький?

— Пойду... — решил Василий.

— Иди, миленький...

У хода сообщения уже сидели несколько раненых. Тут распоряжался какой-то бойкий пожилой ефрейтор. Назначил старшего, рассказал, где расположен санбат, и отправил первую команду.

В санбате, когда Гурина уже сделали противостолбнячный укол, обработали рану и сестра бинтовала его, он вдруг услышал тягучий, нудный, так опротивевший ему за эти неполные сутки голос:

— Доктор... а я... буду жив?..

Гурин оглянулся и увидел своего напарника — его несли куда-то на носилках, а он все скулил:

— Доктор... а я... буду жив?..

У Гурина до сих пор кипела на него злость, и он сквозь зубы процедил:

— Ах ты паразит! Он еще жизнь себе выпрашивает!.. Гнида...

На подножном корме

Весенняя распутица сделала дороги непроезжими. Из-за отсутствия транспорта в санбате скопилось огромное количество раненых. Днем и ночью здесь стояли стон, крик, ругань. Тяжелораненые — народ капризный, мнительный, им всегда кажется, что их бросили, забыли, что о них никто не заботится. Самых тяжелых эвакуировали «кукурузниками». Но много ли ими перевезешь? С легкоранеными, ходячими, нашли самый простой выход: формировали в группы и отправляли в госпиталь своим ходом.

Группа, в которую попал Гурин, составила человек из двадцати. Старшим был назначен из раненых же сержант с анархической фамилией Кропоткин — бывалый вояка: с медалями и орденом Красной Звезды на гимнастерке. Отчаянный и расторопный парень. Роль «глав-

нокомандующего» он принял охотно и не чаял, когда они наконец покинут санбат и тронутся в дорогу, словно где-то там его ждала родная мать.

— Да на кой нам это? — возмущался он, когда им выдавали сухой паек из расчета на три дня пути. — Так прокормимся, по бабушкиному аттестату.

Однако их снарядили в путь по всем правилам: выдали продукты, выписали общий на всю группу продовольственный аттестат, вручили Кропоткину необходимые документы на раненых, растолковали маршрут и только после этого отпустили.

И вот они на воле, вырвались из переполненного и гудящего, как вокзал во времена мешочников, санбата, вздохнули легко и свободно. Идти предстояло далеко — госпиталь располагался где-то на левом берегу Днепра, между Верхним Рогачиком и Большой Лепетихой.

Но радостное чувство свободы омрачилось, как только они вышли за село, — они окунулись в такую непролазную грязь, какую трудно себе представить. Ноги либо утопали по самые щиколотки, либо разезжались в разные стороны, и им, одноруким, трудно было удержать равновесие и не упасть. Однако во всем нужна своя сноровка, привычка, опыт. Так и солдаты вскоре приспособились к дороге, научились держать равновесие, балансируя одной здоровой рукой, и все реже и реже стали падать и звать на помощь товарищей.

На большаках, проселках и прямо по полю — всюду были рассыпаны машины. Одни скосбочились, провалившись в кювет, другие стояли поперек дороги; одни давно замерли, потеряв всякую надежду сдвинуться с места, другие ревели перегретыми моторами, пытаясь продвинуться вперед хоть на метр. Но напрасно шоферы надрывали моторы, напрасно жгли драгоценное горючее — грязь засасывала колеса все глубже и глубже, пока машина не садилась на собственное брюхо и делалась совсем беспомощной. И тогда солдаты впрягались вместо машин и сами тащили пушки, минометы, несли на себе ящики с боеприпасами.

Утопая в глубокой грязи, к фронту двигались караваны лошадей, волов и даже коров, навьюченных продовольствием и боеприпасами. Армии помогало гражданское население. Женщины, старики, подростки сплошным потоком тянулись в сторону передовой. Связав попарно за хвосты стодвадцатимиллиметровые мины и перекинув их через плечо, они несли этот опасный груз не только без боязни, но как-то весело, с шутками, довольные, что стали полезными фронту.

На полях вода стояла спокойными озерами, серебрилась против солнца, слепила глаза яркими бликами.

В оврагах дотаивал грязный ноздреватый снег, и юркие, быстрые ручейки, журча, убегали куда-то вниз, чтобы тоже разлиться на равнине и напоить землю внешней водой или слиться в один большой ручей и добежать до самого Днепра.

Оголившиеся и пригретые солнцем пашни курились густым паром, словно на них тлели остатки многочисленных костров.

На душе у Гурина было легко и весело. Какое-то чувство раскованности охватило его, и он шел, наслаждаясь и весной и своей свободой, подставляя обветренное лицо теплему солнышку, жмурился от ярких лучей, словно изнеженный кот.

— Ребята, мы торопиться не будем, — уже в который раз вдалбливал спутникам свои планы Кропоткин. — Куда нам спешить? Ведь не на фронт идем, а в госпиталь. Верно? Будем идти нормально. Госпиталь никуда не денется. Если и опоздаем на денек-другой, нам ничего не грозит. Успеем еще хлебнуть госпитальной жизни. Верно? — Он был ранен когда-то осколком в щеку, отчего рот у него кривился немного на левую сторону — казалось, что он вот-вот заплачет, угоривая солдат, и поэтому они соглашались с ним быстро и охотно.

— Конечно, куда нам торопиться? Да по такой дороге и не очень-то разбежишься.

В первом же селе Кропоткин расположил свою команду на ночлег. Сам обегал хаты, договорился и потом развел каждого. Одну хату пропустил, сказал:

— В этом доме я буду.

И Гурин заметил в дверях хорошенькую молодницу, которая с любопытством выглядывала из сеней.

Утром в назначенное время раненые по одному медленно потянулись в конец улицы — на условленное место сбора. Все были сытые, довольные, терпеливо ждали запаздывающих, делились впечатлениями, травили анекдоты, смеялись, несмотря на ранний час. За сутки общения уже выявились в группе свои пессимисты и оптимисты, трепачи и молчаливники, пошляки и люди серьезные, рассудительные. Хорошим трепачом оказался ефрейтор Бубнов — нос с большую картофелину, губы мясистые, большие, глаза посажены широко — природный тип шута. Еще издали, если у него рот до ушей, глаза смеются, так и знай — приготовился что-то рассказывать.

— Сейчас начнет врать, будто его и накормили и напоили, — сказал вслух Володя Горохов, пессимист.

— Неужели тебя голодным отпустили? — удивились солдаты.

— Да-а... — Горохов махнул лениво здоровой рукой. — Вечером борщ да сало, а утром картошки нажарила, и все. Молока, говорит, нет, корову немцы угнали. — И Горохов поморщился недовольно, отвернул лицо в сторону: мол, и говорить об этом не хочется. — А утром голуби начали ворковать под окном, спать не дали.

— Вот у нас попалась старуха — настоящий ерш! — начал Бубнов очередную свою байку.

— Где, здесь?

— Нет. Здесь что, здесь все зер гут! Тут наш брат пока не надоел, принимают что надо. Даже чарочку поднесли. — И он с видом взятого выпивохи щелкнул себя по кадыку. — А то дело было еще перед Днепром...

Набор баек у Бубнова был известный, нового он пока ничего не рассказал, но солдаты слушали от нечего делать, улыбались, будто сами не переживали подобного. Сейчас он варьировал древнюю сказку о том, как солдат из топора суп варил.

— А вообще-то я человек серьезный. Сегодня, например, безо всяких там хитростей по бабушкиному аттестату получил сполна и даже допшаек. — Он похлопал по вещмешку. — Хлебушек, сальце... Но где же наш старшой?

— Идет...

Все оглянулись. Сержант выбежал со двора — шапку на ходу поправляет, торопится. Подошел, смущенно улыбнулся, вытер губы, удивился:

— Уже собрались? Ну, народ дисциплинированный! Слушайте, а может, еще денек тут проживем? Куда спешить? Уж очень мне эта деревня понравилась.

— Так мы до госпиталя не доберемся, — возразил Григоренков. — Да и неудобно возвращаться.

— Верно, неудобно, — поддержали учителя и другие.

Сержант с тоской оглянулся на гостеприимную хату, вздохнул и нехотя поплелся вслед за своей командой.

Так они шли от села к селу. Но не все села были столь гостеприимны и хлебосольны, как первое, многие были разорены войной, разграблены оккупантами, и тогда раненым приходилось делиться с хозяевами своим солдатским пайком.

На четвертый день солдаты начали менять вещи на продукты. Сменял и Гурин свою телогрейку на кусок сала и полбуханки хле-

ба. Он знал, что это преступление, но голод не тетка. Да и жарко было уже тащить на себе телогрейку и шинель.

На пятый день взбунтовался Григоренков, предъявил сержанту ультиматум:

— Вот что, сержант: или будем идти как следует, или отдай наши документы, а сам оставайся, приставай к любой тетке и живи.

— Ты что, отец, бунтовать? — насутился Кропоткин. — И что ты рвешься в тот госпиталь? Или тебя там ждет кто-то? Так ты скажи прямо. Там же хуже, чем в санбате: жрать нечего.

— У меня рана загнивает, и повязка вся сползла. Может заражение получиться, а я буду тут с тобой по хатам милостыню выпрашивать.

— Вот беда с этими стариками. — Кропоткин сплюнул с досады. — Ладно, пошли.

Но в первой же встретившейся войсковой части он упросил командира, чтобы их врач или санитар сделал перевязку Григоренкову. И, конечно же, ему не отказали — врач наложил новую повязку и даже похвалил рану: «На зажив пошла».

— Ну вот видишь, — упрекнул Кропоткин Григоренкова.

— Все равно нам пора уже быть на месте. Мы в армии, и дисциплина для всех одинакова — и для раненых и для здоровых.

— Ого! Крепко грамотный! — обиделся Кропоткин и выругался.

А Гурина сама рана не беспокоила, лишь сильно чесалось под бинтом, и он подозревал, что подхватил где-то чужих зверюшек. У него болело все плечо — ни лежать на нем, ни мешок повесить. И рука все еще была как онемелая, пальцы не сгибались, поэтому он так и нес эту руку на перевязи под накинутой шинелью.

В госпиталь они пришли лишь на седьмой или восьмой день. Никто не знает, был ли нагоняй за опоздание, — Кропоткин один ходил в канцелярию. А оттуда вышел с сопровождающим санитаром, и всех повели в баню. Раздели донага, и все их барахло, кроме сапог и вещмешков, отправили в жарилку, а самих мыться.

— Воду экономьте, — предупредил солдат-банщик. — По три котелка на брата: один голову помыть, второй — тело, третий — окатиться.

— Что ж так мало? — возмутился Бубнов. — Тут же Днепр недалеко.

— Вот ты и будешь носить из Днепра.

Бубнов остановился перед солдатом, форсисто отставил в сторону ногу.

— А вы почему на меня тыкаете? А может, я генерал, только голый?

— Иди-иди, тебя и голого видно, какой ты генерал, — сказал сердито банщик.

Бубнов не обиделся, пошел в моечную комнату.

Помылись, принесли одежду — она горячая, пахнет сухим паром. Шинель у Гурина в одном месте даже поджарилась. Оделись, пошли на осмотр, на перевязку.

Подошла очередь Гурина. Разделся до пояса, ждет, когда врач обратит на него внимание. Врач — женщина, одета в глухой белый халат, погон не видно, но чин, наверное, не маленький — уж больно суровая. Волосы черные гладко назад зачесаны на затылке собраны в пучок. Подошла, осмотрела рану спереди, сзади, спросила хмуро:

— А вы зачем сюда пришли?

— Как зачем?.. — растерялся Гурин. — Вот...

— Сестра, подайте йод. — И она сама помазала ваткой на палочке входное и выходное отверстия. — Все. Рана ваша зажила.

— А плечо болит... И рука вот не действует...

Врач стала ощупывать плечо. Потом протянула Гурину руку:

— Давите. Крепче. Крепче! Еще крепче! Ничего. Кость цела, задето сухожилие. Недельку походите на ЛФК. Сестра, Гурина на ЛФК. Одевайтесь.

Обидно Гурину и стыдно: даже не забинтовали. Пулей насквозь продырявили — и за неделю зажило! Удивительно!

Гурина единственного из всей команды направили в тринадцатую палату. Палата эта располагалась в доме почти на самом краю села, нашел он ее быстро по огромным черным номерам, написанным сажей прямо на стенах.

Госпиталь располагался в бывшей немецкой колонии, точно такой же, как и та, где стоял батальон выздоравливающих: улицы широкие, дома просторные, с большой посреди комнаты печью. Вокруг у стен солома. Очень теперь уже знакомая и привычная для Гурина обстановка.

Принялся Гурин мостить себе гнездо: обмял солому, выровнял, под голову побольше положил — вместо подушки, — уселся на эту «подушку», привалился к стене. Грустно почему-то сделалось, тоскливо, одиноко. Выпростал из мешка полевую сумку, достал из нее бумагу, карандаш, начал писать письма. И накатило что-то такое на Гурина, сам не поймет что. Чем больше писал писем, тем больше раздирала душу щемящая тоска.

К ужину почти все места в палате заполнились, стало гомонливее. Да и народ, видать, подбирался сюда не очень болезненный — никто не стонал, не жаловался на боль. Разговаривали, рассказывали друг другу какие-то случаи, ругали немцев и восхищались их подготовленностью к войне: котелки, ножи-ложки — все удобное, сапоги, ремни, подсумки — все кожаное. Откуда только это у них?

— Откуда, откуда! всю Европу покорили, — говорил один.

— «Европу, Европу!» — возмущался другой. — А Европу что, голыми руками он брал? Или, может, в Европе табуны лошадей и коров ходят? Это у нас были табуны. А где кожа — никто не знает. Кругом кирза отдувается. Ты скажи другое: немец — он хозяйственный, у него даже дерьмо даром не пропадет, все в дело пускает. Ну и готовились, конечно, к войне как следует.

Пришел майор — замполит начальника госпиталя. Накинулись на него с претензиями, с жалобами на плохую кормежку. Майор выслушал внимательно, дал всем выговориться, потом спокойно сказал:

— Претензии ваши справедливы, но тон мне ваш не нравится. Будто вы не солдаты, не бойцы Красной Армии, а какое-то наемное войско, которому обещали определенную мзду и не дали. Я вместе с вами ем эту, как вы говорите, баланду. Временные трудности с подвозом. Вы можете это понять? Ну а представьте: мы попали в окружение и отрезаны от всего?

— Но мы же не в окружении?

— Нет, в окружении. Нас окружила непролазная распутица. Фронт ушел далеко, тылы растянулись. Вы же сами шли в госпиталь, видели, что делается на дорогах... Так кого же винить? Мы солдаты, и это надо твердо помнить: здоровые ли, раненые ли — все равно солдаты. Плохо, трудно. Но эти трудности временные — неделя, может две. А сейчас положение у нас сложилось тяжелое. Сегодня плохо, завтра будет хуже: у нас хлеб на исходе. А в госпитале есть тяжелораненые, лежащие. Вам легче — вы ходячие, выздоравливающие. И пришел я к вам с просьбой помочь госпиталю, помочь своим же товарищам. Здесь в поле обнаружена неубранная прошлогодняя кукуруза. Нам надо пойти и собрать початки, вымолотить из початков зерно и смолоть на ветряной мельнице. Такая мельница есть в соседнем селе — сохранилась в целостности.

Майор ходил размеренно по комнате взад-вперед, чуть склонив голову, говорил ровным голосом, ни на кого не глядя. И только когда доходил до дальнего угла и поворачивал в обратную сторону, к двери,

он всякий раз взглядывал на полевую сумку Гурина, и Гурин пожалел, что вывесил ее напоказ: «Отберет, скажет: не положено».

— Вот такое наше с вами положение. Но предупреждаю: дисциплина строгая, военная. Никаких отлучек, никаких самоволок, никакой партизанщины. Кто у вас старший? — И он почему-то посмотрел на Гурина. — Кто старший палаты?

— Да нет у нас...— отозвался кто-то.

— Вы сержант? — спросил майор у Гурина и кивнул на полевую сумку.

— Нет.

— А откуда у вас сумка?

— Еще прошлый раз в батальоне выздоравливающих младший лейтенант, комсорг батальона, мне дал. Я агитатором там был.

— Ты комсомолец? — с какой-то радостью в голосе спросил майор.

— Так точно.

— Как твоя фамилия?

— Гурин.

— Вот, Гурин, назначаю тебя старшим палаты. Чтобы была дисциплина, чистота и порядок. Дневальный должен быть в палате. В наряд назначать будешь — на кухню или еще куда потребуется. Одним словом, — майор сжал кулак и потряс им, — дисциплина! С тебя спрос. Понял?

— Понял.

Замполит вскинул голову, обратился ко всем:

— Вопросы есть? Нет. Хорошо. Значит, мы поняли друг друга. Утром после завтрака идем на работу. Все. Добровольно, но обязательно. — Майор впервые улыбнулся. — До свидания. Спокойной ночи.

— До свидания, — вразнобой ответили несколько человек.

Утром Гурину предстояло решить труднейшую задачу — поднять больных людей на работу. Двое добровольцев сходили за завтраком — принесли бачок с супом, хлеб и по кусочку сахара. Ели без особой ругани — знали, почему такой скудный паек. А Гурин с каким-то непонятным волнением ждал конца завтрака и про себя все время подбирал слова, которые он должен будет сказать солдатам. Вот стук ложек все реже и реже, уже начали по одному, по два выходить в коридор мыть котелки, а он все еще не придумал нужных слов — не командных, но обязательных. Наконец решился:

— Ну что ж, товарищи, пора.

— Куда спешить? — слышался ответ. — Команды еще не было.

— Какой команды? Вчера же ясно было сказано. — И, не дожидаясь новых пререканий, Гурин объявил: — Дневальник останется кто себя плохо чувствует и не может идти на работу. Кто не может? Говорите без стеснения и честно.

Воцарилась тишина. Он подошел к солдату, который все время тяжело дышал, а ночью даже постанывал.

— Вы как себя чувствуете?

— Неважно... Крутило всю ночь. И температурил... Но я пойду.

— Зачем же? Оставайтесь дневальным. Пол сумеете подмести? — Сумею.

— Кто еще больной? — спросил Гурин.

— Все больные. Пошли, чего там, — помог ему кто-то из дальнего угла.

— Пошли, — сказал Гурин громко, почти скомандовал, но тут же смягчил голос, напомнил: — Захватите с собой вещмешки.

И направился к выходу. Когда больше половины уже собралось во дворе, он не стал ждать остальных, не стал считать, кивнул:

— За мной. Догонят...

К канцелярии они пришли не первыми, но и не последними. Пос-

ле них еще тянулись другие палаты. Майор поторапливал отстающих:

— Побыстрее, побыстрее...— У Гурина спросил:— Твои все вышли?

— Все,— сказал он уверенно.

— Хорошо.

В кукурузе еще лежал снег, тяжелый, ноздреватый, ноги проваливались глубоко— до самой земли. Солдаты заняли по рядку и шли, обрывая повисшие на желтых стеблях початки. Многие початки были уже без зерен, их выпотрошили либо птицы, либо зайцы, но на долю солдат осталось еще предостаточно. Приспособив кто как сумел на себе вещевые мешки, они оголяли от листьев золотистые, величиной с доброе полено початки, отламывали, скручивали их со стеблей и запихивали в вещмешки. В конце загонки стояла подвода, солдаты опорожняли в нее свои мешки и шли в обратную сторону.

Народу собралось много, настроение создалось бодрое. Шутили, подтрунивали друг над дружкой. И все было бы хорошо, если бы не погода...

В расположение вернулись замерзшие и промокшие, но каждый принес с собой по нескольку отборных початков— больших, с крупными, как лошадиные зубы, зернами. Вскоре палата наполнилась душистым запахом жареной кукурузы, а на плите началась такая стрельба, будто шло генеральное наступление. Зерна громко шпокали и, разворачиваясь белыми шляпками, разлетались в разные стороны, обстреливали комнату, забавляя солдат. А когда стрельба прекратилась, в комнате воцарился сплошной хруст— раненые, даже те, кто раньше и понятия не имел о кукурузе, все грызли горячие зерна, похваливая их вкус и запах.

Один раненый решил кукурузу сварить. Обшелушил початок в котелок, залил водой, поставил на плиту. И как только закипела, принялся пробовать, не готова ли. Но кукуруза была твердой, а ему было невтерпеж ждать, он почти всю ее и съел, пока варил. Сам наелся, стал других угощать.

— А по-моему, она вкусная. Жить можно. Вот попробуйте.— И он подносил каждому по нескольку зерен на ложке.— Ну верно ведь— вкусно?

Поднес и Гурину.

— Да я ел ее во всяких видах,— сказал он солдату.— И кашу и суп, и мамалыгу из нее пекли— вместо хлеба ели. Пирог пекли— слой кукурузного теста, слой бурака, натертого на терке. Как пирожное. В оккупацию только кукурузой и спасались от голода.

Вечером пришел майор, поинтересовался самочувствием, поблагодарил за работу, взял с плиты щепотку жареной кукурузы, захрумкал вместе со всеми.

— Вкусная. И дух у нее хлебный.

Ушел довольный.

А народ в тринадцатой палате и в самом деле подобрался хороший: друг друга не подводили, от нарядов не отлынивали, не фискалили. Со временем некоторые проторили дорожки в соседние деревни, и Гурин на свой страх и риск отпускал их на этот запрещенный начальством промысел. А что было делать? Паек был голодным, а тут все-таки поддержка. Разрешая такие увольнения, Гурин просил солдат не подводить ни его, ни своих товарищей: в деревне вести себя как следует и вовремя возвращаться. Установилась некоторая даже очередность на походы в села— чтобы не все сразу. И поэтому каждый знал: если он задержится, другой уже не сможет пойти, будет взбучка от товарищей посильнее, чем от старшего по палате.

Один раз только у Гурина случилась неприятность, это когда в его палату пришли двое новичков. Один— здоровенный парень-кра-

савец с прямым крепким носом, голубыми умными глазами и русым волнистым чубом. Гордый, знающий себе цену. Одет он был в немецкий маскировочный халат, и по этой одежде всем сразу было видно, что он разведчик. А раз разведчик, значит, к нему и отношение уважительное. Другой, его напарник, наоборот, был низеньким, некрасивым: безбровым, с белыми, как у поросенка, ресницами. Вертлявый какой-то и подхалимистый — все заглядывал в глаза разведчику, все норовил опередить его желания. И хихикал постоянно, как дурачок.

В первый вечер они о чем-то долго шептались, а утром на работу не поднялись. Гурин растолкал сначала маленького.

— Ты че? — продрал тот пороссячи глаза.

— На работу пора.

— На какую работу? Я что, в колонию попал? Я р-р-раненый! Я, гад буду, сейчас глотку перегрызу!.. Не видишь? — забрызгал слюной новичок, слезы выдавил, лицо сделал свирепое.

Гурин смотрел на него, ждал, когда он перестанет истерику разыгрывать.

К нему подошел старик, посоветовал:

— Брось, не связывайся. Пойдем.

Ушли, а новички так и остались дома. Разведчик даже головы не поднял.

Как они день жили, чем занимались — никто не знает. Однако Гурину такая анархия не понравилась, и он решил их проучить.

В палате уже установился обычай не делить варево — все брали сами, кому сколько захочется. Делили только хлеб и сахар. А тут, когда вечером принесли бачок с кукурузной кашей, Гурин решил разделить. Он взял черпак, встал у бачка и начал нагружать посудины, поглядывая на новичков. Видит — подошел безбровый и подставляет котелок. А Гурин, будто не замечает его, продолжает накладывать в котелки другим солдатам. Безбровый занервничал, зашел с одной стороны, потом с другой, принялся нервно постукивать котелком о бачок.

— Не стучи, не в ресторане, — сказал Гурин и спросил громко: — Кто еще не получил?

— Я... Я не получил, — задергался безбровый.

— А ты тут при чем? — удивленно спросил Гурин.

— Ка-ак при чем? — перекошил рот безбровый. — Где мы находимся? Мне что, не положено питание?

— То, что тебе положено, еще везут, — сказал Гурин. — Госпиталь наш сидит без продуктов. А это мы сами себе заготовили. Собрали в поле кукурузу, ободрали, смололи и сами сварили. Вы же утром не пошли на работу? А теперь, друг, на чужой каравай рот не разевай. Иди ложись и жди, когда привезут что тебе положено.

Заморгал-заморгал безбровый куцыми ресницами, завихлял головой вправо-влево:

— Да я... Да я, гад буду!... Я тебя сейчас схрюпаю — только пуговицы выплюну!

— А ну пошел вон! — Гурин замахнулся на него черпаком.

— Нет, ты видал? Нет, ты видал? — призывал тот себе на помощь разведчика. — Нет, ты видал? Над нами издеваются!

— Николай, прекрати! — рявкнул на своего напарника разведчик.

Безбровый вернулся на свое место, грохнул котелком о пол, выругался.

— Ну, гад буду!..

— А ты, старшой, не прав, — сказал Гурину разведчик. — Мы же не знали такое положение. Надо было объяснить.

— Объяснял утром.

— Извини, не слышал. Так устал вчера.

Гурин бросил черпак в бачок, сказал:

— Ладно, берите, ешьте.

Безбровый тут же вскочил, подобрал с пола котелок, навалил в него каши до краев, понес на свою постель. Разведчик повернулся на другой бок, достал немецкий нож с ложкой и вилкой, отщелкнул ложку, и они вдвоем принялись есть. Безбровый что-то помыкивал набитым ртом, не разобрать было, может он просто от удовольствия издавал какие-то звуки.

Ночью они опять о чем-то шептались, спорили. А утром разведчик подошел к Гурину:

— Слушай, старшой... Ты не поверишь, но у меня что-то рана разыгралась. Позволь мне остаться, к врачу пойду.—И смотрит на Гурина такими голубыми, такими честными глазами, что у Василия не то что недоверия к нему не осталось, а захотелось помочь этому хорошему парню.

— Ну что ж, конечно, оставайся.

— Я свое наверстаю, ты будь уверен.

— Да ладно, о чем речь.

Безбровый заметался нервозно вокруг разведчика:

— Ты что, остаешься?

— Болит страшно,—поморщился тот, изобразив мучительную боль.

Безбровый посмотрел недоверчиво на своего друга, кинулся было к Гурину, хотел тоже, наверное, отпроситься, да не решился. Пошел вместе со всеми.

А вечером, когда вернулись, разведчика на месте не оказалось. Дневальный сообщил, что он пошел в деревню и просил передать Гурину: «Пусть старшой не беспокоится, к отбою вернусь». Там у него вроде знакомая.

— Ну и ладно. Молодец, что предупредил.

И вдруг как завопит не своим голосом, как затанцует на своей соломе безбровый:

— Ушел, гад! Смылся! Забрал все!..

И тут как раз майор появился на пороге. Услышал шум, послушал, ничего не поняв, спросил у Гурина:

— Что случилось?

— Сам пока не знаю, мы только что пришли с работы.

Увидел безбровый майора, кинулся к нему.

— Товарищ майор, это бандит, мародер,— указал на пустую постель разведчика. Он растопырил ладони, на пол упало несколько чашков.— Он самострел... Дезертир... Но я не виноват, он первый заставил меня стрелять в себя, а потом... Я не хотел, а он сам прострелил мне руку... Честное слово...— Безбровый стал размазывать по лицу и слезы и сопля.— Ушел, гад, унес все...

Майор оглянулся, приказал дневальному:

— Вызовите сюда дежурного и двух солдат из наряда.

Побежал дневальный. И пяти минут не прошло, примчался наряд.

— Арестуйте,— приказал им майор, указав на безбрового. Посмотрел на Гурина, качнул укоризненно головой..

Гурин провалялся в госпитале еще недели две и с первой же партией выписанных отправился на пересыльно-распределительный пункт.

(Окончание следует)



ИЗ ПОЭЗИИ АРМЕНИИ



ВААГН ДАВТЯН

Араратская долина

Там жаворонок на луче мерцающем висит
И в невозможной вышине трепещет над долиной.
Как будто звездным серебром ствол тополя облит,
И лепет солнечный дрожит на кроне тополиной.
С рыданьем радостным ручей несет прозрачность вод,
И мяту обливает он слезою чистой, горней.
И там покорная лоза задумчиво растет,
Сливая с добротой земли свой добрый сильный корень.
И там, белейший из творцов, садовник входит в сад,
И только сладости полны садовника творенья.
Там девушка — Любовь Земли, прозрачен ее взгляд,
Дрожь созревания в груди, а на губах горенье.
Там из дождя, там из земли, из влаги голубой
От духа света и огня, от синевы безбрежной
Рождается в тиши вино, безгрешно как любовь,
Рождается в тиши любовь, словно вино безгрешна.

Пойду поищу

А в лазури той далекой
Серебро речное мчится,
А в лазури той далекой
Мчат серебряные птицы,
Там Зорзорского истока
Колокольный звон струится,
И в лазури той далекой
Звонкий тополь серебрится.

И скала там есть в долине
Вся в лучах певучих солнца,
И с нее граната ветви
Вниз свисают, как кометы,
А в долине под скалою
Конь оранжевый пасется
Весь в звенящих ярких бликах,
Весь огнем облитый света.

Знаю, лето разбросало
Сновиденья там повсюду
И коня цветное ржанье
Над долиной голубою.

И в долине той, дрожащей
В бликах света, в бликах чуда,
Потерял там Цовинар я,
Потерял свою любовь я.

Потерял там ночь, и утро,
И одной пещеры своды,
Где слова, что не сказал я,
Бродят молча, одиноко...
Сбросить бы с себя усталость,
Сбросить бы все эти годы
И пойти бы заблудиться
Мне в лазури той далекой,

Ах, в лазури той далекой,
Где серебряные птицы
Скрылись во мгновенье ока,
Где река, сверкая, мчится,
Где Зорзорского истока
Колокольный звон струится,
В нереальном и высоком
Небе тополь серебрится.

* * *

Это старый наш сад,
Куст лиловой сирени под солнцем.
Под лиловым кустом
Белоснежный ягненок пасется.

Жаркий день мне в глаза
Ударяет лучом своим резким.
Моет черную шерсть моя бабушка в солнечной речке.

Что-то тихо она говорит над волной золотою.
Только с кем говорит —
Может, с солнцем,
А может, с водою?..
И сухая скала
Смотрит издали каменным оком.
Может быть, со скалой
Говорит она, может быть, с богом?

Моет черную шерсть моя бабушка, став на колени.
Волны речки дрожат,
Отражение тихо колеблут.
Волны речки бегут,
Шерсть из старческих рук вырывают,
И дробится лицо на воде
И с водой уплывает...

Молча вечер пришел,
Под сиренью улегся он тонкой.
Слышу жалобный крик —
Это белого режут ягненка.
Ну а после — туман...
В небесах — металлический серпик.
И всю жизнь, и всю жизнь
Плач ягненка дрожит в моем сердце.

Перевела НИНА ГАБРИЭЛЯН.

АНАИТ ПАРСАМЯН

* * *

Бедуин, мучимый жаждой, В пустыне Воду искал. И когда обрел он ее однажды, Зарыдал — одолели боль и тоска. Он отпил один лишь глоток	И пошел искать воду По свету. И однажды он умер, И только горячий песок Знал, что тот бедуин Был великим поэтом.
---	---

* * *

Так хорошо вокруг!
Кружащийся крупными хлопьями снег.
Деревья — красивые без потуг.
На тротуаре — за следом след.
Тюлем снежным подернут,
Дышит спокойно город...
Так хорошо вокруг,
Так хорошо,
Что даже,
Кажется мне, хорошо и то,
Что рядом со мною нет тебя,
Что нет тебя рядом со мной.

* * *

Когда люди Терзают меня, У земли Я ищу защиты — Земля добра. Когда слова Причиняют боль,	Иду к земле — Земля молчалива. Когда идти мне Бывает трудно, Прислоняюсь к земле — Земля дает силы.
--	--

* * *

Нарисуй для меня Невинность: Мне хочется быть прежней.	Нарисуй для меня Что угодно, Но только не одиночество.
Нарисуй для меня Влюбленность: Очень хочу любить я.	А если не можешь, Нарисуй для меня Два крыла И дальние дали.

Перевел ЛЕВ ОЗЕРОВ.



ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

ВЛАДИМИР УСПЕНСКИЙ



В ПРОМЫШЛЕННОЙ ЗОНЕ БАМа

1

Самолет шел от Хабаровска к Красноярску. Закатная полоса постепенно сужалась, густела, и чем плотнее сгушалась темнота, тем отчетливей проступали далекие огни на земле. Тянулись они почти непрерывной цепочкой, напоминая серебряный наборный пояс, сверкающий и переливающийся в окружении черноты. Так выглядела сверху Транссибирская магистраль, нанизавшая на себя станции, города, заводы, поселки.

А справа — мрак, справа на сотни и сотни километров, до самого Ледовитого океана, простиралась малохоженная тайга, горы, оленья тундра, арктическая пустыня — неоглядные пространства Восточной Сибири, манящие и подавляющие таинственностью, недоступностью. Только обжитая полоса вдоль железной дороги, бегущей с запада на восток, да еще редкие поселки и города по берегам могучих рек, которые текут здесь, как правило, с юга на север, почти не отступая от меридианов. И все. И немереные просторы. Такое ощущение было у меня, когда подростком попал в эти края еще во время войны. Да и потом много раз бывал в Восточной Сибири, работал здесь, изъездил ее, как говорится, вдоль и поперек, был свидетелем того, как авиация, автотранспорт, новые речные суда сокращали расстояния, как отступала тайга под натиском человека, как зарождались и росли новые города. Но все же давнее ощущение изменилось мало: по-прежнему Восточная Сибирь остается одним из слабоосвоенных участков суши, поражая просторами и величием, скрытыми сокровищами. В запovedные дебри рискуют проникать лишь местные охотники и геологи. Можно долго идти от Лены к Енисею и не встретить, не увидеть ни единого человека.

Глядя в овальный иллюминатор самолета на мерцавшие внизу огни, на черную пустыню, простиравшуюся справа, впервые, может быть, с особой ясностью, с особой радостью осознал я: да ведь нет, не одна теперь лента Транссибирской магистрали скрепляет сибирские просторы! Где-то там, за чернотой, за ночным мраком, за тайгой и горами, тянется еще одна цепочка огней. Пусть пока не такая яркая, пусть еще прерывистая, пунктирная, но она уже есть! Она уже существует, наша вторая восточная дорога, такая нужная, такая желанная и долгожданная!

Старая Транссибирская магистраль, которая прокладывалась восемь десятилетий назад, все, буквально все изменила в тех местах, где она пролегла, влияла и продолжает влиять на размещение населения, на развитие промышленности и сельского хозяйства. А ныне еще одна полоса жизни протянулась от Лены до Тихого океана — кое-где пока еще просекой, кое-где насыпью, а во многих районах уже и рельсами, и рядами домов, и корпусами строящихся предприятий. Там, в полосе второго Транссиба и вокруг него, уже начались экономические и социальные преобразования.

Не буду приводить цифры о БАМе, они хорошо известны по печати, да к тому же цифры эти очень быстро устаревают — столь стремительны темпы строительства новой магистрали. Напомню лишь несколько фактов.

Подсчитано, что к тому времени, когда БАМ вступит в строй, население непосредственно в полосе дороги достигнет миллиона человек. Внушительно. Сфера воздействия магистрали, ее будущая промышленная, хозяйственная зона — это территория, превышающая полтора миллиона квадратных километров, таящая в своих недрах самые разнообразные запасы полезных ископаемых, практически всю таблицу Менделеева. Каменный уголь, же-

лезные и медные руды, апатиты, полиметаллы, алюминиевое сырье, многое другое. И лес. И гидроэнергетические ресурсы. И месторождения газа, нефти, непосредственно примыкающие к зоне БАМа с северо-запада. Все это ждет освоения, умелого, рационального использования.

Официальный срок открытия движения поездов по всей магистрали — 1984 год. Но, повторяю, строители работают с таким накалом, что срок этот может и передвинуться. Вполне возможно, что первый эшелон от Лены до океана простучит колесами гораздо раньше. Сумели же строители на год с лишним опередить время, сдав в эксплуатацию так называемый Малый БАМ. И теперь привычно стало, что на четыреста километров к северу от Транссибирской магистрали, через Тынду на Беркамит, на Нерюнгри регулярно идут товарные составы и пассажиры ездят по всей этой линии.

Вот так: отдельными частями БАМ уже вошел в экономическую жизнь страны, уже начал окупать те средства, которые государство вложило и продолжает вкладывать в создание новой дороги. И хотя работы впереди много, очень много, пора думать о том, как лучше, целесообразней взять те богатства, доступ к которым открыла и будет (с каждым годом все больше) открывать новая магистраль.

Теоретически тут внесена определенная ясность. Стараниями ученых очерчены границы территориально-производственных комплексов (ТПК), которые и составят основу промышленной зоны БАМа. Таких комплексов намечено 8 или 9, каждый со своей ясно выраженной специализацией. Самый западный и самый длинный по названию Братско-Усть-Илимский ТПК станет в основном давать целлюлозу и алюминий. Следующий, Верхне-Ленский, сформируется, а в будущем, возможно, начнет поставлять и нефтепродукты.

Не стану перечислять все будущие комплексы, о них уже много написано, да и границы ТПК, их специализация могут еще уточняться. Из всех намеченных сейчас формируется и дает отдачу пока лишь один — Южно-Якутский, пробужденный к жизни действующей железнодорожной линией. В этом регионе накопился уже некоторый опыт, выявились и положительные стороны, допущены и просчеты. Думается, что Малый БАМ и Южная Якутия — в значительной степени прообраз всей магистрали и всей промышленной зоны БАМа. Это очень и очень важно.

То, с чем столкнулись железнодорожники на линии Тында—Беркамит, трудности, которые преодолевают ныне строители, энергетики, эксплуатационники первых промышленных предприятий первого бамовского ТПК, — с этим в той или иной степени встретятся рано или поздно люди, работающие на всем протяжении магистрали, все, кому предстоит создать территориально-производственные комплексы. Поэтому и хочется поговорить о проблемах Малого БАМа, Южно-Якутского ТПК и тех районов, которые примыкают к ним и так или иначе испытывают на себе их влияние.

2

Приехав в Якутск, я условился о встрече с двумя работниками обкома партии. Первый, Евгений Филиппович Гусаков, сказал коротко и четко: «Жду в девять». Второй ответил: «Ну, что же, заходите завтра после одиннадцати». Я не сомневался, что Гусаков будет на месте минута в минуту, а другой товарищ появится неизвестно когда. Да и появится ли вообще... Так оно, кстати, и произошло.

Ровно в девять я вошел в кабинет Гусакова. Кое-что о Евгении Филипповиче мне уже довелось слышать от людей, хорошо знавших его. Говорили о том, что он прекрасный собеседник, из числа тех, которые предвосхищают наводящие вопросы, о его чувстве юмора, быстрой реакции. И прежде всего о его деловитости. В обкоме он курирует промышленные районы, где добываются уголь и алмазы. Южно-Якутский территориально-производственный комплекс, город Нерюнгри — как раз по его части.

Евгений Филиппович — коренной дальневосточник. По образованию инженер, окончил Новосибирский институт железнодорожного транспорта. В 1971 году приехал в Чульман в мостостроительный отряд на автомобильной дороге Большой Невер — Якутск. А вскоре в этих местах началась бамовская эпопея. Разве мог молодой инженер оказаться в стороне от такого дела!

В самое трудное время, когда работа только развертывалась, когда все надо было начинать с нуля, создавать первые коллективы, укладывать первые рельсы и возводить первые здания, Евгений Филиппович заведовал отделом строительства Нерюнгринского горкома партии. И лишь потом, когда многое определилось: обрисовались контуры города, начал дей-

ствовать угольный разрез, загудели на станции тепловозы, — Гусакова перевели в обком. Но и теперь он часто бывает в Нерюнгри.

Полтора десятка вопросов подготовил я для беседы с Евгением Филипповичем. Ду- мал — разговор на день. Но и трех часов не прошло, как получил точные ответы на четыр- надцать вопросов; пятнадцатый не по профилю Гусакова, он лишь высказал собственное мне- ние. И еще пошутить, посмеяться успели за это время.

А начали вот с чего. Высказал я Евгению Филипповичу свое недоумение: почему вез- де пишут и говорят «линия Тынды—Беркакит», почему именно Беркакит считается конечной станцией Малого БАМа? Ведь железнодорожная линия тянется дальше, до города Нерюн- гри. Пусть расстояние небольшое, но дорога-то есть. К тому же Беркакит — это лишь стан- ция, а Нерюнгри — быстро растущий промышленный центр, население которого перевалило за пятьдесят тысяч.

— Не в названиях дело, — улыбнулся Гусаков.

— И в названиях тоже. Такое впечатление, что дальше Беркакита и дороги нет. А там еще Угольная, Нерюнгри-пассажирская.

— Ведомственная разобщенность, — развел руками Евгений Филиппович. — Железно- дорожники планировали магистраль до Беркакита. А то, что отходит в сторону, к предприя- тиям, к угольным разрезам, — для них лишь подъездные пути местных организаций. Вот и прижилось везде: Беркакит да Беркакит, а про Нерюнгри и не слышно.

— На эрудитов рассчитано, на знатоков географии, — продолжал я. — И не первый случай. Откуда у нас западный участок ВАМа начинается? От станции Лена. Даже поезд такой есть: Москва—Лена. Это на радостях железнодорожники так окрестили, когда до- вели рельсы до Лены-реки. А город там называется Усть-Кут. Старинный русский город, между прочим. Ерофей Хабаров когда-то еще в нем бывал. И речной порт там очень боль- шой. Но назвали его почему-то Осетрово. Вот и попробуй разберись новый человек, сориен- тируйся, как тебе от станции Лена попасть в город Усть-Кут или в Осетрово. А там ходьбы пять минут.

— Ведомственная разобщенность, — повторил Гусаков. — Мы добиваемся, чтобы Ми- нистерство путей сообщения приняло под свою опеку все железнодорожные ветки в районе Нерюнгри.

— Но название Тынды—Беркакит уже вошло в обиход.

— Ничего, — улыбнулся Евгений Филиппович. — Нерюнгри, знаете ли, свое возьмет...

Действительно, он еще только набирает силу, этот молодой город, волею природы ока- завшийся в центре огромного района, уникального по запасам разнообразных полезных иско- паемых. Когда-то Илья Ильф и Евгений Петров высмеяли в «Золотом теленке» журналистов, которые, побывав в Средней Азии, не могли удержаться от соблазна использовать «для ко- лорита» какую-нибудь легенду. А в наши дни редкий литератор, пишущий о Якутии, не вспо- мнит легенду о том, откуда взялись сокровища в суровой якутской земле. И я приводил эту легенду в своей книге о путешествиях по тем краям и не сочту за лишнее повторить ее здесь хотя бы потому, что она очень короткая.

Сотворив нашу планету, бог летел над ней, окидывая хозяйским взглядом, прихораши- вая и украшая ее разными богатствами. Когда оказался над Якутией, пальцы его заочене- ли от сильного холода и узелок с сокровищами выпал из рук. Алмазы и золото, железо и медь — все просыпалось на тайгу, на горы, в речные долины. Ну и (это уже не легенда) немалая часть «просыпавшегося» угодила прямехонько в Южную Якутию.

Некоторые богатства этого района известны уже давно. Много десятилетий назад на- чали там добывать слюду, находили золото. На базаре в Якутске за бесценок продавались громадные глыбы железной руды, найденные прямо на поверхности. Местные умельцы вы- жигали из руды углерод, обламывали шлак, выковывали различные изделия. Да и медная руда попадалась кусками.

По-настоящему геологическая разведка этих мест началась лишь после Великой Оте- чественной войны. Для восстановления народного хозяйства стране нужно было много полез- ных ископаемых. Вот и шли в неизведанные суровые просторы отряды геологов. Особенно много девушек и женщин, вчерашних студенток. Парни-то воевали, а если и приходили с фронта покаленные, то куда уж им в дальнюю дорогу, в поисковые партии! Так началась «эпоха великих женских геологических открытий». Елизавета Бурова нашла запасы меди в каменистой пустыне у хребта Удокан. Саима Каримова — одна из тех, кто обнаружил и обследовал угольный бассейн, протянувшийся на сотни километров вдоль Станового хреб- та. Почти в то же время Лариса Попугаева совершила подвиг, с великим трудом разыскав первую в нашей стране алмазоносную трубку.

Открытия следовали одно за другим, но слишком далеко лежали обнаруженные клады. Как их взять? Ни дорог, ни энергетической базы. «Вроде бы на Луне и даже чуть дальше», — говорили в ту пору об этих месторождениях. Однако время несется стремительно. Теперь угольные запасы Южной Якутии основательно изучены. Общее количество — более 40 миллиардов тонн, из них половина коксующихся. Промышленная разработка ведется пока лишь в Нерюнгри, где запасы угля оцениваются в 400 миллионов тонн, в том числе коксующихся 350 миллионов тонн.

Очень перспективны и другие месторождения, особенно расположенные к западу от Нерюнгри, где главный ход БАМа пересекает реку Олёкму. Уголь лежит там почти у железнодорожного полотна: черпай да грузи. Причем в Усмунском угленосном районе уголь столь высокого качества, что из него можно получать самый добротный кокс, если даже примешивать к нему в определенной пропорции другие угли, с более низкими характеристиками. Ну а еще о месторождениях того региона следует сказать вот что: почти везде уголь расположен настолько близко от поверхности, что его можно добывать открытым способом. Никаких шахт — это ли не экономия! Специалисты говорят: по запасам коксующегося угля Южная Якутия — это второй Кузбасс.

Вот он, Нерюнгринский разрез — первое и пока самое крупное предприятие, рожденное Байкало-Амурской магистралью. Высокие сопки, заросшие лиственницей, сосной, кустарниками. Мшистые камни. Некоторые вершины все лето сохраняют снежные шапки, сверкающие холодной и странной белизной на фоне синего неба и яркой зелени. Тут хоть и южная, но все-таки Якутия. К тому же и нагорный район этот отличается климатом более суровым, чем те, которые расположены даже севернее. Зимой столбик ртути может упасть и до пятидесяти. Зима долгая, растягивается месяцев на восемь, а снега немного, и ветер, к счастью, случается редко. А без ветра и холод не так страшен.

Ни один угольный разрез в нашей стране не может, пожалуй, сейчас похвастать такой мощной концентрацией техники, как Нерюнгринский. Будто дым над полем сражения, клубится над разрезом густое облако угольной пыли. И словно боевые машины вырываются оттуда огромные оранжевые автосамосвалы, несущие над собой, над двигателями металлические площадки размером чуть ли не с железнодорожную платформу. 180 тонн способен поднять такой богатырь.

А вот и черная, тускло поблескивающая стена, почти отвесно уходящая вниз метров на шестьдесят. Черт возьми, неужели это уголь, неужели столько монолитного, словно бы мазанного антрацита?! В шахте-то не увидишь такое количество сразу!

Со скрежетом, с напряженным нарастающим шумом черпает угольную массу ковш огромного экскаватора. 20 кубических метров за один взмах. 5—6 взмахов — и оранжевый самосвал, словно бы осев под невероятной тяжестью, медленно плывет из карьера. Одни машины направляются к станции Угольная, к железнодорожным вагонам. Другие, везущие вскрышную породу, — к отвалу, к рукотворной горе, которая превзошла уже размерами некоторые окружающие сопки и только цветом резко отличается от них. Настоящие-то сопки живые, нарядные, многоцветные, а эта мрачная, серая, пылящая, будто перенесена с какой-то другой планеты. Вот под этими серыми комьями, под этими камнями и скрывался от глаз людских уголек.

Есть давняя истина: новое всегда дается с трудом, где больше вершится дел, там больше возникает осложнений, проблем. Это вполне закономерный процесс. И естественно, что у нерюнгринских угольщиков много разных трудностей, неувязок. Ну хотя бы: импортные экскаваторы не приспособлены к жестким климатическим условиям, часто выходят из строя, а запасных частей нет. И вагонов не хватает для отгрузки угля. И с жильем опять же... Но при всем том угольщики Нерюнгри грядутся упорно, изобретательно, многие досрочно начали работать в счет одиннадцатой пятилетки. Продукцию разреза, пока еще энергетический уголь с верхних пластов, получают уже в разных районах Сибири, в Амурской области, Хабаровском крае, в братской Монголии. А главное, пожалуй: начал действовать гигантский транспортный конвейер Нерюнгри — БАМ — Восточный Порт, протянувшийся из Якутии в Приморье, к Тихому океану.

Первый шезлонг с углем из Нерюнгри прибыл туда, в бухту Врангеля, 14 ноября 1979 года. Вагоны были поданы на только что построенный перегрузочный угольный комплекс, по размерам, по оригинальности конструкции единственный в нашей стране да и, пожалуй, во всем мире. Капитан судна «Константин Петровский», вставшего под погрузку, пошел отдыхать, зная: обычно суда простаивают в таких случаях несколько суток, а то и неделю. Но на этот раз едва успел капитан выпить стакан чая, как ему доложили: первый трюм уже полон.

О строительстве Восточного Порта, о возведении угольного комплекса я подробно рассказывал в очерке «Морские ворота БАМа», опубликованном в «Новом мире» № 6 за 1979 год. Тогда (не так уж и давно) город Нерюнгри и Восточный Порт существовали изолированно, всяк по себе, жили собственными интересами. А ныне они прочно вошли в единую производственно-транспортную систему, которая обеспечит экспорт нашего угля в страны тихоокеанского бассейна.

Сделано уже многое, однако это лишь малая толика того, что намечено сделать в Южной Якутии и прилегающих к ней районах. В чем остро нуждается промышленность Сибири и Дальнего Востока да и сам строящийся Большой БАМ? В черных металлах. Везде нужен металл, а в быстро развивающихся регионах особенно. Чтобы обеспечить их потребности, из Кузбасса, с Урала, даже из европейской части страны на восток ежегодно везут несколько миллионов тонн стального проката и другой продукции черной металлургии. А ведь черного металла и в западных областях не всегда достаточно.

У специалистов, занятых этой проблемой, мнение единое: Восточной Сибири и Дальнему Востоку как можно скорей нужна своя мощная металлургия. Именно она даст толчок развитию всех отраслей машиностроения и вообще поднимет там технический уровень всей промышленности. Правда, менее единодушны специалисты и партийно-хозяйственные руководители в определении места, где развернется металлургическая база. Не просто завод, подчеркниваю, а главная база всего обширного региона. Хабаровцы отстаивают свой вариант, амурцы свой, якутяне тоже. Каждый хочет воспользоваться открывшейся возможностью. Но лучшими условиями для создания металлургической базы (главной стройки промышленного пояса БАМа) располагает, безусловно, Южная Якутия.

Почему? Да потому, что там есть энергетическая основа — уже действует в Нерюнгри крупная тепловая электростанция на местных углях. Там складывается своя строительная индустрия, начал давать продукцию завод крупнопанельного домостроения. Там есть сложившиеся рабочие коллективы, способные стать ударными отрядами при достижении новых целей. И конечно, уникальные запасы коксующихся углей с крупнейшими залежами железных руд, причем некоторые месторождения находятся всего в десятках километров от Нерюнгри, от плацдарма, с которого можно начинать наступление.

Уголь — открытым способом. Железная руда — тоже. И какая руда! Возьмем хотя бы Чаро-Токинский железнорудный бассейн, лежащий вдоль трассы БАМа. Запасы почти такие же, как во всей Курской магнитной аномалии. С существенной поправкой: руды Чаро-Токинского бассейна легко обогащаются. Из них можно готовить не просто концентрат, а сверхконцентрат с содержанием железа до 70 процентов. А ведь есть еще и Алданское месторождение, точнее целая группа месторождений.

«На нашей планете такое сочетание основных сырьевых ресурсов для черной металлургии имеется только в двух или трех случаях. Можно вспомнить, пожалуй, лишь Эльзас-Лотарингию. Но качество руд там значительно ниже якутских» — эти слова принадлежат Н. Черскому, человеку весьма авторитетному, председателю президиума Якутского филиала Сибирского отделения Академии наук СССР, члену-корреспонденту АН СССР.

По многим параметрам тяготеет к Нерюнгри, к Южно-Якутскому промышленному комплексу и одно из крупнейших в стране месторождений меди — Удоканское. То самое, которое открыла Елизавета Бурова со своими товарищами. Количество меди в пробах очень высокое, ураганное, как говорят геологи, — до 27 процентов. Но есть тут барьер, на первый взгляд чисто административный. Территориально Удоканское месторождение находится не в Южной Якутии, а рядом, на севере Читинской области, и числится за Северо-Читинским производственным комплексом, то есть проходит, как говорится, по другому ведомству. Но у этого ведомства нет тех преимуществ, которыми располагает район Нерюнгри. Значит, придется читинцам создавать свою энергетическую, строительную базу, обзаводиться полным хозяйством, отчего, безусловно, медь отнюдь не подешевеет. Казалось бы, прямой резон махнуть рукой на административные границы и создать там единый мощный сверхкомплекс, или, выражаясь в новомодном стиле, суперкомплекс. Первый в Сибири. Экспериментальный. Чтобы проверить: может, как раз таким комплексам, в основу которых положено не административное деление, не ведомственные интересы, а только экономическая целесообразность, принадлежит будущее.

У этой идеи сторонники примерно столько же, сколько и противников. Но доводы сторонников звучат, мне кажется, убедительнее. Юг Якутии и север Читинской области имеют много общего: суровые климатические условия, вечномерзлый грунт, высокая концентрация сырья, сейсмическая опасность. Для работы здесь нужна особая техника,

объединенными усилиями легче и выгодней будет внедрять особую в этих условиях технологию добычи и обогащения сырья. И очень важно, что Нерюнгри уже сейчас стал удобным и надежным плацдармом для того, чтобы вести отсюда наступление по всем направлениям.

3

Темпы роста города, его внешний вид, сооружение промышленных предприятий и вообще развитие всего Южно-Якутского ТПК в значительной степени будут определяться продукцией Нерюнгринского завода крупнопанельного домостроения. Возможности его — 100 тысяч квадратных метров жилья ежегодно. Причем будут выпускаться панели, разработанные ленинградскими инженерами специально для условий Якутии.

Достоин сожаления, что возводить этот завод не начали еще несколько лет назад. Местным товарищам пришлось потратить много времени, чтобы доказать в различных инстанциях: Нерюнгри и связанные с ним предприятия, поселки просто не смогут развиваться без собственной строительной основы. Гораздо выгоднее создать ее, нежели возить за сотни километров каждый кирпич, каждую панель, каждое бетонное изделие. Потом, когда добились нужного решения, не сразу смогли начать строительство из-за собственных неурядиц... Впрочем, для такого быстрорастущего города, как Нерюнгри, это уже давняя история. А что же теперь? Когда наконец один за другим начнут подниматься серийные благоустроенные дома, рожденные на новом заводе?

Чтобы увеличивать добычу угля, строить обогатительную фабрику и многие другие объекты, нужны люди, люди, люди. И они будут: тысячи добровольцев шлют заявления с просьбой принять их. И получают... отказ, хотя к началу 1980 года Южно-Якутский комплекс был укомплектован людьми только наполовину. И все из-за того же — из-за жилья.

В местной печати, в выступлениях руководящих товарищей комбината Якутуглестрой звучали некоторое время назад этакие горделивые нотки: начали, мол, строить завод на полгода позже запланированного, а сдали первую очередь на полгода раньше. Уложились в сжатые сроки. Однако именно это и настораживает. Горький опыт говорит о том, что чем сильнее оные сроки сжимают, тем больше штурмовщины, срывов, накладок. Вот и хочется разобраться в этом деле подробнее, тем более что такие случаи, к сожалению, не единичны.

Вечером 28 декабря 1979 года (конец последнего квартала!) на заводе крупнопанельного домостроения провели митинг по случаю формовки первой панели, а по существу — в честь приема от строителей первой очереди, состоящей из главного корпуса, арматурного цеха и бетоносмесительного узла. Произносились соответствующие речи. Загудели вибраторы, в первую кассету пошел бетон. Радостное событие? Безусловно. Его с нетерпением ждали труженики всего Южно-Якутского комплекса. Но сдача первой очереди имела скорей символическое, нежели практическое значение. К акту о приеме был приложен столь обширный перечень недоделок, что трудно даже понять, чего больше: выполненного или не выполненного? В акте говорилось, что не готовы промышленная и хозяйственная канализация, внутризаводские железнодорожные пути, проектная трасса тепло-, водо-, паро- и воздухообеспечения, компрессорная станция, склад эмульсола, завод керамзитового гравия, а также значительная часть технологического оборудования. И так далее. Естественно, что о точном выпуске продукции нечего было и думать.

Строители, получив акт о сдаче, перебросили свои силы на другие объекты, взялись за вторую очередь завода. Это цех железобетонных изделий, еще один, специально для заводских нужд, бетоносмесительный узел, теплый склад инертных материалов и еще многое, без чего невозможно вывести предприятие на проектную мощность. В общем, строители занялись новыми делами, а вся лава недоделок обрушилась на плечи эксплуатационников.

Зачем же комиссия приняла явно незавершенные объекты? С этим вопросом я в той или иной форме обращался ко многим товарищам. Понятно, что было трудно, очень трудно. Стройка в суровых условиях. Людей мало. Материалы, оборудование доставляли издалека. Рабочие старались, не жалели своих сил... Ну, все правильно, все ясно, кроме одного: зачем же было торопиться, опережать сроки, сдавать первую очередь на полгода раньше? Чтобы скорее отпартовать, премию получить? Увы, те, кто сдавал и принимал явно незавершенные объекты, не проявили должной принципиальности. Восторжествовала, как говорят в таких случаях, прорабская точка зрения.

И вот что любопытно. Немного раньше этого события в двух с половиной тысячах километров, на другом конце угольного конвейера Нерюнгри — Восточный Порт, тоже произошло нечто подобное. Там от строителей приняли угольный перегрузочный комплекс, о котором я упоминал выше. И даже первое судно загрузили углем. А потом угольный пирс дол-

го бездействовал по причине все тех же недоделок. Ну, например, создавали весь этот комплекс для того, чтобы перегружать якутский уголь, но именно этот уголь перерабатывать пирс не мог. В Нерюнгри-то вечная мерзлота, холод лютует зимой, уголек поступал в порт смерзшимися кусками, большими глыбами. Не разобьешь, не раздробишь. Проектом предусмотрены на перегрузочном комплексе специальные размораживающие камеры. Но таковых не оказалось. Вместо автоматической подачи вагонов обычный тепловоз. Вместо котельной старый теплоход, который дает пар.

Это вообще становится чуть ли не правилом: сдать объект как можно скорее, опередив план, подогнав сроки к какому-нибудь торжеству, юбилею. Хвалебные речи, поздравления, премии затмевают главное: целесообразность и качество. А потом удивляемся: почему эксплуатационники годами не могут наладить выпуск добротной продукции, почему из стены жилого дома сочится вода, почему разрушается покрытие новой дороги. Но чему же тут, собственно, удивляться? Ясно как день: пока не будет наведен строгий порядок в приеме объектов (только при полной готовности, без изъянов и недоделок!), не дождемся мы и высокого качества.

Между прочим, навести этот порядок не так уж и трудно. В том же Восточном Порту принимали еще до угольного пирса так называемый щеповой комплекс — сооружение грандиозное, дорогостоящее, с очень сложным оборудованием. Там уж и речи были готовы и поздравления. Но в комиссии нашлись люди принципиальные, которые заявили: щеповой комплекс еще не готов, не сделано то-то и то-то, нарушены такие-то допуски, принять не можем. Отвыкшие от подобной требовательности строители просили, доказывали, убеждали комиссию: мы, мол, дотянем, доработаем, доведем... Только акт подпишите. План летит, премии летят: лучше давайте по-свойски. Однако комиссия щеповой комплекс не приняла. И что же? Ничего плохого не случилось, только хорошее. Понимая, что свалить объект не удастся, строители взялись за дело со всей серьезностью. За сравнительно короткий срок недоделки были устранены, щеповой комплекс вошел в строй, и эксплуатационники быстро освоили его.

А вот комиссии, принимавшие угольный комплекс в Восточном Порту и первую очередь Нерюнгринского завода крупнопанельного домостроения, оказались не на высоте. Мягкость проявили добрые дяди, а от этого в конечном счете страдает дело.

Зная, насколько нужна их продукция, эксплуатационники, начиная с директора И. Г. Кармазина, на часы не смотрят. В семь утра Кармазин уже на заводе. И до самой ночи, часов до десяти, до одиннадцати. Нормально ли это? Нельзя же подменять энтузиазмом ритмичную плановую работу.

Ничего, кроме быстролетной однодневной радости, не выгадали и строители. Они и недоделками вынуждены были заниматься (когда на них нажмут) и объекты второй очереди возводить. Распыляются, маневрируют, ни о каком ритме, ни о какой плановости не приходится говорить. И вот результат: через восемь месяцев после «сдачи» первой очереди дирекция завода направила начальнику комбината Якутуглестрой служебную записку с указанием невыполненных пунктов акта недоделок. Нет смысла перечислять эти пункты. В служебной записке упоминаются почти все объекты, значившиеся в акте. Сроки их завершения сорваны, отодвинуты, перенесены. Дорого обходится государству нетребовательность, безответственность, неоправданная поспешность.

В Нерюнгри, в Южной Якутии большие строительные работы лишь разворачиваются. И хочется верить, что серьезные ошибки, допущенные при создании завода крупнопанельного домостроения, послужат уроком на будущее. Тем более что первый секретарь Нерюнгринского горкома партии Иван Иванович Пьянков — сам опытный строитель. О нем говорят, что он строитель до мозга костей, что даже хобби его — тоже строительство. Любит он это дело, живет им. Когда-то возводил объекты в Норильске, потом в Красноярске. Возглавлял строительный трест в Якутске и лишь потом, имея столь солидный опыт, перешел на партийную работу. Такой человек, как Пьянков, способен не только заметить изъяны, но и подсказать, определить пути их устранения.

4

Пройдя от Беркакита к Нерюнгри, железнодорожная колея делает огромную петлю, списывая почти правильный круг. Тут фактически и кончается Малый БАМ. Разворачивай технику и кати обратно. Угольный разрез, обогатительная фабрика рядом. Все подъездные пути, в том числе временные, забиты вагонами. Выгружают цемент, лес. На платформах железобетонные изделия. Цепочкой тянутся черные цистерны. Комбинат Якутуглестрой

и другие получатели хронически не успевают перерабатывать поступающие в их адрес грузы. Главная причина — мало людей, мало складских помещений.

Вагонов вроде бы много, но в то же время ощущается острая нехватка емкостей для отправки самого главного — добытого угля. Вагоны приходят с цементом, с другими грузами — надо очистить, подготовить к приемке угля. А пункт подготовки вагонов — капитальный, крытый, чтобы работа не зависела от капризов погоды, — не готов. Это еще одно узкое место в той транспортной цепочке, которая начинается с угольного разреза. Кто же должен заняться столь серьезной проблемой? Железнодорожники? Угольщики? Погрузочно-транспортное управление, которое только входит в силу?

Опять ведомственная разобщенность, повторяю я слова Евгения Филипповича Гусаква. Он, кстати, убежден: всем, что относится к железной дороге, должен заниматься один хозяин — Министерство путей сообщения. У министерства есть для этого соответствующие кадры, оборудование, опыт. Думается, что такой подход самый верный. У всех рельсов и у всего, что на рельсах, один хозяин. Ему честь, с него и спрос.

Как ни парадоксально звучит, но железная дорога, вдохнувшая жизнь в недавно еще глухие края, в недалеком будущем может оказать обратное действие на развитие Южно-Якутского ТПК, сдерживать его рост. Дело не в работниках транспорта. Они трудятся хорошо: и в Тынде и в Беркаките сложились крепкие коллективы, основой которых стали бойцы всесоюзного отряда, состоявшего из молодых железнодорожников. И хотя трудно с жильем, хотя не все еще необходимые объекты введены в строй, железнодорожники умело используют возможности Малого БАМа. Да вот ведь какая штука: предел этих возможностей обрисовывается уже сейчас, едва началась эксплуатация дороги. Поток грузов, хлынувших в Южную Якутию и в обратном направлении, превзошел все ожидания.

Когда открывали здесь пассажирское движение, многие сомневались: кто ездить-то будет? А теперь в Беркаките билет на поезд не сразу приобретешь. И уже поговаривают люди: не пора ли пускать специальный состав Беркакит — Москва? Пока, может быть, через день. На БАМе найдется достаточно для него пассажиров. Туристы поедут, командированные. Ну и жить с таким поездом станет веселее, центр страны словно бы придвинется ближе.

Железнодорожники Беркакита уже сейчас ищут резервы для того, чтобы увеличить пропускную способность однопутного пути. А что будет, когда Нерюнгринский разрез выйдет на полную мощность и станет давать ежегодно 13 миллионов тонн угля, когда начнут действовать другие угольные разрезы, развернется строительство металлургического гиганта? Когда дорога протянется дальше, в богатые рудой и лесом места? Гадать нечего — пример есть поблизости. Однопутная дорога, проложенная от Тайшета до Усть-Кута, до Лены, полностью исчерпала свои возможности. Пришлось срочно прокладывать вторую колею, отрывая для этого рабочих и средства с главного хода БАМа.

Спешка, штурмовщина далеко не лучший фактор в любом деле. Всегда полезней позаботиться заранее. И не пора ли планирующим органам уже сейчас подумать о прокладке второго пути на всем протяжении Байкало-Амурской магистрали, не пора ли взвесить, прикинуть, когда и как приниматься за эту работу? То, что сегодня кажется отдаленным будущим, завтра потребует конкретных решений, и к ним нужно быть готовым заранее.

5

Во время земляных работ строители вывернули на поверхность груды каких-то костей. Хоть и россыпью, но вроде бы полный набор скелета животного. А вот какого — не поймешь. Не корова и не лошадь, не лось и не олень. Вызывать ученых из Якутска? Вдруг это вымершее существо, никому еще не известное? Толковали, рассуждали ребята, а мимо шла старуха, прислушалась, посмотрела и сказала:

— Что мудруете-то? Верблюдов тут зарывали. Мор какой-то на них напал.

Юный доброволец из комсомольского отряда вежливо разъяснил бабке:

— Вы что-то путаете, вероятно. Откуда здесь могли взяться верблюды? Они обитают в Монголии, в пустынях Средней Азии. А тут климат...

— Ну и чо климат? Не знаешь, так уж чо с тебя... А я сама сюда на верблюде приехала, все перевалы меж двух горбов прокачалась.

Свидетельство бабушки, одной из немногих старожилых этих мест, исторически точно. Были здесь и верблюды и лошади, и даже, говорят, слона видели где-то на полпути от станции Невер до Станового хребта: то ли индусы, то ли корейцы везли на нем для золотискателей мешки с чаем. И вообще черт знает что происходило здесь в 20-е годы, вскоре

после революции, пока советская власть не окрепла в этом далеком краю. А началось с того, что на неприметном ручейке якут М. Тарабукин нашел золото. Об этом узнали геологи, узнали старатели. Копнули в одном, в другом, в третьем месте: фарт, фарт, фарт! Да еще какой! Везучие намывали по фунту золотого песка в день, а то и больше. Прииски росли в тайге, как грибы.

Слух о большом вольном золоте разнесся быстро, и пошел от железной дороги на север, на Беркакит, Чульман и еще дальше, к Алдану, охочий до наживы старатель. Люди бросали дома, снимались с места целыми семьями, вязали плоты, добирались на лодках. Кто санки тянул, кто вел вьючных лошадей. Верблюды шли целыми караванами, везли груз. Больше не на чем было. Опытные старатели оставляли свои участки на Лене, на других реках. А вместе с опытными шли, ехали новички. Много было авантюристов, спекулянтов, торгашей, всяких уголовников.

На десятки километров светилась тогда кострами ночная тайга, на всех речках и ручейках копошились люди. Страсти кипели, пожалуй, яростней, чем в Клондайке. Но широкой огласки тогдашние события не получили по той простой причине, что не оказалось там своего Джека Лондона. Добралась до приисковых поселков лишь отчаянная журналистка Зинаида Рихтер. Ее очерки печатались в 1926 году в «Известиях».

Люди страдали, гибли за золото, и никто не подозревал в ту пору, какое огромное богатство лежит у них под ногами. Попадался, конечно, каменный уголь, но на него не обращали внимания добытчики, ослепленные золотой лихорадкой.

Алданская вольница прорубилась недолго. Появились там представители советской власти, навели порядок. Началась организованная, планомерная добыча редких металлов, слюды — мусковита и флогопита. Рос и креп Алданский промышленный район, разрастался город Якутск. Чтобы связать их прочной артерией со всей страной, было решено проложить тысячеверстное шоссе от железнодорожной станции Большой Невер на Беркакит, на Алдан и далее до Якутска. Вдоль одного из самых «мерзлотных» меридианов, через заснеженные хребты, по долинам промерзающих рек протянулась эта очень важная для освоения Северо-Востока дорога, движение машин на которой не прекращается круглый год. А теперь, как мы знаем, рядом с этой дорогой параллельно ей легли рельсы Малого БАМа. Но только до Беркакита. Вся же остальная Якутия, огромная Якутия с быстро развивающейся промышленностью, по-прежнему пользуется лишь автомобильной трассой. Но много ли доставишь по ней?

Летом грузы идут по железной дороге до порта Осетрово, там переваливаются на суда и баржи и непрерывным потоком движутся на север. В Якутск, Тикси, в многочисленные поселки, расположенные на Лене и ее притоках. Речники работают хорошо. Пятилетний план они закрыли 7 сентября 1980 года. Но ведь их возможности не безграничны. Тем более что в верховьях, в районе Осетрова, уровень воды в Лене часто меняется. Обмелеет река — и образуются заторы, пробки.

Ни речной, ни автомобильный транспорт Якутию больше не устраивает. Отсутствие железнодорожной колеи на Алдане и в центре республики с каждым годом все заметней тормозит здесь общее развитие экономики. И это тем более обидно, что хвостик железной дороги есть он, рядом, в Беркаките, на юге республики.

Ученые Якутского филиала Сибирского отделения Академии наук СССР подсчитали: продление железнодорожного пути от Беркакита на Томмот и до Якутска даст быстрый и весьма ощутимый эффект. Ведь пройдет этот путь по районам с крупными запасами разных ископаемых. Массивы Алданского щита геологи называют древним теменем Земли. Это одно из немногих мест, где на поверхность выходят древние архейские граниты. И не только выходят, но и выносятся с собой богатейшие клады. И лесные массивы по Алдану, кстати, практически еще не тронуты заготовителями. Ветка до Якутска значительно расширит хозяйственную зону, примыкающую к Байкало-Амурской магистрали. И, что особенно важно, эта ветка, пройдя через богатые районы, быстро окупит себя и начнет приносить чистую прибыль.

Новая железнодорожная линия самым кардинальным образом изменит всю транспортную систему обширного региона. В Якутии и теперь уже немало грунтовых и асфальтированных дорог. Но слишком велики затраты на их строительство, очень быстро выходят они из строя, иногда в три раза скорее, чем предусматривали строители. Дает знать о себе вечная мерзлота. Гораздо дешевле и надежней доставлять грузы по многочисленным рекам и речкам, которых здесь великое множество, они капиллярами пронизывают территорию Якутии. Реки Ленского бассейна вносят и будут вносить возрастающий вклад в формирование территориально-производственных комплексов на всем западном участке БАМа. Реч-

ной транспорт обеспечивает многие потребности не только Якутии, но и Иркутской, Магаданской областей. Большое количество грузов, например, было завезено для строителей БАМа по реке Киренге в поселок Магистральный.

В важные транспортные пути превращаются Олёкма, Алдан, Вилюй. Или вот Витим, протянувшийся без малого на две тысячи километров и пересекаемый ныне основной линией Байкало-Амурской магистрали. Регулярное судоходство осуществлялось здесь лишь до Бодайбо.

Есть много скептиков, которые утверждают, что реки как транспортные пути мало надежны, особенно в районах БАМа, где текучую воду надолго сковывают морозы. Все это правильно. Но ведь то, что сегодня представляется бесспорным, завтра может устареть. Давайте посмотрим на реки с другой точки зрения. Каждая река, хоть длинная, хоть короткая, — это хорошо разработанная трасса с незначительными уклонами, с большим радиусом закруглений. Почти идеальная трасса. Недостаток — путь по рекам в среднем в полтора раза длиннее прямого пути. Но где это вы видели, чтобы шоссе или железнодорожная магистраль шли напрямик, не оглябая препятствий? Нормальным считается для развития автостреды коэффициент 1,3. Разница с коэффициентом речных трасс не так уж велика, тем более что строительство автостреды в зоне БАМа, на вечной мерзлоте, требует больших затрат. Да и потом, содержать ее надо, ремонтировать. А о речных трассах позаботилась сама матушка природа.

Итак, трассы есть, суть теперь в том, чтобы создать транспортные машины нового типа. Собственно, они уже создаются, уже началось переоснащение речного флота новыми техническими средствами, все больше появляется судов амфибийного типа. Для Сибири, для промышленной зоны БАМа нужны скоростные суда — машины парящие, глиссирующие или летящие. И опять же: суда на воздушной подушке теперь не новинка, следует только приспособить их к зимним условиям, несколько изменив конструкцию и увеличив мощность двигателей, что в принципе вполне осуществимо. Такие суда смогут перевозить грузы по речным трассам и зимой и летом при любом уровне воды. Нестись над волнами или над льдом — им все равно. Останавливаться, разгружаться они способны в любом месте, не требуя постоянных причалов, дорогостоящих сооружений. Например, суда типа «гепард».

Линия БАМа — это новая основа, стержень транспортных путей Восточной Сибири и многих районов Дальнего Востока. Не перечисль, сколько рек пересекает стальная колея. От железнодорожных станций по этим рекам далеко в таежную глубинку, на сотни и даже на тысячи километров понесутся суда на воздушной подушке с самыми разнообразными грузами. Плюс некоторое количество асфальтированных дорог. Такой представляется в ближайшем будущем наземная транспортная система, которую вызовет к жизни Байкало-Амурская магистраль.

6

Доцент Новосибирского института инженеров водного транспорта кандидат технических наук С. Зернов в одной из своих статей пишет о том, что к зоне БАМа тяготеет Байкало-Ангаро-Енисейская водная система. Внутренние моря Иркутской, Братской, Усть-Илимской и других ГЭС после организации судопропуска через их плотины могут, дескать, превратиться в достаточно надежный путь, соединяющий Байкал с обширным Енисейским бассейном. Перспектива, конечно, очень заманчивая. Но когда еще будет завершено создание каскада электростанций на Ангаре и Енисее, когда появится возможность организовать пропуск судов!

Есть еще идея, которая вот уже многие годы занимает умы заинтересованных людей: объединить бассейны Лены и Енисея в одну (огромнейшую) водную систему. Причем в развитие этой идеи, в подготовку ее технического воплощения изрядный вклад внес наш замечательный писатель, автор романа «Угрюм-река» Вячеслав Яковлевич Шишков. Самое время теперь вспомнить об этом.

Мой давний хороший знакомый опытный капитан Николай Петрович Трифонов, всю жизнь водивший по Лене суда, однажды спросил меня:

— Как вы считаете, какую реку обрисовал в своей книге Шишков? У нас тут по-разному толкуют; кто называет Лену, кто Витим, кто Нижнюю Тунгуску — какая кому ближе.

Понимаю, что жителей центральной части нашей страны этот вопрос если и интересует, то чисто теоретически. Однако сибирякам, строителям и жителям западного участка БАМа, хочется разобраться что к чему. А то ведь говорят: «Я работаю на Угрюм-реке», «Наш строительный десант высадили на Угрюм-реке» — и каждый при этом имеет в виду свое.

Начнем с Витима. Известный расстрел рабочих золотых приисков где был? На Бодайбо, на притоке Витима. Там даже прииск Громовский (как в романе) до революции существовал. И все же Бодайбо, Витим отпадают. Нет в них той мощи, того простора, той дикой силы, что у Угрюм-реки.

Николай Петрович согласился с этим. Он вырос на Лене, для него она во всем главная река жизни. Он и сказал:

— На Лену очень даже похоже.

— А может, это собирательный образ, — предположил я.

Но капитан хотел однозначного ответа, и мы попытались разобраться досконально. Не сразу, конечно, а все же кое-что прояснилось.

Возьмем роман и проследим путь молодого Прохора, посланного отцом на Угрюм-реку. Начинает Прохор свое путешествие по воде с реки Большой Поток. Вот это и есть Лена, скрытая под псевдонимом. Здесь даже спорить не о чем. Академик В. А. Обручев, побывавший на Лене в 1890 году, дал в книге «Мои путешествия по Сибири» подробное описание «плавучей ярмарки», то есть весенне-летнего сплава товаров с верховьев Лены в Якутию. Точно такую же «плавучую ярмарку» описывает Шишков в той главе, где Прохор знакомится с купцом Груздевым. А дальше вообще полное откровение: «С ранней весны до поздней осени плывет она (ярмарка.— В. У.) на дальний север, заезжает в каждое богатое село и наконец останавливается в Якутске»... Ну а Якутск-то где расположен? На берегу Лены.

Значит, с Большим Потоком полная ясность. Теперь двинемся за Прохором дальше. Ему надобно перебраться в верховья Угрюм-реки, подыскать там проводников, построить суда-шитики, заготовить сухари. Через водораздел пойдет он от села Почуйского. Смотрим на современную карту — обнаружится ли такое село на берегах Лены? Ага, севернее города Киренска обозначено крупное селение Чечуйск. Не как уж велика разница в названиях, но даже не в этом суть. Возникло селение давно, еще в XVII веке. И не случайно выросло именно здесь. Как раз в этом месте водораздел суживается до тридцати километров, настолько близко подходит к Лене Нижняя Тунгуска — могучая река даже по сибирским масштабам, протянувшаяся через таежные дебри до Енисея на две с половиной тысячи километров.

Русские землепроходцы испокон веков знали об этом узком перешейке между реками. Тут существовал волок, по которому перебирались с Енисея на Лену первооткрыватели дальних краев. Этим волоком, кстати, воспользовался и наш знаменитый Семен Дежнев, открывший потом пролив между Азией и Америкой.

А как Прохор Громов со своим пока еще верным Ибрагимом? В романе сказано: «Да, он устал вчера изрядно. Тридцать верст, отделяющие Почуйское от этой деревеньки, показались ему сотней. Грязь, крутые перевалы, валежник, тучи комаров...» Названа и деревенька на берегу Угрюм-реки, куда прибыли путешественники строить шитик, где влюбилась в Прохора хозяйская дочка. Подволочная — так именуется деревня в романе, почти такое же название носит она и по сию пору. Правда, теперь разрослась она в большое село Подволошино.

Дальше географические названия, приведенные в книге, полностью совпадают с реально существующими. Ереминский порог, село Оськино. И вот последний (до революции) населенный пункт на Нижней Тунгуске — село Ербогачен, за которым начиналась дальняя даль, гиблая неизвестность. Поскольку об этом селе в романе сказано много, упоминаются его жители, автор несколько изменил название, превратив Ербогачен в Ербохомохлю.

Сам Вячеслав Шишков отправился на Нижнюю Тунгуску весной 1911 года. Молодой техник путей сообщения, он очень интересовался в ту пору Чечуйским волоком: нельзя ли соединить каналом две большие реки, открыть прямую водную дорогу в неосвоенные районы? Но сперва надо было выяснить, пригодна ли для судоходства Нижняя Тунгуска, произвести геодезическую съемку.

При первом же знакомстве могучая и грозная река произвела на будущего писателя самое сильное впечатление. Шишков идет тем путем, по которому в дальнейшем проведет своего Прохора Громова. Как и впоследствии герой романа, сам Шишков остался в Ербогачене без проводников и, несмотря на близкую зиму, решил плыть по течению на свой страх и риск. Записи в дневнике молодого техника — это буквально конспект путешествия Прохора Громова с Ибрагимом по Угрюм-реке. Все точно вплоть до описания порога, в котором и сам писатель едва не погиб.

А дальше с отрядом Шишкова было вот что. В первых числах сентября выпал снег, ударили морозы. В тихих местах на воде образовался лед. Он креп, нарастал. Отряд ока-

зался в бедственном положении. Впереди гибель если не от истощения, то от холода. Но им здорово повезло. В устье реки Илимпеи обнаружили склад какого-то купца. Избу и амбар с припасами. Здесь отряд дождался кочевых тунгусов и вместе с ними двинулся на юг, к Ангаре. Почти тысячу верст прошли они по зимней тайге, пока добрались до жилья. Там техник путей сообщения узнал, что его уже считали погибшим.

«Наш путь с тунгусами, — сказано в дневнике Шишкова, — кратко не опишешь — он напитал мою душу незабываемыми впечатлениями... Условия жизни были каторжные, работа опасная, но экспедиция дала мне житейский опыт и богатейший бытовой материал, и я очень благодарен за нее судьбе».

Творческие, литературные результаты экспедиции известны широкому кругу читателей. Роман «Угрюм-река» прочно занял почетное место в советской литературе. А каковы результаты технические? Что сделал Шишков как специалист-путеец? Ответ на этот вопрос дают 65 больших листов ватмана с извилистой голубой линией реки, с таежными берегами, на которых обозначены горы и песчаные косы, болотистые низины и одинокие скалы. Если склеить все листы, получится карта длиной сто метров, настолько четкая и аккуратная, что ее трудно отличить от карты, отпечатанной на полиграфической машине. Это тоже своего рода произведение искусства, выполненное терпеливой рукой мастера десятью разными красками. И на каждом листе ватмана подпись начальника изыскательской партии В. Шишкова.

Сейчас, в связи со строительством Байкало-Амурской магистрали, давняя идея соединить бассейны двух великих рек в единую систему обрела, как говорится, вторую жизнь. Больше того, открылась реальная возможность осуществить это, включить в сферу энергичной хозяйственной деятельности междуречье Лены и Енисея — огромную территорию в центре Сибири, к стати сказать изученную и освоенную гораздо меньше других регионов. Первый шаг к этому — канал между Леной и Нижней Тунгуской. Всего тридцать километров. Те тридцать километров Чечуйского волока, которые промерены ногами Дежнева, Шишкова и многих других отважных первопроходцев-россиян.

Некоторые товарищи считают, что канал рыть необязательно. Можно, дескать, использовать дирижабли, которые будут переносить через тридцатикилометровую перемычку грузы или даже суда с грузами. Но канал — это все же надежней, долговечней.

Условия судоходства на Нижней Тунгуске сложные. После ледохода на ней и на ее притоках примерно месяц держится высокий уровень воды, потом он быстро спадает, появляются мели, перекаты. Но даже и сейчас количество грузов, перевозимых по Нижней Тунгуске, быстро увеличивается. А когда появятся суда на воздушной подушке, использовать сквозной путь можно будет при любом уровне воды, и не только летом, а круглый год. При этом надо помнить, что речь идет не о проблеме местного значения, а о том, как организовать транспортную систему в обширнейшем регионе, который хранит много тайн, неоткрытых богатств.

И еще об одной идее самое время, думается, напомнить сейчас. Неподалеку от города Енисейска в Енисей впадает река Кемь, текущая с запада. Ныне она известна, пожалуй, лишь тем, что в устье ее неплохо налажено сельскохозяйственное производство, в том числе пчеловодство. Мед там особенно вкусный. А лет триста назад по этой реке проходил водный путь из России на восток — с Урала через Обь и Кемь на Енисей и дальше по Ангаре на Байкал, по Нижней Тунгуске на Лену. До Амура пролегал этот путь. И настолько важен он был для государства, что еще в 1810—1812 годах были проведены изыскательские работы, чтобы соединить Обь и Енисей каналом через реку Кемь. Выяснилось, что на строительство потребуется 900 тысяч рублей. Казне такая сумма оказалась не по карману. Проект отклонили.

Когда была сооружена Транссибирская магистраль, о водном пути постепенно забыли. Но не все. Ученые помнят об этой идее. Тем более что сооружение подобного канала при современном уровне техники — дело не очень сложное. А потребность в расширении системы водных путей при нынешнем быстром развитии Сибири очевидна.

В идеале общая картина транспортных артерий всего Зауралья представляется так. Две железнодорожные колеи пересекают Западную Сибирь, Восточную Сибирь и Дальний Восток. С необходимыми ответвлениями. Это основа, опора, фундамент, севернее которого до берегов Арктики простирается сеть хорошо отлаженных и связанных между собой водных и автомобильных трасс. В основном водных — мы уже говорили об их выгоде в тех условиях. Суда на воздушной подушке обеспечивают движение круглый год. И это на всем просторе от Оби до Амура, Колымы, берегов Тихого океана. Ничего сказочного, сверхъестественного в этом нет. Я верю, что со временем так и будет.

7

Мы уже говорили о том, как нужно, как важно продлить Малый БАМ от Беркакита до Якутска. Об этом сейчас, пожалуй, никто уже и не спорит. Разговоры идут о том, есть ли необходимость прокладывать железную дорогу на Северо-Восток. А если есть, то куда и когда? Я же разделяю точку зрения тех товарищей, которые считают: еще раньше, до Северо-Востока, понадобится вести дорогу в другом направлении. Даже очень понадобится. Скорее всего от основания БАМа, от станции Лена, через Марково на город Ленск. Может быть, даже придется тянуть линию на реку Вилюй. Это, конечно, лишь первые прикидки. Все отчетливее очерчиваются границы Лены-Вилюйской нефтегазоносной провинции, которая нависает и над Байкало-Амурской магистралью с северо-запада.

О природе нефти, о том, как она образовалась, специалисты толкуют до сих пор. Может, прав был английский ученый, сказавший еще в начале нашего века: даже когда будет извлечен последний галлон нефти, вопрос о ее происхождении останется невыясненным... А ведь это очень важно, от этого зависит, в каких районах, в каких слоях земной коры искать нефть.

Долгое время, начиная с М. В. Ломоносова, среди геологов и геохимиков почти безраздельно господствовала так называемая органическая теория. Ее исповедовали такие видные ученые, как академик И. М. Губкин, В. И. Вернадский. По мнению сторонников этой теории, нефть возникла (при гигантском давлении и высокой температуре) за счет органических соединений, которые содержатся в остатках некогда живых организмов. Отсюда следовал вывод: месторождения нефти должны находиться там, где когда-то в древности кипела жизнь, погребенная потом в осадочных толщах. Руководствуясь этой теорией, геологи отправлялись на разведку. Искали. Случалось, и находили.

Знаменитый наш химик Д. И. Менделеев выдвинул и обосновал другую идею-теорию неорганического происхождения нефти и газа. По его мнению, глубоко в недрах Земли идут процессы, при которых выделяются водород, метан и, вероятно, более сложные углеводороды. Значит, искать нефть надо там, где земная кора имеет глубокие разломы, своего рода каналы, по которым углеводороды устремляются вверх. Эта идея постепенно завоевывала сторонников. Но противников у нее было значительно больше. И вот в 30-х годах молодой еще в ту пору геолог Василий Михайлович Сенюков обнаружил признаки нефти на берегу Байкала, а затем высказал смелое предположение: запасы нефти имеются в кембрийских отложениях Восточной Сибири.

Крепко досталось тогда Сенюкову! Его критиковали, над ним смеялись. Нефть в кембрии? Это же беспочвенная фантазия! Откуда ей взяться, если кембрий — заря растительной жизни на Земле! Слои земной коры, которые насчитываются четыреста—пятьсот миллионов лет и больше, совершенно бесперспективны на нефть и газ. Так утверждали сторонники органической теории. В том числе учителя и наставники молодого геолога, которых он привык слушать и уважать. Но практика подсказала ему другое. Тяжело переживая недоверие и насмешки, он продолжал искать с маленькой группой таких же энтузиастов.

Кембрий привел Сенюкова с Байкала на Лену. Сколько скважин пробурили в разных местах энтузиасты — не счесть. И везде пусто. На геологов уж рукой махнули, считая чудачками, забывая о том, что лишь редкие открытия делаются благопристойными обывателями. А группа Сенюкова, почти не имея средств, не имея достаточного оборудования, продолжала искать. И в 1937 году пришла первая радость: на маленькой речке Туолбе с глубины четыреста метров пошла нефть! Правда, скважина давала мало, не больше ста литров в сутки, но ведь это была первая сибирская нефть, к тому же поступающая из кембрийских слоев.

Потом началась война и вышки пришлось законсервировать. И казалось — навсегда. Где уж было думать о нефти в каких-то там недоступных районах, когда в европейской части страны мужчин не доставало поднимать разрушенное хозяйство. Но произошло то, что трудно было предположить, что противоречит на первый взгляд логике и здравому смыслу. Отгремели бои, и потянулись на Лену изыскатели, уцелевшие от пуль и осколков. Почему бы им не осесть в обжитых районах, в Баку или «втором Баку», где твердые заработки, квартиры, хороший климат? А они, и геологи и рабочие, люди солидного возраста, месяцами добирались по бездорожью в забытые богом уголки, возвращались к работе, полной тягот и лишений. Зимой пятьдесят градусов мороза, летом сорок жары. Болота и гнус. Безлюдье. Но верили эти упорные люди в свою правоту, звала их неисследованная земля, таинственная кембрийская нефть.

Опять появились буровые вышки на берегах Лены, вгрызались в землю твердые буры. И опять без успеха. Год за годом — только одни разочарования. Косые взгляды, недоверие, в лучшем случае снисхождение как к неудачникам. А они верили. И делали свое дело.

И попутно, словно бы между прочим, на пути к главному, открыли месторождения других полезных ископаемых. Возле города Олёкминска, например, обнаружили мощные залежи каменной соли. В устье Вилюя — богатое месторождение природного газа. Из-за одного только этого месторождения стоило бы затевать самые тщательные поиски.

Утром 18 марта 1962 года шло обычное бурение обычной опорной скважины возле населенного пункта Марково, в ста пятидесяти метрах от реки. Возглавлял смену опытный мастер Николай Александрович Фандеев. Дизелист запустил агрегаты, все готово было, чтобы закачивать в скважину, глубина которой превышала уже два километра, специальный раствор, приводящий в действие турбобур. И в этот момент Фандеев почувствовал резкий характерный запах. Вызвали инженера. Начали поднимать свечи — плети из труб. И чем больше секций оказывалось на поверхности, тем сильнее давил снизу газ. Вдруг раствор, словно выбитая пробка, с огромной силой вылетел из скважины, и сразу взметнулся фонтан нефти. Струя достигала пятидесяти метров.

Мне довелось в ту пору побывать на скважине возле населенного пункта Марково, видеть своими глазами с великим трудом добытую нефть. И какую — до 30 процентов бензина! Навсегда сохраню я глубочайшее уважение к людям, которые самоотверженной работой своей с невероятным упорством много лет пробивались к намеченной цели. Уверен, что настанет срок — и кто-то из литераторов еще расскажет подробно об этой эпопее, которая, кстати, продолжается и в наши дни.

Даже после успеха под Марковым, когда появились весомые и зримые доказательства, многие скептики не верили в большую нефть на Лене-реке. А фонтанирующая скважина? Ну что же, случайности могут быть всякие. Единичный-то фонтан за тридцать лет можно добыть из земли даже в Рязани возле центрального рынка.

Уходили на пенсию постаревшие ветераны, начинавшие когда-то поиски с Сенюковым. Их место занимали молодые ребята, столь же крепкие, со столь же незабываемой верой. Да и, доиски стали вестись более продуманно, планомерно, на другом техническом уровне.

Позволю себе привести еще одну дату. 14 сентября 1980 года в Якутске был холодный дождливый вечер. Изрядно промокший я вернулся в гостиницу «Лена», в 401-й номер, и включил телевизор. Передавали программу «Время». Диктор начал говорить о городе Ленске, появились на экране улицы этого молодого города, детский сад, еще какие-то кадры. Очень, мол, тут живописно, тайга подступает к самым домам. Ягоды, грибы чуть ли не у крыльца собирать можно. А мамы довольны тем, что здесь всем детям хватает мест в яслях и садиках. Так. Ленск — город геологов. Изыскатели на вертолете направляются к месту работы. Буровая вышка среди деревьев. Голос диктора зазвучал торжественно. Одна из скважин, только что пробуренных изыскателями, дала промышленный приток нефти... Появились на экране чумазые счастливые лица, торопливо заговорил бригадир, рассказывая о достигнутом ими успехе.

В тот вечер я от души порадовался за геологов и еще раз добрым словом помянул Сенюкова и всех тех разведчиков, которые проложили тропинку к газу и нефти в бассейне Лены-реки. А спустя несколько дней прочитал статью заместителя Председателя Совета Министров СССР, председателя Государственного Комитета СССР по науке и технике академика Г. И. Марчука, в которой были такие слова:

«С целью наращивания энергетического потенциала страны усиливаются разведочные работы на нефть и газ в Восточной Сибири. В этом перспективном районе уже обнаружены нефть и газ. В ближайшее десятилетие предусмотрено обеспечить их промышленные запасы, достаточные для организации в Восточной Сибири новой нефтегазовой базы».

(Окончание следует)

ПУБЛИЦИСТИКА

ЕГОР ЯКОВЛЕВ



ГРАЖДАНИН И ВРЕМЯ

Однажды — было это с полвека назад — Алексей Максимович Горький обнаружил в своей почте письмо, автор которого спрашивал: «Что будет через сто лет?» Ему самому будущее представлялось на редкость счастливым и удивительно простым. Горький же полагал иначе: «О том, «что будет через сто лет», я думаю не так, как вы, — если говорить об этом серьезно. Мне кажется, что даже и не через сто лет, а гораздо скорей жизнь будет несравнимо трагичней той, коя терзает нас теперь. Она будет трагичней потому, что — как всегда это бывает вслед за катастрофами социальными — люди, уставшие от оскорбительных толчков извне, обязаны и принуждены будут взглянуть в свой внутренний мир, задуматься — еще раз — о цели и смысле бытия».

Дано ли нам уже сегодня — спустя не сто лет, «а гораздо скорей», через пятьдесят, — разделить мысль писателя, обретая ей подтверждение в окружающей жизни? Думаю, что несомненно. Мы первое поколение советских людей, кому отведено так много лет, да нет — десятилетний мирной жизни, кто, избавившись «от оскорбительных толчков извне», в полной мере может быть хозяином своей судьбы, перед кем открыты возможности для образования и, конечно же, совершенствования личности. И чем выше уровень общественного сознания, тем острее вопрос о смысле бытия — не как жить, а зачем жить.

Об этом и писал Горький. Писал о трудностях решения, которое человек принимает сам, без понуждений, свободным от чрезвычайных обстоятельств, неминуемых во времена социальных потрясений, революций. Чем шире свобода выбора, тем мучительней вопросы к самому себе. И мы все требовательней ищем ответы, лишь вступая в самостоятельную жизнь или давно занимаясь избранным делом, беседуя ли с друзьями или размышляя над прочитанным. Эти поиски, эти вопросы, ставшие характерной чертой нынешнего уровня общественного мышления, серьезно отражает книга Феликса Кузнецова «Размышления о нравственности»¹. Автор пишет: «Диалектика социалистического образа жизни такова, что чем полнее и эффективнее будет решаться в нашем обществе вопрос о хлебе насущном, тем неотступнее будет вставать перед людьми весь непростой комплекс вопросов, связанных с хлебом духовным». Впрочем, забота о хлебе духовном проблема и общечеловеческая. Автор приводит слова одного из европейских писателей: «Люди почему-то думают, что единственная угроза человечеству — водородная бомба. Но ведь есть еще одна опасность, угрожающая человеку, — это холодильник». Иной вопрос — какие решения для этой проблемы находят в мире нашем и в мире другом?

Книга Ф. Кузнецова объединила работы критика и публициста 70-х годов. Написанные на протяжении многих лет, они, естественно, разнятся подходом к теме, манерой изложения. И тем не менее книга эта единое целое. Ее объединяет не форма изложения, а биографическое, я бы сказал, развитие мысли писателя, его непроходящее стремление проследить утверждение коммунистической нравственности в теории и на практике, по-своему взглянуть на факты жизни, порой весьма неожиданные, не отступая перед сложностью их осмысления. От революционеров-демократов, от основоположников марксистско-ленинской теории к нашим дням — та историческая вертикаль, которая скрепляет книгу. И взгляд по горизонтали, максимально расширяющий предмет исследования, — «нравственность тотальна: она проявляется в любом человеческом поступке — в любви, в быту, в деле».

¹ Ф. Ф. Кузнецов. Размышления о нравственности. Книга публицистики. М. «Советская Россия». 1979. 411 стр.

Критик упоминает десятки, если не сотни имен писателей, обращается к произведениям русской, зарубежной и советской литературы. Особое внимание уделено произведениям, воссоздающим жизнь и деятельность В. И. Ленина. При этом автор замечает, что преследует в данной книге «цель не столько литературно-критическую, сколько публицистическую: сквозь призму нашей Ленинианы, хотя бы некоторых ее избранных страниц, глубже проникнуть в духовный, нравственный облик Ленина». И это действительно книга публицистики. Страницы, посвященные прочитанному, передают мысли автора, его выводы, делают работу писателя не менее самостоятельной, чем произведения, о которых идет в ней речь.

Именно манера изложения, пожалуй, вызывает ответное желание у читателя не только понять автора, но соотносить с его взглядами свои представления. Хочу и я поделиться теми записями, которые вел, переходя от одной главы к другой, рассказать, как возникали вопросы, получал на них ответы — и вновь вопросы.

Пафос первой главы («В. И. Ленин о нравственности»), впрочем, как и всей книги, в полемике с теми, кто утверждает, что «коммунизм и мораль — взаимоисключающие понятия, что революция уничтожает нравственность, материализм убивает духовные ценности, социализм нивелирует, принижает и разрушает человеческую личность». Отстаивая принцип социальной обусловленности, автор излагает марксистско-ленинское понятие нравственности. Но он не ограничивает себя лишь теоретическими положениями: замечает, что невозможно писать о ленинском понимании нравственности вне нравственного облика самого Владимира Ильича.

Утверждение глубоко справедливое. А. В. Луначарский писал о Ленине: «...биографическое в нем, интимное в нем тоже имеет огромную, общечеловеческую ценность». Почему? Да потому что нельзя рассуждать о единстве политики и нравственности вне нравственного облика того, кто осуществляет эту политику. Говорить об исторических решениях и поступках, которые принимал и совершал Ленин, не обращаясь к его облику, человеческим побуждениям, это создавать фигуру сверхчеловека, над которой всегда и от души потешался сам Владимир Ильич. Это лишать нас, потомков, одного из самого важного в ленинском наследии — притягательной силы жизненного примера Владимира Ильича. Ленин-человек, его образ жизни всегда остаются актуальными, как всегда актуальны для человечества его высшие нравственные постижения.

Силой своих идейных убеждений и благородством целей, свободой от материальных предрассудков и размахом интеллекта Ленин был и остается человеком из будущего. И чем больше проходит лет, тем ближе нам облик Ленина-человека. Иначе и не может быть в стране, где каждый новый день обогащает знания, мышление личности, всего общества. Наше развитие движется от аксиом к теоремам, от преклонения перед Лениным к историческому пониманию совершенного им. В конце концов, та же скромность в быту Владимира Ильича особенно непостижима для тех, кому незнакомы радости духовной жизни, а отказ от возможного обладания вещами представляется подвигом...

Писать о Ленине трудно. Мы слышим, читаем о Владимире Ильиче, с тех пор как помним себя и уразумели алфавит. Надо пробиться сквозь толщу общеизвестного, привычного — иначе не достичь трепетного, первозданного. Ф. Кузнецов, не раз упоминая произведения М. Шагинян, полностью разделяет высказанную писательницей мысль: со временем человеческое сознание обрастает коркой — своеобразными штампами, трафаретами, в которых, в сущности, закупорено остановленное на ходу развитие человеческой мысли; давайте же стремиться к тому, чтобы снять «катаракту на хрусталике», чтобы с максимумом зоркости и приближения к истине увидеть «живого Ленина».

Таким стремлениям и отмечены лучшие страницы книги, особенно те, на которых идет речь о гуманности Владимира Ильича, глубоко человеческих чертах его характера — скромности, сердечности, отзывчивости к людям. Известны воспоминания Г. М. Кржижановского, где он свидетельствует, что Ленин обычно противился такому расплывчатому определению, как «хороший человек». «При чем тут «хороший», — аргументировал он. — Лучше скажите-ка, какова политическая линия его поведения...» Значит ли это, что Ленину были чужды общепринятые оценки людей, обыденные нормы человеческой нравственности? — задается вопросом автор и обращается к письму Владимира Ильича «Как чуть не потухла «Искра»?». В нем говорилось о неискренности и подозрительности Г. В. Плеханова, его высокомерии, нетерпимости, резкости. Ленин принять этого не мог и писал: «...раз человек, с которым мы хотим вести близкое общее дело, становясь в интимнейшие с ним отношения, раз такой человек пускает в ход по отношению к товарищам шахматный ход — тут уже нечего сомневаться в том, что это человек нехороший, именно нехороший, что в нем сильны мотивы лич-

ного, мелкого самолюбия и тщеславия, что он — человек неискренний». «Человек нехороший», «человек неискренний» — не противоречит ли это тому, о чем писал Кржижановский? Нет. «Бурная реакция Ленина на то, что Плеханов — «человек нехороший», — размышляет автор, — показывает нам, как относился Ленин к тому, что можно назвать элементарными нравственными нормами человеческого поведения. Личная честность, искренность в отношении были для Ильича чем-то настолько необходимым и само собой разумеющимся, что открытие подобного рода неполноценности Плеханова потрясло его... Характеристика «хороший человек» ему казалась расплывчатой, то есть недостаточной, не берущей в расчет классовых, революционных, партийных позиций. Но из этого отнюдь не следует, что Ленин был индифферентен к высокому и низкому в душах людей с точки зрения простых норм морали и справедливости, что он выключал из моральной оценки человеческие добродетели, — это вопиет в первую очередь против нравственного облика самого Ленина, человека, по словам того же Кржижановского, «удивительной душевной опрятности».

В том же письме Ленин вспоминает, что прежде закрывали глаза на все недостатки Плеханова, «уверяли себя всеми силами, что этих недостатков нет, что это — мелочи... И вот нам самим пришлось наглядно убедиться, что эти «мелочные» недостатки способны отталкивать самых преданных друзей...». Знаменательно, что на склоне своих дней, говоря в «Письме к съезду» о личных качествах некоторых членов ЦК партии, Владимир Ильич повторит примерно те же слова: «...это не мелочь или это такая мелочь, которая может получить решающее значение».

Рассказывая о нравственном облике Ленина, автор не стремится поскорее перенестись в день нынешний, да и нет такой нужды: это сделает сам читатель. Так происходит, например, когда знакомишься, скажем, с жизнью семьи Владимира Ильича, глава которой «Илья Николаевич Ульянов был подлинным русским интеллигентом, интеллигентом той демократической закваски, которая бродила в России под воздействием демократических идей начиная с 60-х годов». Он стремился передать ученикам, а значит и своим детям, то, что считал достойным человека. «Казалось бы, задача скромная: воспитать детей в духе добра, правды, честности и справедливости, — пишет Ф. Кузнецов. — Но эта прочная нравственная первооснова, заложенная семьей в пору детства и даже младенчества, и явилась истоком той острой гражданской совестливости, которая привела всех братьев и сестер Ульяновых в революцию». Да, дети Ильи Николаевича стали лучшими, мужественнейшими выпускниками его педагогической школы.

И сразу же возникают вопросы к себе: а всегда ли нам удастся привить детям те высокие моральные качества, без которых немислимо рождение гражданина? работать не для того, чтобы жить, а жить затем, чтобы трудиться, получать образование не ради собственного благополучия, а для того, чтобы приносить пользу людям? всегда ли готовы мы к тому, чтобы четко и на всю жизнь определить социальную задачу бытия каждого из нас? И снова вопросы. Автор пишет: «Мы вступили в такую полосу общесовременного развития, когда проблемы нравственности и морали становятся одними из самых насущных общественных проблем... Вот почему такое важное значение приобретает сегодня бой за нравственные ценности человеческой личности, за то, чтобы общечеловеческие нормы нравственности — доброта, справедливость, правда, благородство, совестливость, чуткость и человечность — с первых детских шагов входили в глубь человеческой психологии, становились частью души». Вой за нравственные ценности — с кем и против кого в обществе развитого социализма, в государстве, ставшем общенародным?

Открываешь новую главу — «Роль нравственных начал», перелистываешь последующие страницы и, признаться, вздрагиваешь. После высоких теоретических положений, благородных исторических примеров автор вдруг говорит о пятилетнем мальчике, которому поутру родители подарили новое пальто, дав почувствовать себя взрослым, а к вечеру взяли пороть как сидорову козу. Ведет речь об эмоциональной глухоте. Пишет, что «образование далеко не всегда излечивает от жестокосердия, а богатая эрудиция еще не определяет с достаточной обязательностью богатство, щедрость и тонкость души». Рассказывает о мальчике, наживающемся на памяти погибших воинов, — современном мародере через много лет после войны. Замечает по отношению одного из своих героев: «Это личность антиобщественная, хоть и выросшая в советской семье, в советской школе и комсомоле».

Окажись эти печальные истории сами по себе, не под одной обложкой с тем, о чем говорилось прежде, — был бы и иной с них спрос. Но автор вплотную соединяет их со сказанным ранее. Допустимо ли, оправданно такое? Да, потому что в результате достигается поразительный эффект. правильно было бы его назвать эффектом осуждения. Для читателя становится не важно, какие слова обращены в адрес жестокосердных родителей,

какие эпитеты сопутствуют современному мародеру. Ключ, который дал нам автор, раскрыв нормы коммунистической нравственности, благородство идеалов социалистической революции, открывает путь к абсолютной бескомпромиссности оценок, отчетливому пониманию всей несовместимости этих поступков с нормами нашего общества. И те, кто совершил их, не просто нехорошие люди — они противостоят нашей жизни.

Как недобираем мы порою в своих суждениях об отрицательном, списываем многое за счет обыденности того, что стало, увы, привычным. Не решаемся говорить голосом тех, кто соединял с нашим временем свои гуманные помыслы, не останавливаясь во имя их осуждения перед самой высокой платой — часто ценою жизни... «Книга публицистики» — предметный, позитивный урок авторам статей, нередко мелькающих на страницах газет, где разговор о домашних неурядицах никак не может подняться над уровнем этих же склок.

Есть в книге рвущий сердце рассказ — документальный, как и все другие, — о жизни рудневского детского дома. Его педагоги избивали воспитанников, превратившись, по сути, в садистов на государственном жалованье. Факты сами по себе ужасны. Вспомните о беседе, которую вел Ленин в далеком двадцатом году с японскими журналистами. Владимир Ильич спросил: «Я прочел в одной книге, что в Японии родители не бьют своих детей. Так ли это?» А услышав утвердительный ответ, «с большим удивлением отметил, что один из принципов рабоче-крестьянского правительства тоже заключается в отмене телесного наказания детей». И рудневская история приобретает еще более тревожный смысл. Становится особенно невероятно, что воспитатели-негодяи не предстали перед самым жестким, самым карающим судом, а были лишены только права педагогической деятельности, которая, судя по их поступкам, никогда их и не занимала.

Рассказав с возмущением о порядках в рудневском детском доме, автор ответил на вопрос одного из воспитанников: до каких пор это может продолжаться? «Куда более сложно, — пишет Ф. Кузнецов, — ответить на другой, крайне сложный вопрос: откуда берется в нашей жизни такое?..» Этот вопрос возникает перед ним не однажды. Делится впечатлениями о школьном диспуте, где одна ученица говорит о другой: «Она у нас такая идейная, такая идейная, что... на все способна». И спрашивает: «Что же случилось, как могло произойти, чтобы высоконравственное понятие идейности трансформировалось в годовое этой десятиклассницы таким непостижимо странным образом?» Пишет, что у какой-то части молодежи наметился «своеобразный инфантилизм, гражданский индифферентизм, равнодушие к общественным проблемам жизни». В чем же дело? «Истоки этих трудных явлений понятны. Они в том, что мы плохо еще учим людей мыслить — социально, общественно, граждански». А почему плохо? Но и без вопроса ясно — этим не может быть исчерпана суть отрицательных явлений. Замечает, «что тревожащие настроения среди какой-то части подрастающего поколения — реакция этой чуткой, впечатлительной, максималистской аудитории на фальшь и формализм, на примитив и шаблон, которые еще встречаются и в комсомоле, и в школе, в различных звеньях нашей социальной педагогики». Но примитив и шаблон — это вновь оценки, а пора переходить к анализу. Нередко же бывает так, что, выступая аналитиками по отношению к прошлому, мы перестаем быть ими, когда заходит речь о настоящем. Называем одну причину, другую, читатель может прибавить к ним десятую и двадцатую, и тогда становится ясно, что надо не перечислять, а обратиться к социальной первопричине. До сих пор автор руководствовался все время принципом «социальной детерминированности духовно-нравственной сферы жизни человека». В какой же мере он сумеет им воспользоваться теперь — при анализе отрицательных явлений современной жизни?

«Противостояние людей новой морали и носителей мелкобуржуазной психологии, то есть мещанской психологии и нравственности, — такова основная нравственная коллизия современного общества, — пишет Ф. Кузнецов. — Таков наш противник сегодня, и нельзя недооценивать его силу, его цепкость, его живучесть». Да, в нашей стране мелкобуржуазные отношения канули в небытие, но психология, формировавшаяся частной собственностью, продолжает жить. В социальном эгоизме мещанина видит автор главного врага, как писал В. Горбатов, «номер раз». «Разве не мелкобуржуазное, то есть мещанское сознание, психология, нравственность являются питательной средой карьеризма, приспособленчества, бюрократизма и даже «вождистского» чванства (вспомним в этой связи ленинские слова о Каменьяках и Наполеонах)?»

Ф. Кузнецов извлекает корень мещанства на полюсах самых различных явлений. Пишет, к примеру, о мещанской бездуховности, сказывающейся в неуважении к старине. И здесь же выступает против новомодных одеяний той же психологии, против тех, кто занят по отношению к нашей деревне «фетишизацией тех исторических форм духовной жизни крестьянства, которые сложились когда-то на качественно иной жизненной основе», кто ста-

рается искусственно навязать «современной народной жизни эстетические формы прошлого» и этим, как отмечает автор, по сути дела, убивает их.

Не станем, однако, вникать в полемику о сути и проявлениях мещанства в нынешней жизни: она отшумела в свое время на страницах «Литературной газеты». Даже в современном технократе, коль не признает он роли коллектива и отдает должное лишь своему разуму, нетрудно в конце концов обнаружить мещанина. Заметим лишь, что, говоря не иначе как о переломных моментах мещанской психологии, о ее живучести с прежних времен, мы как бы отвлекаем себя от возможностей воспроизводства бездуховности, безнравственности, неуважения к труду. Между тем то же неуважение к труду связано с недостатками управления и организации производства, упущениями в планировании, о чем так резко и требовательно говорилось на XXV съезде партии, последующих ему пленумах Центрального Комитета, на протяжении всей подготовки к XXVI съезду КПСС. Пишет об этом и Ф. Кузнецов в главе «Реальный гуманизм»: «Разрыв между словами и делом, в каких бы он формах ни выражался, наносит ущерб и хозяйственному строительству, и нравственному воспитанию советских людей».

Стремление вскрыть социальные истоки буржуазного мировоззрения приводит автора к ленинской работе «Государство и революция». В ней, как известно, Владимир Ильич предостерегает от наивного уравнивания низшей и высшей фазы коммунизма, идиллических надежд наскоком решить все социальные и духовные проблемы на первой, низшей фазе нашего общества. Вслед за Марксом он указывает, что социализм, где распределение происходит по труду, а не по потребностям, еще не обеспечивает полного материального равенства. «Отсюда такое интересное явление, как сохранение «узкого горизонта *буржуазного* права» — при коммунизме в его первой фазе».

Этот «узкий горизонт» не перейден и неминуемо дает о себе знать. Конечно же, не только на приусадебных и дачных участках, о чем в свое время столько говорилось, но и в иных сферах нашего бытия. Так вплотную подводит нас автор к мысли об определенном воспроизводстве чуждой нам психологии. И делает это для того, чтобы определить приложение сил в борьбе за утверждение коммунистических начал, чтобы ответить на вопрос: «В борьбе с каким реальным жизненным противником выявляет себя современный герой... продолжающий в современных условиях революционные традиции семнадцатого года?»

В социальной, гражданской активности личности видит автор то главное звено в цепи проблем не только экономических, но и духовных, за которым вытягивается вся цепь. «Ничто так не возвышает личность, как активная жизненная позиция, сознательное отношение к общественному долгу, когда единство слова и дела становится повседневной нормой поведения. Выработать такую позицию — задача нравственного воспитания», — говорилось в Отчетном докладе ЦК КПСС XXV съезду партии. Решается эта задача не быстро, но решение ее происходит ежедневно и повсеместно — оно в постоянном формировании образованной, самостоятельно мыслящей личности, утверждение которой неотделимо от общенародного процесса развития. В становлении гражданина, который не по команде, а сам согласно своему мировоззрению может и умеет действовать с максимальной пользой для общества — так, как писал об этом Ленин: «...ни слова не возьмут на веру, ни слова не скажут против совести».

Личная, доверительная публицистика всегда доказательна, пожалуй, в любой полемике. И мы читаем в книге очерки о родной деревне, о людях, которых знает автор еще с мальчишеских времен. Как глубоко вошли в их жизнь — механизаторов и педагогов, земледельцев и партийных работников — самые высокие представления о нравственности, о предназначении своего бытия.

«Книга публицистики» — чтение не простое. Требуется ответной работы мысли, постоянного вопроса к самому себе: а как ты сам об этом думаешь? — зовет к тому, чтобы осмыслить нравственный багаж нашего общества. Но само это желание необходимо — в нем одно из проявлений гражданственности, о которой и пишет автор.

ЕВГЕНИЙ ПРОХОРОВ



ПАФΟΣ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ

Заметки о современной публицистике

Всякий раз, когда речь заходит о публицистике, отправным пунктом по справедливости оказывается знаменитая ленинская характеристика этого жанра как истории современности.

Какова же «сила тока» современной публицистики — сила ее влиятельности, сила воздействия на умы и сердца, на общественные процессы? Тут были бы напрасными попытки охватить все направления современной публицистики — международной и внутренней, экономической и философской, экологической и космической.

Отказавшись от обязательных перечней, хотелось бы на нескольких примерах публицистики последних лет подумать вслух о ее общественной силе, весомости, роли, активности гражданского ее начала. Ведь от того, как публицистика осознает и выполняет свой гражданский долг, и зависит, по праву ли носит она высокое звание передового отряда литературы.

Наша публицистика — достаточно представить себе продукцию этого цеха литературы хотя бы за месяц — рисует широко и разнообразно панораму современной действительности. Но общественное мнение, разумеется, нельзя удовлетворить лишь изображением картин жизни. Оно задает публицистам множество вопросов по поводу каждого факта современности, чтобы разобраться в быстро несущихся событиях, сориентироваться в сложных явлениях, выработать отношение к важным проблемам, составить глубокое и ясное представление о персонажах современной истории. Больше того, от публицистов ждут, чтобы они хотя бы намеком указали на тенденции развития, показали, какие силы пришли в движение и в каких столкновениях будет рождаться будущее. Притом в частном увидеть общее, в яркииндивидуальном событии — проявление закономерностей, характерных для времени, извлечь из случая смысл, важный для общественного мнения в целом.

Все это кажется очевидным, чуть ли не тем, что называется ломиться в открытую дверь. Почему же тогда Анатолий Аграновский едва ли не в каждом своем выступлении по поводу публицистики настойчиво повторяет: публицистика начинается там, где есть мысль, хорошо пишет не тот, кто хорошо пишет, а тот, кто хорошо думает. Почему же это не кажется банальностью? На то есть причины.

Одна из них — в публицистике, как ни странно, часто нет этой мысли или оказывается она усеченной, частной, половинчатой, а то и вовсе лишь ее неким подобием (Борис Агапов называл это «петушиться в стандартной патетике»). Умение найти важный объект, актуальную тему, широко показать панораму событий, найти характерные детали, интересных людей стало в наше время широко распространенным. Тут то же, что и в литературе: внешние свойства искусства оказались освоенными многими и умение рассказать о чем-то кажется умением что-то сказать. Так часто бывает в судебном очерке. Перипетии дела, с которым знакомит очеркист, предыстория преступления, его «техника», работа следователя, ход судебного заседания, прения сторон по поводу квалификации содеянного — все это само по себе кажется достаточным материалом. Умей только записать, не забывая сказать об аморальности содеянного и неотвратимости наказания. Профессиональный юрист, занимающийся по долгу службы вопросами правовой пропаганды, с огорчением и тревогой отмечает, что часто, очень часто судебные очерки оказываются ориентированными на обывательский интерес к самому преступлению. Будоража читателей, они сосредоточивают интерес вовсе не на том, на чем надо бы. Обсуждаются на работе и дома подробности злодеяния, обстоя-

тельства его раскрытия, фантазия читателей порождает всевозможные догадки и домыслы. «А в результате общественное мнение оказывается сформированным либо в нейтральном плане — «вот ведь как бывает!», — констатирует в «Журналисте» (1979, № 8) Ю. Трещенков, — либо в узкоактивном — «своими бы руками задушил!». При этом всех волнует лишь один-единственный вопрос: «а сколько ему (ей, им) дали?»...

Легко ошибиться, посчитав, что такая «самописная» публицистика растет только на черноземе судебно-следственных томов. Отражательная, ограниченность публицистики — болезнь, распространенная во всех ее тематических областях. И она опасна тем, что скрыта (часто и для самого публициста) серьезно заявленными намерениями. Но два признака довольно безошибочно свидетельствуют об иллюзорности публицистической глубины. Один из них — пассивное влечение публициста за движением событий, второй — репортажность стиля. Осознав себя историками современности, публицисты далеко не все и далеко не всегда столь же ясно видят смысл своего «летописания». Хорошо известна мысль Горького, одинаково применимая и к прозаикам и к публицистам: «Факт — еще не вся правда, он — только сырье, из которого следует выплавить, извлечь настоящую правду искусства... Нужно научиться выщипывать несущественное сперение факта, нужно уметь извлекать из факта смысл»¹. Мысль известная, но, думается, стоит обратить внимание, во-первых, на то, что «выщипывать несущественное оперение» и «извлекать из факта смысл» отнюдь не одно и то же. Одно дело увидеть существенное в жизни, другое — разобраться в его сути и раскрыть общее значение. А во-вторых, публицисты мало внимания обращают именно на второе требование. Между тем ясно: как протекает эта «операция» извлечения смысла, на каком уровне глубины и системности это делается, важно чрезвычайно. И характер этого смыслоизвлечения — во многом показатель особенностей и прочности гражданской позиции.

Леннарт Мери в книге «Сближающиеся берега» одну из глав начинает острой постановкой вопроса касательно сакраментального «о чем» и «зачем»:

«Цель путешествия или место назначения?

Не начинаем ли мы утрачивать цель наших путешествий? Читаешь Фидлера, Тугласа, Шагинян, Стейнбека, Хемингуэя — и перед тобой разворачиваются дороги и города, гостиничные номера и встречи, которые становятся знаменательными лишь в связи с путешествием, неповторимыми... У Кука, Крузенштерна, Миддендорфа, Врангеля была цель. Она была записана каллиграфическим почерком, вложена в конверт и запечатана. Там были встречи и надежды. А мои современники? Они пишут красочно и увлекательно о том, как путешествуют, однако под тенью пальм и в сиянии неоновых реклам то и дело забывается вопрос: для чего путешествуют? Какова цель путешествия?»².

Настоящего публициста этот вопрос волнует как важная гворческая проблема. Иначе — в случае, когда на первый план выступает «о чем», когда захватывает многоцветная и шумная, кипящей струей несущаяся наша современная жизнь, когда некогда поразмыслить над другими вопросами, — возникают, как это случилось недавно у Л. Лондона в «Одном дне директора» и было в начале пути у А. Нежного в «Канале», зарисовки, интересные заметки, важные свидетельства, но проносятся они перед читателем как картинки, на которых не успевает остановиться взгляд. А автор все торопит: ведь у него есть еще... Эта игра творческих сил, это богатство порождает тем не менее только репортажный поток впечатлений.

Явление сие принято называть грехом описательности, хотя такая квалификация не вполне точна: грех не в том, что публицист описывает явление (как без этого обойтись, если перво-наперво с явлением читателя надо познакомить?), грех в том, что на описании дело и кончается, задача считается исполненной. Что же надо еще?

Приходится напоминать вещи, достаточно хорошо известные. Содержание произведения (публицистического тоже) зрительно можно ведь представить как треугольник, вершины которого — тема, проблема, идея, а «ребра» — движение от одного к другому. И только когда публицист в своем произведении завершил строительство треугольника, тогда можно говорить о воплощенном искусстве мысли. Ведь определив тему (thema — то, что положено в основу), он ясно знает, какой кусок жизни и в каких проявлениях он покажет, поставив проблему (problema — задача, задание), он выявляет угол зрения, под которым будет глядеть на материал, чтобы поставить и разрешить волнующий его вопрос, а пройдя по всем ступеням разработки проблемы на выбранном тематическом плане жизни, развертывает совокупность идей (idea — мысль, образ), свои выводы, свое знание и отношение, как переводил для себя это понятие Ленин.

¹ Горький М. Собрание сочинений в тридцати томах, т. 26, стр. 296.

² «Литературная газета», 1980, № 27.

Гражданственность позиции публициста в том и проявляется, как он работает с какой из сторон: к какой теме обращается, какой вопрос ставит, к каким выводам приходит. И все это обязательные признаки публицистического «летописания», ибо автор не констататор наблюдений, а социальный мыслитель и борец. Вот как это проявляется в записях, вошедших в дневник Ивана Васильева, который он вел на строительстве животноводческого комплекса в Калининской области:

«Под крышей, на кран-балке, разъяв железные челюсти, висит грейфер. Тот самый грейфер, который «выколачивали» целый год: писали бумаги, ходили по кабинетам, слали гонцов. В конце концов «выколотили», смонтировали и...

— Пробовали?

— А?

— Грейфер, говорю, пробовали?

— Пробовали. Трехтонную тележку загружает ровно сорок минут. Поупражняйся в арифметике — оценишь мудрость проектантов.

Упражняюсь. Считаю. Двадцать тысяч тонн органики — это почти 7 тысяч телег. Ровно полгода бесосановочно должен работать весь транспорт колхоза, и все потому, что емкость ковша грейфера 0,4 куба, а скорость движения черепашня. Не по рту ложка!

— Будущим летом применю этот способ на поливных пастбищах: заставлю мужиков полторы сотни гектаров поливать с ведра.

Председатель еще способен шутить...

Я в затруднении: писать о том, что вижу, или не писать? Вроде бы, взяв на себя добровольную обязанность «летописца» — от начала до конца проследить строительство и освоение первой сельской «фабрики», — не должен опускаться ни одной мелочи. С другой стороны — надоело все это: одно и то же, одно и то же...

— Тебе писать надоело, а работать как?

Когда спрашивают вот так, в упор, с застоялой горечью, с едва сдерживаемым гневом, сомнения отпадают. Писать! Без скидок на экспериментальность, без оглядки на самолюбия мундиров. Нельзя же в конце концов безнаказанно вкладывать народные миллионы во... вчерашний день».

Отрывок этот ясно показывает, каковы взаимопереходы в триаде «тема — проблема — идея». В ходе публицистического «следствия» должна возникнуть всесторонняя ориентированность в явлении — сначала для автора, а благодаря ему затем в аудитории. Как же справедлива и актуальна давно высказанная мысль Михаила Кольцова: «Без тенденции автора, без его стремления что-нибудь доказать и в чем-либо убедить читателя нет настоящей публицистики»³.

Между тем до сих пор имеет хождение мысль о том, что «публицистическим бывает не каждый очерк» — мол, есть также очерк информационный, цель которого — «сообщение читателю какой-либо информации». Публицистический отличается от «информационного» будто бы тем, что «автор публицистического очерка не просто приводит те или иные данные, он ищет во всем общественно-политический смысл»⁴.

Тут две странности. Прежде всего использование слова «информация» в устаревшем смысле (фактические данные). Главное же — допущение того, что в очерке может и не быть... мысли. Конечно, в некоем конкретном произведении это и возможно. Но стоит ли путать задачи критики, обязанной соответствующим образом аттестовать произведение, и теории? Грустно, когда делаются попытки теоретически обосновать возможность (и необходимость?) безмысленного очерка. Публицист без ясной гражданской позиции? Публицист, которому нечего сказать читателям? Который ничего не добивается, ничего не поддерживает, ни с чем не воюет, а только сообщает?

Актуальная тема, важная проблема, глубокая идея в произведении при полноте его информационного насыщения — вот в чем проявляется гражданственность позиции и мысли публициста. Притом создание публицистического фрагмента из истории современности должно быть также и активным вторжением в жизнь, приводящим к практическим результатам. Маркс и Энгельс называли это «повседневным вмешательством в движение», Ленин — «посильной помощью непосредственным участникам движения». Л. И. Брежнев, напомнив ленинскую мысль о задачах публицистики, отмечает: «Вторгаться в практическую жизнь, помочь народу яснее понять смысл этой жизни и направление ее течения, помочь делать

³ Кольцов Михаил. Писатель в газете. Выступления, статьи, заметки. М. «Советский писатель». 1961, стр. 110.

⁴ Глушков Николай, «Многообещающие перемены» («Шаги». Ежегодник Союза писателей СССР. М. «Известия». 1978. вып. IV, стр. 451).

эту жизнь лучше, правильнее, светлее, богаче не только материально, но и духовно — что может быть важнее и благороднее?»⁵.

Сколько было мнений и решений по приусадебным участкам, по личным садам и огородам. Наконец выработалась ясная позиция: это важная часть нашего хозяйства, быта, жизни. Но ясность принципиальной позиции, выработанной не без вмешательства публицистики, требует идти дальше, разбираться, а как обстоят дела на самом деле, заставляет ставить новые вопросы: каковы успехи и проблемы, что надо сделать?

Анатолий Иващенко в своей небольшой книжке «Свой огород и поле за ним» провел многогранное исследование отнюдь не простой проблемы приусадебного участка в самых разных связях — общественное и личное, экономика и нравственность, техника и организация и т. д. Проблематика произведения Иващенко начинает разворачиваться буквально с первой страницы. Публицист «просто» обращает внимание на очевидные (и многих занимающие и удивляющие) факты. Приусадебные участки, площадь которых относительно общего поля невелика, дают значимую (хотя ее можно и еще весьма увеличить) долю сельхозпродукции, притом такого ассортимента и качества, которые не чета купленной в магазине. А продуктивность (при том, что вопреки агрономическим нормам «картошка идет по картошке», нет малой техники и даже лошадей, чтобы вспахать огород,—проблема, никто не заботится об удобрениях для него и кормах для домашней живности и т. д. и т. п.), — а продуктивность ведения такого хозяйства весьма и весьма высока. Преждевременно оказалось свертывать этот сектор производства — значит, надо помочь его развитию? Но не так прост ответ, когда все в жизни села взаимосвязано и экономически, и психологически, и технически, и организационно:

«И в то же время мне не раз приходилось слышать горькие сетования бригадиров и председателей колхозов, секретарей райкомов и председателей райисполкомов, костеривших огородную обузу в хвост и в гриву. Мысленно собираю те доводы, и образуется такой ряд:

— Выходит, я должен ждать, пока мои трактористы вскопают свои сотки, посадят картошку, а уже потом соизволят пахать совхозную плантацию. Потом снаряжай им грузовики торговать по базарам первыми огурчиками из парников да теплиц по пятерку за кило. А из города зови шефов убирать и картошку, и помидоры, и кукурузу... Нет! Я по тем парникам прогнал бульдозер и смел начисто.

— Почему бы не предложить колхозникам купить для себя наших племенных коров? Просто потому, что бесполезно предлагать. Пойдите даже на старую ферму, поговорите с доярками. Ни одна не согласится сначала смену отломать в домашнем хлеву, а потом еще идти на ферму. Здесь-то свет, вода, тепло, кормораздача. А дома?

— Раз хозяйство личное, да еще, как правильно говорится, подсобное, то пусть каждый им лично и занимается в свободное время.

— Какие огороды, какие коровники?! Мы проектируем для колхозников поселок городского типа. Фонтан в центре, плакучие ивы на главной аллее... Не ставить же среди них сараи.

— Два раза от позора уже просился на пенсию. По всей округе колхоз иначе как «вечным» не называют. Нету в огородах ни клубники, ни укропу, ни чесноку. Сплошь — одни веники. Всю осень и зиму плетут их в каждой избе и торгуют по всему свету — полтора рубля за помело. А в четвертой бригаде зародилась другая мода — переключаются на тюльпаны. Того и гляди, скоро прилепится прозвище „Фанфан-Тюльпан“.

...Нет, не просто все с подсобным хозяйством на приусадебном участке, и не так уж нелепы возражения, сомнения, вопросы. И публицист, четко сформулировав их для себя, пытается найти ответы, притом ответы, не обходящие проблему, а решающие ее, ответы дельные, с которыми согласятся оппоненты, люди деловые. Внимательно разбираясь в проблеме, изучая опыт различных районов страны, мнения руководителей и колхозников, знакомясь с состоянием дел — производством «малой» техники, обеспечением удобрениями и кормами, законодательством и инструктивными актами, тенденциями строительства на селе, работой торговли и т. д., — Иващенко находит дельные ответы. Они различны и для различных районов страны, и для людей различного уклада жизни и даже различного склада мышления. А иногда и вовсе неожиданные, хотя и уже где-то плодотворно реализованные (скажем, идея сложить приусадебные участки все вместе, равно как и своих коров отправить в общее стадо, заказать способ использования земли, уплатить за работу, а осенью получить продукцию. При этом при усадьбе сохранится маленький участок для своего повсе-

⁵ «Коммунист», 1980, № 6, стр. 15.

дневного стола). Больше того, кажется совсем неожиданным вывод о том, что малый участок при усадьбе сохранится всегда — и не только для стола...

Публицистические исследования такого рода не только помогают читателю увидеть в истинном свете крупную проблему нашей современной жизни, формируют ясное общественное мнение во всех его компонентах, но и вызывают к принятию решений, к развязыванию проблемных узлов в самых разных сферах. Не случайно публицистику часто метафорически называют разведкой, а разведка тогда ведь успешна, когда полученные разведанные точны, полны и нужны для дела.

Публицистика — сила. Но превращение возможностей в действительную силу зависит от того, насколько согласованно она выступает в двух своих ипостасях, насколько способно произведение влиять и на общественное мнение и на принятие решений. При этом легко заметить, как возрастает эффект публицистического выступления, если в оба адреса (еще Ленин обращал внимание на то, что газетные публикации адресуются одновременно «нашим ведомствам» и «читающей массе рабочих и крестьян») информация доходит и оказывает оптимальное воздействие: ведь сознание силы общественного мнения побуждает ведомства с двойным вниманием отнестись к постановке практической проблемы и предлагаемым путям ее решения, а внимание деловых людей и их активная ответная реакция укрепляют и активизируют общественное мнение.

Но стремление и умение совместить, притом в оптимальных формах, обращение в оба адреса, да так, чтобы заинтересовать широкую общественность, передать ей свою убежденность, сформировать у самых разных людей стойкое мнение и при этом быть на уровне специалистов в обсуждаемой проблеме и уметь предложить подходы, аргументы, решения, которые могут и должны быть восприняты ими как компетентное вмешательство в дело, — тут требуется высокое искусство. Стоит пренебречь одним из адресов — и эффект, влияние публицистики значительно снижается. А коли так — значит, недостаточно высоко искусство.

Изучит публицист, скажем, интереснейшую область плазменной технологии, применение которой на металлообработке приносит резкий скачок в производительности труда, покажет причины ее медленного внедрения: нет соответствующих станков и оснастки, плохо выполняются научно-прикладные исследования, велика доля кустарщины, заинтересованные организации разобщены и не располагают нужной информацией — и делается вывод типа «слово за Минстанкопромом и Минэлектротехпромом».

Каков будет эффект? Министерства, конечно, откликнутся. Но при чтении не удастся отделаться от вопроса: а почему эту статью, не печатая миллионами экземпляров, просто не послать бы в соответствующие инстанции? Ведь автор вовсе не обращается к своим читателям. Так случается нередко. Не потому ли возникла идея различать публицистику художественную и публицистику деловую? Мысль эту отчетливее всего высказал Г. Радов, хотя к ней приходили и другие в своих рассуждениях о современной публицистике, видя в этом разделении некое теоретическое достижение. Но деловой публицистики как особая рода нет — ведь странно не обращаться к публике, а только к деловым людям. Деловая публицистика хороша всем — постановкой актуального вопроса (чаще всего производственного, экономического, организационного), строгой разработкой проблемы, четким анализом, дельными выводами и предложениями. И стильными качествами. И пафосом общественной требовательности. Но деловая публицистика в лучшем случае вызывает активность общественного мнения только к конкретному случаю. Причины? Одна из них — устремленность исключительно к конкретному делу, мобилизация всех творческих ресурсов на анализ положения вещей, поиск всех сил, факторов, причин (экономических и организационных, технических и технологических, демографических и т. д.), работающих в этой сфере позитивно или негативно, нацеленность на обнаружение способов быстрее и наилучшего решения проблем, обращенность к инстанциям, от которых зависит принятие необходимых решений. Нет спора: умение разобраться в деле всегда составляло основу публицистики. Более того, уровень дельности публицистики, степень ее активного воздействия на принятие решений по самым различным вопросам (от памятного прочерка в метриках до охраны чистоты Байкала, от почтового обслуживания до судьбы кедровых лесов) и самого разного масштаба (от решений центральных органов до мер, принимаемых местными организациями) — это неременная составляющая гражданского вмешательства публициста в жизнь общества. В этой связи понятна тревога, не раз звучавшая на страницах «Литературной газеты», по поводу странной ситуации: выступает публицист в газете — через какое-то время появляется официальный отклик заинтересованных инстанций. Выступит публицист в толстом журнале — как будто никого не касается. Остро поставив вопрос о действенности журнальной публицистики,

Леонид Иванов главным виновником счел редакции, которые, пишет он, «не очень-то озабочены действенностью этих выступлений. Напечатав проблемный очерк, редакция на этом успокаивается... Почему бы редакции журнала не пригласить заинтересованные организации и ведомства высказать свое мнение? Почему не привлечь к обсуждению проблемы читателей?» И приводит наводящий на размышление случай: на одну и ту же тему выступили два публициста, но один в литературном журнале, а другой в «Журналисте». И что же? Первое осталось не замеченным соответствующими официальными инстанциями, а на второе поступил ответ министра сельского хозяйства РСФСР, в котором отмечалось, что «в очерке поднимается вопрос государственной важности и министерство дало указание сельскохозяйственным органам областей, краев и автономных республик России ознакомиться с очерком... и разработать практические меры по восстановлению малых рек». Дело, оказывается, в том, что в «Журналисте» принято за правило проблемные статьи направлять в соответствующие организации для ответа.

Повышение действенности публицистики — огромный резерв улучшения дела на многих и многих участках нашей жизни, в распространении передового опыта, новых форм организации труда... Так почему же и редакции журналов, и те, кого касаются выступления публицистов, не заглянут в ту (49) статью Конституции, где говорится: «Должностные лица обязаны в установленные сроки рассматривать предложения и заявления граждан, давать на них ответы и принимать необходимые меры»? Или не догадываются, что публицист — это гражданин страны, а его статья или очерк содержит те самые «предложения и заявления», которые обязательны для рассмотрения?

Собирая итоговый одностомник, Анатолий Аграновский имел возможность почти после каждого произведения поместить «последушку» — сообщение о сделанном на основании «заявления» публициста, поступившего в инстанции и подкрепленного силой общественного мнения. В предисловии к этой книге Борис Панкин замечает: «Приятно узнавать, что многие, о ком писал автор, стали впоследствии академиками, лауреатами, героями, известными всей стране. Стали, заметим, не до, а после выступлений писателя. Точно так же не до, а после его публикаций было спасено полмиллиона кубометров леса в Братском море, был ликвидирован один никчемный главк, создан крайне нужный институт, принимались важные решения ведомств, министерств и более высоких инстанций»⁶.

Так что гражданский долг свой перед обществом, долг «социального инженера», вмешивающегося в течение процессов, требующего, предлагающего и добивающегося принятия реальных практических мер, публицистика видит и по мере сил выполняет. Улучшения тут возможны и желательны, организационные решения напрашиваются, а при нынешнем внимании ко всему практически полезному не приходится сомневаться, что уровень действенности публицистики будет возрастать. Кстати, это зависит и от дельности самой публицистики.

Но вот любопытное наблюдение, заставляющее повернуть рассуждение о плодах публицистики в иную плоскость. «Читая эти петитом набранные сноски, — пишет Панкин, — радуешься тому, как оперативно принимаются у нас меры по острому и дельному выступлению печатки. Огорчаешься же тому, что годами мирились с явной нелепидцей, а протрели и в корне изменили положение дел в три дня. Это, знаете ли, тоже вызывает раздумья». Это раздумья не о конкретных, сиюминутных, по этому именно делу результатах, а о долговременных эффектах, о росте и развитии общественного мышления, творческого отношения к жизни, гражданской ответственности, социальной активности, зоркости, принципиальности...

Этот результат уже не тот, который описывается привычным словом действительность. Как пишет Панкин, «есть осязаемый эффект очерка: что-то меняют в порядках и установлениях, кого-то вознаграждают по заслугам, кого-то, наоборот, наказывают после появления очередной публикации. Но есть эффект и незримый, психологический. Разрешающая его сила, говоря языком физики, оказывается неизмеримо больше. Возвращая многим понятиям их истинный смысл, Аграновский как бы раскрепощает сознание читателя, освобождает его от неоправданных комплексов, помогает отсеивать зерно от плевел». Суть этих результатов публицистического действия, широкой социальной эффективности — точно уловленное «страстное желание способствовать не только решению той или иной конкретной проблемы, но улучшению общего состояния умов».

Эти результаты — то, что Горький и Луначарский в свое время называли социально-педагогической мощью публицистики. Влиянием публицистики на состояние умов, на обще-

⁶ Панкин Борис, «Одной лишь думы власть» («Литературное обозрение», 1979, № 3).

ственное мнение и благодаря ему на мировоззрение и мирозерцание, на общее отношение к окружающему и определяется ее эффективность. Тогда оказывается, что в произведении публициста конкретика лишь пример, лучше сказать, частность; разбираясь в ней, публицист получает возможность высказать мысли, которые — вспомним Ленина — пригодятся и завтра и в другом месте. И ценность публицистического произведения отнюдь не только в том, что оно помогает решить конкретный вопрос, но — в не меньшей, а в большей степени — в том, что помогает выработать общезначимые и применимые в другое время и по другому поводу жизненные позиции. Когда Овечкин пишет о Долгушине, то эффект — не только знакомство с положительным героем и выработка положительного отношения к нему; тут и страстное желание видеть свойственный запечатленному в этом образе тип социального поведения широко распространенным в среде деловых людей в любой сфере жизни. Когда Екатерина Лопатина пишет о пригородной зоне КамАЗа, то ею движет забота не только о продуктах для челнинцев, но и желание извлечь уроки согласованного развития различных функциональных частей региона, а отсюда объективно вытекает проповедь сейчас столь важного для каждого человека системного видения явлений жизни, умения учитывать всю совокупность условий и факторов, мыслить широко, масштабно.

Эффективность публицистики также в решающей мере зависит от гражданской позиции публициста, от того, достаточно ли хорошо он видит общее значение конкретной ситуации, конфликта, случая, умеет ли без назидательности донести извлеченный им общий урок. Известно, что Овечкин после выхода «Районных будней» получал письма отнюдь не только на сельскохозяйственные темы — его очерки будили (и в известной степени способны будить и десятилетия спустя) чувства, мысли, стремления, волю применительно к той сфере жизни, в которой задействован читатель — пусть это горняк или учитель, инженер или спортсмен, ученый или рыбак. Потому что формируется гражданская позиция, взгляд на текущую жизнь на примере конкретного случая. А когда случай остается и начальным и конечным пунктом публицистического исследования, то и возникает то, что именуется деловой публицистикой.

Термин этот — деловая — неточен: всякая публицистика деловая, но что имел в виду Радов, разделяя художественную и деловую публицистику, понятно. Точнее было бы сказать «узкоделовая». И пафос Радова, признавшего пользу деловой публицистики, но отдавшего предпочтение художественной, то есть той, в которой сиюминутный, деловой эффект совмещается с эффектом широким, когда извлекаются уроки, которые пригодятся в другое время и в другой ситуации, то есть эффект социально-педагогический, идейно-воспитательный, понятен, верен и требует признания.

Суть хорошей публицистической мысли в том, что она прежде всего г р а ж д а н с к а я. Легко увидеть, как публицист, разбираясь в какой-то ситуации, коллизии, проблеме как специалист (а как иначе Александр Левиков мог написать свой «Калужский вариант», Анатолий Злобин — «Сколько весит тонна?..», а Леонид Иванов — «Воскрешение нивы»), видит в предмете, в котором разбирается, нечто большее, чем может увидеть специалист. Это так, потому что публицист видит кусок жизни не с точки зрения узкого специалиста (экономиста или юриста, администратора или эколога, специалиста по этике или по технической эстетике, технолога или агронома) — он обязан именно своей профессией увидеть и понять явление целостно, во всех его сторонах и связях. И если нужно, он и экономист, и управленец, и этик, и агроном. Благодаря этому универсальному взгляду на вещи публицист может (и обязан) увидеть экономическую проблему в некотором смысле глубже и шире, чем экономист-профессионал, а управленческую — чем администратор. Это важная сторона гражданской позиции публициста. И в этом отношении она сродни подходу партийного работника, общественного деятеля, по должности обязанного рассматривать каждое явление и каждую проблему в широких социальных связях, как узел разнообразных вопросов. Не случайно и партийный работник и публицист прежде всего политики.

Отсюда и свойство публициста видеть специальное в общесоциальном свете, частное — сквозь призму общих задач, стоящих перед страной. Гражданская позиция обязывает публициста каждое явление видеть целостно и в широких социальных связях и перспективах, как момент движения жизни общества в целом. Потеря такого характера и такого масштаба видения жизни разрушает публицистику.

Этот универсальный подход, умение понять, о чем это говорит в самых разных отношениях — экономическом и этическом, эстетическом и философском, притом в политическом свете и в широких социальных масштабах, когда отдельное явление видится на фоне общего и в разнообразных связях с ним, — и делают позицию публициста гражданской. Именно благодаря этому и реализуется искусство публицистики как искусство «общения»

с общественным мнением — ведь только общегражданское разбирательство в делах современности обеспечивает прочный контакт с массовой аудиторией, обращение к человеку как гражданину, которому должны быть близки все заботы страны. И тут перевод специального в общесоциальное, умение извлекать из частного смысл, важный для каждого, — высокий долг и высокое искусство.

Читателю, конечно, интересно и важно знать про картошку в Белоруссии или про дороги в северном Нечерноземье — он ориентируется в ситуациях и проблемах нашей жизни. Но искусство публицистики требует того, чтобы картошка или дороги были рассмотрены в широких связях, завязанных в системный проблемный узел.

Между прочим, с употреблением слов «публицист» и «публицистика» происходят некоторые странности именно в силу такой их высокой наполненности. В самом деле, в рядах очеркистов, репортеров, фельетонистов значат себя многие писатели и журналисты, да и признают их таковыми и коллеги по перу и читатели. При этом совсем не все они считают себя публицистами, да и не относят их к этому званию читатели. Это разделение проходит и в журнальных рубриках — большинство их названий звучит как «Очерк и публицистика». Между тем и очерк, и фельетон, и репортаж — публицистика. Это с очевидностью выясняется, если просто вспомнить, что М. Горький, В. Маяковский, А. Толстой, М. Кольцов, И. Ильф и Е. Петров и многие другие советские литераторы, выступавшие как публицисты, писали очерки, статьи, обзоры, фельетоны, репортажи, которые и составляли их публицистику. А разделяют очерк и публицистику по многим неосновательным причинам. Существенно же то, что многие очерки не дотягивают до того, чтобы именоваться публицистикой. А эта странность (в самом деле странность: разве кто-нибудь осмелится повесть среднего и даже ниже среднего качества вывести за рамки художественной литературы?) проистекает из того, что в слове «публицистика», кроме типологического смысла, есть еще и качественная оценка. Если произведение (очерк ли, фельетон или репортаж) называют публицистикой, значит, это хорошо сделано. По этой же причине как-то не сложилось словосочетание «молодой публицист». «Молодой писатель» — да. «Молодой очеркист (фельетонист, репортер)» — да. А «молодого публициста» не существует, ибо нет публицисту, который молод годами, скидки (мол, если он молодой, то все еще впереди, а сегодняшние произведения можно оценивать в перспективе роста).

Хорошо думать в публицистике — это значит думать гражданственно: широко, смело, многогранно, системно, действительно — так, словом, чтобы произведение, плод этой мысли, позволило бы сделать общественности шаг вперед в осознании окружающего, в целостной социальной ориентации относительно того явления, которое выбрал публицист в качестве предмета осмысления. И не каждому по силам вот так хорошо думать. Потому-то много литераторов, которые делают дело публициста, но немногих называют публицистами.

Феликс Кузнецов, размышляя в одной из статей на страницах «Литературной газеты» над публицистической книжной серией «Письма из деревни», заметил: «„Овечкинская традиция“, если брать опять-таки ее общие, а не исторически преходящие стороны, заключается прежде всего в партийном, государственном подходе писателя-публициста и очеркиста к своему делу, в таком социально-экономическом анализе явлений и тенденций действительности, который отвечает самым передовым требованиям времени и поэтому опережает повседневное движение жизни. „Овечкинская традиция“ далее — в граждански честной и социально активной личностной позиции писателя, в его стремлении — и умении — последовательно и целенаправленно вести борьбу за торжество государственных и общенародных интересов в сфере, являющейся объектом его публицистического исследования. Эта традиция, наконец, — в художественности, а потому — долговременности публицистики...» Может быть, не все черты определены, но все главное названо верно.

Вернусь к творчеству А. Аграновского. Публицист этот не пишет многолистных работ, где широта подхода, многоплановость повествования как бы задана самим материалом. А вот как проявляется позиция на малом плацдарме, отведенном на странице «газетному писателю», который и при перепечатке (сначала в «Шагах», затем в авторском сборнике «Уметь и не уметь») добавил лишь самую малость, стремясь отчетливее, выпуклее сказать то, что хотелось, что волновало. Речь о «Своего дела мастере». Его герой — Николай Алексеевич Шоханов, монтажник. Классный монтажник — не случайно надобны были его умение и на строительстве первой атомной и на Байконуре. А за участие в создании медицинской барокамеры вместе с учеными, инженерами, врачами он получил Государственную премию СССР (впрочем, это стало известно после газетной публикации очерка). Требовательность. И доброта, внимание к людям. Точность расчета. Обыденность героического поступка.

Словом, незаурядность личности и судьбы обычного мастера. Что ж, связать эпизоды — и очерк готов.

Но у Аграновского есть сверхзадача. Ему мало просто рассказать о судьбе и характере. Важно, что сказать рассказом о судьбе и характере. Понятно, возможностей тут много. Что же выбрал публицист? Выбрал и для того времени (1977), и для дней теперешних, и на некоторое обозримое будущее жгучую проблему схемы роста и места в жизни во всех непростых связях и зависимостях. Писателя волнует метаморфоза со словом «мастер», ставшим обозначением должности, и понятием «мастерство», которое относится к балеринам, поэтам и художникам, а как речь заходит о слесарях, токарях, «то сразу — нормы, план, сроки». И жизнь мастера — хорошая, прочная основа, чтобы поговорить на важную тему. Важную потому, что в обществе возникли смещенные представления, которые публицистике надо поправить и в их рациональных сторонах и в эмоциональном фоне. Для этого-то и затевает автор прямо обращенный к читателю разговор о своем герце, главное содержание которого — размышления о месте мастера в жизни и месте его в иерархии людских ценностей. Так разговор становится важным для каждого, ибо решается проблема, волнующая всех. Показав чисто производственную нужду в мастере (есть ведь штучное производство уникальных изделий; а как обойтись без наладчиков, испытателей, ремонтников?), Аграновский затем добавляет: нельзя забывать, что «именно мастера — прирожденные наставники молодежи». За мастером, наконец, прочно утвердилось роль нравственного эталона: «Это когда человек займет не свое место, возьмет дело не по способностям, трудно ему быть просто порядочным. А мастер — он всегда на своем месте и нет ему нужды кривляться и сочинять себя. Человек с настоящей профессией в руках привык себя ужать и других путей к самоутверждению не ищет. Так мне кажется...»

В широком разговоре с общественностью не избежать вопроса о том, как живет мастеру, каково материальное и нравственное признание его, каково отношение общества к нему. Тут есть, оказывается, проблемы, которые надо решать. Есть у Шоханова две медали — одна солдатская, одна трудовая (потом придет Государственная премия), — но в передовиках он как-то не числится. Ведь в организации соревнования «на первом плане все еще «знак количества», а уж потом — тонкость работы, дарования, опыт, талант работника». И вот идет цепь рассуждений, которые лучше выписать почти целиком (исключено только параллельное повествование о другом мастере — столяре Матвееве):

«Мне и в монтажном тресте сказали, что Шоханов в зарплате часто проигрывает, а высшей никогда не имел. Причина? Его кочек — тонкая технология, берет сложнейшие задания, работает на новых объектах. («Мужик путевый, — сказал инженер участка. — Не рвач в жизни»). Ну да, хорошо, что не рвач, но почему за новое и сложное платят меньше? Они развели руками: расценки!.. Расценки диктует все тот же неистребимый «тоннаж».

Вдобавок снижены рабочие разряды. Говорят: для упорядочения. Я бы сказал: для нивелировки. Шоханов, когда был токарем, поднялся до седьмого, а теперь у него шестой...

Принцип материальной заинтересованности признан у нас, можно считать, всеми, но иные все еще относятся к нему, как церковь к плотской любви: пусть уж будет, коли люди без этого не могут, но лучше бы... одно духовное.

Время от времени всплывают названия типа «мастер — золотые руки». Слова хороши, если не сотрутся от частого употребления, но (продолжу то же сравнение) мы ведь не говорим «ученый — золотая голова», а говорим: кандидат наук, доктор наук, академик. Зачем же на заводе, на стройке «кандидата» приравнять к «академику» столярных или монтажных дел?.. Правильно ли это? Полезно ли обществу?

Я эту агитацию не для мастеров веду: их умение при них и останется... Мастер всегда будет мастером, и его не изменишь, не заставишь работать плохо, как пчелу не заставишь не делать меду. А заботит меня другое: кто захочет повторить этот путь? Я ведь помню, как на Ленинградском Металлическом директор жаловался мне, что конструкторов у него на заводе три тысячи, а токарей, которым можно доверить обточку вала турбины, семеро: «Уйдут старики на пенсию, не знаю, кого и ставить»...»

Вот как далеко заходит разговор публициста по поводу личности и судьбы одного выдающегося мастера.

Гражданская позиция заставляет публициста, как выразился однажды Николай Атаров, «взять на себя «сбузу» — настойчиво, последовательно, не отступаясь, собирая вокруг себя сторонников, вести свою тему, развивая, находя новые связи и стороны, добиваясь результатов и идя дальше... Отчетливо это видно было у Сергея Смирнова, который в книгах, в выступлениях по радио и телевидению вел поиск героев войны и «заразил» своей

гражданской страстью многих и многих. И Леонид Леонов, начав тему зеленого друга, увлек многих, стал родоначальником того, что называют сейчас экологической публицистикой. Эту «обузу» приняли на себя Василий Песков, Владимир Чивилихин. От Овечкина, Дороша, Радова идет линия публицистики, которую продолжают Юрий Черниченко, Анатолий Стреляный, Петр Ребрин, Леонид Иванов, Иван Винниченко, Иван Васильев...

Но независимо от того, оказывается ли публицист в рядах «деревенщиков» или его влекут экологические проблемы, занят ли он сложными коллизиями экономики или трудится в сфере правосознания и правопорядка, он, будучи гражданином, и формирует гражданина независимо от своей проблемно-тематической области.

Гражданская позиция прямо проявляется в социальной ответственности публициста, в том, как он подходит к любому вопросу, требующему разрешения. Характеризуя «коренную задачу сознательного общественного деятеля», Ленин считал внутренним свойством публицистики необходимость охватывать любые новые явления и актуальные вопросы на принципиальной основе. И Ленин резко протестовал против неумения и нежелания отвечать на «проклятые вопросы» либеральных публицистов: «Они отнеслись именно не как политики, не как «идейные руководители», не как ответственные публицисты, а как литературская категория, как кружок интеллигентов, как вольные стрелки вольных групп пишущей братии. Они снисходительно похихикали — в качестве людей, умеющих ценить моду и дух времени, установившиеся в либеральных салонах, — над этой устарелой, отжившей, чудаческой тягой к оформленным ответам на проклятые вопросы. К чему эта оформленность, когда можно писать где угодно, о чем угодно, что угодно, как угодно?»⁷.

Истинно гражданская позиция — это не холодный пафос социальной необходимости, извне и внешне принятый публицистом: мол, дело требует выступить. Гражданская позиция — личная, внутренняя, идущая от сердца, от души, изнутри требующая писательского вмешательства в волнующие его вопросы жизни. И тогда его дума совпадает с думой народной, волнуется вопросами, решаемыми страной, партией. И хотя такие произведения, как «Деревенский дневник» или «Ледовая книга», «Владимирские проселки» или «Курземите», начинались без задания, без вопроса-проблемы, очевидна их ясная гражданская направленность. Дело в том, очевидно, что авторы просто жили жизнью своих героев, событиями, конфликтами, отношениями — включенно. Ефим Дорош после первого очерка по прошествии четырех лет стал наезжать в Райгород (Ростов) больше летом. «То ли полюбилась мне здешняя скромная природа, то ли пришлось по душе люди... сказать трудно. Скорее всего, что и то и другое, да еще история этих древнейших на Руси поселений и богатая событиями современность с ее хозяйственными, бытовыми и культурными проблемами — скорее всего, что все это, вместе взятое, делает пребывание здесь интересным, заставляет ежедневно заносить в дневник увиденное и услышанное»⁸. Но даже и тогда, когда к творчеству побуждает извне пришедшее задание, оно может быть успешно выполнено — при условии, если ложится на подготовленную размышлениями и наблюдениями почву, а вхождение в новый, дотоле незнакомый материал направляет и организует четкая социальная позиция.

Василий Песков относится к публицистам, истоки творчества которых лежат как бы в фенологических заметках — умении увидеть природные явления свежо и тонко, передать наблюдения занимательно, красочно, лирично. Но за десятилетия творчества многое переменялось: чуткость к жизни, ее движению и проблемам сделали его другим. «Я, пловший до этого в лодке натуралиста-лирика, ощутил острую необходимость пробовать силы в «боевых жанрах»: критическом и исследовательском очерке, публицистике». Причина очевидна — «моя» тема в газете оказалась остросоциальной темой»⁹. И тем не менее Песков остался самим собой.

Зная Пескова, читатель, взяв в руки книжку и прочитав зачин «Речки моего детства»¹⁰ («Я исполнил наконец старое обещание, данное самому себе: прошел от истоков до устья по речке, на которой выросал»), не отложит ее, потому что знает: масса интересных и значительных вещей будет в простом, незатейливом рассказе. И правда, картины детства у реки, таинственной и многообразной, дающей множество впечатлений и житейских навыков, уроки природоведения и хозяйствования кому не напомнят (по сходству или контрасту) его детство, первые зарубки в памяти и сердце растущего человека. Но не только.

⁷ Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 189.

⁸ Ефим Дорош. Деревенский дневник. Четыре времени года. М. «Советский писатель». 1963, стр. 6.

⁹ «Вопросы литературы», 1976, № 6, стр. 101.

¹⁰ Василий Песков. Речка моего детства. М. «Советская Россия». 1978, стр. 3.

В заключение своего без малого сорокакилометрового путешествия «почти умиравшей речкой» В. Песков подводит итоги: «У каждого из нас есть «своя речка». Не важно какая, большая Волга или малютка Усманка. Все ли мы понимаем, какое это сокровище — речка? И как оно уязвимо, это сокровище?! Можно заново построить разрушенный город. Можно посадить новый лес, выкопать пруд. Но живую речку, если она умирает, как всякий живой организм, сконструировать заново невозможно...

В чем я вижу смысл разговора об Усманке? В том, чтобы каждый понял: рек незначительных нет! Надо беречь каждый ключик, каждый ручей...»

«Речка моего детства» — это как бы зачин разговора, где лишь намечены основные линии развития мысли. «Затравочное» это выступление стало началом целой серии эколого-публицистических выступлений Пескова. За «Речкой моего детства» последовали очерк путешествия «Река и жизнь» (написанный совместно с В. Дежкиным), интервью с первым секретарем Брянского обкома партии «Размышления на Десне», лирическая зарисовка «Ночлег на мельнице», статья «Пушино на Оке» (все они вошли в сборник «Речка моего детства», вышедший в 1978 году в серии «Писатель и время»). Семь лет вел тему Песков (может быть, и еще продолжит?), последовательно на базе все более широкого и глубокого знакомства с «проблемой реки» разрабатывая целую систему идей. Гражданская позиция публициста заставила и помогла увидеть проблему во всех ее срезах (экономическом, эстетическом, нравственном, правовом) и разработать целый комплекс идей и предложений — хозяйственных, организационных, управленческих, бытовых, культурных, воспитательных, образовательных.

А начиналось все с того, что через тридцать лет «после детства» потянуло в родные места: «И нынешней осенью вдруг я почувствовал: со старым другом надо увидаться»...

Сама собой напрашивается параллель: за двадцать лет до этого, в 1956 году, так же вот потянуло другого писателя к путешествию по родным местам. «А не пойти ли пешком? — возникла вдруг озорная мысль. Выйти из машины среди поля и пойти по первой попавшейся тропинке. Наверно, тропинка приведет к деревне. К какой? Не все ли равно? От деревни будет дорога до другой деревни, а там до третьей... Ночь настала — ночуй. Стучись в крайнюю хату и ночуй. Утро пришло — иди дальше»¹¹. Так возникла и затем реализовалась идея «Владимирских проселков» Владимира Солоухина.

Однако разница в двадцать лет не маленькая. И если она невелика (хотя симптоматична) в начальной стадии (Солоухин сидит в Ленинской библиотеке над картой, а Песков в Исторической над разысканиями ученых), то в движении произведений легко увидеть различия. В солоухинском путешествии столкновение с жизненными проблемами исподволь и постепенно заставляло автора вырабатывать все более широкую гражданскую позицию и развертывать повествование от пейзажных зарисовок в сторону социально-экономических наблюдений. Сейчас может вызвать недоумение, что в сельский магазин Солоухин заходит только из любопытства и констатирующе перечисляет его скудный ассортимент, что беседа с председателем колхоза почти случайна, погугна исходным заботам путешественника. Теперь нас удивила бы беседа с тетей Домашей:

«— Что ж новый председатель, хорош или нет?

— Как вам сказать? На ногу-то он вроде бы ничего, легкий.

Чаепитие окончилось. Мы вышли из избы и сели на траве в тень дома. Развернув карту, глядели, прикидывали, как будем добираться в Кольчугино.

Лишь постепенно, сначала вставными новеллами, а затем и прямо включенным в движение повествования о путешествии его существенным элементом стали острые наблюдения и активные поиски социально-экономического плана (заводские сбросы, травящие рыбу, конфликт леспромхоза и лесхоза...).

Для Пескова же с самого начала был очевиден смысл его путешествия по речке детства, хотя для читателя мысль выявлялась постепенно.

И здесь речь не о различиях между Песковым и Солоухиным. Сопоставление их произведений показывает, сколь значимые изменения произошли в публицистике. А это отражает рост и развитие ее гражданской активности, решительного вмешательства в социально-экономические процессы, стремление глубоко и всесторонне ориентировать общественность в событиях, явлениях и проблемах текущей жизни. Даже путешествие по родным местам при всем его лиризме и интимности становится (и в наше время не может быть иначе) путешествием писателя-гражданина, чувство родины у которого стало шире, богаче, активнее. И чтобы не показалось, что так можно говорить, лишь специально подбирая авторов

¹¹ В. Солоухин. Владимирские проселки. М. 1956, стр. 8.

и произведения, стоит напомнить и «Курземите» Иманта Зиедониса, и «Семь песен об Армении» Геворга Эмина, и «По городам и весям. Путешествия в природу» Владимира Чивилихина, и «Сближающиеся берега» Леннарта Мери.

Вглядываясь в поток публицистики наших дней, невольно ловишь себя на мысли, что баланс оказывается в пользу публицистики очерковой. Легко проверить это наблюдение по «Шагам», которые дают достаточно представительную картину: публицистика этого рода («от ситуации») имеет громадный перевес над публицистикой статейной («от идеи»). В чем причина? Не стало ли господствующим мнение, что очеркистика — вершина и главный представитель публицистики? Что писательская публицистика только и может делать свое дело по-писательски, то есть отталкиваясь от событий и лиц?

Хотя открыто гражданственная, философски-проповедническая, страстно полемическая публицистика оказалась на втором плане, нельзя сказать, что она стала анахронизмом. Ведь появились произведения типа «С чего начинается...» Николая Грибачева или «Безнаказанности» Георгия Радова, их встречает внимание и признание, перепечатка в «Шагах». Но соотношение сил в публицистике не меняется. И если в первом выпуске «Шагов» были напечатаны оба эти произведения, то в последовавших четырех подобного типа произведений и по одному на выпуск не наберется.

В чем же дело? Если и впрямь в опасении, что современный читатель не принимает прямого разговора, и в укоренившемся представлении, что истинно писательская публицистика должна идти «от ситуации», как всякое художественное произведение, то полезно было бы проверить их основательность на конкретных примерах, хотя бы на тех же статьях Радова и Грибачева.

Георгий Радов — к сожалению, это осталось незамеченным — в своем творчестве не то чтобы проделал эволюцию, но стилевые акценты менял. Если известность ему принесли такие вещи, как «Гречка в сферах» или тот же «Челомбитко и Лиходед», то затем наступило время «Оды „районщику“» или анализу хозяйственной и душевной жизни — «На «левой» дорожке», после которых и последовала «Безнаказанность». Статьи эти не начало, а именно венец творчества.

Что касается писательски-художнического начала «Безнаказанности», то принципиально оно ничем не уступает иного типа работам Радова, хотя, конечно, приобрело особые свойства. Чтобы «безнаказанность» не осталась пустым понятием, чтобы наполнилась публицистической плотью и кровью, Радову понадобилось расположить на пространстве статьи несколько собирательно-типологических образов.

«Если безнаказанность так скоро превратила честного парнишку в барыгу, то не способна ли она превращать и вполне взрослых аккуратных служащих сперва в «разовых», а потом «закоренелых» халтурщиков, а начинающих волокитчиков в отпетых, изощренных чинуш?..

Но разве мы с ней не воюем, с безнаказанностью?..

Но если появляются все новые факты — значит, воюем недостаточно...

...Мы немало пишем сегодня о сохранении земель, вод, чистоты воздуха и при этом непременно упоминаем потомков. Оставить им в порядке планету! Но ведь нам, строителям нового общества, надобно еще передать потомкам и чистую нравственную атмосферу. И когда вспоминаю того парнишку, что и с моим участием превратился в барыгу, больно оттого, что он станет взрослым, когда меня не будет на свете. А у него появится сын...

Безнаказанность — зло. И заострять разговор о нем менее опасно, чем приуменьшать, затушевывать. Воевать же с ним — обязанность. Перед страной. Перед социализмом. Перед нашими современниками. И перед теми, кто сменит нас...

Радов представил общественному мнению явление, показал различные его варианты, формы существования, способы приспособления и самозащиты, приносимый им экономический ущерб, нравственную заразу. И — всколыхнул общественное мнение.

Не ясно ли, сколь несомнительны опасения в несовременности публицистики такого рода? Более того, только в гармоническом сочетании публицистики «от ситуации» и «от идеи» видится одно из важных условий ее процветания. И развиваться им во взаимном притяжении и отталкивании на пользу общему делу публицистики. Социальная зоркость писателя, оплодотворенная гражданственной мыслью и страстью борца, рождает публицистику огромного общественного звучания. Летопись современности оказывается оружием социального действия.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ЛЕОНИД НОВИЧЕНКО

★

СТВОЛ И КРОНА

*Традиции и преемственность в современной
многонациональной советской литературе*

Удивительно объемен, сложен и многокрасочен литературный процесс наших дней. И хотя, разумеется, далеко не все в его широком потоке способно удовлетворить мощно возрастающие запросы общества (да и известны ли литературные эпохи, когда этот идеал был бы осуществлен?), в своей целостности он увлекает полнокровным кипением творческих сил, явно ощутимым динамизмом. Зрелость общества новой, социалистической формации все отчетливее и полнее отражается в его литературе. Недавно в литгазетовской статье известного советского критика я прочитал слова, которые хочется процитировать: «...культура наша исподволь, но все более быстро и явственно набирает критерии, которые не посрамят ее и перед классикой золотого века; ибо в «несовершенных» еще исканиях прозаиков разных возрастов и пристрастий я вижу прорывы в эти высочайшие духовные сферы, в искусство светлое и просторное; ибо общество наше внутренне зрело, как никогда, и мы в XX веке духовно старше нынешнего Запада на несколько поколений». Слова не будничные, слишком часто повторять и варьировать их не следует, но хотя бы раз и на своем месте они могут быть сказаны...

Многонациональная советская литература, литература социалистического реализма, все полнее раскрывающая свои безграничные возможности, сегодня на вполне очевидном новом подъеме, бесспорном, можно думать, для всех объективных людей в мире. Многоцветье талантливых произведений, создаваемых ныне на всех национальных языках нашей родины, книг, в которых все глубже находит отклик то основное, существенное, чем живет страна, что стало частью личных судеб советских людей, убедительное тому подтверждение. Вчитываясь в книги новой, сегодняшней волны, видишь, как в их разнофокусной художест-

венной оптике ясно проступают важнейшие свойства нашего современного общественного сознания, и прежде всего то двуединое, о котором Александр Твардовский сказал: «Его, народа, зрелый опыт и вместе юношеский пыл».

Вместе с тем партия, общественность, широкий народный читатель взыскательно указывают на определенные огрехи, от которых еще не свободна работа писателей, напоминают нам о масштабности и сложности новых задач, встающих перед всей нашей художественной культурой.

Эти заметки — плод размышлений о некоторых особенностях нашего литературного сегодня, и в частности о действенной роли лучших традиций отечественной литературы в духовной жизни развитого социалистического общества.

Существует закономерность: чем богаче и зрелее национальная литература (или семья литератур) определенной эпохи, тем шире, надежнее круг художественных традиций, на которые она опирается. И тем прочнее — сразу же добавим — ее корневая связь с традициями подлинно плодоносными, в которых аккумулирован передовой, непреходящий по своей действенности идейно-эстетический опыт искусства. Именно на эту мысль наводят многие явления и тенденции, наблюдаемые в литературе наших дней.

Прямая, глубоко осознанная преемственность по отношению прежде всего к освободительным и гуманистическим традициям русской классики, ко всему «разумному, доброму, вечному» в национальном наследии других народов нашей страны неизменно была свойственна литературному сознанию послеоктябрьской, советской эпохи. Мы помним, если говорить о самых крупных примерах, кем

были Лев Толстой для М. Шолохова, А. Фадеева, К. Федина, Ф. Достоевский — для Л. Леонова, А. Пушкин и Н. Некрасов — для В. Маяковского, Т. Шевченко и М. Коцюбинский — для П. Тычины, А. Пушкин, Т. Шевченко, А. Мицкевич — для М. Рильского, Н. Гоголь — для Ю. Яновского и А. Довженко и, пожалуй, для каждого из них — М. Горький, великий новатор прогрессивного искусства XX века, основоположник литературы социалистического реализма. Воздействие традиций и образов, созданных отечественной классикой, чаще всего обнаруживалось как бы в самой глубине, в подпочвенных слоях художественного процесса, особенно ярко сказываясь в творческом облике тех или иных талантливых мастеров, но не прерывалось никогда. И не могло прерваться!

В статье Вл. Гусева «Преимственность» («Новый мир», 1979, № 10) говорилось о необычайно живой, интенсивной жизни классических традиций в творчестве русских советских писателей — наших современников. Самое характерное и новое для сегодняшнего восприятия этих традиций — понимание, сколь велики были мастера русской литературы в своем умении достигать органического единства в изображении духовной и материально-практической жизни людей, в разработке художественных, стилевых систем для передачи самой глубокой правды о мире и человеке. Достаточно показательны в этом смысле наблюдения над тем, как проявляется воздействие толстовской школы в творчестве, с одной стороны, Василия Белова (и некоторых иных «деревенщиков»), а с другой — Юрия Бондарева; как живет чеховская стилевая традиция в прозе Василия Шукшина, Юрия Трифонова... В творческой практике современности заговорили (я бы даже сказал — закрились) сегодня не одна, не две, а многие и разные художественно-стилевые линии отечественной литературы, ориентированные на жизненную правду, на гуманизм.

То же острое современное чувство приближения к классическим образцам не только отечественной, но и мировой литературы можно ощутить в известной монографии Алеся Адамовича «Горизонты белорусской прозы». Автор прибегает к броскому сравнению: вершинные творения прошлого сопровождают современного художника так же, как горы, впервые открывшиеся Оленину («Казачи» Л. Толстого), неотступно присутствовали с той минуты во всем, что он замечал вокруг («За Терекон виден дым в ауле; а горы... Солнце всходит и блещет на виднеющемся из-за камыша Терек; а горы... Из станицы едет арба, женщины ходят, красивые женщины, молодые, а горы...»). Вот так, за-

мечает белорусский ученый, и с нашими современными темами: «Человек любит; а Ромео, а Каренина... Человек ревнует; а Отелло... Человек мучится мыслью о целях и смыслах; а Фауст, а Пьер Безухов, а Карамазовы...» Наше время, по верному суждению Адамовича, время особое, время чрезвычайно усилившегося взаимодействия культур по горизонталям и вертикалям. Исследователь направил виднейшим прозаикам Белоруссии анкету, в которой был вопрос: «Какие писатели мировой литературы сопровождают Вас через всю Вашу творческую жизнь? Почему?» Вот что ему ответили. Я н к а Б р ы л ь: Толстой и Чехов. И в а н М е л е ж: в разные периоды — Бальзак и Купала, Р. Мартен дю Гар и К. Чорный, Скотт Фицджеральд, Бунин, Коцюбинский...; неизменно — Толстой, Шолохов, Фадеев, Достоевский... В а с и л ь Б ы к о в: Толстой, Достоевский, Чехов, К. Чорный, Хемингуэй... М и к о л а Л о б а н: Толстой и Чорный...

Заметим при этом, что белорусская проза в своих крупных формах исторически сравнительно молода; тем более знаменателен столь широкий выход ее на поле т а к и х в о т притяжений и воздействий. Несомненно, названные имена, составившие гордость мировой культуры, отражают не только читательские пристрастия известных белорусских писателей, их литературные вкусы, но и нечто большее — художественную, человеческую ориентацию их собственного творчества. Все это может подтвердиться анализом книг, написанных теми же Брылем, Мележем, Быковым, Лобаном.

Как и для других лучших работ, посвященных состоянию нашей многонациональной литературы, для раздумий Алеся Адамовича (который и сам талантливо работает в современной прозе) весьма характерна жажда высоких критериев классики в сфере и эстетического и этического сознания. И все это при ясном и конструктивном понимании исторической новизны содержательного и формального строя искусства социалистической эпохи.

Это настроение, а точнее эта черта художественного самосознания, — общее сегодня для всех национальных литератур нашей страны. Я мог бы привести немало доказательств на этот счет, опираясь на факты литературы, которая мне особенно близка, — украинской. Вспоминаю, как еще в середине 60-х годов Олесь Гончар в докладе на республиканском съезде писателей говорил о родившейся насущной потребности изучать и осваивать, не поступаясь «независимостью, суверенностью собственного мышления, силой наших идей», весь мировой, в том числе самый современ-

ный, литературный опыт. «Надо не изолироваться, надо знать, чем жило и живет искусство в целом... Мимо внимания наших художников, конечно же, не могут пройти искания, которые проявились в драматургии Бертольта Брехта, или в необычном построении романа Апдайка «Кентавр», или в экспериментах бразильской школы так называемого мифологического реализма».

Олесь Гончар выразил то, что, как говорится, носилось в воздухе. Иван Драч в одной из своих поэм, романтически превознося интеллектуальную, духовную жажду молодого современника, с такой же патетикой говорил и о благотворности искусства, которое стало для наших людей хлебом с водой: «Бетховены столетий всех и наций симфониями пронизывают твой каждый атом... Довженки, Шостаковичи — твой хлеб, твоя вода».

Вдумываясь в немалые обретения украинской литературы за последние десять—пятнадцать лет, я вижу в них результаты помимо всего прочего подлинно глубокого, подлинно творческого приобщения к художественному опыту прошлого и современности, к источникам своим и (не поворачивается язык сказать — чужим) инациональным. Было и есть движение в глубину, к живительным национальным истокам, неотделимое, по существу, от вдумчивого усвоения уроков русской классики, искони такой близкой украинской культуре.

Можно проследить, скажем, как блеск, мощь, поэтичность украинской новеллистики начала XX столетия (Коцюбинский, Стефаник, Мартович, Васильченко, Черемшина) поновому откликнулись в книгах Григора Тютюнника, Е. Гуцало, В. Дрозда, В. Шевчука и других прозаиков, которых мы совсем еще недавно называли молодыми. Или как сложный сплав воздействий (Гоголь, Коцюбинский, Горький — главным образом ранний и «Сказок об Италии», — Яновский, Довженко) помог выработке такого самобытного феномена, как лирико-философская, романтико-реалистическая проза Гончара. Есть все основания говорить о школе Франко и Украинки, об особой ценности для современной украинской поэзии их ясной, твердо оконтурированной интеллектуальности. В этой школе сформировались, например, и талант Д. Павлычко, и строгая, психологически глубокая поэзия Л. Костенко.

Но не только из родных и хорошо знакомых криниц черпается сегодня то, что содействует обогащению украинской словесности, «красного письменства», как она порой называется. Поэзия И. Драча, Б. Олейника, В. Коротича, М. Винграновского, проза П. Загребельного, Р. Иваничука, Ю. Шербака, отнюдь

не ослабляя своей органической связи с родной украинской (шире — восточнославянской) почвой, обнаруживают вместе с тем большую чуткость к многосложному опыту и новейшим исканиям и нашей многонациональной всесоюзной и передовой зарубежной литературы.

Да, притягательная сила классики, отечественной прежде всего, ее роль вдохновляющего и мудрого советчика нашей литературы в решении ею своих современных задач необычайно возросла. Золотая нить преемственности видится в сегодняшней художественной жизни так отчетливо, как никогда раньше. Вместе с тем — «эпохи новый знак» — с небывалой силой заявляет о себе процесс идейно-эстетического взаимодействия, все интенсивнее становятся межнациональные культурные контакты в рамках семьи литератур нашей страны, социалистического содружества и еще шире — в масштабах мировой литературы.

Почему в наше время наблюдается такой прилив любви и творчески-практического интереса к великому наследию прошлого, к его ценностям, навсегда вошедшим в сердце народа и человечества? Да потому прежде всего, что мы (это «мы» здесь охватывает не только литературу, но и культуру в целом, всю духовную жизнь советского общества) уже чувствуем себя достаточно зрелыми для полноценного и всестороннего развития на исторически новой основе, созданной социализмом, марксистско-ленинским учением, — всего того бессмертного, что дано в общечеловеческих уроках классики, в ее идеалах, в ее исканиях ответа на вечные вопросы бытия. Бесконечно важными и поучительными являются сегодня этические заветы наших предшественников, создателей демократической прогрессивной культуры, их высокий социально-нравственный пафос и постоянный порыв сквозь исторически необходимый труд беспощадного критицизма, гневного и горького отрицания — к человеку свободному, деятельному, духовно высокому. Наконец, истоки этого явления и в том, что нынешний ход всемирной истории, порождающий и великие надежды и великие угрозы, обостряет как никогда интерес современников к генеральной проблеме Человека на Земле, вызывающий, в свою очередь, все более осязаемую потребность диалога с культурным наследием человечества, с его испытанными временем гуманистическими ценностями, с его социальным, нравственным, эстетическим опытом.

И если сегодня проблематика нашей литературы столь часто и закономерно обретает глобальную значимость хотя бы на таких направ-

лениях. как защита мира, культуры, природы, нравственного здоровья человечества, как утверждение подлинно гуманных и равноправных отношений между народами (вспомним хотя бы «Твою зарю» О. Гончара), то чрезвычайно актуальными в этом смысле становятся уроки передового искусства прошлого, так блистательно умевшего восходить от сегодняшнего к вечному, от исторически конкретного к общечеловеческому, так умевшего сплавлять правдивость, идейность, действенное назначение писательского слова с его эстетическим совершенством, с единственностью найденной для данного содержания формы...

Проблемы преемственности, наследования и развития традиций таят в себе, разумеется, и немалые сложности. Отношение к традициям в принципе всегда избирательно, ибо слишком разными и часто непримиримыми друг к другу голосами говорят с нами прошлое, история культуры. Основополагающая ленинская мысль о двух культурах в любой национальной культуре классово-антагонистического общества является единственно надежным компасом для каждого, кто решает для себя относящиеся к этой сфере вопросы.

Возросший в наше время потенциал отечественного и мирового художественного опыта, с которым взаимодействует литература социалистического реализма, не ослабляет, а усиливает требование принципиальной четкости в отборе, оценке, творческой переработке этого опыта, в определении магистральных линий нашей преемственности. Нетрудно видеть, что вокруг этой диалектической оси вращались многие дискуссии и споры последних лет, касавшиеся проблемы наследия прошлого.

Да, к сожалению, проявлялась и проявляется до сих пор некая сознательная или бессознательная антиисторическая тенденция — пытаться «обогащать» наследуемые нами ценности тем, что на самом деле обогатить их никак не может по причине своей идеологической чужеродности. Сродни ей и другая тенденция — перетолковывать всем известные образы классической литературы так, что, скажем, Обломов, теряя традиционную нарицательность своего имени, почти вплотную сближается с Алешей Карамазовым, а Кабаниха из представительницы «темного царства» превращается в хранительницу вековой мудрости и семейных устоев... (об этом говорилось в ходе недавнего обсуждения ряда книг из серии «Жизнь замечательных людей» в журнале «Вопросы литературы»). Подобные, так сказать, «пластические операции», неизменно изменяющие облик всем известных персонажей, да и самих писателей, вряд ли могут свидетельствовать о

верности методологии, самого подхода к прошлому.

Что ж, и этот пример по-своему подтверждает, что в современной художественной практике восприятие и освоение опыта прошлого нередко идет очень сложными путями. Подлинное развитие традиций возможно лишь на почве органической созвучности наших дней со своим временем, с его идеями, коллизиями, страстями, эстетической атмосферой — короче говоря, на почве новаторства (которое тоже, как известно, бывает разным: и взрывным, ярко выраженным, вносящим в искусство новое содержание в смело созданной новой форме, и более внутренним, даже «тихим» с виду, выражающимся не в универсально-целостных, но достаточно значительных в том или ином отношении художественных открытиях). Преемственность, по точному определению одного из видных советских литературоведов, это и есть «синтез унаследованного и новаторского, в котором растворяются следы частных влияний». Она, по его же словам, «всегда в глубине, в растворенном или, пользуясь философским термином, в снятом состоянии» (А. Бушмин, «Наука о литературе». М. 1980). Несомненно, совершенно отчетливой чертой литературы наших лет можно считать органичность восприятия классической традиции писателями (речь идет, разумеется, об авторах талантливых и зрелых), органичность ее присутствия в художественном мире, создаваемом современной авторской мыслью. Такой органичности во внутреннем, «химическом», как того требует искусство, соединении нового с традиционным не всегда достигали даже иные яркие таланты 20—30-х годов, и тому были свои исторические причины. А вот сегодня посмотрите, сколь естественно и при этом современно зазвучала, скажем, чеховская струна в рассказах Я. Брыля и В. Шукшина, толстовская — в военной прозе К. Симонова, Ю. Бондарева, традиция Шолохова и Якуба Коласа — в «Полесской хронике» И. Мележа!

Речь идет не только о развитии определенных художественных идей, тематических мотивов, элементов стиля, но и о чем-то более значительном, хотя и нелегко определяемом. Это истовость нравственного отношения художника к изображаемому, это личностно окрашенный поиск ответа на нелегкие вопросы жизни, это ощущение широких народных, всечеловеческих горизонтов, открывшихся писателю в обыкновенной сегодняшней теме.

И тут особое слово о собственных традициях советской литературы, созданных за шесть с лишним десятилетий ее существования. Традиций, выкованных мастерами уже нескольких поколений — от М. Горького и В. Мая-

ковского, от М. Шолохова, А. Фадеева, Л. Леонова, Н. Тихонова, П. Тычины, Я. Купалы, Г. Табидзе, Е. Чаренца, А. Упита, Г. Гуляма до А. Твардовского, К. Симонова, М. Лукошина, А. Малышко, А. Кулешова, П. Севака и ряда их ровесников... О значительности, силе и действительности этих традиций, о том, как они по-особому дороги нам, в сегодняшней критике упоминается не так уж редко, однако не часто дело доходит до конкретного выяснения того, как именно продолжается их живая жизнь в литературе наших дней, в творчестве, скажем, нынешних сорока-пятидесятилетних мастеров, заявивших о себе в последние времена, особенно в годы 60—70-е.

Что и говорить, было время, когда о влиянии Горького и Маяковского можно было прочесть едва ли не в любой статье или книге, посвященной творчеству того или иного советского прозаика, поэта, драматурга. И не скажешь, что это в конечном счете расходилось с истиной, — нет, воздействие эстетики, всего новаторского опыта этих великанов литературы социалистического реализма на художественное мышление их современников и преемников действительно огромно; по-человечески главное в нем можно, пожалуй, выразить словами о Маяковском, сказанными М. Рылским: «Як вітер, увиходить в наші груди його ненависть і його любов».

Беда иных литературоведческих работ недавнего прошлого была в другом — в плоском, упрощенном понимании упомянутых влияний. Интересные, оригинальные художники, выросшие в яростном кипении окружающей жизни, под пером таких исследователей, бывало, превращались в бесцветных подражателей, испытавших вроде бы куда больше импульсов от прочитанного в книжке, чем от увиденного, лично пережитого и передуманного в живой действительности.

Подобный подход теперь, в общем, изжит — и слава богу. Жаль только, что с ним ушла в критике и значительная часть законного и необходимого внимания, которого требует к себе тема самой близкой и самой кровной преемственности нашей — наследования нынешними поколениями опыта лучших традиций, накопленных советской литературой, искусством социалистического реализма. Современная литература представляется нам, образно говоря, могучим стволом, на котором, образуя пышную крону, шумят полные листья и цветов ветви нашей сегодняшней художественной словесности... А ведь нынешнюю жизнь классической традиции можно понять, лишь увидев ее в преломлении не только сегодняшнего, но и всего предшествующего опыта советской литературы.

Помнится, несколько лет назад на всесоюз-

ном творческом совещании писателей и критиков, посвященном теме «Современная советская литература и художественный опыт Горького», справедливо было сказано: «На нынешнем уровне развития общества отчетливо почувствовалась необходимость заново прочитать великого Горького, глубже приобщиться к этому духовному источнику». Мысль, которую, без всякого сомнения, можно отнести не только к наследию Горького, но и ко всей литературной классике советской эпохи. И тем более, пожалуй, относится она к тому, что является постоянным делом литературной критики, литературной науки в целом, — к изучению диалектики традиций и новаторства в современной советской литературе, позволяющему яснее увидеть и неповторимую историческую новизну нынешнего этапа, и становую жилу идейно-эстетической преемственности. Традиции, фигурально говоря, для того и существуют, чтобы успешнее, зрелее, плодотворнее было новаторство. В диалектическом единстве того и другого и происходит современное развитие советской литературы.

Действительность развитого социалистического общества, его искусство и культура во многом, подчас разительно, изменились по сравнению с 20—30-ми годами — периодом становления социализма в нашей стране. Существенно обогатилась, раскрылась новыми важными гранями исповедуемая искусством социалистического реализма концепция человека — важнейший «первоэлемент» эстетического сознания художника, по-своему выражающий степень зрелости и полноты его гуманистического идеала. Последовательный и полнокровный социалистический гуманизм, свойственный нашему нынешнему общественному самосознанию, диалектически многопланово сочетает в себе идею исторического творчества масс, преобразующего мир, и всестороннего гармонического развития личности, ее ответственности перед обществом и вместе с тем ответственности общества за ее судьбу и счастье.

Обо всем этом говорит полнозвучным многообразием своих образов, коллизий, мотивов литература наших дней. В ней, употребляя выражение Гегеля, «уплотненная внутри себя» масса предыдущего содержания, вошедший в нашу духовную плоть и кровь позитивный опыт советской литературной классики. Художниками новых поколений он вдумчиво используется для решения современных творческих задач. И выступает этот опыт прежде всего в виде коллективной традиции, создающей стойкую духовную атмосферу литературно-художественной жизни в советском обществе. Все главенствующие принципы и родовые свойства литературы социалистического ре-

лизма — коммунистическая партийность и народность, идейность и гражданственность, передовой общественный и эстетический идеал и освещенная им концепция человека и мира — кровно связаны с этой незабываемой традицией. Тем более она требует сегодня своего дальнейшего продолжения и развития, смелого воплощения в новых художественных ценностях.

Думается, одной из самых важных составных этой коллективно созданной традиции является сегодня утверждение всеми средствами искусства социальной активности личности. Активности, направленной на осуществление гуманистических целей и задач общества, строящего коммунизм. Мы много и дотошно уточняем в дискуссиях соотношение «активности деяния» с активностью «жизни духа», соотношение работы ума и души современного человека, в общем справедливо требуя углубленного внимания ко всей интеллектуально-эмоциональной сфере личности изображаемых героев. Сегодняшняя проза (она в особенности) помогла нам понять и многообразие форм проявления этой гуманной активности действия и духа, и пестроту разного рода противоречивых явлений, знаменующих сложное (как у некоторых персонажей В. Шукшина) становление такой общественно-позитивной активности, а порой — в силу разных причин — и утрату ее, подмену активностью мнимой и показной. И здесь непрерываемым остается требование, вытекающее из самой сути метода социалистического реализма, — мерить героя современной литературы по героям нашей живой действительности, по людям активного созидательного действия и неустанной работы духа. Это о них было прекрасно сказано с трибуны XXV съезда КПСС: «Ничто так не возвышает личность, как активная жизненная позиция, сознательное отношение к общественному долгу, когда единство слова и дела становится повседневной нормой поведения».

Всегда ли нынешняя наша литература по-настоящему глубоко понимает, что же именно возвышает личность? Увы... Приведу лишь один пример.

Читаю повесть украинского прозаика Вал. Шевчука «Голуби под колокольней», опубликованную в его книге «Крик петуха на рассвете». Читательская моя тревога, все нарастающая, даже не оттого, что печать какой-то неприкаянности лежит на многих персонажах повести, что чувства и мысли их часто анемичны (подробность, весьма характерная для всей атмосферы повести: «Мальченко садился, бывало, где-нибудь в углу и задумывался, словно засыпал; да и не мышление это было, а оцепенение»); тревога оттого, что автор описывает ленивую бесцельность существования своих героев так бесстрастно, как будто счи-

тает ее жизненной нормой! Нет, разумеется, он так не думает, доказательством может быть хотя бы недавно опубликованный большой его рассказ «Теплая осень», в котором выступают такие же «тихие», изрядно потрепанные жизнью люди, проявляющие, однако, и энергию, и мужество, и душевное благородство в трудных условиях послевоенного неустойчивости. Тем большее несоответствие вызывает те произведения одаренного писателя, где он склонен уделять чрезмерное внимание безвольно рефльтирующим, поразительно бедным в сфере мысли и чувства героям...

Будучи слагаемым коллективной традиции, о которой речь, и вместе с тем представляя ее вершинные точки, продолжают свою живую работу в нашей современности художественные школы крупнейших мастеров советской эпохи. Ведь традиция реально создается и передается в искусстве прежде всего крупными творческими индивидуальностями, способными дать ей силу действительной художественной авторитетности.

Сильнее и явственнее всего в современной прозе чувствуется, видимо, живое биение традиций такого замечательного художника, как Михаил Шолохов. Его влияние на многонациональную прозу страны общепризнано. Вне поля воздействия сурового, драматического, трагедийного и вместе с тем поэтичного и бесконечно внимательного к человеку шолоховского реализма трудно было бы представить такие видные эпические свершения последних двух десятилетий, как «Пряслины» Ф. Абрамова, «Полесская хроника» И. Мележа, «Потерянный кров» Й. Авижюса, «Водоворот» Г. Тютюнника-старшего, произведения Ч. Айтматова, почти всю романистику М. Стельмаха... И если преобладающая часть названных произведений связана с селом, с крестьянской темой, то шолоховским в них можно считать уже то, что деревенский социально-психологический сюжет разросся до масштабов общенациональных и общенациональных. Да и вообще уроки Шолохова, ясно видимые в современной прозе, давно вышли за пределы любых тематических, проблемных и даже стилевых плоскостей. Главнейший же урок заключается в том, что социальность, историзм, великие классовые битвы эпохи, накал ее глубочайших конфликтов художник с подлинно классической глубиной воплощает в судьбе человека. Недаром название знаменитого рассказа стало своеобразной формулой, определившей пути мужания и углубления реализма во всей нашей «живописи словом» последних десятилетий.

Но и в чисто стилевом аспекте книги Шолохова оказывали и оказывают удивительно сильное воздействие на творческое формирование

многих современных писателей. Скажем, в украинской послевоенной прозе (особенно в 50—60-х годах) самыми влиятельными были школы Шолохова и Довженко, причем любопытно, что их воздействия часто взаимно перекрещивались (в романах М. Стельмаха, того же Г. Тютюнника, частично О. Гончара). И если Довженко увлекал молодых украинских прозаиков своей романтической крылатостью, то автор «Тихого Дона» приучал их к смелой и глубокой конфликтности, к многосоставности человеческого типажа, к многогранной жизненной правде, к зоркому реалистическому психологизму.

Индивидуальный опыт крупнейших мастеров многонациональной советской литературы питает своей энергией творческие искания современных художников слова, помогая им решать новые, подсказанные действительностью художественные задачи. Примеров тому можно указать множество.

В отношении В. Быкова — назову еще раз это имя — критика много и, в общем, обоснованно говорила о школе Л. Толстого и Ф. Достоевского. И тем не менее есть здесь, кажется, и более близкое по времени родство — прежде всего с художественным опытом А. Фадеева. Это так, и не удивительно, что «Разгром» белорусский писатель называл в одной из писательских анкет первым среди особо любимых им произведений советской литературы. С «Разгромом» и другими книгами советского классика сближают не только кризисные ситуации, атмосфера почти неотвратимой трагической развязки, но и обязывающая художника к углубленной аналитичности проблема сурового «отбора человеческого материала» в испытаниях войны, проблема, столь фундаментально поставленная и решенная Фадеевым в его первом романе. Разные по человеческим качествам и уровню сознательности люди входят в отряд Левинсона, но в целом они образуют коллектив, сплоченную общность борцов за единую цель. Это обстоятельство, почти не известное литературе прежних эпох, играет чрезвычайно существенную роль во всех драматических коллизиях, наличествующих и у Фадеева и у Быкова. Вспомните гибель Морозки — гибель человека, который буквально нутром ощущает за собой всех своих, ценой жизни предупреждает их о смертельной опасности. Вот это социалистическое, сформированное революцией, всем советским образом жизни чувство неотъемлемой причастности к народному целому, чувству личной ответственности за все в высшей степени свойственно и героям Василя Быкова, пусть они часто вынуждены действовать и принимать последние решения почти в одиночку, — это и Сотников, и лейтенант

Ивановский, партизан Левчук из «Волчьей стаи», и непримиримый к бритвинской подлости юный Степка из «Круглянского моста», и девушка-разведчица из «Пойти и не вернуться».

Конечно же, «бытописание», без которого, вообще говоря, нет элементарно необходимой правды о человеке, отнюдь не ругательное слово, и никогда оно не было таковым для серьезного литератора. Но и довольно обильные в последнее время уныло-описательные и мелкоморализирующие повествования о разных бытовых казусах — тоже ведь не большая радость для литературы и читателя. В советской литературе, в ее классических созданиях, был всегда глубоко просвечивался социальностью, поэзией активного гуманизма. «Сила настоящего искусства, — писал А. М. Горький, — в том, что оно, взяв простейшее, обыденное явление, вскрывает его глубокий, социально-драматический смысл, показывает его крепкую зависимость от общих условий жизни, от ее коренных основ». Это ведь и про быт сказано!

Но проблема бытовой прозы — это все же частность, за ней в наши дни обнаруживается тенденция куда более широкого значения. Об этом говорит в своей статье литературовед Галина Белая, один из авторов недавно вышедшего научного сборника «Концепция личности в литературе развитого социализма». «Мы находимся на пороге возвращения — на новых началах — к большой форме социального романа. Современная советская литература полна напряженного предощущения этого шага». Предощущение, которое очень хочется разделить. Так же как и мысль автора о том, что для такого «нового синтеза человека и истории» недостаточно одной центрированности, одного лишь глубокого овладения личностным началом, о котором все мы в последние годы так много писали, — необходима широкая и выверенная социально-историческая, социально-философская концепция мира. А это снова возвращает нас к традициям большого реализма. И к традициям Бальзака, Толстого, Достоевского, Мартена дю Гара, Т. Манна. И к традициям романов Горького, Шолохова, Фадеева, Леонова, Упита, Яновского, Пуймановой, Димова, Андрича, Зегерс...

Интереснейшим фактом является ныне и реально, хоть и не так уж часто декларируемое усиление в поэзии 60—70-х годов интереса к традициям Маяковского, Есенина, Тычины, Чаренца, Купалы, Твардовского и других крупнейших мастеров советской поэзии, проложивших магистральные линии ее развития. Разумеется, этот интерес имеет свои, характерные именно для нашего времени акценты: у предшественников ищут главным образом то,

что отвечает возросшей сегодня устремленности к философской объемности образов, многомерности раскрытия лирического «я» в его единстве с миром социальной жизни и, безусловно, ищут многообразия средств поэтического выражения. Чрезвычайно расширился круг художественных контактов современной поэзии, нынешнее «поле обзора» ее огромно как никогда раньше. Нашли известное место в живом движении сегодняшней творческой мысли и эстетические импульсы, идущие от наследия таких поэтов, как Ахматова, Пастернак, Цветаева (или, скажем, украинец Е. Плужник). Но ведущая и решающая роль принадлежит — иначе и быть не может — той традиции, которая рождена поэзией большой социальной мысли и гражданской страсти, поэзией партийной и народной по всему своему духу. Обращусь снова к примеру из украинской литературы. Может быть, это и не самый веский аргумент, но чувство сыновней нежности, чувство прямой и неразрывной преемственности, которое многообразно проявляется поэтами младших поколений по отношению к отцам — Тычине, Рыльскому, Бажану, Сосюре, высокоталантливо утвердившим в национальном поэтическом слове идеи социалистической гражданственности, советского патриотизма и пролетарского интернационализма, «чувство семьи единой», — можно назвать поистине знаменательным. И творчество таких поэтов, как И. Драч, Д. Павлычко, Б. Олейник, В. Коротич, Р. Лубкивский, живо подтверждает, что оно глубоко связано с гражданской и жизнеутверждающей традицией, генеральными направлениями поиска их ближайших предшественников. Я уж не говорю об элементах прямого стилового родства — скажем, И. Драч с Тычиной и Бажаном, Р. Лубкивский с Рыльским и т. д.

Хочу подвести итог нашим раздумьям: полнокровность сегодняшних процессов развития советской литературы, ее успехи в художественном освоении действительности зрелого социализма, как и пути решения новых задач,

диктуемых временем, — все это диалектически связано с новаторским развитием прогрессивных традиций предшествующих времен, в том числе и могучих собственных традиций советской художественной культуры.

Но преемственность не просто похвальное свойство, она и о б я з ы в а е т. Обязывает уже в силу неисчерпаемой актуальности исторического опыта, заключенного в великих прогрессивных традициях. Этот концентрированный опыт настоятельно подсказывает нам необходимость и дальше повышать общественную активность, идейную окрыленность художественного писательского слова, а вместе с тем его эстетическую действительность, эмоциональную выразительность, способность волновать читателя глубокой и честной правдой о нем и его времени. Слагаемые, что требуются для этого, высоки и серьезны: мировоззрение, культура, мастерство, естественно — талант. Есть, пожалуй, и еще одно условие, которое только и может по-настоящему дать жизнь всем остальным. Это способность художника жить своим временем, его главными делами, заботами, надеждами и тревогами. Как жили Блок, Маяковский, Тычина, Г. Табидзе революцией и борьбой за ее победу, Леонов и Малышкин — преобразующим мирозозидающим пафосом первых пятилеток, Твардовский, Симонов, Берггольц, Малышко, Первомайский, Кулешов — героикой и напряжением всех сил народа в годы Великой Отечественной войны...

Что и говорить, время у нас иное, но оно по своему сложное и ответственное, особенно если посмотреть на него с высот международных (уж никак его течение не назовешь равнинно-спокойным, как благодушно выразился один из участников недавней литературной дискуссии о бытии и быте). Это, видимо, главное, что подсказывает нам память о нашей ближайшей преемственности, о великих традициях, которыми живет наша многонациональная советская литература.

Киев.

Н. ЖЕГАЛОВ



ИСКАНИЯ

*Современное литературоведение о роли литературы
в духовной жизни общества*

Будучи одной из форм научного познания, одной из сфер приложения литературоведческой мысли, критика совершенно неотделима от истории литературы. В наши дни это становится все заметнее, все осязательнее. Все чаще обращение литературоведов в прошлое проходит под знаком самой тесной, органической связи с нашей современностью, под знаком раскрытия тех духовных линий в народной жизни, которые постоянно трансформируются, но никогда не обрываются. И все чаще работы о современном литературном процессе строятся как широкие панорамы, в которых историческая ретроспекция помогает понять, уловить специфику только что возникших явлений. Усилия современных авторов во многом направлены к тому, чтобы от скрупулезного рассмотрения текущей литературной эмпирики подняться к философско-эстетическому синтезу, историко-литературные и критические работы все чаще бывают проникнуты стремлением глубже, конкретнее раскрыть значение литературы в духовной жизни общества, ее место в сражениях социальных и политических идей, ее воздействие на сознание разных поколений.

Оглядываясь на прожитые годы, пожалуй, есть все основания говорить о возникновении у нас своеобразной жанровой разновидности историко-литературного исследования, где главное — «проблема многозначности крупных художественных произведений, истоки их долголетия, характер и особенности их жизни в веках», как об этом сказал академик М. Б. Храпченко, ученый, который так много сделал для теоретического обоснования такого исследования. Утверждая проблему восприятия литературных произведений на прочной основе марксистско-ленинской эстетики, стремясь проследить жизнь литературы в веках, наши историки литературы и критики все активней

развивают этот интересный и плодотворный тип исследования.

Какое-то своеобразное, волнующее чувство испытываешь, читая не так давно вышедшие сборники статей «Русская литература в историко-функциональном освещении» («Наука». Институт мировой литературы им. А. М. Горького. 1979) и «Литературные произведения в движении эпох» («Наука». Институт мировой литературы им. А. М. Горького. 1979). Пусть авторы этих сборников, отыскивая наиболее плодотворные пути для творческого освоения прекрасной социально-эстетической идеи исследования литературы в ее исторической динамике, порой и понимают социологизм, составляющий силу нашей науки о литературе, несколько прямолинейно, недостаточно эстетично даже при всем том, какая все же интересная открывается «движущаяся панорама» (выражение Луначарского, употребленное им для характеристики романа «Жизнь Клима Самгина»)!. Преемственность идей и настроений, преемственность волнующих человека проблем становится здесь осязательной, осязаемой. И по мере того как разворачивается панорама, видишь непобедимость всего подлинно прекрасного, видишь, как оно решительно входит в наши дни, способствует формированию современного человека.

Никогда не будет для нас только прошлым такое явление искусства, как, скажем, роман «Евгений Онегин». Автор статьи, посвященной этому произведению, имел все основания сказать: «Исследователь и читатель Пушкина... воспринимает роман «Евгений Онегин» как летопись души автора, объединенную с летописью русской действительности 20-х годов XIX в., как кладезь житейской мудрости и нравственных истин, освященных вековым человеческим опытом и уроками русской национальной истории. Татьяну Ларину — лю-

бимый идеал Пушкина — наш современник рассматривает как национальную героиню русского народа. В ее верности своим нравственным устоям, в ее гордости и естественной простоте, в ее духовности и жизнестойкости он видит залог величия России¹. И мы не можем не присоединиться к автору другой статьи — о романе «Кто виноват?», когда он свой академический экскурс завершает такой современной и такой явно лирической нотой: «...история восприятия романа свидетельствует о том, что представление о нем никогда не было стабильным... Теперь, когда сняты социальные проблемы, поставленные в романе, обнажился его глубинный пласт и вопрос: кто виноват? — звучит по-иному. Раздумья о человеческих судьбах, о счастье, о поисках места в жизни по-прежнему трудны, и кто виноват в том, что далеко не всегда нам удается найти однозначные ответы?»². А статья «„Преступление и наказание“ Достоевского в 70-е годы XX в.» уже своим названием энергично приближает знаменитый роман к нынешним дням. Знакомясь с современными интерпретациями романа, с отзывами разнообразнейших людей, начиная от школьников и кончая режиссерами и артистами, убеждаешься в том, как тревожит Достоевский и современного человека, как остро воспринимает современный человек наполняющую роман «идейную, социальную, нравственную напряженность противоборства в нем сил добра и зла»³.

Тот же тип исследования, что в названных сборниках, ощущаем мы и в ряде других современных книг, в частности в таких монографиях, посвященных замечательным мыслителям и писателям России, как «Революционно-демократическая критика и современность. Белинский, Чернышевский, Добролюбов» В. Р. Щербина и «Наследие Н. Г. Чернышевского писателя и советское литературоведение» У. А. Гуральника.

Обобщая свои многолетние изыскания, посвященные революционно-демократической критике, В. Р. Щербина создает целостную характеристику эстетики Белинского, Чернышевского, Добролюбова как эстетики жизненной правды, творческой активности и борьбы за подлинно прекрасного человека. Ученый опирается на философско-эстетические и истори-

¹ И. Е. Усок, «Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин» и его восприятие в России XIX—XX вв.» («Русская литература в историко-функциональном освещении»).

² Г. Г. Елизаветина, «„Кто виноват?“ Герцена в восприятии русских читателей и критики XIX в.» («Литературные произведения в движении эпох»).

³ Е. В. Старикова, «„Преступление и наказание“ Достоевского в 70-е годы XX в.» («Литературные произведения в движении эпох»).

ко-литературные обобщения широкого плана. Самое, пожалуй, интересное в его книге — мысль о творческой преемственности эстетики социалистического реализма и эстетики революционных демократов, о завете, который оставили русской критике Белинский, Добролюбов, Чернышевский: критика всегда должна соотносить литературу с живой жизнью, с исторической практикой народа, всегда должна быть одним из действенных элементов этой жизни, этой практики...

В книге У. А. Гуральника разрабатывается не только тема современного восприятия художественного творчества Чернышевского, но и тема художественного метода, тема, стоящая в центре внимания современной эстетики и науки о литературе. Анализ многочисленных литературоведческих суждений о Чернышевском-романисте позволил автору выявить те мощные эстетические импульсы, которые были получены от великого ученого и писателя последующей литературой. Чернышевский открывал своей прозой качественно новые стороны реалистического метода, он заложил основы реализма нового типа, реализма, обогащенного элементами революционного романтизма. Созданный Чернышевским обновленный реализм уходил своими корнями в глубины действительности и был вместе с тем устремлен в будущее, способствовал «обнаружению» в настоящем жизнестойких ростков будущего. «И в этом отношении, — справедливо замечено исследователем, — автор «Что делать?» (и как теоретик и как художник) явился предтечей реализма социалистического».

Стремление выйти на большой простор культуры, постигать глубинный социальный смысл творчества, рассматривать деятельность художника в соотношении ее с назревшими духовными потребностями советского общества становится все более характерным для работ, посвященных современному литературному процессу.

В этом отношении среди книг последнего времени характерны два коллективных труда — «Современная советская литература в духовной жизни общества развитого социализма» («Наука». Институт мировой литературы им. А. М. Горького, 1980) и «Социалистический реализм на современном этапе его развития» («Наука». Институт мировой литературы им. А. М. Горького, 1977).

Относятся ли эти труды к литературной критике или к истории литературы? Ответить на этот вопрос не так просто. Думается мне, что перед нами сплав двух литературоведческих дисциплин. Оба труда задуманы как монографии и интересны, в частности, своей структурой, которая может быть поучительна и для

других творческих коллективов, берущихся за создание монографических работ. Особенно целостный характер носит первый из названных трудов (второй все-таки в какой-то степени получился похожим на сборник статей).

«Современная советская литература в духовной жизни общества развитого социализма» — это опыт синтезирующего, панорамного рассмотрения современного литературного процесса. А синтезирующая картина такого рода, разумеется, может возникнуть лишь на основе аналитического, скрупулезного изучения колоссального конкретного материала и последующего строгого отбора наблюдений.

Однако трудность не только в этом. Тут еще требуется, чтобы наука о литературе, не теряя своей специфики, осуществляла бы особенно тесный союз с эстетикой, философией, социологией, политикой. Только на таком гармонически сложном, освещенном широкой и многогранной научной мыслью пути возможно убедительное раскрытие основных идейно-художественных черт, основного направления творческих исканий современной советской литературы как феномена, порождаемого всей духовной жизнью общества зрелого социализма и, в свою очередь, мощно и плодотворно влияющего на сознание современников.

Мне думается, создатели труда вполне отдавали себе отчет в своеобразии и сложности смело поставленной фундаментальной темы и избрали методологически правильный путь. Нужно заметить, что здесь помимо сложностей, уже оговоренных нами, возникали и дополнительные трудности — методического, композиционного да и теоретического (в какой-то степени и психологического) порядка. Дело в том, что над книгой, задуманной как целостная картина литературы в ее эстетических взаимоотношениях с жизнью, работали 14 исследователей. Каждый писал одну главу. 14 человек — 14 глав. А ведь у каждого из этих ученых свой жизненный опыт, свое восприятие искусства, свои наблюдения и концепции, свой стиль...

Мне кажется, 14 авторов, добываясь того внутреннего единства, той последовательности в реализации определенной системы идей, того неуклонного движения к определенной цели, без которых не приходится и говорить о монографическом характере научного издания, в конечном счете хорошо поняли друг друга и каждый хорошо понял свое место и свою задачу.

Стремясь к тому, чтобы разнообразные грани единой темы были освещены светом единой концепции, исследователи постарались в своем труде рассмотреть как наиболее общие проблемы соотношения литературы с идеологией,

с социальной жизнью, так и исследовать характерные черты социалистического реализма на современном этапе его развития, раскрыть процесс идейно-художественного обогащения литературы в условиях зрелого социализма. Эти наблюдения дополняются, развиваются и конкретизируются в тех главах, где специально рассматривается концепция личности в современной литературе, тема личности в ее связях с обществом и природой. Здесь речь идет о поистине фундаментальных проблемах: человек и современный мир, их отражение в зеркале современной литературы, гуманистический пафос нашей литературы, ее борьба за гармонического человека.

В главе, названной «Духовная жизнь, идеология, литература» (автор А. Зись), убедительно говорится о гармонической интеграции научного и художественного исследования жизни в обществе зрелого социализма, о взаимосвязях при этом философского и художественного мышления. Хорошо сказано о философичности как органическом свойстве литературы и о тех элементах художественного мышления, без которых не обходится и философия. В обществе же зрелого социализма этот древний союз двух форм духовного освоения бытия становится особенно глубоким и прочным, является одним из мощных стимулов формирования нового человека!

Глава «Литература и современная идеологическая борьба» (автор В. Боршуков), рассказывая о том, какие философско-эстетические битвы происходят сейчас на нашей планете, какие силы пытаются противостоять передовым и прогрессивным идеям человечества, к каким методам прибегают враги подлинно демократической литературы, враги социального прогресса, апологеты всяческого декаданса, остро, с партийных позиций разоблачает теоретическое убожество и грубую тенденциозность реакционных писаний, в которых буржуазные «учителя жизни» вновь и вновь тщетно пытаются дискредитировать мощное развитие литературы и искусства в мире социализма.

Философско-эстетические критерии труда находят свое конкретное утверждение в главе, где делается попытка охарактеризовать те основные задачи, которые выдвигает перед художественной литературой и критикой современная идейная борьба, задачи, диктуемые философско-эстетическими устремлениями нашего общества (я имею в виду главу «Социалистический образ жизни и задачи литературы», написанную Д. Стариковым, ныне, увы, покойным). Здесь литература справедливо рассматривается как неотъемлемая часть определенного образа жизни людей: в нашем обществе она выступает как могучая сила в

борьбе за утверждение и развитие социалистического образа жизни. Не удивительно, что художник, чтобы выполнить такую свою высокую миссию, должен быть в своем творчестве и социологом, и философом, и историком...

В главе «Эстетическое обогащение социалистического реализма и повышение социальной активности литературы» (автор Н. Гей) компоненты художественной формы рассматриваются в неразрывной связи с идейным содержанием, как носители определенной «смысловой энергии» (это хорошо сказано!). Обращаясь к творчеству Василия Шукшина, Виктора Астафьева, Сергея Залыгина, Юрия Трифонова, Чингиза Айтматова, исследователь конкретно показывает, как в современной нашей литературе происходит процесс разрывания внутренних связей с идеями метода, как благодаря этому усиливается идейное и эмоционально-психологическое воздействие литературы на духовную жизнь наших современников. Это воздействие связано не только с поисками новых художественных форм, с обогащением индивидуальных стилей, с постановкой новых тем, но в огромной степени с гармоническим сочетанием идей интернационализма и национальных традиций в советской литературе. Один из авторов сборника, В. Оскоцкий, будучи очень внимательным к специфике искусств, в современной литературе отмечает растущую интенсивность процесса взаимного обогащения национальных литератур, взаимопроникаемость самобытных традиций поэтической образности. Другой автор, М. Кургиян, говорит о растущем значении философско-эстетического фактора в тех конфликтных ситуациях, которые изображают наши прозаики и драматурги. К месту сказано о том значении, которое имеет «нравственная память», то есть бережное отношение к лучшим нравственным традициям народа, и для жизни общества и для развития литературы. Прослеживая, как раскрывается в современной литературе «диалектика души», каковы особенности психологизма в современной советской прозе, Л. Киселева, в частности, интересно подмечает, что «поток сознания» уступил в нашей литературе место тому, что можно скорее назвать «потоком осознания» — это психологически углубленная картина исканий человека и постепенного прояснения его души, его мысли, его понимания действительности.

Развитие советской литературы по-настоящему может раскрыться в свете сдвигов и обновления в области жанровых форм, разнообразных стилистических исканий. Говоря о динамике жанровых форм, о стилевых тенденциях современной прозы, Г. Трефилова подчеркивает духовно-правдоискательский пафос,

своеобразное партнерство авторов романов, повестей и рассказов со своими персонажами — писатель как бы включается в действие, разрушается «невидимая кулиса» между миром произведения и художником. Все эти сложные и яркие явления неотделимы от общего темпа и колорита нашей жизни, они представляют собой одно из свидетельств того, что литература наша чутко откликается на запросы жизни, отличаясь, по выражению автора главы, «художественно-познавательной инициативой».

Тема «Человек — природа — общество» в интерпретации современной прозы стала предметом исследования Г. Белой, дающей интересный и острый обзор некоторых весьма знаменательных духовных исканий и современного человека и современной литературы. Есть особый сокровенный смысл — смысл философский, нравственный, исторический — в том волнении, той страсти и тревоге, с какими говорит сейчас наша литература о природе. Никогда еще не была так серьезно поставлена в литературе тема нравственной ответственности человека перед природой — и перед самим собой, перед грядущими поколениями. Советские писатели призывают видеть вселенную в единстве природы и человека, выступают с проповедью идеи нравственной самодисциплины. Тема «человек и природа» органически связана со всем комплексом идей и настроений нашего общества, с реальным гуманизмом советской жизни, который завоевывает симпатии широких народных масс во всем мире.

В работах других авторов сборника — О. Смоля, В. Ковского, Б. Анашенкова, А. Хайлова, В. Баранова — на обширном материале показано, как чутко откликается наша литература на запросы времени, как внимательно следит она за духовными исканиями современника, как углубляет свою концепцию личности. Исследуя тему духовно-творческой активности нового человека в современной советской прозе, авторы утверждают, что эта проза становится психологически и нравственно все более острой, разнообразной, полифоничной, все более требовательно ставит перед современником вопросы: кто ты? на что способен?

В целом сборник показывает, пожалуй, все основные грани сложнейших взаимоотношений современной советской литературы с духовной жизнью нашего общества, философско-эстетические основы этого невиданного союза литературы с жизнью, наиболее характерные явления в литературе, свидетельствующие об ее активном и действенном участии в строительстве новой духовной культуры, в воспитании нового человека.

Своеобразен и характер, сам жанр монографии, объединяющий мысль индивидуальную и мысль коллективную, — весьма небезытересное явление нашей современной культуры!

Я потому так обстоятельно остановился на этой книге. что она видится мне добрым предзнаменованием во всей современной жизни нашего советского литературоведения, это труд в значительной степени новый по своим масштабам, по своей теме, по своему синтезирующему характеру.

Создатели другого коллективного труда — «Социалистический реализм на современном этапе его развития» — стремятся, как сказано в предисловии, «раскрыть разнообразие и интенсивность творческих исканий, являющихся основой художественного многообразия искусства социалистического реализма». Мне показалось в этом труде наиболее интересным и знаменательным его широкий историко-культурный подход к советской литературе и стремление к углубленному, многоаспектному пониманию духовной жизни народа, а значит, и отказ от узкого рационализма, который нередко дает себя знать в науке о литературе.

Эта ориентация на духовную жизнь во всей ее сложности, со всеми ее загадками и психологическими подтекстами, стремление достойно оценить и поддержать произведения, авторы которых не стараются обходить драматизм, причудливость и философско-нравственные искания нашего времени, отчетливо выражены в статье А. И. Овчаренко «Советская художественная проза семидесятых годов» (данная работа представляет собой как бы дополнение к обширному исследованию автора «Новые герои — новые пути (От М. Горького до В. Шукшина)» — «Современник». 1977). С удовлетворением (вполне понятным) отмечая «углубление философского начала» в современной советской литературе, автор статьи следующим образом конкретизирует свое наблюдение: «...писатели стремятся показать всю многоплановость, сложность, противоречивость жизни... Отсюда бльшая универсальность произведений последних лет; часто перед нами причудливый, хотя и органичный сплав элементов философии, политики, быта, психологии, этики и эстетики. Немалое место занимают элементы публицистики и документализма. Интересно, что отмеченная особенность не ослабляет, а, напротив, делает более напряженным повествование в рассказах, повестях и романах последних лет». Писатели нашего времени заглядывают в человека «много глубже, не опасаясь обнаружить в этом биолого-социальном феномене «дикие силы», все еще не приведенные в гар-

монию с его духовной культурой. Последняя тоже понимается много шире, чем когда-то, понимается как сложное взаимопереплетение непрерывной информации, научного познания, идеологии, психологии, этики, эстетики».

Литературно-критические и историко-литературные тезисы автора (кстати, А. И. Овчаренко как раз один из тех ученых, деятельность которых решительно препятствует установлению педантической грани между критикой и историей литературы) подкреплены анализом многочисленных современных произведений разного жанра.

Философичность подхода к искусству иногда уводит литературоведов в дебри абстракций, но здесь этого не произошло, так как внимание к общечеловеческим проблемам соединяется у автора статьи с социальной зоркостью, политической остротой и чувством реальности.

Об усилении историко-культурного и философского пафоса нашей литературоведческой мысли свидетельствует и исследование В. Р. Щербины, опубликованное в том же коллективном труде.

Исследование это посвящено историческому жанру советской прозы. Меня больше всего заинтересовало то, что автор не только отчетливо выявил «углубление историко-философской концептуальности», характерное для нашего исторического романа, но и выдвинул (без всяких специальных деклараций) ряд общих, принципиальных соображений, весьма, на мой взгляд, полезных для того, кто работает в этом жанре, и для того, кто его изучает.

Один из основных выводов, диктуемых логикой этой работы, можно сформулировать примерно так: духовная жизнь советского общества, где народные массы вовлечены в сознательное историческое творчество и где постепенно уменьшается дистанция между «человеком бытовым» и «человеком историческим», требует от исторического романиста не только глубокого знания событий изображаемой эпохи, но и проникновения в мир «нравственных и психологических проблем прошлого и настоящего», а также способности «от конкретных вопросов прошлого своего народа» восходить «к более широким общим вопросам исторического прогресса человечества». Надо также, чтобы писатель имел конкретное представление о народе. Одна из опасностей, угрожающих литературе и критике, — представление о народе как о некой абстрактной, безликой массе. Нередко совершенно правильные формулы «народ боролся», «народ творил», употребляемые абстрактно, становятся «убежищем схематизма». Одно из проявлений этого схематизма — тенденция к «прежде-

временной «демократизации» давних эпох», к изображению народных масс как бы вне государства, в отрыве от деятельности выдающихся для своего времени лиц, организационную и просветительскую функцию которых нельзя игнорировать.

И очень хорошо поставлен в работе вопрос о «сквозной теме истории» — о теме труда, созидания, которые составляют «центральное жизнеутверждающее содержание, философию, цель и красоту бытия современного передового человечества». Устремленность к творческому труду составляла одну из граней духовного облика народной массы и в прошлые века. Поэтому важнейшая задача романиста-историка — «воссоздание неумирающей поэзии созидательного труда народных масс, неустанной ищущей мысли ученого, открывающего законы строения мира и общества, чудесного мастерства художника»...

Неустанная мысль ученого, мастерство художника... Да, об этом всегда полезно напомнить. Ведь иные критики и историки литературы (особенно преисполненные надежд, но еще мало размышлявшие над всемирной историей авторы кандидатских диссертаций), занимаясь темой труда, как-то бездумно сводят ее к теме наиболее простых и даже примитивных видов труда. В частности, когда говорят о Горьком, то уж непременно приведут описание (действительно замечательное) разгрузки баржи в повести «Мои университеты», и никому не придет в голову поставить, скажем, такие темы: труд журналиста, труд врача, труд профессионального революционера в изображении Горького.

Связанное с общим ростом духовной культуры народа углубление философичности литературоведческой мысли, стремление к эстетической тонкости дают основания надеяться, что и односторонность в подходе к теме труда, и прочие рецидивы упрощенного социологизма скоро станут анахронизмом.

В последние годы появился ряд книг еще более широкого «хронологического» диапазона — книг, авторы которых стремятся дать и специалисту и широкому читателю целостное представление о движении советской литературы за все годы ее существования, о том, как советская литература на разных этапах боролась за утверждение нашего образа жизни, за наши духовные ценности, за нового человека.

Среди таких книг представляется мне едва ли не самой живой, темпераментной и вместе с тем продуманной работа Виталия Озерова «Революцией мобилизованная и призванная. Советская литература: 60 лет по ленинскому пути» («Современник», 1977). Автор этой

книги — один из сравнительно немногих исследователей, обладающих мастерством гармонического соединения научности и популярности. Книга Виталия Озерова — это книга не только о новаторстве советской литературы, но и о «новаторской природе нашего образа жизни». Литература и жизнь здесь неотделимы друг от друга. Автор умеет несколькими выразительными штрихами обрисовать историческую, политическую обстановку каждого периода, показать своеобразие явлений литературы, возникавших в этой обстановке. Портрет за портретом — от Блока, Серафимовича, Алексея Толстого до Георгия Маркова, Сергея Залыгина и Юрия Трифонова... Размеры книги заставляют автора быть в высшей степени лаконичным, но каждый портрет получился достаточно ярким и целостным. И вполне убедительно, полномерно звучит вывод:

«Советская литература с честью выполняла и выполняет свой долг знаменосца идей мира, прогресса, социализма. Она не бесстрашный летописец преобразований, изменивших ход истории. Она — активный участник этих преобразований. Правдиво и вдохновенно раскрывая советский образ жизни, формирование нового человека, горячо поддерживая передовое, рождающееся, борясь с тем, что мешает движению вперед, наша литература успешно выполняет главную свою миссию коммунистического воспитания масс».

Со времен Сократа стала знаменитой формула «познай самого себя». Святое беспокойство духа, желание оглянуться на себя, оценить свой потенциал, понять свою субстанцию появляется у индивида и общества лишь на высокой ступени развития. Сократовская формула — своеобразное порождение того, что Горький называл инстинктом познания, она враг умственной дремоты и самодовольства.

Наша наука о литературе радуется сейчас именно тем, что в ней усилилась жажда самопознания, сократовское желание определить, уточнить свое «я», свои возможности и границы. Это заметно во всех частных науках, составляющих науку о литературе, — в истории литературы, в теории литературы, в текстологии, в литературной критике. Пожалуй, особенно интенсивно проявилось это в критике, что объясняется, несомненно, ее оперативностью и отзывчивостью, стремительностью реагирования на эстетические запросы общества. Литературная критика стала острее ощущать свою нерасторжимую связь с эстетикой (в последние годы все чаще вспоминают превосходную формулу Белинского: критика — движущаяся эстетика), свою причастность, позволю себе выразиться старомодно, к служению красоте.

В этом отношении по-своему примечательна статья А. Курилова «Границы литературно-критического познания», напечатанная в сборнике «Современная литературная критика. Вопросы теории и методологии» («Наука». Институт мировой литературы им. А. М. Горького. 1977). С автором статьи, наверное, можно было бы поспорить по вопросу о соотношении критики и других наук о литературе (критика слишком резко обособлена им от истории литературы), но я хотел бы остановиться на том, что мне представляется самым главным, перспективным и привлекательным в работе. А самое главное в ней как раз и заключается в идее красоты, в представлении о критике как о науке, которая выявляет, исследует и отстаивает, утверждает в литературе и жизни красоту, утверждает прекрасное.

Исследователь кладет в основу своих размышлений простую и гениальную формулу Пушкина: «Критика — наука открывать красоты и недостатки в произведениях искусств и литературы». И нельзя не поддержать автора статьи, когда он, возражая Г. Н. Поспелову, решившему, что категория красот (конкретных, частных проявлений прекрасного. — Н. Ж.) слишком узка для оценки «высоких достоинств идейно-художественного содержания», вполне резонно спрашивает: «...до каких пор понятие красоты художественных произведений мы будем сводить только к одной внешней их отделке, к форме? До каких пор будет существовать такое узкое представление об источнике красоты произведений искусства? Говоря о красоте художественных произведений, мы исходим из твердого убеждения, что в ее основе лежит именно идейно-художественное содержание, его гармоническое единство с формой. В этом вопросе мы полностью разделяем суждение Н. Г. Чернышевского об идеейности как первооснове красот и недостатках в произведениях искусства, как первооснове их художественности».

Здесь красота понимается как эстетическая категория, обозначающая все то, что своими пластическими, зримыми формами, своей гармонией и своим духовно-нравственным содержанием просветляет, радует, возвышает человека, дарит ему катарсис и усиливает его творческую активность, — именно такое понимание всегда придавало действительный характер русской критике и составляло ее обаяние. Именно идеал подлинной красоты, которую В. В. Воровский называл «душой искусства», освещает путь к объективной, разносторонней оценке художественного произведения, к постижению его в единстве содержания и формы, к раскрытию того, что составляет его духовное содержание, его духовный смысл, его философию.

И то, что наша критика все больше задумывается о красоте, о необходимости эстетической тонкости в подходе к явлениям литературы, факт чрезвычайно отрадный и прогрессивный. Критик все острее ощущает себя человеком литературы, человеком, который, видимо, также обречен искать единственное, в муках ночей рожденное слово.

Можно согласиться с другим литературоведом, Б. Егоровым, автором книги «О мастерстве литературной критики. Жанры. Композиция. Стиль» («Советский писатель». 1980), когда он пишет: «Красота стройности и оригинальность концепции, образное изложение материала, привнесение в научный текст индивидуальной авторской страсти позволяют говорить о художественных аспектах научных произведений».

Но, как водится, не обходится и здесь без крайностей. Некоторым критикам кажется слишком робкой мысль о художественных аспектах науки, которой они служат. Они даже готовы отнять у критики звание научной дисциплины. Им кажется, что они повысят критику в чине, если переведут ее в художественную литературу. Так, Всеволод Сахаров в своей книге «Обновляющийся мир» («Современник». 1980), содержащей, замечу попутно, живые и интересные характеристики творчества ряда советских писателей, очень уж смело комментирует высказывание Гоголя о том, что талантливая критика «имеет равное достоинство со всяким оригинальным творением». «Равное достоинство» Всеволод Сахаров понимает в таком смысле, что критика является «художественным сознанием» действительности, «особым разделом изящной словесности». Автор строго предупреждает современников: «И если сегодня нам настойчиво предлагают какую-либо новейшую теорию, согласно которой критика не литература, а нечто иное (точная наука, например), стоит задуматься над тем, продвинет ли эта теория современную критику дальше и выше Пушкина (чего пока нет) или же заслонит от наших глаз старую, но не стареющую классическую традицию русской критической мысли».

Пусть я буду обвинен в том, что мешаю продвигаться критике «дальше и выше Пушкина», я все же позволю себе заметить: нет никакой необходимости изгонять критику из храма науки и вталкивать ее в храм искусства. Эти два храма возвышаются рядом и сообщаются между собой затейливыми, таинственными переходами, но каждый из них представляет собой самостоятельное проявление духовной культуры народа. Насколько я помню, еще ни одному художнику слова не пришлось в голову заявлять, что его искусство — особый раздел литературной критики. Зачем же кри-

тикам вносить путаницу в понимание собственной природы?

Конечно, научный анализ художественных произведений требует от критика (и от историка литературы) восприимчивости к прекрасному. Конечно, читатели ждут от критика (и от историка литературы) умелого, нескучного, по-настоящему литературного изложения результатов анализа. Но только не вполне познавшая сама себя критика может на этом основании отождествлять исследовательскую работу с образным воссозданием, отражением действительности, составляющим суть художественной литературы.

В статье «Литература — нравственность — критика», помещенной в упомянутом сборнике «Современная литературная критика», Ф. Кузнецов писал: «Недостатки современной критики далеко не только в реликтах упрощенного, метафизического подхода к литературе, они еще и в своеобразной реакции на вчерашний день, захватившей в основном какую-то часть молодых критиков, это — отталкивание от социального, или, как говорил Добролюбов, «реального», мышления, крен в чисто «эстетическую» критику, отрывающую нравственное от социального, избегающую конкретно-исторического анализа жизни и литературы».

Может быть, и в попытках отлучить критику от науки, зачислить ее в разряд изящной словесности сказывается «своеобразная реакция на вчерашний день», то есть на социологические упрощения, на статьи, написанные «без божества, без вдохновения».

Только рассматривая критику как науку, только обогащая ее познавательный, философско-эстетический потенциал, углубляя ее социальную пронизательность, ее аналитическое мышление, мы можем быть на высоте требований, содержащихся в постановлении ЦК КПСС «О литературно-художественной критике».

Можно еще и еще говорить о симптоматичном стремлении критики и истории литературы к эстетической тонкости. Это стремление — факт несомненный и в высшей степени отрядный.

Широкие выводы об идейном содержании (пожалуй, точнее было бы говорить о духовном содержании, так как каждое подлинно значительное явление искусства слова представляет собой целостный и чрезвычайно сложный комплекс идей, настроений, эмоционально-психологических нюансов, в котором должен разобраться литературовед) все чаще делаются не глословно, не априори, а на основе скрупулезного рассмотрения художест-

венного текста, рассмотрения его в единстве содержания и формы.

Да, наша наука о литературе становится эстетичней. А это значит, что она становится научней. Это значит, что углубляется ее связь с живой жизнью и усиливается ее идейный пафос, ее способность оценивать с партийных позиций явления русской — и мировой — литературы на всем протяжении ее развития.

Движению литературоведческой мысли вперед способствовали несомненно успехи нашей эстетической мысли, напряженно работавшей в последние годы над теоретическими проблемами социалистического реализма, над уточнением понятий о художественном методе, о таких эстетических категориях, как народность и партийность, о единстве национального и интернационального в искусстве. Надо сказать, что и в трудах историков литературы и критиков часто занимают важное место размышления синтезирующего порядка, уже относящиеся, собственно, к области эстетики. Порой и здесь невозможно обнаружить отчетливую грань между различными науками, занимающимися исследованием прекрасного. И этому можно только порадоваться.

Как известно, всякий художественный метод означает систему определенных идейно-эстетических принципов. Социалистический реализм — это наш художественный метод, метод, основанный на мировоззрении нашей партии. Социалистический реализм — это система наших марксистско-ленинских, большевистских, самых заветных для нас, самых дорогих для нас идейно-эстетических принципов. Поэтика социалистического реализма — это сфера бесконечного развития и художественного обогащения, сфера постоянных творческих поисков, экспериментов, новаций. Безгранично разнообразие творческих индивидуальностей, формирующихся в борьбе за эстетические идеалы социализма.

Сила, мощь и обаяние нашей литературы в ее высокой идейности, в последовательном, вдохновенном отстаивании наших принципов — философских, социальных, политических, эстетических. Именно благодаря этому литература социалистического реализма заняла такое важное, такое почетное и ответственное место в духовной жизни общества развитого социализма, в духовной жизни всего человечества. И именно в раскрытии того значения, которое имеет для нашей духовной культуры искусство слова, в утверждении, в пропаганде высоких нравственно-эстетических идей видит смысл своего бытия находящаяся ныне на подъеме наука о литературе.

К Н И Ж Н О Е О Б О З Р Е Н И Е

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Ольга Кожухова. Странник из прошлого в сегодня.— А. Белорусец. Рабочий человек.— Михаил Найдич. Характер поэта.— Хайиц Пластиус. Уроки зрелости.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Б. Чубар. Дело человеком ставится — и славится.— В. Степаненко. ...и вечный хлеб!

Литература и искусство

СТРАННИК ИЗ ПРОШЛОГО В СЕГОДНЯ

- Н. С. Лесков. Левша. Повести и рассказы. Казань. Таткнигоиздат. 1980. 464 стр.
Н. С. Лесков. Привидение в Инженерном замке. Рассказы. Саранск. Мордовское книжное издательство. 1980. 64 стр.
Н. Лесков. Леди Макбет Мценского уезда. Повесть. Волгоград. Нижне-Волжское книжное издательство. 1980. 63 стр.
Н. С. Лесков. Избранное. («Классическая библиотека «Современника») М. «Современник». 1979. 315 стр.

Николай Семенович Лесков — писатель тяжелой и странной судьбы. Нет другой подобной фигуры в истории русской литературы. Вряд ли он был счастлив при жизни как человек, но в литературе, наверное, это и есть счастливая писательская судьба — и после своей смерти почти целое столетие вызывать ожесточенные споры критиков, становясь, однако же, с каждым годом все ближе и ближе читателю, все понятнее людям, стремящимся постичь истину на широте удивительной, самобытнейшей прозы, равнозначной широте и просторам нашей русской земли.

Не знаю, вина это или моя радость, что лично я открыла для себя Лескова уже в зрелом возрасте. Вполне допускаю, что прочитав я его книги еще в школе или же на войне, то не только не поняла, а даже отвергла бы и отца Туберозова из «Соборян», и Вансок из романа «На ножах», и смешного и злого Висленева, и даже княгиню Протозанову из «Захудалого рода», как и иных героев его произведений, людей сложных, запутавшихся в противоречиях, с их метаниями и мечтами, с их стремлением к совершенству при всей видимой невозможности его достичь,

с тоской о жизни лучшей, жизни чистой и светлой, хотя всяк понимал ее, эту жизнь, непременно по-своему и стремился достичь ее тоже различными путями, порою противоположными, противостоящими друг другу.

Открыл ли для себя до конца современный читатель это чудесное явление — писателя Н. С. Лескова, стоящего в одном ряду с Гоголем и Достоевским, Гончаровым и Тургеневым, Салтыковым-Щедриним и А. Н. Островским? Писателя страстного, восторженного, в то же время и глубоко ироничного, со своим необыденным строем речи и стилем, со своей твердой верой в народ, жизнь которого он изучил глубоко и никогда не пытался преувеличивать ни его достоинств, ни его недостатков? Лесков знал цену и простому мужику с его предрассудками, и помещику-барину, и попу, и плуту купцу, и тем диковинным фигурам дореформенной и пореформенной России, которые в поисках истины порой доходили и до нелепостей и до светлого озарения в любви к человеку.

Есть читатели, которые еще и сегодня как будто страшатся заглянуть в открытые Н. С. Лесковым бедны народного бытия, ограничи-

вая свое чтение хрестоматийными «Очарованным странником», «Тупейным художником» и «Левшой». Между тем даже если перечислить только жанры, в каких писатель работал, и то перед нами откроется нечто огромное. Романы, повести, рассказы, драма, хроника, очерк, «прибавление к рассказу», «невероятное событие», «быль», «краткая трилогия в просонке», «спиритический случай», «рассказы кстати», «святочный рассказ», «из дел сибирской старины», «апокрифическое сказание», «из остзейских наблюдений», «рассказ на могиле», «из отроческих воспоминаний», «удалецкие «скаска», «по древним преданиям», «картинка с натуры», «рапсодия», «исторические справки по современному вопросу», «истинное событие», «пейзаж и жанр», «опыт систематического обозрения» и т. д. и т. п. И у всех этих произведений, помимо увлекательности самой формы и изобретательности автора в определении литературного жанра, есть еще и название произведения, которое всякий раз уже чудо. Для примера можно привести хотя бы некоторые из них: «Запечатленный ангел», «Несмертельный Голован», «Шерамур», «Овцебык», «Чертогон», «Дух госпожи Жанлис», «Дама и фефёла», «Язвительный», «Маланья — голова баранья», «Пустоплясы», «Житие одной бабы». Подобное перечисление можно продолжать и продолжать. И за каждым названием стоит проза, о которой нашим веком сказано еще так мало, что и несоразмерно даже...

Николай Семенович Лесков родился сто пятьдесят лет назад, в 1831 году, 4 февраля по старому стилю, в селе Горохово неподалеку от Орла, этой колыбели писателей, воистину орлов нашей словесности, — достаточно, кроме Лескова, назвать еще хотя бы Тургенева и Бунина. Учился будущий писатель несистематически, прерывая учебу и частенько выезжая в родную деревню. Эти бесконечные поездки из Орла в Горохово и обратно в столь юном возрасте, конечно, не могли не сказаться на всей дальнейшей жизни писателя. Увлеченное чутким ухом необычное слово, увиденная картина быта, пейзаж, эти постоянные сравнения между жизнью города и деревни, на мой взгляд, и заложили основу чудесного знания Лесковым родного нашего русского языка. Ибо уже восемнадцати лет от роду Лесков переезжает в Киев, в котором существовала и другая атмосфера и другая языковая стихия. Служба в киевской казенной палате, общение со студентами и профессорами, затем разъезды по стране в качестве коммерческого агента англичанина Шкота, поездки за границу — какой богатый диапазон познаний для человека любопытствующего и наблюдающего! Какое обилие картин, встреч,

бесед, рассказов бывалых людей, встреченных в дороге! И при этом подумаешь еще о Лескове: какой широкий взгляд на вещи, взгляд, не огороженный забором предвзятости или какого-либо отдельно взятого постулата!

Писатель не рождается с завершенным представлением об идеале и об окружающей его реальной действительности, мысль его развивается порой весьма сложно, у иного с серьезными отклонениями от избранной в начале линии в зависимости от потрясших душу сегодня эмоций... Бывает, что человек впадает из крайности в крайность, — разве не впадал в такие крайности Лев Толстой, когда пришел к своей теории о непротивлении злу насилием и к отрицанию собственного своего творчества!

Когда классика мы читаем сугубо «с позиции современности», то все, что не укладывается в эти позиции, проскальзывает мимо взгляда как нечто не заслуживающее внимания. Наверное, пора, настало время читать и перечитывать классиков истою, вникая во все, что ими написано, чтобы понять до конца и дух времени, и дух жизни, и причины ошибок, когда они случались.

Читая Н. С. Лескова, неизменно думаешь о невероятной пестроте российской действительности прошлого столетия. Она и до сих пор поражает нас своей неоднозначностью, многослойностью и противоречивостью. Социальные, политические, религиозные и национальные явления сообщались между собою, и каждый пласт народной жизни как бы вращался в другой, и все это перемалывалось и перемешивалось самым неожиданным и фантастическим способом. Именно эта пестрота и привлекала Лескова.

Помещики в своих дворцах с английскими парками — и курная изба обнищавшего крестьянина, окруженного целой кучей раздетых и разутых ребятишек; разряженные купцы с приказчиками-холоуями; все эти спекулянты и барышники, торговцы скотом; вся эта перекатная голь на дорогах — переселенцы, богомольцы и странники; чиновники; разудалые офицеры и их подчиненные — хоть тот же забитый солдат из рассказа Лескова «Человек на часах», о котором он написал с такой болью. Величайшее множество священнослужителей всех рангов и званий, всех характеров и устремлений. Мы не можем не помнить, что только в одной Москве было сорок сороков церквей, то есть 1600. И у каждой церкви был свой причт, свой церковный хор, церковное кладбище, церковное начальство — и бесчисленное множество прихожан, зависящих от попа и в жизни и в смерти. Ни одно село на Руси, ни одна деревня не обходились без собственной церковки. Именно этой

сфере жизни — влиянию священника на судьбы темных своих прихожан, особенно где-нибудь в захудалой провинции, — и уделял так много Лесков внимания в стремлении понять связи между людьми, то ужасающее противоречие, когда «вознесение духа», возвышенные мечтания сосуществовали с корыстью, подлостью тут же рядом, у всех на глазах.

Без понимания этих внутренних устремлений писателя нам, наверно, не постичь ни рассказ «Овцебык», ни хронику «Соборяне» — книги, написанные кровью сердца. «Мистику то прочь бы, а «преломы и даждь» — вот в чем дело», — напишет впоследствии Лесков Льву Толстому, выделяя свой жизненный принцип и особенный подход к сложной проблеме религиозности народа.

Протопоп Туберозов — одна из центральных фигур у Лескова. Обличения Туберозовым «сильных мира сего» приводят непоклонного и мятежного протопопа к «снятию с должности», как теперь бы сказали, и к смерти.

В этой хронике заключается одна из любимейших мыслей автора, что и среди заживших и отупевших священнослужителей с «длинным поповским карманом» можно было найти человека, продолжающего традиции протопопа Аввакума. Не случайно они в одном сани — один протопоп и другой протопоп; не случайно Туберозов говорит почти те же слова, что и Аввакум: «Значит, не я один сие вижу, и другие видят, — озадаченно заключает Туберозов, — но отчего же им всем это смешно, а моя утроба сим до кровей возмущается».

Начав работать в литературе в качестве журналиста, Лесков только в тридцать с лишним лет создал свое первое художественное произведение. Кстати, это очень характерно, такое позднее начало. Поздно начинал и Лев Толстой — когда сложился как личность. Первые книги Лескова, такие, как «Погасшее дело», «Разбойник», «В тарантасе», «Язвительный», «Житие одной бабы», «Страстная суббота в тюрьме», «Овцебык», «Леди Макбет Мценского уезда», роман «Некуда», — все это написано им за каких-нибудь два-три года. И далее он, вечный труженик, будет писать много и плодотворно.

«Воительница», «Старые годы в селе Плодомасове», «Загадочный человек», «На ножах», «Смех и горе», «Островитяне», «Захудалый род» и десятки разного рода повестей и рассказов — это целая эпоха, запечатленная в узорчатом красочном слове. «Даже беглое перечисление социальных групп, из которых вышли персонажи Лескова, — пишет И. П. Видуэцкая в своей книге «Николай Семенович Лесков», — может дать представле-

ние о том, как разнообразно и густо населены его произведения».

Уже в первых произведениях Лескова обнаруживается одна важная особенность манеры писателя, которая далее разовьется. Автор встречает своих героев всякий раз в момент какого-то краха или их унижения — и рисует их или смешными, или просто ничтожными, вроде второго иерея Захарии Бенефактова, или, подобно Ахиллу, необыкновеннейшим и вроде бы пустейшим по натуре богатырем и т. д. В лесковском герое всегда присутствует необычность и чужаковатость, нечто дикое, странное, с точки зрения обывателя. Но совершенно неожиданным образом читатель вдруг обнаруживает, что вся эта чужаковатость и странность, эта дикость есть не что иное, как порождение образа жизни, времени, данной эпохи. Это сущность и будни его самого, того «дикого» времени. Герой растворяется в них, в этих буднях, он не лучше и не хуже других.

Наконец, открывается еще один круг в загадочно задуманном повествовании автора: все еще раз — причем резко — меняется на глазах у читателя. Наши ставшие серенькими, будничными персонажи — дьячки из курятника, наполненного детьми, или же необыкновенные, ни о чем не задумывающиеся богатыри — вдруг мгновенно преобразуются в трудный час, страдают за ближнего и идут ему помогать, забывая о собственных нуждах, обличают и плачут, когда видят несправие человека, живущего рядом, просветляются при виде как будто бы прежде и не замечаемой родной природы.

Мне в этом видится не игра писателя, не создание некой заманчивой формы, а истинное знание жизни. Все эти круги превращений продиктованы именно жизнью, самим процессом узнавания того или иного предмета. Ибо никогда в жизни мы ничего не открываем для себя сразу, за один прием. Лесков знает, что у каждого человека не все на поверхности, ну разве что у простака (впрочем, и простак не всегда так уж прост), а уж у человека думающего, у человека чувствующего всегда есть глубины, сокрытые от постороннего взгляда. Поди-ка взглядишь в эти темные слои мыслей и чувств с первой минуточки, с ходу!

Лесков, пожалуй, единственный писатель в нашей литературе, который почти ничего не описывает. Он рассказывает, даже вроде бы пересказывает, как случайный знакомец в поезде, лишь важнейшие события жизни героев, убирая отвлекающие подробности и стараясь поменьше изображать. Однако именно в этой манере письма мы все ясно видим, как

если бы сами присутствовали при свершившемся.

«Было так часов около шести вечера. Погода стояла теплая, мягкая и сероватая, — словом, очень хорошо. Дом дяди известен, — один из первых домов в Москве, — все его знают. Только я никогда в нем не был и дядю никогда не видал, даже издали.

Иду, однако, смело, рассуждая: примет — хорошо, а не примет — не надо.

Прихожу на двор; у подъезда стоят кони-львы, сами вороные, а гривы рассыпные, шерсть как дорогой аглас лоснится, а заложены в коляску.

Я взошел на крыльцо и говорю: «Так и так — я племянник, студент, прошу доложить Илье Федосеичу». А люди отвечают:

— Они сами сейчас сходят — едут кататься.

Показывается очень простая фигура, русская, но довольно величественная, — в глазах с матушкой есть сходство, но выражение иное, — что называется — солидный мужчина.

Отрекомендовался ему; он выслушал молча, тихо руку подал и говорит:

— Садись, проедемся.

Я было хотел отказаться, но как-то замялся и сел.

— В парк! — велел он.

Львы сразу приняли и понеслись, только задок коляски подпрыгивает, а как за город выехали — еще шибче помчали».

Это один из лучших рассказов писателя — «Чертогон».

А какие замечательные страницы можно процитировать из романов «Некуда» и «Обойденные», из «Запечатленного ангела», «Праведников», «Несмертельного Голована», «Левши», «Человека на часах». Можно было бы многое сказать о «Леди Макбет Мценского уезда», то есть вещи, которую автор скромно назвал очерком, о романе «Старые годы в селе Плодомасове», о множестве остроумнейших и интереснейших его рассказов позднейших лет...

Для меня лично по-особому интересен образ Протозановой из романа «Захудалый род». Мне кажется, именно из этого образа и произрастают святые ростки в героинку натур иных, новых времен. Я, конечно, понимаю всю условность, даже рискованность такого сравнения и тем не менее скажу: с этой героиней я еще взволнованной думаю о судьбах наших современниц. С героями Лескова их роднят общие черты — любовь к родине и справедливость, готовность перенести любые муки во имя ближних, сделать все самое

лучшее в силу таланта, в силу долга и в силу ответственности перед народом.

А ведь Лесков и въяве и втайне не любил так называемых эмансипированных женщин (вспомним, например, роман «На ножах»). И тем не менее это он увидел, глубоко постиг тип русской самостоятельной женщины, умеющей управляться с огромным хозяйством и воспитывать в человеке самостоятельность. Быть может, мы и в других любимых образах Лескова где-то проморгали предтеч героев новых времен?

Лев Толстой, отнюдь не щедрый на похвалу, написал Лескову по поводу его рассказа «Загон», что «все это правда, не вымысел. Можно сделать правду столь же, даже более занимательной, чем вымысел...» Откройте любое произведение Лескова — перед вами воистину историческое повествование, правда без ряженных в боярские бороды актеров и без набора «исторических» «чаво» и «каво». Да, все это отечественная наша история, запечатленная ярко и густо.

Мне думается, творчество Лескова принадлежит к вершинным явлениям русской культуры. Как всякая творческая личность, он жил и мыслил по-своему, объездив всю страну от Черного моря до Белого, пространствовал, в том числе и на барже с крестьянами-переселенцами, побывав в самых различных городах и деревнях, видел жизнь изнутри и глубоко полюбил людей страдающих, вынужденных вести трудную борьбу за существование, но не утрагивших человеческого достоинства и стремления к истине. Лесков, по словам Горького, «всю жизнь потративший на то, чтобы создать «положительный тип» русского человека», создал замечательные эпические произведения и великие образы, которые достойны жить и сегодня.

Лесков умер в феврале 1895 года после долгой, тяжелой болезни сердца и похоронен в Петербурге, на Литературных мостках Волкова кладбища. А книги его живут и будут жить, ибо они учат свету, правде, добру, любви к ближнему, бескорыстию.

Тот же А. М. Горький, называя однажды самых крупных художников русской реалистической школы (Л. Толстого, Гоголя, Тургенева, Гончарова), сказал: «Талант Лескова силою и красотой своей немногим уступает таланту любого из названных творцов священного писания о русской земле, а широтой охвата явлений жизни, глубиной понимания бытовых загадок ее, тонким знанием великорусского языка он нередко превышает названных предшественников и соратников своих».

Ольга КОЖУХОВА.



РАБОЧИЙ ЧЕЛОВЕК

Александр Плетнев. Шахта. Роман и рассказы. М. «Молодая гвардия». 1980. 286 стр.

Странный, почти физический эффект вызывают порой слова и фразы, нематериальные по своей природе. Многие страницы «Шахты» приятно «дают» — что-то похожее чувствуют мускулы руки, уже свободные от напряжения работы, но еще помнящие ее тяжесть.

Вот несколько строк из романа «Шахта»: «А из детства война, как гвоздь из доски, клещами вырвала, без роста взростеть заставила. Время бурей хватануло, все перекрушило, перекроило на глазах. В сорок третьем, в конце апреля, не дождавшись травы-спасительницы, умер от голода дед Егор. Мать к тридцати пяти годам выстарилась, высушилась, словно молодой злак в знойное сухолетье, когда б еще сильной зрелостью красоваться, а у нее толстая каштановая коса в сивый ощипок истаяла, засосулилась постно, от ладной фигуры осталась доска плоская на ходулях ног... Отец пришел с войны одноногим; пока был при медалях да в военном, что-то еще виднелось в нем, а как надел довоенный ватник, так и выказал себя старичком калеккой. «У меня, — говорил он, — соки из тела вытекли вместе с бедой, остались кость да жила...»

Нетрудно было бы найти и другие примеры «тяжелой» прозы Плетнева, однако приведенная цитата да и вообще все страницы «Шахты», посвященные войне, играют, на мой взгляд, очень важную роль в романе, необходимы, в частности, для лучшего понимания характера его главного героя — рабочего Михаила Свешнева. «Шахта» — роман о современных рабочих-шахтерах, об их сегодняшнем дне, сегодняшней жизненной позиции. Война как таковая — в ретроспекции. О ней — в сценах, обращенных к деревенскому детству Михаила Свешнева, что совпало с военной порой. Но истоки характера Свешнева, пожалуй, именно там — в военном прошлом.

Уроки лишений, участие в трудовом подвиге тыла — главные уроки жизни для всех мальчишек 40-х годов. Для Свешнева эта школа была беспощадно суровой: погибли либо искалечены близкие, здоровье самого Михаила, четырнадцатилетнего паренька, подорвано тяжелой работой. Таково было время. Потом пришел мир. Но уроки лишений врезались в память «без роста повзрослевших» мальчишек на всю жизнь, как солдатские шрамы. Приобретая с годами и другие знания, эти мальчишки не научились только одному: работать с прохладцей, жить вполнакала.

Современного Свешнева с его в высшей степени развитым чувством долга и ответственности за общее дело подчас считают идеалистом. К примеру, таково мнение директора шахты Комарова. Отчего же Свешнев «идеалист»? Во-первых, любит тяжелую свою работу. Во-вторых, полагает, что работать надо не по норме — она, с его точки зрения, унижает человека, — а «по воле сердца и наивысшего старания», другими словами, с абсолютной сознательностью. В-третьих, думает, что сменное задание, стимулы, премии нужны лишь для лентяев «вместо погонялки» (сразу же вопрос оппонента: как так, отличная, допустим, работа — и вдруг без премии?).

И всегда этот Свешнев полагает себя кому-то должным. Даже жена говорит ему: «Так тяжело живешь — тебя хоть в рай отправь, ты и там сердцу тяжесть найдешь... Душу ты широко распахнул... Всех не обогреешь, сам замерзнешь...»

Отрицать не будем: Свешнев именно из тех «чудаков», которые стремятся обогреть мир. Но именно на них мир держится, в нем от их жизни, труда, любви действительно становится теплее. Это чувствуют многие так или иначе связанные со Свешневым люди: и старуха Дарья, которой он помогает обновить дом и памятник ее давно погибшему мужу, и уже упоминавшийся директор шахты Комаров, и товарищ по шахте Азоркин, далеко не сразу понявший и признавший Свешнева.

Что касается «идеализма» Свешнева, то это с какой стороны взглянуть. В «идеальных» взглядах Свешнева нетрудно уловить свой резон. Рассудим. Основной закон социалистического производства — его плановость. В спланированном до деталей производстве само понятие перевыполнения и премии за перевыполнение теряет смысл, нужен не рекорд, а четкая организация обычной повседневной работы, на чем Свешнев и настаивает. Так ли все это нереалистично? На мой взгляд, Плетневу удалось доказать именно реалистичность позиции своего положительного героя. Реален в романе и сам Свешнев с присущей ему «абсолютной сознательностью».

Отношение к работе — «наивысшее старание» или халтура, радость сердца или деньги «в лапу» — вот фронт борьбы в романе. Напряженность ее тем заметней, что она развертывается в основном на будничном фоне, хотя в центре романа чрезвычайное происшествие — обвал в шахте. Но ситуация ЧП позво-

ляет лишь рельефнее выявить те качества героев, которые на самом виду и в будничных условиях.

«Вперед на выполнения-достижения коллективом цементным, ядром пробойным!.. тогда не кисли, как щи недельные, шибко не думали!..» — эти слова, кредо старого откатчика Федора Лыткова, уже не устраивают Михаила Свешнева. «В войнах да в трудностях — додум ли вам было? — отвечает он. — Теперь мы за себя и за вас подумаем, осознаем себя: кто мы такие...»

Какие они, эти рабочие с шахты «Глубокая»? Всякие, разумеется.

Бригадиру Колыбаеву с молодости «все равно: хоть уголь лопатой наваливать, хоть тебя на этой лопате по штреку возить — лишь бы деньги платили». Он накопитель и покупатель, до полной потери совести ушибленный идеей приобретения «Москвича». Отсюда и его поведение: бросает товарищей во время обвала, выгораживает виновного в аварии начальника участка Головкина, потому что благодарный начальник для него «почти то же, что еще одна сберкнижка», и так далее. Словом, Колыбаев настолько прямолинейно отрицателен, что говорить о нем неинтересно.

Злой, до предела циничный, размашистый эгоист Азоркин сложнее. Работает он «на пять», без халтуры, но шахта для него вроде рабства, в которое он идет добровольно, чтобы добыть свободу на воле, на-гора, чтобы там после смены «ветром, кубарем, как конь в овсах». Для такой воли ему, как и Колыбаеву, нужны деньги, много, но он их не копит, тратит, а зарабатывает там, где больше плата. Только поэтому он в шахте. Азоркин, конечно, далеко не лучший представитель класса, и все же он чем-то привлекателен. Так нравится нам Дымов из чеховской «Степи», не знающий, на что потратить силы да жизнь; и вообще мы любим быструю езду, даже без определенной цели...

Говоря о высокой сознательности рабочего класса, его руководящей роли, мы безусловно имеем в виду людей типа Свешнева, для кого долг — социальный, семейный, личный — всегда выше индивидуальных удобств. Но безусловно и то, что пока существует тяжелый, малопроизводительный и высокооплачиваемый труд, останутся и колыбаевы и азоркины. Высокое чувство долга (в данном случае социального) может окрепнуть и в экстремальных условиях, но...

Тут интересно вспомнить спор Герцена с Лум Бланом, описанный в «Былом и думах»:

«— Жизнь человека — великий социальный долг; человек должен постоянно приносить себя на жертву обществу...»

— Зачем же? — спросил я вдруг.

— Как зачем? Помилуйте: вся цель, все назначение лица — благосостояние общества.

— Оно никогда не достигнется, если все будут жертвовать и никто не будет наслаждаться».

В марксистском понимании труд — это и социальный долг члена общества, и естественная потребность и наслаждение. Такое единство — черта коммунистического способа производства. Начальный его этап — механизация и автоматизация.

Вот и на шахте, где работает Михаил Свешнев, вводят в строй механизированный комплекс. В романе автор уделяет этому всего три-четыре абзаца. Свешнев отмечает только, «как много у него освободилось сил, сделав его жизнь просторной, как мартовский день». Сказано не очень убедительно. К тому же Свешнев как бы сожалеет о том, что ручной труд отойдет в прошлое: «Поздно мне было менять эти... обороты, вредно для души и тела». Собственно, более о новом комплексе ни слова.

Конечно, внедрение новых мощностей во все необязательно описывать в деталях. Но как обойти стороной новую психологию, рожденную изменившимися условиями труда? Нужно ведь со всей убедительностью подкрепить свешневские призывы к высшей сознательности, от уроков, вынесенных из суровой школы военных лет, переходить к урокам экономики и НТР. А Свешнев у Плетнева как бы бежит от НТР. Бежит не только в силу старой привычки, но и потому, что одна из основных душевных проблем Свешнева — не вернуться ли ему, выходцу из крестьян, в деревню, поближе к земле, свой ли он в городе? Однако, мне кажется, читателю настолько ясно, что Свешнев немислим вне города, вне своей шахты, где проработал двадцать лет, что у автора нет никакой необходимости увольнять героя с «Глубокой» и отправлять в деревню Чумаковку для долгих размышлений. Этот сюжетный поворот в романе представляется несколько надуманным. И не слишком верится, что Свешнев всерьез намерен, бросив шахту, уйти в совхозные механизаторы. К счастью, не случилось этого и в романе...

Высказанные здесь критические замечания не должны заслонить главное: Михаил Свешнев — один из достойных героев, представляющих рабочий класс в сегодняшней литературе. Красивый человек с горячим добрым сердцем, не головная конструкция, не схема. Мы, читатели, соскучились по «идеалистам» вроде Свешнева, по мушкетерам вроде бондаревского лейтенанта Княжко.

Александр Плетнев написал хороший роман, я бы сказал: художественный, а не производственный. Даже его спорные места и недостатки дают материал для размышлений по самым серьезным и злободневным проблемам.

Это подтверждено и результатами Всесоюзного литературного конкурса — не так давно роману «Шахта» присуждена премия имени Николая Островского.

А. БЕЛОРУСЕЦ.



ХАРАКТЕР ПОЭТА

Марк Соболев. Высокие костры. М. «Советская Россия». 1980. 175 стр.

Четвертое десятилетие плечом к плечу идут поэты военного поколения. Их с годами редящие ряды скорбно плотнеют, отзвук шагов — в литературе и жизни — по-прежнему звонок, значителен. А пристально взглянуть — при всей монолитности и общности шагающих в этом строю у каждого свое, неповторимое лицо.

Девушка любила капитана...
 Что такое?
 Рано, братцы, рано!
 Мы стоим среди вражеского стана —
 нам ли до любовной чепухи?
 Виноват...
 И все же, как ни странно,
 девушка
 любила
 капитана.
 Это начинаются стихи.

Так мог написать только Марк Соболев. Чем-то похожий на Светлова? Да. Но главное — на самого себя. В большей степени, нежели другие, он всегда как бы интуитивно опасается откровенной публицистичности, набатной интонации. Но — что очень важно! — по-своему принимает ближний бой, по-своему выходит на прямую наводку, сохраняя при этом собственную интонацию — улыбочивую, чуть-чуть печальную, даже когда приближается к пафосу:

Хоть членские взносы платили
 не все, что шагали в огне,
 но кто из нас был беспартийным
 на этой великой войне?

М. Соболев умеет говорить о высоких материях очень человечно, тепло, с присущим ему лиризмом: «Кто в боях за черными пределами счастье взял и людям возвратил? Это ж мы с тобой такое сделали, старый друг, окопный побратим!» Это совсем не просто — избежать чрезмерной пафосности или, напротив, стилизации под самую непритязательную, разговорную речь... Перейдя шестидесятилетний рубеж, поэт не блистает многостраничными томами. Новая книга, хотя автор и назвал ее в предисловии итогом, так же скромна по объему. Здесь сказались строгость авторского отбора, нежелание «загрязнить» поэтическую

среду необязательными вещами, уважение к бесспорной истине, высказанной как-то Светловым: одно хорошее стихотворение лучше, чем одно хорошее и одно плохое. Что ж, репутация в искусстве создается не количеством наработанного. Впрочем, противореча себе, не удержусь от признания: в данном случае хотелось бы видеть более «полного» Марка Соболева...

Великое все же дело — свое рабочее клеймо. Свой жест, характер, взгляд. Есть в литературе, в поэзии хорошо известные ходы, привычные повороты. Например, испытанный образ снега, который по весне плавится и лишь в волосах людей не тает. Тут все отработано, давным-давно прошло стадию внутреннего сгорания и стало выплеснутым паром. Но вот под рукой М. Соболева привычное вдруг засверкало первозданной чистотой и свежестью. Так иногда на Урале в заброшенных давно отвалах находят самородок или друзы самоцветов.

Там пусть горят огни зажженные —
 ведь мне всю жизнь отогреть
 вот эту, не убереженную,
 морозом схваченную прядь.

Как же поэт добивается такого? Это всегда тайна, порой и для него самого. Очевидно, не последнюю роль здесь играет стремление не к внешней броскости, а к гармоничности, к разговору доверительному и душевному. Поэт не боится на друзей и попутчиков «неприкосновенной ласки израсходовать запас». Не потому ли его поэзия не мелеет?

О сложных коллизиях, наблевшем он если говорит, то как бы намеком, без назойливого подчеркивания и мнительности («И, должно быть, в сговоре с врачами выдают мне, грешному, сполна друг — признание, критика — молчанье, тонкое внимание — жена»).

Книга ветерана. И много в ней достоинства, хорошей озабоченности и пробившихся через сутемь солнечных лучей. Верится, что «Высокие костры» Марка Соболева зажжены не последней спичкой. Кое-что в запасе у поэта еще есть — нам на радость.

Михаил НАЙДИЧ.



УРОКИ ЗРЕЛОСТИ

Б. Брайнина. Федин и Запад. Книги, встречи, воспоминания. М. «Советский писатель». 1980. 374 стр.

Седьмой главе книги Б. Брайниной «Федин и Запад» предпосланы прекрасные слова Стефана Цвейга о том, что «наивысший долг писателя: разрушить преграды между людьми, далекое сделать близким и объединить народы с народами». Думаю, что литературоведение и критика могут и должны начертать этот девиз на своем знамени — и не для того, чтобы стяжать себе дополнительные лавры, а чтобы избежать горьких ошибок иных критиков, которые пытаются затянуть живой литературный процесс в сконструированный ими самими теоретический корсет, препятствуя, таким образом, росту многообразия литературы. Между тем это многообразие есть один из признаков богатых возможностей социалистического реализма.

Книга о Константине Федине избежала подобной опасности. Мне показалось чрезвычайно привлекательной особенностью ее реально ощущаемое читателем близкое и долгое знакомство исследователя с Фединым и его творчеством, хорошее знание общественной и литературной атмосферы, в которой художник жил и писал. Жанр этой книги я бы определил (чем, вероятно, вызову нареkania строгих теоретиков) как жанр личного литературоведения, которому я, не оспаривая право на существование его академической сестры, предрекаю большое будущее, потому что литературоведение такого рода осознает себя близким партнером литературы. Не вдаваясь в детали, хотел бы подчеркнуть, что эта плодотворная тенденция проявилась в ряде книг, созданных в последнее время советскими литературоведами и критиками. Каковы же реальные признаки этой тенденции и, соответственно, характерные особенности рецензируемой книги?

Автор не оперирует сетью категорий (откуда бы она ни была взята), пытается набросить ее на литературу, в данном случае — на творчество Федина, теоретические выводы делаются на основании самого предмета исследования. Казалось, это нечто само собой разумеющееся, если оглядываться на опыт точных наук. Но мы знаем, что подобный методологический принцип далеко не всегда соблюдается. С другой стороны, я хотел бы сразу же возразить скептикам, которые станут отрицать серьезность термина личностное литературоведение: упор на субъективное видение не должен повлечь за собой недостаток научности, а, напротив, приводит к углублению и повышению научного уровня.

Привлекает умение автора строго учиты-

вать собственно законы искусства. В этом признании его как самостоятельной духовной силы. Такое признание не может не сказаться и на общественном статусе литературы: там, где не забывают о ее специфике, она воспринимается обществом как самостоятельный и полноправный участник социальных преобразований. Конечно же, путь к утверждению таких взглядов оказался непростым и долгим, и опыт Федина с его книгой «Горький среди нас» был одним из этапов на этом пути. Исследовать закономерности литературного развития на примере творчества Федина значило исследовать литературные истоки, традиции, на которые он опирался. Во всем этом, как мне показалось (конечно же, наряду с общей оценкой фединского творчества), и состоял основной замысел книги Б. Брайниной.

Традиции, которые продолжал К. Федин, простираются от Толстого до Горького, его дружеские литературные связи захватывают самых разных художников слова от Романа Роллана до Анны Зегерс. (Я намеренно схематизирую, чтобы не следовать дурной привычке приводить списки имен.) Определив литературные симпатии Федина, сопоставив некоторые стилистические черты его письма со стилистическим своеобразием такого, скажем, близкого ему писателя, как Леонгард Франк, исследователь подводит читателя к выводам о собственной фединской манере письма. Федина привлекала «спартанская сжатость» стиля Франка. Как известно, такую манеру предпочитает и Анна Зегерс, стиль которой часто характеризуют как сухой и жесткий. Но тот, кто так говорит о прозе Зегерс, должен непременно добавлять, что проза эта и многогранна. Она суха, потому что писательница отказывается от всяких украшательств, ей чуждо пристрастие к прилагательным. Быть может, те, кто упрекает писательницу в сухости, считают образцом прозу, щедро сдобренную орнаментальной образностью, и для характеристики более строгой прозы у них не остается других эпитетов. А между тем проза Анны Зегерс открывает новые горизонты для читателя, дает простор его ассоциациям, заставляет соперничать автору. О такой прозе Виктор Астафьев недавно писал, что в ней каждая фраза может быть повестью. И если я позволил себе сейчас, говоря об Анне Зегерс, уйти в сторону, то потому только, что характеристику ее прозы можно без оговорок перенести на фединскую. К стати сказать, я поступаю так, поощренный именно примером

книги Б. Брайниной. То, что поначалу мне казалось отклонением от главной темы книги (скажем, в частности, случаи, когда анализируются произведения Цвейга или Бределя), при дальнейшем чтении воспринимается как сознательный и интересный прием. Перед глазами читателя возникает духовная основа, главные слагаемые литературных взглядов Федина.

Продолжая размышлять о преимуществах такого подхода к литературе, я прихожу к выводу, что он помогает избавиться от одного весьма распространенного недостатка, свойственного текущей критике, когда она, концентрируя внимание на отдельных произведениях, рассматривает их в отрыве от остального творчества писателя, от общей литературной ситуации. В данном же случае установление взаимосвязей и взаимовлияний становится одним из основных методологических принципов. Этот принцип определяет характер и объем привлекаемого материала. Метод же имманентного анализа произведения явно недостаточен, он правомерен лишь как элемент более широкого подхода. Этот широкий подход включает в себя анализ исторических и общественных условий возникновения произведения, воспоминания и комментарии, письма, высказывания современников, архивные материалы, характер восприятия отдельных произведений читателями, автобиографические и другие документы.

Многообразная палитра средств помогает автору книги создать живой образ Федина, показать своеобразие его натуры, особенности мышления, противоречия и сомнения писателя. Широта взаимосвязей, переданная исследователем, использование разных источников имеют и свои последствия, влияют на способ изложения материала, на принцип изображения.

В книге Б. Брайниной щедро используются документы и цитаты, порою исследование обретает черты мемуарной литературы, порою напоминает эссе, а некоторые фрагменты близки художественной прозе. Думаю, это закономерно — что литературоведение и критика в плане многообразия стилевых средств следуют тому процессу, который протекает в литературе. Только так может возникнуть то необходимое партнерство литература — критика, то плодотворное взаимодополнение, которого мы от них требуем. И я вновь хочу повторить, что эти и другие признаки нового, более продуктивного отношения к литературе, художественным произведениям и творчеству отдельного писателя я вижу воплощенными, по крайней мере как тенденцию, в книге «Федин и Запад».

Весьма важны те страницы книги, где рассматриваются основные идеи и взгляды, оп-

ределившие творчество Федина. Автор книги справедливо останавливается на фединской идее неразрывности искусства и гуманизма. Эта идея включена и в тот художественный метод, в разработке которого участвовал сам писатель. Я имею в виду, конечно же, социалистический реализм. И в этом отношении совершенно оправдан упор, сделанный Б. Брайниной на неразрывные связи эстетического и нравственного идеала писателя. Пример Федина, как, разумеется, и других художников, свидетельствует, что связь между этими двумя сферами осознавали и прежде. Но справедливо будет отметить, что в литературе 70-х годов она поднимается с неведомой доселе отчетливостью. Можно сказать, что проблемы коммунистической морали оказались в центре внимания литературы, которая осознает себя как общественный институт, служащий гуманизации социальных отношений. Конкретно из круга фединских идей, развитие которых последовательно прослежено в книге, мне бы хотелось особо выделить идею воинствующего гуманизма (в наших дискуссиях в ГДР все чаще употребляется термин **нравственный ригоризм**).

Вернусь к тому, с чего я начал эти заметки, — к непривычному термину **личностное литературоведение**, личностная критика. Их, конечно же, не следует понимать как узкое, интимное отношение к личности и творчеству писателя. Теория и критика не должны упускать ни одной возможности, какой бы предмет ни рассматривали, для наведения мостов между искусством и действительностью. И в этом плане более активное обращение исследователя к современности, сегодняшнему дню, думаю, могло бы еще более обогатить книгу. Ведь это соответствует ее характеру.

В заключение я хотел бы еще раз напомнить слова, приведенные в книге «Федин и Запад» (они были сказаны Стефаном Цвейгом по случаю шестидесятилетия Максима Горького), — слова о «незримом парламенте человечества». Я считаю, что это очень удачные слова для характеристики того, что мы обозначаем сухо «функцией литературы». В самом деле, разве искусство, литература не являются незримым парламентом, где обсуждаются радости и беды человечества, где каждая хорошая книга — выступление и каждая дискуссия — серьезный разговор о вариантах и возможностях лучших решений, где каждая критическая статья — отклик на «парламентское выступление»? Книга Берты Брайниной и творчество Федина активно участвуют в работе этого парламента.

Хайнц ПЛАВИУС.

Перевела с немецкого И. ЩЕРБАКОВА.
Берлин.

Политика и наука**ДЕЛО ЧЕЛОВЕКОМ СТАВИТСЯ — И СЛАВИТСЯ**

Рожденные в десятой пятилетке. Составитель Г. Куликовская. М. Политиздат. 1980. 287 стр.

Как многим советская литература обязана Горькому! Вспомним, например, настойчивое требование Алексея Максимовича о необходимости писательского участия, писательского осмысления великого опыта строительства нового, социалистического общества, его неумную энергию по организации поездок писательских бригад по знаменитым новостройкам первой пятилетки, создание и выпуск журналов вроде «Наши достижения» или знаменитое многотомное издание «История фабрик и заводов», которое и доселе живет в издательствах, хотя, может быть, и не той полнокровной жизнью, какой хотелось бы...

От горьковских заветов, от литературско-журналистских десантов на Днепрогэс, Магнитку, Турксиб, Сталинградский тракторный идет и нынешняя замечательная традиция: коллективное писательское шефство (нередко под эгидой газет или литературно-художественных журналов) над этапными стройками, сооружение которых, руководствуясь волей партии, осуществляет советский человек.

Регулярные встречи писателей и журналистов со своими будущими героями дают богатый материал для раздумий, воплощаются в интересные газетные и журнальные публикации, а в конечном итоге, как правило, и в книги. Одна из таких книг, вышедшая в Политиздате в преддверии XXVI съезда КПСС, — сборник художественно-документальных очерков «Рожденные в десятой пятилетке». Создали ее писатели, журналисты, художники, фотокорреспонденты — авторы журнала «Огонек». В сборник вошли рассказы о людях и событиях тех строек, с которыми дружит журнал. Это КамАЗ, БАМ, «Атомаш» и Оренбургский газоперерабатывающий комплекс. Каждая из этих строек, по выражению главного редактора «Огонька» Анатолия Софронова в предисловии к сборнику, «претендует на титул звезды первой величины не только в союзных, но и в мировых масштабах». Будучи неповторимыми по своим замыслам, назначению и размаху, они в то же время «стали как бы наглядным, практическим результатом великих, чудодейственных возможностей полностью раскрепощенного в условиях общества зрелого социализма подлинно творческого труда».

Естественно стремление всех причастных к книге придать ей характер своеобразного итога большой работы, проделанной коллективом журнала, провести читателя по этапным

вехам сооружения гигантов пятилетки. Замысел, как говорится, удался. Яркие страницы очерков, репортажей, писательских размышлений и журналистских заметок доносят до читателя гулкий ритм эпохи; мы невольно ощущаем себя среди тех, кто не на карте — на местности в составе первых таежных десантов выверяет правильность инженерных расчетов будущей трассы БАМа и километр за километром ведет сквозь таежные дебри и болота магистраль века; не можем не восхищаться уникальным (не имеющим аналогов в мире) объединением заводов в Набережных Челнах по выпуску большегрузных автомобилей или масштабами одного из самых необычных заводских комплексов, который определяет энергетику будущего, — «Атоммашем».

Книга насыщена событиями, которые разворачиваются на огромной территории от сибирских далей до Камы, Волгодонска, степей Оренбуржья и далее к западной границе страны, куда протянулась нитка газопровода «Союз». Авторы щедро живописуют радости и нелегкие, суровые, трудные будни, красоту девственной природы, которая может быть и другом и недругом человеку, как, скажем, какая-нибудь разбушевавшаяся по весне речушка или монолитная глыба горы, через которые нужно навести мост, пробить тоннель. Но главное, это в конце концов пустить поезда, опробовать новый цех или агрегат, собрать на конвейере новый — самый первый! — автомобиль.

Люди, те, кто своей волей, трудом и энергией воплощает эти достойные удивления замыслы, — главные герои книги: монтажники, штукатуры, механизаторы, водители, сборщики машин, станочники, операторы и наладчики автоматических линий, бригадиры, прорабы, руководители инженерных служб и строек, партийные и комсомольские работники. Как подчеркивается в книге, это люди последних десятилетий XX века, люди новой формации — достойные наследники и продолжатели героических традиций старших поколений.

Говорят, лучше раз увидеть, чем сто раз услышать или прочитать. Справедливо говорят, спорить не станем. И все же если событие подано ярко, убедительно, талантливо, то наше читательское воображение, наше естественное желание сопричастности к делам современников будут вполне удовлетворены. В 1927 году Теодор Драйзер, приглашенный

в СССР по случаю десятой годовщины Октябрьской революции, писал друзьям о своих первых впечатлениях: «Видеть коммунистов в действии — волнующее зрелище». Нынешние первопроходцы могли бы с полным правом добавить: быть коммунистом в действии — это не только волнующее зрелище, это подлинное счастье.

Год за годом предстает перед нами в сборнике панорамная история строек коммунизма. Да, минувшее пятилетие — уже история, но каждая из наших пятилеток, как отмечал Л. И. Брежнев, «по-своему примечательна, несет на себе неповторимые черты своего времени и каждая навсегда запечатлена в памяти народа... Это замечательные главы одной великой книги, повествующей о героическом труде нашего народа во имя социализма и коммунизма». Свою скромную, но искреннюю главу в эту великую книгу трудового подвига вписали и авторы сборника «Рожденные в десятой пятилетке». Назовем здесь хотя бы журналистские раздумья, своеобразные очерки-дневники Галины Куликовской о КамАЗе; лирические заметки Бориса Сопельняка о строителях «Атоммаша», о Волгодонске — еще одном городе страны, достигшем в последние годы стотысячной (по числу жителей) отметки; или рассказ Алины Ануриной о людях Оренбуржья, создателях газопромышленного комплекса, и рядом с ним написанный Борисом Лабутинным репортаж со строительства газопровода «Союз», герои которого — инженеры и рабочие стран СЭВ...

В книге много интересных эпизодов, характеров, производственных и житейских коллизий, неповторимых примет своего времени, и читатель, надо думать, оценит их по достоинству, а может, и поддастся нахлынувшему искушению оказаться среди тех, кто сегодня на передовой, а следовательно, и на самой трудной линии борьбы за создание прочного фундамента коммунизма.

Не хочется по рецензентской привычке специально выискивать недостатки — общее ощущение от книги доброе, — и все же несколько слов о том, что резануло слух. Если, например, оперативный репортаж в номере журнала или на газетной полосе воспринимается как должное с неизбежными порой недостатками событийного жанра, то в книге уже невольно с большей пристрастностью обращаешь внимание на скоропись, стилистическую небрежность, беглость или неубедительность характеристик. Да и восторженного наива, присущего иным молодым журналистам, местами можно бы поубавить («Юрий Петрович сел в «газик» и умчался спорить с проектировщиками», «...тут, кажется, все — вроде бы само собою — становилось романтикой. Становилось вопреки всему...» и пр.).

В целом же, повторяю, сборник представляет заметную страницу в героической летописи современности, в том большом массиве книг, которые вышли в издательствах страны к партийному съезду.

Б. ЧУБАР.



...И ВЕЧНЫЙ ХЛЕБ!

А. В. Коваленко. Гвардии земледельцы. Записки секретаря обкома партии. М. Политиздат. 1980. 288 стр.

Первое, о чем хочется сказать, прочитав эту книгу: нет, не оскудеет хлебная нива, пока живет и здравствует на земле славная гвардия наших земледельцев! «Я каждому колоску готов в пояс поклониться, — взволнованно говорит один из героев книги. — Для меня каждое зернышко особую цену имеет. Ведь я был среди тех, кто шел с первым хлебным обозом для голодающих ленинградцев...» Или такое вот признание: «По своему опыту, по опыту отцов и дедов знаю, как трудно дается хлеб, как высока его цена... Сколько я помню себя, в нашей семье хлебом измерялось все: труд, умение, характер, совесть...»

Читаешь эти строки — и рождается в душе какое-то особое горделивое чувство твоей личной причастности к будничной работе механи-

заторов-хлеборобов, к хлебному полю, к хлебу насущному, который вот уже столько лет — а вернее, столько пятилеток — не убывает на нашем народном столе.

Через собственную взволнованную память приходит каждый из нас к пониманию непреходящей ценности простого куска хлеба. И дорог он не только как продукт питания. Он дорог как символ человеческой доброты, искренности, любви, дружбы и верности, человеческого благородства. Именем хлеба люди клянутся — «у кого хлебушко, у того и счастье». Хлебом-солью встречают дорогих гостей — «за хлебом-солью всякая шутка хороша». Краюху материнского хлеба берут с собой в дальнюю дорогу как благословение — «не человек хлеб носит, а хлеб человека». Пышный каравай — первый гость в новом доме, новой квартире:

«хлеб будет, так и все будет». Есть и еще одно народное выражение, с которого начал свою книгу «Целина» Леонид Ильич Брежнев: «Есть хлеб — будет и песня...»

Хлеб — это символ. И этот символ роднит все живое, человеческое в нас. Через собственные ощущения, собственное общение с землей, пашней, хлебом приходит к каждому из нас понимание всех великих и необратимых процессов на хлебных полях России. В сегодняшних, сиюминутных делах познаем мы эпоху. Мы становимся выше — и это позволяет нам видеть дали неоглядные: что было, что есть, что будет. А увидеть — значит узнать, осмыслить. И в этом осмыслении наша причастность к хлеборобской родословной, ко всему, что свершалось и свершается на земле. И еще хочется сказать, прочитав эту книгу: у хлеба долгая память, вкус его неизменен во все времена и хлеб, которым делились, не имеет равных по вкусу...

Вот на какие совершенно приземленные мысли настраивает эта книга — о хлебе и хлеборобах, об уроках мастерства, инициативы и хозяйской деловитости, уроках нравственности, которые каждый год преподает земледельцам хлебное поле, зажелтевшее урожаем. Написал книгу первый секретарь Оренбургского обкома партии Александр Власович Коваленко. Она о коммунистах, для которых оренбургский хлеб — кстати, лучший в мире по своим качествам — стал мерилom мужества, стойкости и всего самого святого на земле. «...прославленные, отмеченные самыми высокими наградами Родины механизаторы у меня всегда на примете, — не случайно подчеркивает автор. — Я слежу за их работой, понимая, что они являются ориентиром для других земледельцев». Доверительный разговор партийного работника с читателями как бы предопределен и самим жанром книги: перед нами записки секретаря обкома, его раздумья о самом близком, пережитом, глубоко прочувствованном. Записки о земле и земледельцах, о сотворении хлеба и рождении хлебороба, о трудовых традициях — откровенные о сокровенном. А в подтверждение сказанному позволю себе процитировать авторское признание:

«Земля отзывчива на доброту и уважение к ней. Земля, иными словами, почва — живое и хрупкое, как все живое, создание природы. Мне вспоминаются лекции, которые читал в Харьковском сельскохозяйственном институте седой, несколько старомодно одетый, но мыслящий по-современному профессор.

— Почва — четвертое царство природы... Почва — это не мертвая горная порода, это полное жизни, совершенно особое природное

образование. Навсегда запомните эти великие слова великого ученого Василия Васильевича Докучаева. Для вас — будущих агрономов — почва должна стать вечной заботой и вечной любовью, — нараспев говорил профессор...

Старый профессор научил меня многому и, наверное, самому главному — преданности земле и беззаветному почтению к ней. Возможно, благодаря ему я навсегда связал свою жизнь с хлебопашеством. Какие бы должности я ни занимал — агронома, секретаря райкома, председателя облисполкома, секретаря обкома, они были тесно связаны с земледелием. Мне понятны и близки желания хлеборобов, их извечная дума: уроди, земля, побольше».

У автора записок завидная судьба. «Мальчонкой, — пишет он, — я видел первые красные флаги Октября и звезды красноармейцев — победителей в гражданской войне. В молодости принимал самое живое участие в коллективизации и вместе с моими сверстниками одним из первых садился на «железного коня», как тогда называли трактор. В зрелые годы с оружием в руках защищал родную советскую власть от фашистских захватчиков. Словом, самые великие события в жизни нашего социалистического отечества не прошли мимо моего сердца...» И тем достовернее, весомее его наблюдения, его описания самоотверженного труда хлеборобов на полях этого огромного степного края.

Хлебное поле Оренбуржья протянулось от истоков сибирской реки Тобол почти до самой Волги. Пашня занимает 6,4 миллиона гектаров. Все здесь есть — степная и лесостепная зоны, долины рек, овраги, балки... Климат континентальный, дожди выпадают, как в пословице: не тогда, когда просят, а когда косят. И все-таки оренбургские земледельцы от пятилетки к пятилетке увеличивают производство хлеба. За счет чего? За счет культуры земледелия. А в это понятие входит целый комплекс агротехнических мероприятий, начиная от качественной подготовки полей к севу и кончая высокопроизводительным использованием техники на жатве.

Я читаю эту книгу страница за страницей. По-деловому скупые, рациональные записки. Но именно в них как бы спрессованы времена года, имена, цифры, факты — все, что увидел, запомнил и осмыслил автор, бывая в хозяйствах, встречаясь с механизаторами и специалистами. С подкупающей откровенностью автор сообщает нам о том, что он душой отдыхает, находясь в таком хозяйстве, как «Красный Октябрь». Он приезжает туда как в школу передового опыта и убеждает читателей в правоте своих действий: «Это только иным кажется, будто секретарь обкома для

того и приезжает, чтобы «поднажать», что-то заметить неладное, устранить и т. д. Секретарю обкома более всего нужно и полезно по душам побеседовать с опытным хозяйственником, выудить некие секреты, благодаря которым при любых обстоятельствах колхоз или совхоз — на высоте. Словом, набраться ума-разума...»

На добрых примерах для подражания — вот как надо работать — и построена книга. Мы узнаем об инициативе коммунистов ордена Ленина совхоза имени Магнитостроя — бороться за высокую культуру земледелия, их желании «вооружить людей агрономическими знаниями, разбудить у них интерес к науке». Нас восхищают трудовые подвиги оренбургских первоцелинников, на пути которых встали суровые морозы, степные ветры и прочие трудности неустроенной жизни, но не смогли остановить. Мы порадуемся успехам на колхозных полях династии хлеборобов Чердинцевых, Давыдовых, показывающих пример беззаветного служения хлебу. Нас не оставит равнодушными самоотверженный труд коллектива совхоза имени XIX партсъезда, который возглавляет кандидат сельскохозяйственных наук В. Хопренинов. Его диссертация — это научное обоснование повседневной грамотной работы на земле, забота о ее плодородии, которая и привела к устойчивой урожайности каждого гектара поднятой целины... В книге много героев труда и немало адресов передового опыта. Книга насыщена событиями. И особенное место на ее страницах занимает жаркая, неистовая пора оренбургской страды. Будто наяву видятся то пыльные, то липкие и тягучие от дождей дороги, заплывавшие меж хлебов, выцветшее, как линялый платок, палющее небо над головой, и комбайны, плывущие в оранжевом знойном разливе хлебов, так нагреты солнцем, что в пору прикуривать от их красных боков. Все это зримо, осязаемо проходит перед глазами — иссохшие до пергаментного хруста колосья в бескрайних полях, и бессонная работа комбайнеров на них, и штормовые ветры над поникшими хлебами, и неожиданные грозы, и белесые облака, как хлопья снега, над не остывшей от жатвы стерней... Это все пережитое и навсегда врезается в потрясенное сознание вместе с короткими, хлесткими, как выстрел, словами-символами: страда! хлеб! хлебороб!..

Я хорошо помню свои журналистские командировки, поездки по страдным полям Оренбуржья. Десятки комбайнеров, шоферов, трактористов рассказывали мне о своем жизненном пути. Многих из них как старых знакомых я встретил на страницах этой книги. И когда, помню, записывая их имена и фамилии, я узнавал, что передо мной коммунист,

как-то тепло на душе. Коммунист — значит, человек высокой сознательности и требовательности к себе. Коммунист — значит, его комбайн на поле чуть впереди, намолоты зерна чуть больше, качество работы чуть лучше. И за этим «чуть» — колоссальное напряжение, тот высокий моральный дух, та ответственность за порученное дело, которые делают человека борцом.

Располагая всем необходимым для успешной работы на земле, хлеборобы Оренбуржья поставили перед собой цель собирать ежегодно по 8—8,5 миллиона тонн и продавать государству по 5—6 миллионов тонн зерна. «Есть ли у нас для этого резервы? — спрашивает автор. И отвечает: — Да, есть. Главные из них: умело использовать плодородную землю и грамотно работать на ней. Все, следовательно, сводится именно к этому и обусловлено извечной триадой: Земля — Человек — Труд. Никаких других компонентов пока нет и в ближайшее время, кажется, не предвидится... Нам, живущим и работающим на неоглядных степных просторах, приходится тратить немало сил и средств, чтобы Оренбуржье давало родине больше хлеба и металла, газа и асбеста. И тем отраднее видеть, как многого мы добились».

Этими словами автора мне и хотелось бы закончить рецензию на его записки о гвардии земледельцах Оренбургской области. Добавлю только: умная и добрая книга о хлебе всегда волнует. Может быть, потому, что отношение к хлебу — уважительное и благодарное — наследственное в каждом из нас. Оно в нашей крови, в нашем дыхании, в нашей памяти, обогащенной памятью отцов.

Теперь я знаю: надо оставаться бойцом-фронтовиком или быть похожим на него даже на самой мирной работе — уборке хлеба. Надо быть коммунистом, почувствовать себя им в страдных полевых буднях. Надо быть тружеником, иметь рабочие руки мастера урожаяев. Надо оберегать высокое чувство товарищества. Именно такие качества характера воспитывают в себе герои книги — знатные земледельцы Оренбуржья, образы которых теплыми искорками согревают память.

Теперь я знаю: одна судьба, одно хлебное поле и одно большое сердце у потомственных пахарей-земледельцев — пламенное сердце фронтовика, коммуниста, труженика, друга, мечтателя. И все это будет продолжаться, пока родит хлеб земля, пока сыновья выходят на отцовские поля, пока передаются от поколения к поколению профессия, мастерство, крепкая хлеборобская закалка и пока будет жить и здравствовать на земле славная гвардия наших земледельцев!

Б. СТЕПАНЕНКО.

КОРОТКО О КНИГАХ



ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА. Рассказы и очерки. Составитель А. Медников. М. «Советский писатель». 1980. 527 стр.

Разные авторы, разные жанры. Морской рассказ В. Кожевникова, лирический этюд Ю. Яковлева о любви и верности, документальная повесть В. Поволяева о советском рабочем, сельский дневник И. Васильева, публицистические очерки Вит. Гербачевского, А. Медникова и др.

Но есть нечто общее в этих произведениях, позволившее объединить их под общей крышей сборника. В центре внимания авторов — наш современник, советский человек, находящийся на передовых позициях социалистического строительства.

География разнообразна: Сибирь и Дальний Восток, Средняя Азия и русское Нечерноземье, Поволжье, Кубань. Перед читателями встает картина сегодняшней жизни и великих строек страны и колхозной деревни. В очерке «Северный луч» Вит. Гербачевский рассказывает о прокладке Байкало-Амурской магистрали. С группой журналистов ему довелось присутствовать при самом начале строительства, когда обо всем говорили «первый» и «впервые». И он в июне 1977 года был среди пассажиров единственного плацкартного вагона грузового состава, остановившегося у небольшой будочки с надписью «Станция БАМ». Мы получаем представление о грандиозных масштабах строительства, его значении и трудностях, с которыми оно было связано. «Вот вам еще пример: до поселка Гуджикит, который мы строили в тайге, было семьдесят километров. И дорога туда занимала ровно сутки. Сутки грязи, колдобин, ругани, упорства и отчаяния». Автор-журналист встречается, близко сходитесь со многими участниками строительства: геологами, лесоустроителями, вертолетчиками, строителями... И убеждается в том, что для них главная награда за преодоление всех этих трудностей не «длинный рубль», а возвышенная радость оттого, что наглядно видны плоды их труда на благо людей, общества.

«Есть, есть в жизни небольшие награды за будни работы. Их и наградами-то никто не назовет, но благодарная душа чувствует: воздается... вот врытый в землю стол, тишина, темнеющие в наступающих сумерках сопки, дымок очага, мужская забота товарищей и первая горячая ложка супа... О мир, ты прекрасен».

Тема радости осознанного труда, трудового энтузиазма звучит и в других рассказах и очерках сборника. Вот как описывает, напри-

мер, Г. Будников в очерке «Хлебное поле» работу звеньевой колхоза «Путь Ленина» Ростовской области Героя Социалистического Труда Переверзевой: «Жатва есть жатва. Здесь все на пределе возможности: и люди и машины. А уж когда выглядывало солнце, какой это был праздник для людей!.. стремительно и ловко движется по хлебному полю комбайн, за штурвалом которого стоит Нина Васильевна Переверзева... Красиво работает, на комбайн вроде бы и вовсе не обращает внимания, а в кузов звонким ручейком льется бронзовое, словно загоревшее на солнце зерно».

Рассказывая о таких людях, как строитель Нурекской ГЭС Ненахов («По Вахшу — вверх!» Б. Холопова), камазовский бригадир Юрий Щепин («Сказ про обыкновенного человека» В. Поволяева), бурильщик нефтяных скважин Миннибаев («На Самотлоре» А. Швирикаса), и многих других, авторы отмечают принципиальные отличительные черты труда и психологии тружеников в социалистическом обществе. Это коллективная, дружеская поддержка в соревновании, чувство удовлетворения от своей работы, гордости за нее. Пример лучших людей имеет огромное воспитательное значение для молодежи. «...кто воевал и выжил, тому навсегда заказано на высоком уровне оставаться», — рассуждает капитан рыболовецкого траулера Василий Шелест в рассказе В. Кожевникова «В дальнем плавании».

Мне довелось быть, видеть, присутствовать — такие слова часто встречаются в сборнике. Но не только «эффект присутствия» свидетельствует о правдивом отображении жизни и труда советского человека — создателя, активного вмешательства в жизнь самих авторов. Активна, отвечает ленинскому требованию партийности литературы творческая позиция писателей и журналистов, принявших участие в сборнике.

Ксения Бродер.



ВЛАДИМИР ДАНЕНБУРГ. Голос солдата. Роман. М. «Советский писатель». 1980. 360 стр.

Дата, что стоит под этим романом, способна озадачить: 1945—1979. Книга создавалась тридцать четыре года?! Есть произведения, которые пишутся в течение всей жизни того или иного писателя, но в случае с «Голосом солдата» мы имеем дело с обстоятельством особого рода. Дело в многотрудной судьбе автора.

Главный герой «Голоса солдата» — молодой, только что окончивший десятилетку воин Слава Горелов. На исходе войны в одном из боев он был тяжело ранен и выжил буквально чудом. Три мучительные операции на черепе (трепанация), извлечение из мозга минных осколков, полный паралич одной руки и почти полная потеря другой — из обрубка ее хирурги смогли сделать так называемую руку Крукенберга, которая лишь в самой малой степени могла заменить настоящую, и заменить спустя долгое время. Это ли не суровая доля человека?

Теперь подставьте вместо имени героя Славы Горелова имя писателя Владимира Даненбурга. Для такой замены есть достаточно оснований. «Мы — автор этой книги и ее герой — люди одной судьбы», — сообщается в заключительной главе произведения.

В жанровом отношении «Голос солдата» можно определить как роман-судьбу, своеобразный художественный комментарий к биографии автора, сама же биография оказывается при этом жизненной основой книги.

Повествование в романе ведется от третьего лица — объективированное повествование, — но когда речь заходит о «самом-самом» для Горелова, о чем правдивее и проникновеннее не скажет никто, автор дает ему слово. Две эти стилевые струи органично сливаются в цельный рассказ.

Слава Горелов успел повоевать, хотя и не так много. Однако основное место действия книги — госпиталь, точнее госпитали, и герой предстает читателю в муках, страданиях, в неизбежном горе. Что ж, перед нами судьба защитника родины, и не над одной, а над многими страницами «Голоса солдата» сердце наше обольется кровью.

Много доводилось мне видеть на войне страданий, много читать о них, но во всех или почти во всех прочитанных историях переживания, чувства страдающего раскрывались как бы со стороны, посредством вживания художника в образ. У Даненбурга это дано изнутри, пером его водила собственная боль, собственное горе и собственная надежда.

В романе немало психологически точных подробностей, которые в общем контексте повествования воспринимаются естественнее и глубже, нежели в отрывочном цитировании, и тем не менее не могу не привести хотя бы несколько вот таких, например, строк: «Были звуки, и был свет. Существовали они, правда, где-то за пределами моей жизни. В ней оставались только боль и ожидание конца. Напрасно я по пути из операционной надеялся, что здесь, на возвышении (место в палате, где стояла койка Горелова. — И. К.), придет облегчение, напрасно торопил время. Матрац был каменным жестким, подушка — как будто набитой острыми гвоздями. А солнце из окон палило с остервенением, точно старалось выжечь глаза».

Но книга эта не только о муках и боли. Она и о борьбе за жизнь. Книга надежд и веры. Пафос романа оптимистический.

В психологически точном изображении судьбы тяжелораненых, их страданий и борьбы за жизнь я нахожу то новое, что вносит автор в разработку темы войны. Здесь он во многих случаях первооткрыватель. Мужественный, искренний, честный.

Но В. Даненбург стремится (требование жанра) охватить действительность более ши-

роко, в частности показать счастливые и несчастливые личные судьбы женщин, медицинских работников на войне да и в тылу, показать «легкую» любовь, нарисовать портреты чутких людей и людей бездушных, проявляющих себя в мирную пору, и т. п. Признавая тут известные удачи автора, счастливые находки, нельзя, однако, не сказать, что в этой сфере он менее самобытен и оригинален.

«Голос солдата» — голос жестокой правды, нравственной стойкости советского человека, защищавшего родину. В этом голосе явственно слышны и грозные ноты проклятия тем, кто помышляет о новой грабительской войне, готовит ее. Прошлое в романе переключается с современностью.

И. Козлов.



ПОЭЗИЯ КУБЫ. Сборник. Перевод с испанского. М. «Прогресс». 1980. 414 стр.

Советскому читателю эта книга открывает сложный путь развития кубинской поэзии нашего века, процесс поисков и творческого становления художников разных поколений и разных направлений. Конечно, попытка объединить творчество поэтов хронологическими рамками века весьма условна. XX век для Кубы — один из самых сложных этапов ее истории: его внутреннее содержание определила антиимпериалистическая направленность освободительного движения, завершившегося победой революции в январе 1959 года и переходом страны на рельсы социализма.

В сборник включены стихи почти 70 поэтов. Передать национальную самобытность поэтического мышления и эмоционального восприятия действительности каждого из них — задача не из легких. Ввести читателя в сложный мир чувств и наблюдений, раздумий и остановленных словом поэта мгновенный поэты-переводчики сумели прежде всего потому, что в свой труд вложили не только опыт и мастерство, но и большую любовь к Кубе, трепетное отношение к миру художественных образов, раскрывающих душевный настрой поэта, силу его горения.

Упорными поисками точного слова отмечены переводы П. Грушко. Даром постижения внутренней энергии стиха самых не схожих между собой поэтов — переводы С. Гончаренко. Право на хозяйское вторжение поэзии в область философии утверждают переводы Л. Дымовой. «Песни о злой любви» Мирты Агирре, замечательного художника-коммуниста, в ее переводе дышат богатством мироощущения, мудростью любящего сердца, высокой культурой чувств.

При всей неодинаковости внутреннего мира поэтов их объединяют национальные корни; в их стихах символ гордости свободолюбивого народа — королевская пальма. Но если для Ф. Гарсиа Марруса пальма — «стойкий цветок, обращенный к сиянью высот», то А. Аухером она воспринимается как «струна среди ветров и океана», «тропиком пылающая грива»:

Тебя сломить не удастся буре.

Ты, как прозрачный стебелек в лазури,
поешь, звенишь, стройна и первоизданна.

Образ Кубы у Рафаэлы Чакон Нарди ассоциируется с «первородным облаком», у Р. Фернандеса Ретамара другая ассоциация:

Ты наш оплот, земная наша твердь,
бездонная и сладостная чаша,
в которую мы нашу кровь сольем —
лишь только б ты стояла на своем.

Одной из ведущих мелодий в полифонической лирике Кубы является тема любви. Мысль выдающегося революционного демократа и поэта Кубы Хосе Марти о том, что страсть движет поэзией, помогает понять весь образный строй и лад стихов об этом возвышенном и вместе с тем насквозь земном чувстве, которое славят кубинские поэты (и в особенности поэтессы, начиная с М. Матаморос, вдохновенно переведенной И. Тыняновой).

Тема любви обогатила палитру хорошо знакомого советскому читателю поэта Кубы Николаса Гильена, представляющего в этом сборнике тонким лириком:

Годы прошлые в небытие умчали,
только первая моя любовь — живая:
до сих пор врачует все мои печали
и шифрует каждый стих, не уставая.

Главная же тема этого сборника — борьба за свободу. Стихи кубинских поэтов шли в бой, были оружием в руках безвестных героев, вдохновляли народ на борьбу. Символично и значительно, что свое последнее обращение к народу Кубы в трудный для судеб кубинской революции час один из соратников Фиделя Кастро, Камило Сьенфуэгос, закончил строками Б. Бирне, воспевшего гордость и неподкупность флага своей отчины:

А стервятники стаей нагрянут
и его растерзать захотят, —
из могил наши мертвые встанут
и святыню свою защитят!

Новую культуру социалистической Кубы нельзя представить без ее поэзии. Когда идет процесс интенсивного освоения культурного наследия народом Кубы, когда параллельно с этим освоением идет не менее интенсивное создание общей системы духовных ценностей стран социалистического содружества, книга кубинских поэтов содействует сплочению народов, преобразующих мир.

З. Соколова,
кандидат исторических наук.



ТАТЬЯНА ОЧИРОВА. Николай Дамдинов. Литературный портрет. М. «Советская Россия». 1980. 112 стр.

Творчество народного поэта Бурятии Николая Дамдинова отличает активная позиция, стремление расширить культурный и жанровый диапазон. Открытый для общесоюзного читателя «Нового мира» Твардовским, Дамдинов заявил о себе поэмой «Песнь степей», еще будучи студентом. А в 1959 году в «Литературной газете» Ярослав Смеляков приветствовал бурятского поэта рецензией на первый его сборник на русском языке — «Гудящие сосны». В двухтомнике произведений Дамдинова (вышедшем несколько лет назад) находим уже не только поэмы, стихи, но и драматические и прозаические вещи.

В первой монографии о Николае Дамдинове молодой исследователь его творчества Татьяна Очирова стремится раскрыть основы такой «универсальности» бурятского поэта. Прежде всего, свидетельствует критик, на долю

Н. Дамдинова выпало стать во многом первопроходцем в создании нового строя отношений. «За новаторскими поисками Дамдинова стояло новое социальное бытие народа, — пишет Т. Очирова, — все более расширяющийся диалог разных культур...» Саму новизну формы у Н. Дамдинова критик правомерно выводит из нового мировоззрения: «Это было понимание жизни как активного деяния». Такая позиция требовала смелости формы, жанровых поисков, отхода от старой, «улигерной» строки, в которой «отдельное слово... приобретает ценность лишь в общих границах синтаксической группы». А это вело к тому, что слово становилось более «самозначащим», утрачивая барочно-орнаментальный характер.

Исследователь видит многогранность этой важной, общей для многих младописьменных культур проблемы взаимоотношения новизны и традиции. Вечное лоно фольклора требует нового уровня понимания, делает она вывод. В главах «Выбор», «Границы слова», «Родословная» Т. Очирова внимательно рассматривает диалектику образной связи между фольклорным началом и современным мироощущением. В основе приближения поэта к фольклорной стихии — его стремление к общности образа, широте выводов. Это представляется мне очень существенным. Тот, кто полагает, что народность — в заботливом описании «орнамента с ворота бурятского тэрлика», как говорил сам Н. Дамдинов, конечно, не в состоянии понять и принять народность истинную. В отличие от нерасчлененности сознания, постоянного стремления фольклора «откорректировать индивидуальный опыт, привести его, так сказать, к общему знаменателю» (Т. Очирова), мысль художника нового времени предельно заострена на личном, индивидуальном опыте человека — с одной стороны, и на «исчерпывающей всеобщности», философской идее — с другой. Так в творчестве народного художника совмещаются «полюса» исторического и нынешнего взгляда на жизнь. «Возвратиться к истоку, перечитать лучшее, что есть в фольклоре, и ощутить себя снова ребенком перед морем народной мудрости и поэзии!» — приводит Т. Очирова слова Дамдинова, подчеркивая свою мысль о том, что нет никакого противоречия между этим признанием и тем фактом, что именно он, Дамдинов, «внес в бурятскую поэзию обостренно-личное восприятие мира с его стремлением воспроизвести психологию конкретной личности со всем многообразным и сложным миром ее чувств».

Читая книгу Т. Очировой, отмечаешь про себя зрелость суждений, взвешенность оценок и характеристик — одновременно точных и сдержанно-корректных. Уже в начале книги автор замечает, что истина для Дамдинова не в многозначительной завершенности, а в непрерывном открытии меняющегося мира. Мне кажется, что у будущего Татьяны Очировой тоже есть такая перспектива.

Владимир Огнев.



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР СОВЕТСКОЙ АРМИИ. 50 лет. М. «Искусство». 1980. 192 стр.

«Я люблю пустую сцену. По вторникам, когда в театре никого нет, а сцена тускло ос-

вещена дежурным светом, она — как затихшее живое существо. Пустая сцена — это так же прекрасно, как чистый холст. На ней может быть все: и то, что войдет в историю, и то, что забудется тут же. Пустая сцена манит прекрасным прошлым и неизвестным будущим». Этот текст, полный романтической влюбленности в профессию, принадлежит главному художнику ЦАТСА Петру Белову. Его статья завершает книгу, выпущенную к полувековому юбилею театра, и воздает должное творчеству замечательных сценографов — его предшественников Н. Шифрина и И. Сумбаташвили, вкладу мастеров разных поколений в изобразительную культуру театра.

Точно так же Тихон Хренников, автор прославленной музыки к спектаклю «Давным-давно», ярже и увлеченно рассказывает о своих коллегах, о тех, кто строил «театр военных, театр музыкальный».

Исключительное внимание ко всем слагаемым коллективного театрального творчества (режиссура, актеры, технические цели) характерно в целом для книги, подготовленной редактором-составителем А. Смелянским при участии М. Шуб и О. Ярмолинской. Рассказ ведущих мастеров театра, их непосредственные, иногда на грани разговорной речи высказывания, превращается в своего рода летопись театра. Естественно, что самые значительные периоды этой летописи связаны с армейскими поездками ЦАТСА. Гастроли на Дальнем Востоке в 30-е годы, поездка, завершающая затем выпуск спектакля «Падь Серебряная». Непрерывная, с первых дней войны работа девятнадцати фронтовых бригад, выступления на передовой в условиях, мало приспособленных для искусства; концерты на Белорусском вокзале для тех, кто сейчас скроется в теплушках военных эшелонов. И негасимая память о войне, материализованная в «Сталинградцах», «Барабанщице», «Святая святых»... — десятках сценических созданий, уже вошедших в сокровищницу советского драматического искусства.

Слово обладает удивительной способностью воскрешать зрительный ряд спектакля. Так встают перед мысленным взором читателя незабываемые «скачки» Петруччо и Катарины (Л. Добрянской и В. Пестовского) на вздыбленных лошадях, так воскрешается прекрасное искусство Л. Фетисовой. Так возникает отчетливое, почти визуальное представление о пламенном танце Альдемаро — В. Зельдина и его преемников — артистов сегодняшних. Так восстанавливаются неповторимые, отмеченные столь различными индивидуальными чертами постановки Д. Тункеля и А. Шатрина, В. Канцеля и Б. Львова-Анохина, М. Кнебель и А. Окунчикова, А. Дунаева и Р. Горяева. Об одних режиссерах пишут авторы этих «коллективных мемуаров». Другие сами выступают свидетелями и участниками, творцами важных событий в жизни своего родного театра. И все они высоко ценят счастье сотрудничества с Алексеем Дмитриевичем Поповым.

Печать его уникальной художественной личности угадывается и в нынешней практике ЦАТСА, в лучших спектаклях 60—70-х годов. Отзвук его требовательности, его суровой доброты к актеру, его эстетического и нравственного максимализма, идейной преданности делу раздается в высказываниях множества единомышленников, соратников, питомцев — будь

то Л. Касаткина или Б. Ситко, Н. Колофидин или М. Майоров, М. Перцовский или Д. Сагал. Такие разные по своим творческим тяготениям, все они духовные наследники своего знаменитого режиссера. И не случайно почти все пользуются одним и тем же весьма симптоматичным определением. Каждый утверждает, что всегда был счастлив контактом с А. Д. Поповым.

Большая, напоенная дыханием своего времени, бескомпромиссная и честная режиссура, вдохновляющее общение с армейской зрительской аудиторией, своеобразие репертуарного диапазона, выстроенного с учетом «военной специфики», но отнюдь не безразличного и к наследию классиков, и к удачейшим образцам современной драматургии, — вот основные приметы творческой физиономии театра, очерченные книгой.

Особый и весьма интересный раздел составляют здесь щедро представленные юбилейным сборником статьи ведущих драматургов страны. История создания патриотических пьес Ю. Чепурина и А. Сальнского, воспоминания Л. Зорина о том, как он сочинил «Добряков», и И. Друцэ о возникновении замысла «Каса маре», высказывания ветеранов нашей драматургии А. Штейна и И. Прута и драматургов, пришедших в театр относительно недавно, вроде Гр. Горина, становятся образными свидетельствами стимулирующей роли ЦАТСА в сфере современной драматической литературы. Воскрешая прошлое, фиксируя настоящее, участники издания думают и о будущем. Заботой о завтрашнем дне, верой в то, что театр окажется достойным своих высших гражданственных традиций, проникнута вся книга, насыщенная фактами, содержательная и оптимистическая по общему тону повествования.

Е. Луцкая.



МИХАИЛ РЕБРОВ. Над планетой людей. («Герои Советской Родины») М. Политиздат. 1980. 112 стр.

Алексей Леонов — имя в космонавтике всемирно известное. Он дважды был первым: один раз, когда осуществлял выход в открытый космос, второй — в полете международного экипажа «Союз» — «Аполлон». Леонов — из гагаринского отряда космонавтов.

Через два месяца человечество отметит двадцатилетие полета в космос первого в мире человека — Юрия Гагарина, открывшего новую страницу в истории цивилизации. С тех пор во Вселенной побывало около ста человек из разных стран, проведя вне Земли в общей сложности пять лет. Космическая наука, взяв разбег на Байконуре 12 апреля 1961 года, бурно устремилась вперед: в космос идут новые люди, новые поколения, осуществляются новые космические программы. И все же и по сей день не ослабевает внимание к первому отряду космонавтов: к их жизни, полетам, исследованиям. Свидетельство тому — недавно вышедшая книга Михаила Реброва «Над планетой людей».

Алексее Архиповичу Леонову, как видно из книги, достаточно было бы одного полета, одного выхода в космос, чтобы об этом говорили и помнили люди Земли долгие и долгие годы, чтобы стать знаменитым. Но не ради славы шли и идут молодые парни (Леонову

тогда было двадцать шесть лет) в космонавты. Ребров об этом пишет так: «Все, кто был зачислен в первый космический отряд (его теперь называют гагаринским), мечтали о том, чтобы дверь в космос, однажды уже раскрывшаяся перед ними, не захлопнулась. Они мечтали войти в эту дверь снова и снова». Точно подмечено. Из двадцати человек гагаринского набора в космос слетали двенадцать, пятеро — дважды. На пути к звездам отважных людей сопровождали не только победы, но и поражения, случались и трагедии. Только восемь космонавтов сейчас работают в Центре подготовки в Звездном из двадцати. Кто погиб на земле, кто — в космосе, кто — в воздухе. Одних подвело здоровье, у других не выдержали нервы.

Книги о космонавтах гагаринского отряда все полнее и полнее представляют читателям тех, кто первым шагнул в неизведанное. Одним из них был Леонов. Как только космонавт покинул шлюзовую камеру и поплыл рядом с «Восходом-2», его капитан Павел Иванович Беляев передал на Землю: «Я «Алмаз-один». Человек вышел в космическое пространство! Человек вышел в космическое пространство! Находится в свободном плавании...» Без малого шестнадцать лет прошло с той минуты. Не дожил, к сожалению, до наших дней Павел Беляев. Но и о нем, и особенно о Леонове, увидело свет великое множество газетных и журнальных статей, очерков, интервью, бесед, выходили и книги. И, казалось, никто и ничего уже не скажет нового о Леонове. Кто так думал, прочтя книгу, признает свою ошибку. Человек, а тем более такой, как космонавт Алексей Леонов (генерал-майор авиации, заместитель начальника Центра подготовки космонавтов, дважды Герой Советского Союза, без пяти минут кандидат технических наук), — неисчерпаемый клад для литератора.

Михаил Ребров отыскал у Леонова немало таких черт в характере, таких сторон из его жизни, о которых читатель узнает впервые, взяв в руки книгу. Впервые на страницах ее печатаются и отрывки из дневниковых записей космонавта. Эти записки начинали свою жизнь тогда, когда Алексей Леонов появился в отряде космонавтов. Он писал о своих друзьях, о переживаниях, экспериментах на земле и в космосе... Нет, не стоит пересказывать, строки эти лучше почитать: «Я почувствовал, что Главный (Сергей Павлович Королев. — Г. Р.) хотя и держится со всеми вроде бы одинаково, но к Гагарину присматривается внимательнее, чем к нам. Оно и правильно: Юра — это явление». Или о Беляеве: «Большой оптимист, хотя прошел нелегкий жизненный путь. Справедлив и добр. На такого всегда можно положиться, не подведет. Самое ценное в этом человеке — честность, неподдельная смелость, благородство души...» Есть у Алексея Леонова строчки о полете «Союз»—«Аполлон», а точнее об американских астронавтах Стаффорде, Слейтоне, Бранде, участвовавших в совместном советско-американском космическом эксперименте. Пишет об этом и автор книги под заголовком «Программа ЭПАС».

За плечами у Алексея Леонова большая жизнь летчика-космонавта, ныне — широкое поле деятельности одного из руководителей Центра подготовки космонавтов. Но где бы он ни был, в каком бы качестве ни встретился с ним читатель, Леонов предстает перед нами

таким, каким показал его в своей книге Ребров, каким вылепила его жизнь, — настойчивым, целеустремленным в работе, общительным, неунывающим, душевно щедрым среди друзей, в быту. У Павла Беляева, который почти не вел дневников, есть такая запись: «Судьба свела нас с Лешей в совместный полет на одном корабле. Лучшего напарника невозможно себе представить. И хотелось бы, чтобы он обо мне думал так же, как я думаю о нем...» Павел Беляев и Алексей Леонов были большими друзьями.

Представляя на суд читателя книгу «Над планетой людей», хотелось бы отметить возрастающий читательский интерес к произведениям серии «Герои Советской Родины» и пожелать в то же время, чтобы все, кто составлял первый отряд космонавтов, удостоились со временем каждый с о е й книги.

Григорий Резниченко.



КРИТИКА СОВРЕМЕННЫХ БУРЖУАЗНЫХ И РЕФОРМИСТСКИХ ФАЛЬСИФИКАТОРОВ МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА. М. Политиздат. 1980. 439 стр.

Идеологическая борьба в современную эпоху охватывает все сферы общественной жизни, вовлекает в свою орбиту все большее число людей на всех континентах. Буржуазные философы, социологи, историки, используя средства массовой информации, всячески стремятся дискредитировать марксизм-ленинизм в глазах миллионов трудящихся капиталистических и развивающихся стран, борющихся за социальную справедливость. Именно поэтому разоблачение приемов и концепций буржуазной пропаганды — задача чрезвычайно актуальная.

В сборнике статей, подготовленном сотрудниками Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС (руководитель редакционной коллегии М. Мчедлов), критика фальсификаторов марксизма-ленинизма ведется по всем главным направлениям идеологической борьбы, включающим такие вопросы, как социально-философское и экономическое учение Маркса, творческое развитие его теории В. И. Лениным, историческая роль коммунистической партии и рабочего класса в подготовке социалистической революции и осуществлении социалистических преобразований, построении развитого социалистического общества.

Стремясь принизить историческое значение учения Маркса, выхолостить из него подлинно революционное содержание, буржуазные идеологи поднимают на щит различные реформистские и ревизионистские концепции, пытаются создать впечатление о существовании некой «множественности марксизмов» на современном этапе, возникшей из «синтеза» марксистского и буржуазного мировоззрений. В главе «Против искажений марксистско-ленинской философии буржуазной марксмологией» М. Иовчук и Б. Бессонов подчеркивают, что механическое совмещение буржуазными и ревизионистскими идеологами принципиально различающихся мировоззрений ведет к эклектизму, к идейному разрушению рабочего класса. Аналогичную цель преследует дробление марксизма на «ранний», революционно-романтический, и «поздний», якобы абстрактно-теоретический, далекий от практической

революционной борьбы. Применяемые с этой целью схемы и методы противников марксизма подвергаются аргументированной критике в статье «Экономическое учение К. Маркса и современная буржуазная марксология», написанной А. Малышовым.

Более семи десятилетий ревизионисты принимают попытки расколоть мировое рабочее движение, объявляя ленинизм (и прежде всего ленинскую теорию империализма, социалистической революции, революционной марксистской партии нового типа) «отходом» от марксизма. Опровергая эту несостоятельную версию, С. Титаренко в статье «Против фальсификации ленинского этапа марксизма» и Е. Кандель в статье «Марксистское учение об исторической роли пролетариата и о его революционной партии в отражении буржуазной и реформистской историографии» раскрывают глубокое внутреннее единство марксизма-ленинизма, преемственность идейно-практической революционной деятельности двух величайших вождей мирового пролетариата.

Главный объект нападок буржуазных и ревизионистских идеологов — ведущая роль рабочего класса и его ленинской партии в борьбе за осуществление Великой Октябрьской социалистической революции, построение социализма и коммунизма в нашей стране. Разоблачению приемов и домыслов, лежащих в основе этих нападок, посвящены статьи Ю. Малова «Несостоятельность буржуазных фальсификаций ленинских идей об исторической роли пролетарской партии» и Е. Виттенберга «Против фальсификации марксистско-ленинской концепции ведущей роли рабочего класса в зрелом социалистическом обществе». В книге показан объективный, исторически обусловленный характер гегемонии пролетариата в российском революционном движении и руководящая роль партии как его политического авангарда в дооктябрьский период. На многочисленных фактах прослеживается процесс усиления ведущих позиций советского рабочего класса во всех сферах общественной жизни в эпоху развитого социализма. Свидетельством неразрывного духовно-политического единства партии и класса является приводимый в книге факт, что ныне рабочие составляют более 58 процентов вступающих в ряды КПСС.

Рецензируемый труд вносит заметный вклад в борьбу марксистов против буржуазной идеологии, реформизма и ревизионизма, он является хорошим подспорьем как для пропагандистов, так и для исследователей, работающих в этой области.

Ю. Игрицкий.



ЛИДИЯ ГРАФОВА. Зачем человеку звезды? М. «Молодая гвардия». 1980. 192 стр.

Думается, не один из прочитавших эту книгу повторит про себя слова автора: «Как интересно, но как все-таки трудно быть журналистом».

По письму или после случайной встречи, по заданию редакции либо «по мановению души» приезжает Л. Графова к людям; они ей интересны, их судьбы ее волнуют; она же большinstву из них нужна. Иногда жизненно необходима. Но мало сказать, что судьбы людей ей не безразличны: многие из героев новелл стали в конце концов друзьями автора.

Шесть глав, из которых состоит книга, не

просто около двух десятков историй, когда-то уже рассказанных Л. Графовой в газете — она много лет проработала в «Комсомольской правде» — и затем собранных под «одну крышу». Это именно книга. Книга, которая проникнута любовью, зиждется на вере и завершается надеждой. Да, любовь, вера, надежда — это прекрасное триединство и держит книгу «Зачем человеку звезды?».

Автор не скрывает, что любит многих своих героев, особенно таких, как академик Алексей Алексеевич Ухтомский. Мне кажется, что новелла об этом человеке необыкновенной судьбы — своеобразный ключ ко всей книге. Выдающийся физиолог, психолог, философ, художник — это Ухтомский. Удивительнейшая личность — это тоже Ухтомский. Потомок древнейшего княжеского рода, после революции избранный в Петроградский Совет депутатов трудящихся, — это Ухтомский. Но автору он особенно дорог как создатель учения о «доминанте» человеческого поведения, не устававший повторять: «...И смысл, и цель, и полнота, и живое содержание человеческой жизни — в обществе, в общем деле с такими же другими, в способности раствориться в жизни других».

Алексей Алексеевич Ухтомский не бросил свой народ в годы жесточайших испытаний, упорно отказался уехать из блокадного Ленинграда и скончался в нем в августе 1942 года. Жизнь, идеи, помыслы этого благороднейшего человека стали для автора высшей точкой отсчета, а мера любви к нему — наиболее полной.

Лидия Графова делится своей любовью к «звездочетам» из СОЛА — Симферопольского общества любителей астрономии — и к Лидии Степановне Панкратовой, первой и единственной Незнакомке, «которую выбрал для роли сам Блок»; она восхищается мужеством семерых парней, которые без нарт, без собак, на лыжах, с тяжелыми рюкзаками прошли полторы тысячи километров по дрейфующим льдинам к Северному полюсу, и поражается героизму, несгибаемой воле Гуго Петерса, научившегося с ампутированной ниже колена ногой летать; и снова страстно любит, любит — юную художницу Надю Рушеву, мастерицу дымковской игрушки Лиду Фалалееву, Валерию Дмитриевну Пришвину, жену писателя, ставшую писательницей.

Путь этих людей к себе есть путь к другим. Поиски своей небольшой, но единственной жизненной тропки приводят их на большую магистраль жизни общества.

И все же — парадокс! — не самые любимые герои стали главными. Главными оказались «трудные». Как в жизни: самое дорогое дитя — самое трудное. Графова — и это одно из несомненных достоинств книги — не ограничивается показом благополучных, даже ярчайших, судеб, не скатывается на путь морализирования.

Она знает: «...как это сложно и трудно — в суете и треволнениях дней, ни на минуту не забывая, помнить: ты — человек! Такого, как ты, никогда не было и не будет. Реализуй же «свое небывалое»! Ты за этим на свет родился!»

Вера в человека подвигала журналистку на поиски, помощь и сострадание; вера помогала ей не отворачиваться даже от тех, в ком окружающие давно извернулись. Тихая «героиня» Надя... Катя, стремящаяся стать «как

все»... Николай Дмитриевич, которому для собственного самоутверждения совершенно необходимо осуждать и попирать другого... И даже те 27 равнодушных из Харькова, которые бросили на дороге тело своего погибшего в катастрофе товарища и преспокойно отправились продолжать экскурсию, — даже в этих людях, неприятных автору, в их поступках, их мировоззрении, чуждых ее представлениям о добре, Лидия Графова ищет те искорки человечности, которые позволят им — в будущем — высечь в душах своих огонек любви к ближним, а ей — оправдать свою веру в них.

«Такие разные, похожи они тем, что... не понимают, не чувствуют самого важного: зачем нужны человеку другие люди», — с горечью пишет она.

А питается книга надеждой. Лидия Графова надеется, что каждый человек осознает свою неповторимость, избранность, талантливость. Надеется, ибо твердо знает: «Только переключивши себя и свою деятельность на других, человек впервые находит самого себя как лицо».

Надежда эта зиждется на том, что человек вечно беспокоен, что-то ищет, к чему-то стремится. Зачем человеку полюс? Зачем звезды? Почему человек, как заметил Михаил Светлов, может жить без необходимого, но не может без «лишнего»? Да потому, что он неравнодушен! Потому, что он человек!

...Как интересно, но как все-таки трудно быть журналистом...

Г. Степанидин.



АЛЬФРЕД РЕНЬИ. Трилогия о математике. М. «Мир». 1980. 375 стр.

Читатели, за недостатком времени обычно пропускающие предисловия и послесловия к книгам, возможно, так и будут убеждены в том, что в «Трилогии о математике» о задачах этой науки, ее месте в истории культуры и производительных сил говорят Сократ и Архимед, Галилей и Торричелли, Паскаль — в своих письмах Ферма. Какое созвездие имен!.. Те, кто помнит «божественный звук умолкнувшей эллинской речи» Сократа, переданной в книгах его ученика Платона, вновь услышат его голос на страницах книги венгерского математика Реньи; знакомые с диалогом Галилея, представленным в сочинении о двух главнейших системах мира (коперниковской и птолемеической), узнают его манеру постижения истины на примере беседы с Торричелли.

На самом же деле «Диалоги о математике», составляющие первую часть трилогии Реньи, написаны в 60-х годах нашего века. Их автор венгерский математик Альфред Реньи (1921—1970) успешно работал на самом переднем крае современной математики, возглавляя Математический институт в Будапеште и ведя интенсивную преподавательскую деятельность. Реньи был еще и блестящим литератором и вдумчивым историком: эти качества его таланта позволили ему проникнуть в самую суть проблем, волновавших мыслителей Древней Греции и эпохи Возрождения, и, опираясь на сохранившиеся труды ученых прошлого, в превосходно стилизованной форме довести до современного читателя их суждения о фундаментальных основах математики, о соотноше-

нии между «чистыми» и прикладными исследованиями. Мы видим и верим, что вопросы, волнующие нас и сегодня, занимали высокие умы в Сиракузах в конце III века до нашей эры и в Риме первой половины XVII века.

Вторая часть книги Реньи — «Письма о вероятности», якобы написанные осенью 1654 года Паскалем к Ферма, затрагивают самые основы науки о случайном, возникшей преимущественно на основе анализа азартных игр. Для тех, кто не опускает предисловия и послесловия (а Реньи, комментируя каждую из частей своей книги, очевидно, надеется, что их окажется все же немало среди его читателей), автор предоставляет возможность сравнить плоды своей утонченной стилизации с подлинным письмом Паскаля к Ферма. В выборе темы переписки, в аргументации, в определении времени, когда его письма могли бы в принципе быть отправлены адресату, математик выступает как тонкий историк науки. Пояснения к основному тексту, написанные отточенным современным литературным языком, читаются с большим интересом и жользой, многое добавляя к нашим знаниям о теории вероятности и истории ее возникновения.

Третья часть книги посвящена новой области математики, возникшей в послевоенные годы: теории информации. И вновь Альфред Реньи перевоплощается. На этот раз не в одного из великих мыслителей прошлого, а в современного студента-математика, записывающего лекции университетского профессора и на страницах своего дневника (или тезисов к докладу) размышляющего на темы, затронутые в лекциях. При этом пылливый студент иногда в чуть-чуть наивной форме (дань возрасту вымышленного героя Реньи!) ставит перед собой вопросы, навеянные прослушанными лекциями, и по размышлении и рассуждении успешно их разрешает. По ходу дела в уста студента вкладываются и мысли автора о системе преподавания математики в высших учебных заведениях наших дней.

В качестве приложения к «Трилогии...» в книгу включены четыре статьи Реньи: «Азартные игры и теория вероятностей», «Заметки о преподавании теории вероятностей», «Вариации на тему Фибоначчи» (прекрасное эссе о так называемых числах Фибоначчи) и, наконец, «О математической теории деревьев». Но не тех деревьев, которые мы видим в лесах или парках, а которые ветвятся на страницах книг и статей, посвященных математике и одному из новых ее разделов — теории графов. Надо заметить, что от страницы к странице книги для усвоения прочитанного необходимо все более внимательное чтение, однако оно вполне по плечу старшеклассникам и тем более студентам.

Книга с любовью и уважением к памяти ее автора подготовлена к печати академиком Б. Гнеденко, ее редактором. В обстоятельном предисловии он знакомит нас с биографией венгерского математика (окончившего, кстати сказать, докторантуру в Ленинградском отделении Математического института Академии наук СССР), анализирует творчество Реньи-популяризатора и обсуждает ключевые проблемы, затронутые в «Трилогии...». Чтение книги Реньи доставляет истинное эстетическое наслаждение, омраченное мыслью о том, что ее автор так рано ушел из жизни.

В. Фрейкель.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. Последние письма и статьи. 71 стр. Цена 10 к.

В. И. Ленин. О социалистическом преобразовании сельского хозяйства. Сборник. 448 стр. Цена 80 к.

В. Гусев. Горизонты свободы (Повесть о Симоне Боливаре). 358 стр. Цена 1 р. 30 к.
Н. А. Тихонов. Избранные речи и статьи. 448 стр. Цена 75 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

С. Апт. Над страницами Томаса Манна. Очерки. 392 стр. Цена 1 р. 60 к.

И. Грекова. Кафедра. Повести. 463 стр. Цена 2 р. 20 к.

В. Гросс. Мотивы умолчания. Роман. Перевод с эстонского. 255 стр. Цена 75 к.

Л. Квитко. Весны, лета, осени. Стихи. Перевод с еврейского. Предисловие В. Смирновой. 25 стр. Цена 85 к.

Г. Марков. Отец и сын. Роман. 335 стр. Цена 4 р. 20 к.

Л. Пантелеев. Приоткрытая дверь... Рассказы и очерки. Разговор с читателем. Из старых записных книжек. 542 стр. Цена 1 р. 80 к.

Е. Шефнер. Северный склон. Книга новых стихов. 126 стр. Цена 30 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

М. Александропулос. Сцены из жизни Максима Грека. Роман. Перевод с новогреческого. 335 стр. Цена 2 р. 20 к.

Х. Исаакс. Мария. Роман. Перевод с испанского. 270 стр. Цена 1 р. 50 к.

Л. Камознс. Лирика. Перевод с португальского. 303 стр. Цена 1 р. 50 к.

Ж. Каррьер. Ястреб из Маё. Роман. Перевод с французского. 254 стр. Цена 1 р. 80 к.

Ю. Крашевский. Брюль. Исторический роман. Перевод с польского. 319 стр. Цена 1 р. 90 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

С. Орлов. Заря и дым. Стихи. 303 стр. Цена 1 р. 10 к.

А. Парпара. Возраст сердца. Стихотворения. 112 стр. Цена 45 к.

Поэты Латинской Америки. Сборник. 127 стр. Цена 55 к.

В. Солоухин. Плывут туманы. Повести. 352 стр. Цена 1 р. 10 к.

Н. Харлампьева. Ночной полет. Перевод с якутского. 31 стр. Цена 10 к.

Э. Хемингуэй. Старик и море. Перевод с английского. 103 стр. Цена 20 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

М. Лещинский. Дважды рожденные. Очерки. Предисловие Е. Стасовой. 285 стр. Цена 45 к.

Мой дом. Из современной советской и зарубежной поэзии для детей. Предисловие И. Токмаковой. 255 стр. Цена 1 р. 20 к.

М. Прилежаева. Всего несколько дней. Повесть. 142 стр. Цена 35 к.

К. Тангрыулиев. Теплоходы в песках. Стихи и сказка. Предисловие С. Михалкова. 136 стр. Цена 65 к.

«ПРОГРЕСС»

Б. Баррето. Капела дос Омэнс. — Кафайя. Романы. Перевод с португальского. 670 стр. Цена 4 р. 90 к.

Э. Гальегос Мансера. Широкая река, высокий огонь. Сборник стихов. Перевод с испанского. 208 стр. Цена 1 р.

Рыбаки уходят в море... Сборник исландских новелл. Переводы с исландского и датского. 327 стр. Цена 2 р.

С. Эрдэнэ. Солнечный журавль. Повести и рассказы. Перевод с монгольского. 229 стр. Цена 1 р. 30 к.

«НАУКА»

История русской литературы. В 4-х тт. Т. 1. Древнерусская литература. — Литература XVIII века. 813 стр. Цена 4 р.

При блеске дня, во мраке ночи. Рассказы об индийских городах. Перевод с хинди. Составитель В. А. Чернышев. Предисловие И. Д. Серебрякова. 191 стр. Цена 1 р.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

А. Балин. Поздняя звезда. Стихи. 176 стр. Цена 80 к.

А. Блок. Лирика. Тридцать лирических циклов и разные стихотворения. Составление и предисловие В. Орлова. 367 стр. Цена 1 р. 10 к.

Д. Блынский. Солнечное слово. Стихотворения и поэмы. Предисловие Л. Ошанина. 206 стр. Цена 75 к.

Главный редактор **С. С. Наровчатов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, В. В. Карпов** (первый зам. главного редактора), **В. А. Косолапов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **А. И. Овчаренко, Г. И. Резниченко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, Д. В. Тевекелян**

Адрес редакции: 103806 ГСП, Москва К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва К-6, Пушкинская пл., 5

Сдано в набор 25/XI 1980 г. Объем 17 п. л. Подписано к печати 14/1 1981 г.
Формат бумаги 70x108/16 27,13 уч.-изд. л., 8,5 бум. л. (23,8 усл.-печ. л.)
А 06705. Тираж 352.500 экз.

Набрано и сматрицировано в ордена Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР», Москва, Пушкинская пл., 5.
Отпечатано в ордена Ленина комбинате печати издательства «Радильська Україна», Киев-47, Брест-Литовский проспект, 94. Зак. 06374.

Цена 70 коп.

70636